ВЛАДИМИР БУКОВСКИЙ

"И ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВЕТЕР..."

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ХРОНИКА"
Нью Йорк, 1978

ВЛАДИМИР БУКОВСКИЙ

”И ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВЕТЕР . .

ИЗДАТЕЛЬСТВО ”ХРОНИКА”
Нью Йорк, 1978

VLADIMIR BUKOVSKY

"BACK TO ITS CIRCLINGS THE WIND IS RETURNING. . ."
Published in English as TO BUILD A CASTLE.

Copyright © 1978 by Khronika Press

Published by: KHRONIKA PRESS, 505 8th Ave., New York, N.Y. 10018

Manufactured in the United States of America

Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире.

Начинался обычный тюремный день, очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В шесть часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь: "Падъ-ем! Падъ-ем! Падъ-ем!" В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. Провались ты со своим подъемом!

Заорал репродуктор. Раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл Гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. "Говорит Москва! Доброе утро, товарищи! Утреннюю гимнастику начинаем с ходьбы на месте". Черт, поскорее выключить! Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте.

Зимнее смурное утро и на воле-то приходит, точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, и этот день впереди – как проклятье. Недаром поется в старой арестантской песне:

Проснешься утром, город еще спит.
Не спит тюрьма – она давно проснулась.
А сердце бедное так заболит,
Как будто к сердцу пламя прикоснулось.

По заснеженному двору от кухни прогрохотал "тюрьмоход" – тележка с бачками, повезли на разные корпуса завтрак. Слышно, как их разгружают внизу и волокут по этажам, грохоча об пол. Хлопают кормушки, гремят миски, кружки. Овсяная каша, хоть и жидкая, но горячая. Кипяток же и подавно хороший малый, старый приятель. Где-то уже сцепились, матерят-

ся – недодали им каши, что ли? Стучат об дверь мисками. Поздно, зазевались – завтрак, с лязгом и грохотом, словно битва, прокатился дальше по коридору в другой конец. Кто теперь проверит, кто докажет, дали вам каши или нет? Совать надо было миску, пока кормушка открыта.

Обычно по утрам, после завтрака, повторял я английские слова, выписанные накануне. Два раза в день повторял – утром и перед отбоем. Это вместо гимнастики, вместо ходьбы на месте, чтобы расшевелить сонные мозги. Потом, уже днем, брался за что посложнее. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка: "Десятая! Соберитесь все с вещами!" Этого-то нам и не хватало, начался проклятый денечек. Собирайся, да тащись, да устраивайся на новом месте – пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут, вечная таинственность.

– Эй, начальник, начальник! Матрасовки брать? А матрацы? А посуду? – Это уже наша разведка. Если матрацы брать – значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать – значит, на другой, а куда? Если матрасовки брать – значит, на первый или на третий: на втором свои дают, и посуду тоже.

– Все забирайте с собой, – говорит неопределенно начальник, туману напускает. Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять, на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем, поволокут на строгий режим, на пониженную норму. А может, просто шмон? Это вот не дай Бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона, всякие запрещенные вещицы – ножичек, несколько лезвий, шильце самодельное. Все сейчас заметут.

И заметались все! У каждого же своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть – может, не найдут. В сапог тоже можно – да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги – пожалуйста. Батюшки, сапоги! Я же их в ремонт сдал.

– Начальник! Звони насчет сапогов – в ремонте у меня сапоги. Без сапогов не пойду, начальник!

Я этого ремонта два месяца добивался, жалобы писал, требовал, бился, только взяли – и на тебе! Вернуть бы живыми, не до ремонта теперь, все к черту полетело. Хорошо, хоть позавтракать успели – к обеду, может, будем уже на новом месте. Куда ж это, однако, нас гонят?

Барахла у меня скопилось жуть, полная матрасовка. Казалось бы, какие вещи могут быть у человека в тюрьме? А и не заметишь, как оброс багажом. Освобождались понемногу ребята, уезжали назад в лагеря и бесценные свои богатства норовили оставить здесь, в наследство остающимся. Грешно увозить из тюрьмы то, что с таким трудом удалось протащить через шмоны. Каждая лишняя вещь – ценность. Вот три иностранных лезвия – за каждое из них можно договориться с баландером, и он будет неделю подогревать наших в карцере – три недели жизни для кого-то, может, и для меня. Тетради общие – тоже ценность, поди их достань. Три шариковые ручки, стержни для ручек, главное же – книги, не дай Бог шмон! Все это богатство скопилось у меня в опасном количестве, и никак я не мог исхитриться передать его кому-нибудь, кто остается дольше меня в тюрьме. Не попадал я с ними в одну камеру – не везло.

Но в общем-то похоже было, что просто переводят нас всех в другую камеру, а потому забрали мы и мыло, и тряпки свои, и веревочки всякие – на новом месте все очень пригодится, особенно если в камере раньше сидели уголовники. После них, как после погрома: камера грязная, все побито и поломано, дня два чинить и чистить, мыть да скрести – и ни тряпок, ни мыла у них обычно не водится, поэтому даже половую тряпку забрали мы с собой.

Тьфу, ну, кажется, собрались. "Готовы?" – кричит начальник из-за двери. – Готовы!

Дверь открылась, и корпусной вдруг, указав на меня пальцем, сказал коротко: "Пошли со мной". Мать честная, куда же это? Не иначе как в карцер. И, цепляясь в уме за всякие возможности и варианты, спросил я только: "Матрац брать?" – "Бросьте в коридоре". Так и есть, карцер. За что ж это? Ничего же не делал. Голодовку объявлю!

Спускаемся вниз, на первый этаж, поворачиваем не к выходной двери, а в коридор – так и есть, карцер! Нет, прошли мимо, идем по коридору. Значит, шмон, к шмоналке идем. Ну, холера, сейчас все отберут. Как бы им голову заморочить? Говорю первое попавшееся: "Начальник, сапоги давай, сапоги в ремонте!" – "Послали уже". Послали? Зачем же послали за сапогами, если только шмон? Может, этап?

Заходим в комнату для шмонов. Там уже шмонная бригада Петухова – ждут, как шакалы, сейчас все отметут. "Так, – говорят, – мешок положите здесь, а сами раздевайтесь". Раздели, как водится; ощупали каждую вещь по швам, в телогрейке одно лезвие было спрятано – не заметили, слава Богу, неделя жизни кому-то. "Одевайтесь". Выводят в коридор, запирают в этапку. Черт, значит, этап! Как же я потащусь со своим барахлом по этапу? Я и сам-то еле двигаюсь. И пропадет теперь все – на каждой пересылке шмон. Как обухом по голове. Куда бы это? Эх я, дурак, тряпку половую взял и мыло. Сапоги! Заиграют сапоги, потом ищи. "Начальник, сапоги давай, сапоги в ремонте!" – "Послали уже".

Надо хоть ребятам дать знать, но как? Этапка самая крайняя, надо мной никого, унитаза нет, кружки у меня нет, тьфу! Написал карандашиком на стене по-английски: "Этапирован неизвестно куда", фамилию и число. Но это мало – когда еще заметят? Надо бы крикнуть как-то. Может, в баню поведут перед этапом? Но вот уже открывается дверь – так скоро? А баня? Нет, идем к выходу. Поворачиваем за угол, идем к вахте. Ну, только здесь и крикнуть. Пятнадцатая камера как раз надо мной. Изо всех сил заорал я вдруг, аж Киселев отпрыгнул от меня со страху.

– Пятнаaaдцатая, Егооор, меня на этап увозят! На этап забрали! Пятнаaaдцатая! – Тут они опомнились и втолкнули меня в двери вахты: "Тише, что орешь? В карцер захотел?" Какой карцер... Ври, начальник, не завирайся, где ты меня на этапе в карцер посадишь?

В большой комнате на вахте – не то в красном уголке, не то в раздевалке для надзирателей – посадили на стул. "Сидите!" Тут появился наш воспитатель, капитан Дойников, какой-то сам не свой, торжественно-грустный. Я к нему: "Гражданин начальник, куда?" – тихо так, чтоб никто не слыхал. Мнется, глаза отводит: "Не знаю, нет, право, не знаю. На этап". – "Да бросьте вы все темнить, тайны разводить – куда?" – "Честно, не знаю, не мое дело. Сказали, на этап – в Москву, наверно". Знает все, бес, по лицу видно. "А вещи мои?" – "Уже в машине". Неслыханно! Кто же это за меня вещи таскает, неужто конвой? Да, сапоги. "Скажите, чтобы сапоги принесли, сапоги у

меня в ремонте". – "Принесут". – "Да как принесут? Уже на вахте, сейчас ехать!"

А он так тихо вдруг говорит: "Не нужны вам больше сапоги". Что бы это значило? Как так может быть, чтоб сапоги не нужны были? И я ему тихо: "Откуда же вы знаете, что сапоги не нужны, если не знаете, куда еду?" Смутился.

Не надо было этого говорить, и так понятно, что творится нечто необычное: этапы никогда с вахты не отправляют, а прямо внутрь воронок заходит, там и грузят. И вещи сами снесли, и сапоги не нужны, на волю что ли, освобождать что ли будут? А может – наоборот? Тогда тоже сапоги не нужны.

– Ну что ж, прощайте, не поминайте лихом, – говорит капитан. Ведут прямо к выходу на волю, открывают дверь. Оглядеться не дают – вокруг люди в штатском. А, КГБ! Понятно – не на волю, значит. "Сюда, пожалуйста, в машину". Прямо у ворот стоят микроавтобус и какие-то легковые машины. Снег утоптанный, темный. Где же воронок? Нет, сажают в микроавтобус – чудеса! Внутри, на заднем сиденье, лежит мой мешок в тюремной матрасовке. Окна плотно зашторены, вокруг кагебешники в штатском. Предупреждают: в дороге шторы не трогать, в окно не выглядывать. Спереди, между нами и шофером, тоже шторки плотно задернуты, но снизу не прикреплены, болтаются – значит, на ходу будут трепыхаться, что-нибудь да увижу. Ждут еще какого-то начальника, он садится спереди, с шофером, хлопает дверца, колышутся шторки – тронулись. Развернулись, повернули еще раз, пошли.

Эх, черт, слышали ребята или нет? Должны были слышать – орал я громко. Куда же, однако, меня везут? В Москву? Дойников сказал – в Москву. Но мог и соврать. А куда же меня везти? Почему в микроавтобусе, а не в воронке? П о ч е м у н е н у ж н ы с а п о г и ? А что, очень даже могут. Завезут сейчас в лесок за городом и – при попытке к бегству...

Машина же наша неслась тем временем с сумасшедшей скоростью. Шторки спереди вздрагивали, развевались, и к удивлению своему я вдруг заметил впереди нас милицейскую легковую машину с мигающим фонарем на крыше. В ней два офицера милиции. Один, высунув из окна руку с палочкой, разгонял с нашего пути машины. Что за дьявол – может, случайное совпадение? Нет, минут через пять вновь сильно всколыхнулись зана-

вески спереди и вновь та же машина с тем же фонарем. Покосившись украдкой назад, увидел я равномерное мелькание света на задних шторках – значит, и сзади шла милицейская машина. А мы неслись и неслись вперед на предельной скорости, даже боязно становилось – не перевернуться бы, зима все-таки, скользко. И вновь на повороте взметнулись шторки, и все та же милицейская машина впереди. Сзади же свет мелькает непрестанно. Да, вот это чудеса! Так только члены правительства ездят. Никогда еще меня так не этапировали. Куда же это они меня?

Чекисты же мои переговаривались между собой, на меня взглядывали редко, только двое, что сидели с боков от меня, были настороже. И как ни вглядывался я в их лица да в дорогу впереди сквозь щель в занавесках – ничего не мог почерпнуть нового. Ну что ж, в лесок так в лесок – в Москву так в Москву, что я мог поделать, что предпринять? Ну, стало быть, и думать об этом нечего – что будет, то будет.

Оставалось мне сидеть совсем немного – всего каких-нибудь пять месяцев здесь, в тюрьме, а потом – в Пермскую область, в свой родной 35-й лагерь, примерно на десять месяцев. Это – как праздник, все равно что домой. Уже прикидывал я, кого застану из ребят, а кто освободится к тому времени. Глухо доходили новости от вновь прибывающих – что-то там в зоне делается, какие новые порядки, какое теперь начальство. Потом же, в марте 78-го, предстояло мне еще в ссылку. Эти вот несчастные пять лет ссылки раздражали меня больше всего срока, как ненужный довесок – ни то ни се, ни свобода, ни тюрьма. Да еще смотря куда пошлют, какая там будет работа, какое начальство. А то и хуже лагеря. Известно было, что из пермских лагерей отправляют на ссылку в Томскую область, а там известно что: повал, болота, глухомань, закон – тайга, медведь – хозяин. Из Владимира же шли на ссылку в Коми, и хоть Коми тоже не мед, тоже повал и болота, но как-то ближе к Москве – все-таки Европа.

Поэтому прикидывал я, нельзя ли еще раз исхитриться вернуться из лагеря во Владимир. Надежды было мало, ходили слухи, что по новой инструкции тех, кому осталось меньше года, в тюрьму не посылают. Предписано воспитывать на месте,

своими средствами. Оставшиеся же пять тюремных месяцев расписаны были у меня вперед: какую книжку и когда я должен успеть прочесть. В лагере уже не почитаешь – успевай поворачивайся. Да и в ссылке не до того будет. Когда же еще и заниматься, как не в тюрьме – и времени не жалко, все равно уходит даром.

Как ни кинь, выходило, что других университетов кроме Владимирской тюрьмы у меня уже не будет. Если даже не намотают мне нового срока, то выйду я из ссылки в 83-м году, и будет мне сорок один год – совсем не возраст для обучения. Да и на воле ничего хорошего меня не ждало. Это только новичок, который первый раз сидит, – тот воли ждет да дни считает. И кажется ему эта воля чем-то светлым, солнечным и недостижимым. Я-то сидел уже четвертый раз и знал, что нет большего разочарования в жизни, чем освобождение из тюрьмы. Знал я также, что больше года мне на этой проклятой воле никогда не удавалось продержаться и никогда не удастся. Потому что причины, которые загнали меня в тюрьму в первый раз, загонят и во второй, и в третий. Они, эти причины, неизменны, как неизменна и сама советская жизнь, как не меняешься и ты сам. Никогда не позволят тебе быть самим собой, а ты никогда не согласишься лгать и лицемерить. Третьего же пути не было.

Потому-то, освобождаясь каждый раз, я думал только об одном – как бы успеть побольше сделать, чтобы потом, уже снова в тюрьме, не мучиться по ночам, перебирая в памяти все упущенные возможности, чтобы не казниться, не терзаться, не стонать от злости на свою нерешительность. Эти вот бессонные терзания были в моей жизни самым мучительным, и оттого короткие промежутки моей свободы никак нельзя было назвать нормальной жизнью. Это была лихорадочная гонка, вечное ожидание ареста, вечные агенты КГБ, дышащие в затылок, и люди, люди, люди, которых не успеваешь даже разглядеть как следует. Если ты встретился с человеком один раз и он тебя не продал, ты уже считаешь его хорошим знакомым, если два – близким другом, три – закадычным приятелем, как будто ты с ним полжизни прожил бок о бок.

А встретив человека в первый раз, неизбежно смотришь на него, как на будущего свидетеля по твоему будущему делу.

Неизбежно прикидываешь: на каком допросе он расколется — на первом или на втором? На каких его слабостях попытается играть КГБ? Робкий — значит, запугают, самолюбивый — постараются унизить, любит детей — пригрозят забрать детей в интернат. И смотришь ему в глаза вопросительно — выдержит или не выдержит, когда припугнут сумасшедшим домом. Редко кто выдерживает. А потому не отягощай память ближнего излишней информацией, не ставь его перед необходимостью мучиться потом угрызениями совести. Ты прокаженный, ты не имеешь права на человеческую жизнь, каждый, кто коснулся тебя, рискует заразиться, и если ты действительно любишь кого-то — избегай его, сторонись, делай вид, что не узнал, не заметил. Иначе завтра ему на голову обрушится вся мощь государства.

И потому-то, втискивая 25 часов в сутки, растягивая неделю в месяц, ты должен сделать максимум возможного и даже невозможного, потому что завтра ты опять будешь в лефортовской камере и долго потом ничего не сможешь сделать — может быть, никогда. Опять будешь по ночам перебирать в памяти все, что упустил, что мог сделать лучше и сильнее, будешь казнить себя за нерасторопность. Ведь столько десятилетий люди ничего не могли сделать — даже плюнуть в морду тем, кто их убивал. И миллионы их сгинули, мечтая хоть чем-нибудь отплатить за свои мучения. А у тебя — была возможность кричать на весь мир, были друзья, на которых можно положиться, было время — что ты успел сделать? И миллионы мертвых глаз будут обжигать тебе душу укоризненными вопрошающими взглядами.

В Сибири мне рассказывали об одном способе охоты на медведя. Где-нибудь вблизи медвежьей тропы на сосне прячут приманку — обычно мясо с тухлинкой. А на ближайший толстый сук этой сосны привязывают здоровенную тяжелую колоду так, чтобы она заслоняла путь к приманке и притом свободно раскачивалась на канате. Медведь, чуя приманку, лезет на ствол и встречает на пути колоду. По своей медвежьей натуре, он даже не пытается эту колоду обойти, а отодвигает ее в сторонку и лезет дальше. Колода, качнувшись в сторону, бьет медведя в бок. Мишка ярится, толкает колоду сильнее, та, естественно, бьет его еще сильнее, медведь — еще сильнее, колода — еще

сильнее. Наконец, колода бьет его с такой силой, что оглушает и сшибает с дерева. Примерно такие же отношения сложились у меня с властями: чем больший срок мне давали – тем больше я старался сделать после освобождения, чем больше я делал – тем больший срок получал. Однако и время менялось, и возможности мои увеличивались, и трудно было сказать, кто из нас медведь, кто колода и что из этого всего выйдет. Я, во всяком случае, отступать не собирался.

Выходило таким образом, что не только эти пять месяцев расписаны у меня вперед, но и вся жизнь: десять месяцев в лагере, пять лет в ссылке, потом – в лучшем случае – год лихорадки, называемой свободой, затем еще десять лет тюрьмы и еще пять ссылки. Это уже, кажется, мне будет 57 лет? Ну, еще на один круг мне могло хватить времени, а умирать выходило опять на тюрьму. Оттого-то и не ждал я ее, эту свободу, не считал дней и месяцев. Я сам себе напоминал того джина из сказок "Тысячи и одной ночи", которого посадили в бутылку, – и первые пять миллионов лет он клялся озолотить того, кто его освободит. А вторые пять миллионов лет – уничтожить того, кто его выпустит. Во всяком случае, чувства этого джина были мне понятны.

Была, однако, и другая причина, заставлявшая меня расписывать тюремное время вперед и каждую минуту использовать для занятий: сама тюрьма.

Человек, не дисциплинирующий себя, не концентрирующий внимания на каком-либо постоянном занятии, рискует потерять рассудок или уж, во всяком случае, утратить над собой контроль. При полнейшей изоляции, отсутствии дневного света, при монотонности жизни, постоянном голоде и холоде впадает человек в какое-то странное состояние, полудрему-полумечтательность. Часами, а то и целые дни напролет, может он глядеть невидящими глазами на фотокарточку жены и детей, или листать страницы книги, ничего не понимая и не запоминая, или вдруг заводит с соседом бесконечный, бессмысленный спор на совершенно вздорную тему, как бы застревая на одних и тех же доводах, не слушая собеседника и фактически не опровергая его аргументов. Человек абсолютно не может сосредоточиться на чем-то определенном, уследить за нитью рассказа.

Странное что-то происходит и со временем. С одной стороны, время несется стремительно, поражая этим твое воображение. Весь нехитрый распорядок дня с обычными, монотонно повторяющимися событиями: подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой, подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой – сливается в какое-то желто-бурое пятно, не оставляющее никаких воспоминаний, ничего, за что могло бы зацепиться сознание. И вечером, ложась спать, человек, хоть убей, не помнит, что же он весь день делал, что было на завтрак или на обед. Более того, сами дни неразличимы, полностью стираются из памяти, и замечаешь вдруг, будто кто тебя толкнул: батюшки, опять баня! – это значит, семь, а то и десять дней пролетело. Так и живешь с ощущением, будто каждый день у тебя баня. С другой стороны, это же самое время ползет удивительно медленно: казалось, уже год прошел – ан нет, все еще тот же месяц тянется, и конца ему не видно.

Опять же, становится человек страшно раздражительным, если что-то нарушает его монотонную жизнь. Вдруг, например, с нового месяца водят гулять не после завтрака, а после обеда. Какая, казалось бы, разница, однако это доводит до бешенства, почти до исступления. Или поругался с надзирателем, или вызвал на беседу воспитатель, а ты с ним завелся – и вот уже не можешь ни читать, ни спать, ни думать о чем-нибудь другом. Строчки в глазах прыгают, мысли скачут, а тебя аж трясет всего. Ну что, казалось бы, необыкновенного? Этих споров, этих бесед, этой ругани с надзирателями было в твоей жизни столько, что и сосчитать невозможно. Однако несколько дней и ночей ты будешь перебирать в уме, что сказал он, что ты ответил, что мог ты сказать, да не сказал, не сообразил сразу. И как бы ты мог его особенным образом поддеть или обрезать, ответить более ехидно или более убедительно. Словно испорченная пластинка, этот разговор все крутится и крутится в мозгу, и нет сил его остановить. Или вот получишь из дому открытку какую-нибудь цветастую и смотришь, смотришь на нее, как идиот, и так дико видеть разные непривычные цвета, что оторваться не можешь.

Нельзя сказать, чтобы голод был очень мучителен, – это ведь не острый голод, а медленное хроническое недоедание.

Поэтому очень скоро перестаешь ощущать его резко, остается нечто монотонно сосущее, наподобие тихой тянущей зубной боли. Даже перестаешь понимать, что это голод, а так, через несколько месяцев, замечаешь вдруг, что стало больно и неловко сидеть на лавке и ночью, как ни ляг, все что-то жмет или давит — уж и матрац несколько раз перетрясешь, и ворочаешься с боку на бок, а все неловко. Только так и ощущаешь, что кости вылезли. Но это тебе как-то даже безразлично. Да еще с койки вставать не надо резко — голова кружится.

Самое же неприятное — это ощущение потери личности, точно проволокли тебя мордой по асфальту и совсем не осталось никаких характерных черт и особенностей. Словно твою душу со всеми ее изгибами, извивами и потайными углами да узорами — прогладили гигантским утюгом, и стала она плоская и ровная, как картонная манишка. Затирает тюрьма. От этого каждый человек норовит как-то выделиться, проявить свою индивидуальность, оказаться выше других или лучше. У блатных в камерах постоянные драки, постоянная борьба за лидерство, убийства даже бывают. У нас, конечно, этого нет, но через четыре-пять месяцев сидения в одной и той же камере с одними и теми же людьми становятся они тебе до омерзения понятны, так же, видимо, как и ты им. В любой момент знаешь, что они сейчас сделают, о чем думают, о чем спросить собираются. А чаще всего в камере и не говорят ни о чем, потому что всё друг о друге знают. И удивляешься, как же мало содержательны мы, люди, если через полгода уже и спросить друг у друга нечего.

Особенно же тяжко, если есть у твоего сокамерника какая-нибудь бессознательная привычка — например, носом шмыгать или ногой постукивать. Уже через пару месяцев совершенно невмоготу становится, убить его готов. Но вот развели вас в разные камеры или попал ты в карцер, и через некоторое время встречаетесь вы, как родные: сразу куча вопросов, рассказов, новостей, воспоминаний — праздник на неделю. Бывает, конечно, и полная психологическая несовместимость, когда люди и двух дней в камере не могут прожить, а жить им предстоит так годами. Вообще же все человечество делится на две части: на людей, с которыми ты мог бы сидеть в одной камере, и на людей, с которыми не смог бы. Но ведь никто твоего согласия не спра-

шивает. Поэтому необходимо быть предельно терпимым к своим сокамерникам и в то же время подавлять свои привычки и особенности: ко всем нужно приспособиться, со всеми поладить, иначе жизнь станет невыносимой.

Помножьте теперь все эти тяготы на годы и годы, возведите их в квадрат, добавьте сюда все те годы, которые вы просидели до этого, в других лагерях и следственных тюрьмах, и тогда вы поймете, почему нужно занять каждую свою минуту постоянным делом — лучше всего изучением какого-нибудь сложного, запутанного предмета, требующего громадного напряжения внимания. От постоянного электрического света веки начинают чесаться и воспаляются. Десятки раз читаешь одну и ту же фразу, но никак не можешь ее понять. С огромными усилиями одолеваешь страницу, но только ты ее перевернул — уже ни звука не помнишь. Возвращайся назад, читай двадцать, тридцать раз одно и то же, не позволяй себе курить, пока не осилишь главу, не позволяй себе ни о чем думать, мечтать или отвлекаться, не позволяй себе даже сходить в туалет — для тебя нет ничего важнее на свете, чем выполнить то, что наметил на сегодняшний день. А если назавтра ты ничего не помнишь — бери и читай заново. И если ты кончил книгу, можешь позволить себе один выходной день, только один, потому что уже на второй память начинает слабеть, внимание рассредотачивается и ты опять медленно погружаешься, уходишь под воду, точно утопающий, — глубже, глубже, пока не начнет звенеть в ушах, а цветные круги поплывут перед глазами. И еще неизвестно, вынырнешь ли ты.

Особенно заметно это в карцере, в одиночке: ни книг, ни газет, ни бумаги, ни карандаша. На прогулку не водят, в баню не водят, кормят через день, окна практически нет, лампочка где-то в нише, в стене, у самого потолка, еле-еле потолок освещает. Один выступ в стене — твой стол, другой — стул, больше десяти минут на нем не просидишь. Вместо кровати на ночь выдается голый деревянный щит. Теплой одежды не полагается. В углу параша, а то и просто дырка в полу, из которой целый день прет вонь. Словом, цементный мешок. Да еще курить запрещено. Грязь — вековая. По стенам кровавая харкотина, потому что туберкулезников сюда тоже сажают. Вот тут и начинается твой спуск под воду, на самое дно, в самую тину.

Так в тюрьме это и называют – спустить в карцер, поднять из карцера.

Первые дня три еще шаришь по камере, ищешь – может, кто до тебя ухитрился пронести махорки и спрятал остатки, может, окурки где заначил. Все ямки и трещинки облазаешь. Еще существуют для тебя ночь и день. Днем все больше ходишь взад-вперед, а ночью стараешься заснуть. Но холод, голод и однообразие берут свое. Дремать можно лишь минут десять-пятнадцать, затем вскакиваешь и минут сорок бегаешь, чтобы согреться. Потом опять дремлешь минут пятнадцать – или привалясь на щит (ночью), или, подвернув под себя ногу, прямо на полу, спиной упершись в стену (днем), затем опять вскакиваешь и полчаса бегаешь.

Постепенно чувство реальности совершенно утрачивается. Тело деревенеет, движения становятся механическими, и чем дальше, тем больше превращаешься в какой-то неодушевленный предмет. Трижды в день дают кипяток, и этот кипяток доставляет несказанное наслаждение, точно оттаивает все у тебя внутри и временно возвращается жизнь. Все в тебе наполняется сладкой болью – минут на двадцать. Дважды в день перед оправкой дают клочок старой газеты, и уж этот клочок ты прочитываешь от первой до последней буквы, причем несколько раз. Перебираешь в памяти все книжки, какие читал, всех знакомых, все песни, какие слушал. Начинаешь складывать или множить в уме цифры. Обрывки каких-то мелодий, разговоров. Время абсолютно не движется. Ты впадаешь в забытье, то вскакиваешь и бегаешь, то опять дремлешь, но это не разнообразит жизнь. Постепенно пятна грязи на стене начинают сливаться в какие-то лица, точно вся камера украшена портретами сидевших здесь до тебя зэков. Галерея портретов твоих предков.

Можно часами их разглядывать, расспрашивать, спорить, ссориться и мириться. Через некоторое время и они уже не вносят разнообразия. Ты знаешь о них все, точно просидел с ними в одной камере полжизни. Некоторые раздражают тебя, с некоторыми еще можно перекинуться словцом. Есть такие, которых нужно сразу обрезать, иначе они становятся слишком навязчивыми. Они будут нудно и монотонно рассказывать никчемные подробности своей никчемной жизни. Они будут врать и приукрашивать свою жизнь, если заметят, что ты их не слуша-

ешь. Они услужливы и суетливы до омерзения. Другие молчат и угрюмо поглядывают исподлобья — с ними держи ухо востро: только заснешь, они могут и пайку стянуть. Есть и дружелюбные, общительные ребята, обычно помоложе, с которыми и пошутить можно. Они покладисты, никогда не унывают и за компанию готовы удавиться. Такие обычно сидят за хулиганство, групповое изнасилование или групповой грабеж. В углу, над парашей, живет старый вор-законник. Он сразу же начинает интриговать, настраивать разные группки друг против друга и всех их против тебя. Шушукается с ними по углам, обменивается какими-то многозначительными взглядами. Важно и авторитетно, ни к кому конкретно не обращаясь, он травит бывальщину: рассказывает о пересылках, о лагерях, об убийствах. Он явно провоцирует конфликт в камере, хочет установить свой порядок. Он знает, кому что положено, а кому не положено. С ним не избежать серьезной стычки, и лучше это делать сразу, пока он не сколотил своей группировки, пока его авторитет не утвердился. Но и это все тонет, стирается и оставляет тебя один на один с вечностью, с небытием.

Трудно понять, где кончаешься ты и начинается эта бесконечность. Тело твое — уже не ты, мысли твои тебе не принадлежат, они приходят и уходят сами собой, не повинуясь твоим желаниям. Да и есть ли у тебя желания? Я абсолютно уверен, что смерть — это не космическая пустота, не блаженное ничто. Нет, это было б слишком успокоительно, слишком просто. Смерть — это мучительное повторение, нестерпимое одно и то же. А потому возникает навязчивый, однообразный — не то сон наяву, не то размышления во сне.

В первой серии события происходят среди сложных, гудящих станков, монотонно двигающих рычагами. Огромные ножи с лязгом и свистом опускаются со всех сторон. Крутятся шестеренки, зубчатые колеса, с грохотом брякаются гигантские стальные кулаки. Каждую секунду тебя может рассечь пополам, сплющить в лепешку или затянуть в огромные шестерни. Ты в постоянном движении: то отскакивая в сторону, то отшатываясь назад, то пригибаясь, ты стараешься выбраться из этих механических, металлических, рычащих джунглей. У этих машин, ножей и рычагов нет никакого ритма, никакой закономерности.

Сплошной хаос. И ты должен угадать чутьем, в какую сторону тебе прыгнуть, чтобы не быть раздавленным. И ни на секунду нельзя остановиться, ибо там, где ты только что стоял, уже пронесся многотонный стальной молот и от его удара все вздрогнуло. А сзади, сверху, сбоку уже свистит, шипит и грохочет. Так проходят тысячи лет. Но это только первая серия.

Во второй серии совершается какая-то постыдная церемония. В огромном здании по бесконечным залам и переходам движется нескончаемый поток людей. Страшная давка. Все хотят пробиться вперед, туда, где происходит главное таинство. Неестественный свет озаряет этот поток толкающихся людей. Но все происходящее исполнено какого-то омерзительного значения: что-то позорное, нестерпимо постыдное – толпа голых людей всех возрастов с уродливыми телами. И ты среди них. Все это происходит под однообразную, повторяющуюся мелодию – не то хорал, не то заклинания, которым подчиняются все ваши движения. Так еще тысячи лет.

В третьей серии – не то комната, не то шахматная доска. Не то люди, не то шахматные фигуры, потому что все вы связаны очень сложными психологическими отношениями. От каждого твоего слова или малейшего движения зависит, что сделают они, а это, в свою очередь, влияет на тебя, на всех и на каждого. Поэтому каждый из присутствующих должен постоянно производить в уме невероятно сложные расчеты, учитывая все возможные решения остальных. И этим расчетам нет конца, как нет конца числу возможных комбинаций. Вы все сосредоточены и напряжены, вы считаете, предполагаете, допускаете, опровергаете, пересчитываете, комбинируете. Так – до бесконечности, потому что вы сцеплены намертво тканями взаимоотношений. При этом каждый старается выглядеть совершенно беззаботным.

Тут ты вскакиваешь на ноги и начинаешь бегать из угла в угол, взад-вперед, туда-сюда, потому что все тело затекло и онемело.Так бегаешь и бегаешь, пока однообразие стен и твоих собственных движений не возвратит тебя опять в первую серию, в машинное отделение с его ножами, молотами, колесами и рычагами. Так проходят целые эпохи, и все становится омерзительно: все, что внутри тебя, и все, что снаружи, – все это известно заранее, измусолено твоими взглядами и размышлениями. Сам себе человек становится противен до тошноты – только уйти от само-

го себя некуда. Эта вот мучительная пустота долго потом не заживает в сознании, как открытая рана, и только много спустя становится она шрамом в душе. Ничего не остается в памяти от этого времени – провал.

Один раз мне сказочно повезло – я нашел примерно полпачки махорки, аккуратно спрятанные в щель в стене. Полпачки отсыревшей махорки... Но лучше б я ее не находил, эту чертову махорку! Потому что, с одной стороны, негде было взять спичек, с другой же – нестерпимо захотелось курить. Сотни раз я обшаривал всю камеру, но спичек не нашел. Оставался только один способ прикурить – залезть на стену, под самый потолок, и клочок своей одежды при помощи какой-нибудь палочки просунуть сквозь решетку в нишу, а там аккуратно положить на лампочку. Минуты через три тряпка должна начать тлеть, и тогда от нее можно будет прикурить. Но как залезть на трехметровую высоту без единой точки опоры, да еще оголодавшему, ослабевшему человеку? Судя по некоторым пятнам и царапинам, было ясно, что мои предшественники как-то ухитрялись. И от этого желание закурить становилось нестерпимым. Половина следующей ночи ушла у меня на то, чтобы ногтями отщипнуть как-нибудь щепку от своего щита, причем щепку подлиннее, чтобы хватило ее от решетки ниши до лампочки. Затем с утра следующего дня начался штурм стены. Совершенно идиотское занятие – наскакивать на абсолютно голую стенку, с разбега ли, с места ли, цепляясь за нее ногтями, и буквально рычать от бессилия и беспомощности. Быть может, мои предшественники были выше ростом, сильнее или лучше подготовлены. Быть может, они были альпинисты. Но уже ничто не могло меня остановить, я ни о чем другом не мог думать, я совершенно озверел и дошел до исступления. Я поклялся или добиться своего, или расшибить себе голову об эту стенку.

Первый день кончился безрезультатно. Ночью я приставил щит к стене, вскарабкался под потолок и прикурил-таки от лампочки. Однако это не могло успокоить, это только дразнило меня кажущейся достижимостью, и с утра штурм возобновился. Так прошли еще один день, еще одна ночь, новый день и новая ночь. Я совершенно перестал существовать. Во мне осталось только одно желание – залезть на стенку. Ногти поломались и

кровоточили, пальцы распухли, к ночи я обыкновенно изматывался настолько, что уже и по щиту не мог залезть с первого раза. Я срывался, падал, вставал и снова лез к лампочке, как лезут на свет насекомые. Я уже ничего не чувствовал – ни боли, ни холода, ни голода, – было только одно желание, существовавшее вне меня и помимо меня: залезть на ту проклятую стенку, к этой чертовой лампочке. Я даже не понимал уже, зачем мне это нужно, и поэтому, когда на четвертый день, ценой невероятных усилий, взмахов, толчков и прыжков, я оказался вдруг под потолком, вцепившись мертвой хваткой в решетку ниши, я обнаружил, что щепка с клочком тряпки на конце давно выпала у меня из зубов и валялась на полу. Так и висел я, вцепившись в эту проклятую решетку, в десяти сантиметрах от лампочки и плакал.

Конечно же, я не мог вспомнить, какая именно комбинация движений подбросила меня на эту лампочку. Главное – цель была достижима. Для меня, с моим ростом, силами и способностями к альпинизму, это было достижимо. А потому еще два дня ушло на штурм. Да, к концу пятого дня я добился победы, полной и окончательной победы. И не было в моей жизни большего достижения, большей победы, которой мог бы я гордиться так, как этой. Каждый день потом, по три раза на день, карабкался я на эту стенку, чтобы прикурить маленький чинарик махорки. И стало это уже настолько обычным делом, что даже не могло нарушить монотонности моей жизни – обычного медленного погружения в мучительное, однообразно повторяющееся ничто.

Зная все это, старался я протащить в карцер кусочек карандашного грифеля, обычно спрятав его за щеку. И если мне это удавалось, то потом весь свой карцерный срок – на клочках газеты или прямо на полу, на стене – рисовал я замки. Не просто рисовал их общий вид, а ставил себе задачу: построить замок целиком, от фундамента, полов, стен, лесенок и потайных ходов до остроконечных крыш и башенок. Я обтачивал каждый камень, я настилал паркетные полы или мостил их каменными плитами, я обставлял залы мебелью, вешал гобелены и картины, зажигал свечи в шандалах и коптящие смоляные факелы в бесконечных переходах. Я накрывал столы и приглашал гостей, я слушал с ними музыку, пил вино из кубков, выкуривал потом

трубку за чашкой кофе. Мы поднимались по лестницам, проходили из зала в зал, смотрели на озеро с открытой террасы, заходили на конюшню и смотрели лошадей, шли в сад, который тоже предстояло разбить и насадить всякие растения. Мы возвращались в библиотеку по наружной лестнице, и там, затопив камин, я усаживался в мягкое кресло. Я листал старые книги в истертых кожаных переплетах с тяжелыми медными застежками. Я даже знал, что написано в этих книгах. Я мог читать их.

Этого вот занятия хватало мне на весь карцерный срок, и еще много вопросов оставались нерешенными до следующего раза – ведь иногда несколько дней уходило на обсуждение вопроса: какую картину повесить в гостиной, какие шкафы должны быть в библиотеке, какой стол поставить в обеденной зале. Я и сейчас с закрытыми глазами могу нарисовать его, этот замок, со всеми подробностями. Когда-нибудь я найду его ... или построю.

Да, когда-нибудь я приглашу своих друзей, и мы пройдем вместе по подъемному мосту через ров, войдем в эти залы, сядем за столы. Будут гореть свечи и звучать музыка, а солнце будет тихо садиться за озером. Я прожил в этом замке сотни лет и каждый камень обточил своими руками. Я строил его, сидя под следствием во Владимире. Он спас меня от безразличия – от глухой тоски безразличия к живому. Он спас мне жизнь. Потому что ты не можешь онеметь, не имеешь права быть безразличным. Потому что именно в такой момент тебя пробуют на зуб. Это ведь только в спорте судьи и противники дают тебе обрести лучшую форму – грош цена этим рекордам. На самом деле самое большое испытание норовят навязать, когда ты болен, когда ты устал, когда особенно нужна передышка. Тут-то берут тебя и хрясь об колено! Именно в такой момент тебя, ошалелого, вытаскивает из подвала кум, ловец душ человеческих, или воспитатель на беседу.

О нет, они не станут прямо так, в лоб, предлагать сотрудничество. Им нужно пока гораздо меньше – каких-то мелких уступок. Просто приучить тебя к уступкам, к мысли, что надо идти на компромиссы. Они аккуратно щупают, дозрел ты или нет. Нет? – Ну что ж, иди в свой подвал, дозревай, у них впереди столетия.

Глупые люди! Они не знали, что я возвращаюсь к своим друзьям, к нашим прерванным беседам у камина. Откуда им было

знать, что я разговаривал с ними, стоя на стене замка, сверху вниз, озабоченный больше проблемой благоустройства конюшен, чем их глупыми вопросами? Что они могут сделать против толстых каменных стен, против зубчатых башен и бойниц? И я, посмеявшись над ними, возвращался к своим гостям, плотно прикрывая за собой массивные дубовые двери.

Именно в такой момент, когда все безразлично, когда сознание онемело и только с тоской отсчитывает дни, – в соседнем карцере кому-то становится плохо, кто-то теряет сознание и падает. И нужно колотить в дверь, скандалить и звать врача. За этот стук и скандал разъярённый гражданин начальник непременно продлит тебе карцерный срок. Поэтому молчи, уткнись головой в колени, скажи себе, что ты спал и ничего не слышал. Какое тебе дело? Ты его не знаешь, он тебя не знает, вы никогда не встретитесь. Ты ведь действительно мог не услышать. Но может ли себе это позволить обитатель замка?

Я откладываю книгу в сторону, беру свечу и иду к воротам, чтобы впустить в замок путника, которого застигла непогода. Какое мне дело, кто он? Даже если это разбойник, он должен обогреться у очага и переночевать под крышей. И пусть беснуется буря за воротами замка – ей не сорвать крыши, не пробить толстых стен, не задуть моего камина. Что она может, буря? Разве что выть и рыдать мне в трубу.

Тюрьма как общественный институт известна человеку с незапамятных времен, и смело можно сказать, что как только возникло само общество, так сразу же возникла и тюрьма. Видимо, с того же времени процветает литературный жанр тюремных воспоминаний, дневников, записей и заметок. Дело здесь не в том, что недавние обитатели тюрем – люди словоохотливые. Совсем напротив. Освободившийся из тюрьмы человек склонен скорее избегать общества или разговоров и больше всего любит тихо сидеть где-нибудь в одиночестве, неподвижно уставясь в одну точку. Но уж больно теребят его окружающие, задают кучу,как правило, самых нелепых вопросов, требуют все новых рассказов, и чувствует человек, что не будет ему житья, пока не напишет он тюремных воспоминаний. За всю нашу историю по меньшей мере десятки миллионов людей побывали в тюрьме, и тысячи из них изложили на бумаге свои впечатления. Однако это не утоли-

ло жажды человечества, того вечного жгучего интереса, который неизменно возбуждает к себе тюрьма. Потому что с древнейших времен привык человек считать, что всего страшнее на свете — *смерть, безумие* и *тюрьма.* А страшное притягивает, манит, страх — всегда неизвестность. Ну, в самом деле, вернись сейчас кто-нибудь с того света — то-то его вопросами замучают!

Три события, приходящие независимо от нашего желания, по воле рока, как бы взаимосвязаны. Если безумие — это духовная смерть, духовная тюрьма, то и тюрьма — подобие смерти, а чаще всего и приводит человека к смерти или безумию. Человека, попавшего в тюрьму, и оплакивают, как покойника, и вспоминают, как усопшего, — все реже и реже с течением времени, точно он и вправду не существует. Эти вот три страха, живущие в человеке, используются обществом для наказания непокорных. Точнее сказать, для устрашения остальных — ибо кто ж теперь всерьез говорит о наказании?

Понятно, что каждый член общества живо интересуется, чем же его пугают и что же с ним, в самом деле, могут сделать. И так это устрашающее назначение тюрьмы прочно засело в сознании людей, что все — от законодателя до надзирателя — считают само собой разумеющимся: в тюрьме должно быть скверно и тяжко. Ни дна тебе, ни покрышки быть не должно. Ни воздуху, ни свету, ни тепла, ни пищи — это ж не курорт, не дом родной! Иначе вас и на волю не выгонишь, уходить не захотите! Особенно же возмущается общество, когда заключенный начинает заикаться о каких-то там своих правах или о человеческом достоинстве. Ну, представьте себе, в самом деле, если грешники в аду начнут права качать — на что это будет похоже?

При этом как-то само собой забылось, что первоначально предполагалось не заключенных пугать, а тех, кто еще на воле остался, то есть само общество. И, стало быть, это общество само себя теперь тем больше пугает, чем больше терзает заключенного. Они, следовательно, жаждут этого страха. Конечно, и тюремное население, как всякое порядочное общество, имеет свою внутреннюю тюрьму, называемую карцером, а кроме того — различные режимы содержания: менее строгие, более строгие, особо строгие. Поскольку даже в тюрьме человеку должно быть не безразлично, что же с ним станется. Всегда должно быть что-то, что можно еще у него отнять и чего он терять не хочет.

Потому что человек, которому терять нечего, смертельно опасен для общества и является величайшим соблазном для всех честных людей – если, конечно, он не труп. И чтобы не завидно было остальному человечеству, чтобы не соблазнялись праведные души, все эти режимы и внутренние наказания рассчитаны таким образом, что последняя их стадия, когда человеку действительно терять нечего, подводит как можно ближе к состоянию естественной смерти. Потому-то знающий зэк не судит о тюрьме по фасаду или по общей камере – он судит по карцеру. Так и о стране вернее судить по тюрьмам, чем по достижениям.

Веками внутреннее устройство тюрем было примерно одинаково, и постороннему человеку, который придет на экскурсию, скажем, в Петропавловскую крепость, никак не понять, что же в ней особенного, в этой тюрьме. Койка – как койка, стены – как стены. Ну, решетки на окнах. Так ведь на то же и тюрьма, чтобы не убежать. И книжки читать разрешали – чего ж еще желать. И уж совсем не понять постороннему человеку, что такое режим.

Какая, собственно, разница – час у тебя прогулки или полчаса, 450 грамм хлеба дают на день или 400, 75 грамм рыбы или 60? Это надо быть бухгалтером или поваром, чтобы подсчитать такое обилие цифр. Постороннему человеку одно только и интересно: умирали заключенные от всего этого или не умирали. Ах, не умирали – ну, так не о чем и говорить! Обычно самое сильное впечатление производят на посторонних сводчатые потолки и толстые стены. Мрачно, страшно! Вот она какая, тюрьма-то, бррр... И сколько бы тюремных воспоминаний они ни прочли, никогда не понять им всех этих мелочей, всех этих пустяков.

Вот стоит сваренная из металлических стержней кровать. На ней ватный матрац – все вроде бы нормально. Но, оказывается, заключенные, спавшие на таких кроватях, даже голодовку объявляли, требуя, чтобы уменьшили просветы между металлическими стержнями. Странно как-то – стояли кровати лет уже, наверно, двадцать, и никто не заикался насчет просветов. Сдурели что ли зэки, есть им не хотелось или куражились? Дотошный архивист, может быть, раскопает в тюремных архивах, что примерно в то же время распорядился начальник тюрьмы отби-

рать у заключенных старые газеты и журналы. Вполне разумное распоряжение – чтобы, стало быть, не захламляли зэки камеру всякой макулатурой. Похвально. Но никакой связи между этими двумя событиями даже архивист не усмотрит, и только зэк может понять эту связь – если спать на этой кровати он мог, только подложив под матрац кучу журналов и газет. Но вот отобрали их – и моментально кровать обратилась в орудие пытки. За одну ночь матрац весь провисает в дырки, и ты спишь на железной решетке.

Полагается, например, в карцере тумба или иное приспособление для сидения, и всякий карцер имеет такое приспособление – некий выступ из стены, сиди себе и сиди целый день. Но вот сделали этот выступ чуточку выше, чем надо бы, и чуточку короче, у́же – плотно сесть нельзя, а ноги не достают до пола. Всего-то, казалось бы, сантиметры какие-то, пустяки...

А эти 50 грамм хлеба или 15 грамм рыбы – что за мелочи, право, и говорить даже стыдно. Забывает человек, что даже пушинка сломала когда-то спину верблюду. Забывает, что разница между жизнью и смертью такая ничтожная, такая пустяшная: всего-то на пару градусов изменить температуру тела – глядь, а это уже труп. И сколько существует тюрьма, этот общественный институт, столько же продолжается борьба, кипит великая битва между зэками и обществом. За граммы, сантиметры, градусы и минуты. Идет она с переменным успехом. То зэки напрут, а общество отступит. Там 50 грамм, здесь – 5 сантиметров, тут – 5 градусов отвоюют зэки, и глядишь – жизнь! Но не может общество допустить жизнь в тюрьме. Должно быть в тюрьме страшно, жутко – это же тюрьма, а не курорт. И вот уже напирает общество: там 50 грамм долой, здесь 10 сантиметров, тут 5 градусов, и начинают зэки доходить. Возникают сосаловка, мориловка, гнуловка. Начинаются людоедство, помешательство, самоубийства, убийства и побеги.

Много лет наблюдал я за этой борьбой, глухой и непонятной для посторонних. Есть у нее свои законы, свои великие даты, победы, битвы и поражения. Свои герои, свои полководцы. Линия фронта в этой войне, как, видимо, и в других войнах, все время движется. Здесь она именуется режимом. Зависит она от готовности зэков идти на крайность из-за одного грамма, сантиметра, градуса или минуты. Ибо, как только ослабевает их оборона,

тотчас же с победным кличем бросаются вперед эскадроны с красными погонами или с голубыми петлицами. Прорывают фронт, берут в клещи, ударяют с тыла — и горе побежденным! Победителя же никогда не судят.

Новому поколению зэков никогда не удастся отвоевать прежних позиций — новое положение они воспримут как нормальное, как исконное, как должное. Они могут десятки раз выигрывать свои битвы, но проиграть можно только единожды. Поэтому зэки, объявившие голодовку и снявшие ее, ничего не добившись, проиграли не только свою войну, но и многим будущим поколениям ухудшили жизнь. Вот еще почему не можешь ты погрузиться в безразличие, впасть в оцепенение. Оно, это безразличие, будет шептать тебе в ухо: главное — выжить! Думай о сегодняшнем дне, прожил его — и слава Богу. И вот уже гремят копыта, поет труба, идут в атаку эскадроны.

Так-то вот сидел я себе во Владимире и почитывал книжечки. Кроме основного своего предмета — биологии учил я еще английский. Большинство в наших камерах обычно учит какой-нибудь язык: евреи, как правило, учат иврит, остальные — кто английский, кто немецкий, кто испанский. Методика самая простая: читай как можно больше книг со словарем и выписывай незнакомые слова, а потом все время эти слова повторяй. Обычно для удобства выписывается слово на клочок бумаги: с одной стороны само слово, на обороте — его русское значение. Карточки эти потом удобно перебирать той или другой стороной. А чтобы они не путались и не терялись, вошло у нас в моду клеить из пустых спичечных коробок шкаф. Очень удобный получался шкаф — в пять-шесть рядов, с выдвижными ящичками. Таким вот способом при известном напряжении можно выучить за месяц две, а то и три тысячи слов. Можно их группировать по ящичкам шкафа — по смыслу или по иному признаку. Начальство уже к нашим ящикам так привыкло, что даже и на шмоне их не отбирали. С книгами же, и в особенности со словарями, было гораздо труднее.

Из дому получать книг не разрешалось, библиотека была бедная, а можно было выписывать книги из магазинов по почте наложенным платежом. Но и то не всякие книги разрешались. В особенности же было запрещено иметь книги, изданные не в

СССР, — даже словари, даже изданные в Праге или в Варшаве. Потому, естественно, все норовили получить книги как-нибудь нелегально.

Мне в этом смысле повезло. Еще сидел я под следствием в Лефортове, а мать моя уже начала передавать каждый месяц по три-четыре книги, вместе с передачами. Причем среди советских книг были и не советские, изданные в Англии и в Соединенных Штатах. Лефортовское начальство мне их, конечно, не передавало, а складывало на склад. Надеялись они, что я о том не знаю и при отъезде из тюрьмы не потребую. Таким образом скопилось их на складе штук 30. Отправляли же меня из Лефортова во Владимир ночью, когда крупного начальства в наличии не было. Естественно, я начал скандалить, требовать свои книги и пригрозил заявить этапному конвою, что тюрьма не отдает мне вещи. Этапный же конвой ни тюрьме, ни КГБ не подчиняется, более того — как и все офицеры МВД, с КГБ враждует. Поэтому, рассчитал я, вполне может конвой заартачиться и не взять меня на этап "как имеющего материальные претензии к тюрьме" — так это называется. Того же, видимо, боялись и лефортовские надзиратели. Конечно, дежурный офицер сначала поругался со мной с полчаса для приличия, попытался взять на горло. Но уж знали они меня достаточно, сидел я у них третий раз, — понимали, что не уймусь, и книги отдали. Так и привез я во Владимир целый мешок книг — еле дотащил.

С этим мешком книг имел я потом постоянную мороку: то их у меня отнимали — для проверки, а потом не отдавали; то, наоборот, заявляли, что проверять их некому, а потому отдать нельзя; то вводили лимит — 5 книг на руки, остальные опять же отбирали. И каждый раз приходилось мне из-за них то жалобы писать, то голодовки объявлять. Один раз в лагере я их даже украл со склада, подменив другими. Словом, целая эпопея. Любопытно, однако, — никто их ни разу не просматривал, никто даже не знал, что они не советские, иначе мне никакие голодовки не помогли бы. Просто раздражал мой мешок начальников. "У нас здесь не университет, учиться будете после освобождения". Вот и все.

Так или иначе, а каждый из нас имел свой мешок с книгами, причем, как правило, книги эти передавались по наследству — от одного поколения зэков к другому — и являлись как бы об-

щественным достоянием. А потому шла у нас с начальством непрерывная книжная война – как, впрочем, и по другим вопросам режима война не прекращалась. Книги приходилось прятать, чтобы не попадали они начальнику на глаза, особенно же на случай шмона. Задача эта далеко не простая – книга же не иголка, куда ее спрятать? В камере как ни трудно, а все-таки еще можно извернуться. Но хуже нельзя было придумать, если вдруг открывалась кормушка и корпусной говорил: "Соберитесь с вещами". Это могло означать все, что угодно: перевод в другую камеру, перевод на другой корпус, в карцер, на этап. И во всех случаях предстоял персональный шмон. Куда ж их девать, эти чертовы книги?

Помогало очень, если оторвать у книги корешок, титульный лист, а то и предисловие. И тогда можно было спорить, что это не книга вовсе, а бумага для туалетных надобностей. Так можно было одну-две книги заначить. Еще навострились ребята подделывать библиотечный штамп: дескать, это не моя книга, а библиотечная. Но и это разоблачили со временем. Если с книжки ободрать корешок, а на его место аккуратно приклеить обложку от толстого журнала, то можно было выдавать ее за журнал – "Октябрь" или "Новый мир", например. Но вскоре стали отбирать и журналы. Самое же верное было побыстрей читать и как можно больше переписывать в тетрадь. Такие конспекты считались уже законной собственностью зэка и тоже переходили по наследству. Но их часто забирал на проверку КГБ, чтобы выяснить, не пишем ли мы антисоветских романов или тюремных дневников. Словом, шла Столетняя книжная война.

Начальство наше очень скоро сообразило, что мы, в отличие от уголовников, гораздо острее переживаем потерю книг, свиданий или переписки с родственниками, чем лишение продуктов питания, строгий режим или пониженный рацион, и потому нажимало на всякие духовные лишения. Хотя, конечно, ударить по желудку, как говорят уголовники, всегда оставалось излюбленным средством воспитателей, им они тоже не пренебрегали. У нас же было свое оружие: жалобы, голодовки, упорство и изобретательность. Но главное, без чего никакая изобретательность не спасла бы нас, – это сплоченность и гласность.

Поразительное явление: всего каких-нибудь тридцать лет назад десятки миллионов политических заключенных гнали на великие стройки коммунизма, сотни тысяч их гибли от цынги и дистрофии. А весь мир в это время, захлебываясь от восторга, восхвалял прогрессивный советский режим. Не то что бы не хватало им информации, а просто не желали знать, не хотели верить. Хочется людям иметь красивую мечту о счастье и справедливости где-нибудь на земле. И даже самые серьезные западные наблюдатели изумлялись грандиозности советских достижений, размаху строительства, энтузиазму советских людей, о зэках же – ни слова.

Теперь же по стране сидело нас, политических, никак не больше двух десятков тысяч, примерно столько, сколько в одном Норильске умирало раньше зэков за зиму. Но уже почуяли на Западе, что и их судьба, их собственное будущее решается отчасти во Владимирской тюрьме. Стала западная печать уделять нам некоторое внимание, даже вникать в нашу режимную войну, во все эти граммы, градусы, сантиметры. Заинтересовалось вдруг человечество – может ли быть тюрьма с человеческим лицом? Нам это оказалось весьма кстати – тюрьма-то у нас давно была, а вот человеческого лица сильно не хватало. А потому не успевала иногда закончиться наша очередная голодовка, как надзиратели тайком сообщали нам подробности передач Би-Би-Си или радио "Свобода" об этой самой голодовке – даже их увлекла эта радиовойна.

Забеспокоились и кремлевские вожди – очень их стало заботить, что тускнеет фасад великого здания. Ах, это всегда так некстати! Вот в тот самый момент, когда пролетарии всех стран готовы были, наконец, соединиться и воплотить вековую мечту человечества, в тот самый миг, когда все усилия народов надо направить на борьбу с диктатурой в Чили или с апартеидом в Южной Африке, – вдруг выплывают какие-то зэки, какие-то голодовки, па́йки, граммы и градусы. Это отвлекает трудящихся, помогает мировому империализму, отдаляет светлое будущее.

А с другой стороны – менялось настроение и самой государственной машины: не было больше того революционного пыла и рвения – расстрелял его Сталин в 30-40-е годы. Все больше деревенел аппарат, захватывали его чиновничья апатия, боязнь

ответственности, боязнь начальства, добротное бюрократическое равнодушие. Обросли законами, инструкциями, постановлениями, и не всегда понятно было, как их толковать. Лучше всего, конечно, — доложить наверх и ждать распоряжений. Сверху же распоряжаться не спешили. Сверху любили, в основном, наказывать чиновников за нерадивость, спускали все новые инструкции, постановления, которые опять надо было истолковывать как-то, примирять их вечные противоречия. И пухла голова у начальника тюрьмы.

Ему и понятно, что всякая инструкция должна быть использована против зэков, но вот до какой степени? Перегнешь немножечко, поприжмешь их покрепче, и глядишь — голодовка. Опять завопят из Лондона, Мюнхена, из Вашингтона. А это значит, что недели через три-четыре нагрянет комиссия из Москвы. "Как же так, товарищи? Поддались на провокацию мирового империализма!" Конечно же, найдут какие-нибудь неполадки, недоделки, запишут, укажут, поставят на вид, а то и снимут — у каждого чиновника ведь пропасть врагов, так и норовят подсидеть, занять место, вырвать кусок из глотки. Поэтому офицеры и начальники тюрьмы тоже слушают западные радиостанции, крутят по ночам приемники, спрашивают друг друга наутро: было вчера что-нибудь? Было — значит, жди комиссии. Вздыхают старые тюремщики: распустили вас, двадцать бы лет назад!..

Но и мы уже далеко не те кролики, что умирали молча и безропотно. Мы поняли великую истину, что не винтовка, не танки, не атомная бомба рождают власть, не на них власть держится. Власть — это покорность, это согласие повиноваться, а потому каждый, отказавшийся повиноваться насилию, уменьшает это насилие ровно на одну двухсотпятидесятимиллионную долю. Мы прошли через участие в правовом движении, прошли хорошую школу в лагерях, мы знаем, какую сокрушительную силу имеет человеческая непокорность. Знают все это и власти. Давно уже отбросили они в своих расчетах всякие коммунистические догмы. Не нужно им больше от людей веры в светлое будущее — им нужна покорность. И когда нас морят голодом по лагерям или гноят по карцерам, добиваются от нас не веры в коммунизм, а покорности или хотя бы компромисса.

Во Владимирскую тюрьму нас собрали по всем лагерям – самых непокорных, самых упрямых: голодовщиков, забастовщиков и жалобщиков. Здесь почти не было людей случайных, а те немногие случайные люди, которые попадали к нам, поневоле встраивались в нашу линию обороны.

В соседних камерах сидели зэки на особом режиме, по таким же статьям, как и наши. Большинство их, однако, были люди случайные – в основном, уголовники, проигравшиеся в карты или еще как провинившиеся перед своими сокамерниками. Чтобы избежать расплаты, эти люди расклеивали в своем лагере листовки или делали себе антисоветскую татуировку – им добавили срок и посадили на этот вот особый режим как "политических рецидивистов". Конечно же, по существу, психологически, они оставались уголовниками. И что удивительно: у них, на особом, режим ничем не отличался от режима сталинских лагерей. То же начальство, те же надзиратели относились к ним совсем иначе, чем к нам: их били, унижали, они дрались между собой за пайку хлеба, они предавали друг друга – какая уж там оборона!

До 1975 года нас, политических, на работу не гоняли: тюремное начальство считало это нецелесообразным. Знали они по прошлым годам, что большинство на работу не пойдет, а кто и пойдет, все равно норму делать не будет. Невыгодно было это тюрьме – держать рабочее помещение, вольнонаемных мастеров и добавочный план на нас, не получая реальной выработки. Весной же 75-го – в ожидании Хельсинки что ли – Москва распорядилась иначе: приказано было заставить нас работать.

Принудительный труд и вообще-то унизителен для человека. В условиях же тюремной системы, где 60% заработка вычитается тюрьмой на нужды охраны, а из оставшейся суммы вычитается стоимость твоего питания, одежды и содержания, где работа – это средство твоего перевоспитания, где отнимает она 8 часов в день при шестидневной рабочей неделе, притом нормы выработки искусственно завышаются, чтобы сделать труд непосильным, – в таких условиях труд неприемлем для уважающего себя человека.

Естественно, мы отказались. И началась долгая осада. Всех нас – как злостных отказчиков – по нескольку раз протащили через все возможные виды наказания: только на строгом режиме я за это время просидел полтора года (это из неполных

двух!). Другим больше досталось карцеров, кое-кто просидел там по 60 и даже 75 суток. Нам пресекли переписку с родными, лишили свиданий, продуктов. Война шла безжалостная, на износ. Каждый понимал, что проиграть нельзя. Поэтому кроме обычных методов обороны – голодовок и нелегальной передачи информации на волю о беззакониях в тюрьме – мы применили и несколько неожиданный метод: завалили официальные инстанции буквально лавиной жалоб.

Нужно знать советскую бюрократическую систему, чтобы понять, какой это давало эффект. По существующим в СССР законам, каждый заключенный имеет право подавать жалобы в любые государственные или общественные учреждения и должностным лицам. Жалоба должна быть отправлена тюрьмой в трехдневный срок с момента ее подачи. За это время начальство должно написать сопровождающее ее пояснение от себя, а также выписку из личного дела жалующегося и все это вложить в тот же конверт, что и жалобу. Инстанция, которая жалобу получает, регистрирует ее в журнале своих входящих бумаг и обязана в течение месяца дать на нее ответ. Если инстанция не компетентна решать затронутый в жалобе вопрос, она пересылает ее в компетентные инстанции. На повторную жалобу заводится отдельное производство. Существует несколько законов и инструкций, регулирующих порядок рассмотрения жалоб. На практике, если вы написали одну жалобу, это никогда не дает эффекта: ее перешлют "компетентному лицу", то есть именно тому, на кого вы жалуетесь. А он, естественно, найдет жалобу необоснованной. Чаще всего жалоб просто никто не читает, а сразу пересылают их вниз, по инстанции. Такая практика породила в людях неверие в силу жалоб. Ворон ворону глаз не выклюет – говорят зэки.

Однако при соблюдении известных правил жалобы весьма эффективны, даже в тюрьме. Нужно только:

– знать законы и порядок рассмотрения жалоб;

– досконально знать все законы и инструкции о тюремном режиме;

– жалобу составлять предельно кратко, четко, лучше всего на одной странице, иначе ее никто читать не станет. В жалобе должен быть указан только факт нарушения закона или инструкции, дата этого события, фамилии виновных и указание на за-

кон или инструкцию, которые при этом были нарушены;

– писать нужно крупными буквами и разборчивым почерком, оставляя сбоку поля;

– если ты хочешь, чтобы жалобу рассматривала высокая инстанция, жалуйся на начальника предыдущей: то есть,если тебе надо, чтобы отвечало главное управление МВД, жалуйся не на начальника тюрьмы, а на начальника областного управления. Для этого нужно медленно подниматься по ступенькам чиновничьей лестницы, жалуясь каждый раз выше на ответ предыдущей инстанции;

– никогда не жалуйся по двум различным вопросам в одной и той же жалобе;

– отправлять жалобу надо заказным письмом с уведомлением;

– самое главное условие: жалобы надо писать в огромных количествах и в самые некомпетентные инстанции.

В разгар нашей войны мы писали каждый от десяти до тридцати жалоб ежедневно. Сочинить тридцать жалоб в один день трудно, поэтому обычно мы распределяли между собой темы и каждый писал на свою тему, а потом давал остальным переписать. Если у вас в камере 5 человек и каждый берет себе по 6 тем, то в результате обмена каждый напишет по 30 жалоб, а сочинять придется только по шесть. Переписывать же 30 страничек готового текста, да еще крупным почерком – это примерно полтора-два часа работы.

Адресовать жалобы лучше всего не чиновникам, а самым неожиданным людям и организациям: например, всем депутатам Верховного Совета, республиканского или областного, городского совета, всем газетам и журналам, всем космонавтам, всем писателям, художникам, артистам, балеринам, всем секретарям ЦК, генералам, адмиралам, передовикам производства, чабанам, оленеводам, дояркам, спортсменам и так далее, и тому подобное. В Советском Союзе все мало-мальски известные люди являются должностными лицами.

Далее происходит следующее: тюремная канцелярия оказывается завалена жалобами и не успевает отправлять их в трехдневный срок, так как им нужно составлять вышеупомянутые сопроводительные записки к каждой жалобе. За нарушение срока отправки они непременно получат выговор и лишатся преми-

альных. В самые жаркие дни нашей войны по приказу начальника тюрьмы в помощь канцелярии привлекались все: библиотекари, вольнонаемные бухгалтеры, цензоры, офицеры политчасти, оперативники. Более того – рядом с тюрьмой находилось училище МВД, так курсантов пригоняли помогать канцелярии.

Все ответы и отправки нужно регистрировать в специальную тетрадь и строго следить за соблюдением сроков ответа и отправки. Все эти жалобы проходят сложный путь и во всех инстанциях регистрируются, на них заводятся папки и делопроизводство. В конечном итоге они все обрушиваются в две инстанции: в местную прокуратуру и местное управление МВД. Эти инстанции тоже не успевают отвечать, тоже нарушают сроки, за что тоже получают выговоры и лишаются премий. Бюрократическая машина работает на всех парах, а вы переносите бумажный вал с инстанции на инстанцию, сея панику в рядах противника. Чиновники есть чиновники, они вечно враждуют друг с другом, и очень часто ваши жалобы становятся оружием в их руках для междуусобной или межведомственной войны. Так продолжается несколько месяцев. Наконец, в дело вступает самый мощный фактор советской жизни – статистика.

В какую-то высокую инстанцию докладывают среди прочих цифр и сводок, рапортов и сообщений о ходе строительства коммунизма, что вот на Владимирскую тюрьму, а то и на всю область поступило – за отчетный период – 75 тысяч жалоб. Никто этих жалоб не читал, но цифра неслыханная. Она сразу портит всю отчетную статистику, какие-то показатели в социалистических соревнованиях каких-то коллективов, управлений или даже областей. Всем плохо: вся область из передовых переходит в отстающие, у нее отбирают какие-то там переходящие красные флаги, вымпелы и кубки. Трудящиеся негодуют, в обкоме паника, а в вашу тюрьму срочно снаряжается высокая комиссия.

Эта комиссия не поможет вам лично, разве что разрешит несколько мелких вопросов в ваших жалобах. Но она обязательно должна найти массу недостатков и упущений в работе начальства. За этим ее и посылали, платили ей командировочные, суточные и премиальные. Начальство получает разгон. Кого-то снимают, кого-то понижают в должности, кто-то получает выговор, комиссия рапортует вверх о принятых мерах и удовлетворенно уезжает домой. Далее, поскольку вы посылали жалобы всяким

дояркам, депутатам, балеринам и оленеводам, то им всем тоже надо отвечать, разъяснять и успокаивать, сообщать о решении комиссии и о принятых мерах.

А вы все пишете и пишете дальше, портите статистику за новый отчетный период и выбиваете новую комиссию, и так – годами. Прибавьте сюда комиссии и выговоры, которые возникают в результате утечки информации за рубеж, директивы, циркуляры, контрприказы, жалобы родственников, кампании и петиции за границей – и вы поймете, что́ выдержало наше начальство, воюя с нами за выход на работу. Какой начальник тюрьмы, какой прокурор, какой секретарь обкома КПСС захочет такой жизни? И если бы это зависело только от них, мы давно бы прорвали блокаду. Но был приказ Москвы.

Бог мой, чего только они ни делали с нашими жалобами: их конфисковывали мешками, их крали, не давали нам бумаги, не продавали конвертов и марок, запрещали отправлять заказными с уведомлением (чтобы удобнее было красть), издали специальный приказ и запретили писать жалобы куда бы то ни было, кроме прокуратуры и МВД, сажали за жалобы в карцер. А ответы – какие мы получали ответы! Это же фантастика! Ошалевшие чиновники, не успевавшие даже прочитать наши жалобы, отвечали невпопад, путали адресатов, путали жалобы. Они так перекорежили и переврали несчастные законы, что их самих можно было сажать в тюрьму. Например, полковник МВД из местного управления отвечал мне, обалдев от бумажной бури, что съезд КПСС не является общественной организацией и поэтому, дескать, нельзя обращаться к нему с жалобами. Конечно же, последовал шквал жалоб на полковника, и он исчез в этом водовороте.

А владимирские суды, совершенно осатанев от груды исков и требований уголовного преследования наших начальников, отвечали нам, например, что офицеры МВД неподсудны советским судам. Наконец, на все махнув рукой, нам вместо ответов стали присылать расписки примерно такого содержания: "За истекший месяц получены и отклонены 187 ваших жалоб" – и подпись. Вся бюрократическая система Советского Союза оказалась втянута в эту войну. Не было такого ведомства или учреждения, области или республики, откуда б мы не получили ответа. Бывало, что две инстанции давали диаметрально проти-

воположный ответ, и тогда мы их стравливали. Под конец мы втянули в эту игру даже уголовников, и жалобная зараза стала расползаться по тюрьме – всего же в тюрьме было 1200 человек.

Я думаю, если дело протянулось бы несколько дольше и вся тюрьма включилась бы в эту работу, то советская бюрократическая машина просто вышла бы из строя: все учреждения Советского Союза прекратили бы свою работу и писали бы нам ответы. Но они сдались. Осада была снята после двух лет борьбы. Нашего начальника тюрьмы сняли и отправили на пенсию, произвели кое-какие перемещения в администрации, и все затихло. Москва отступилась от своего приказа. Бедный наш полковник Завьялкин! Он пострадал ни за что, пал жертвой административной несправедливости. В сущности, он не был злым человеком, он был просто исполнительным чиновником. Он плохо понимал, что происходит, а от бесчисленных комиссий и противоречивых указаний, сыпавшихся ему на голову, он защищался весьма своеобразно – прикидывался дурачком, этаким исполнительным дурачком, который все хочет, как лучше, да вот беда – выходит наоборот! Его распекали, его бранили, ставили на вид – он все принимал с видом безвинного, но невезучего человека.

Победа досталась нам нелегко. Поддошли, отощали ребята, у каждого открылась какая-нибудь болезнь: у того – язва, у этого – туберкулез. В тюрьме и здоровому человеку нелегко, а уж больному – совсем труба. Болезнью тебя начинают шантажировать: будешь сговорчивым – подлечим, дадим диетпитание, переведем в больницу. При язве и болезни печени всю эту гнилую кильку и тухлую квашеную капусту совсем невмоготу есть, а это – 60% твоей пищи, куда деваться? Если у тебя туберкулез или, скажем, голодные боли при язве, очень любят начальники сажать в карцер. Да еще в голодный день, когда пищи не полагается, норовят тебя вызвать на беседу. Туберкулезникам, по крайней мере, легче – они хоть боли не чувствуют.

Собственно, лечить здесь никого не лечат. Могут слегка смягчить остроту болезни, залечить поверхностно, не допустить смерти. В результате, как правило, у всех болезни приобретают хроническую форму, и потом уже от них не избавишься – всю

жизнь на лекарства зарабатывай. Это считается вполне нормальным. "Вы что, лечиться сюда приехали? Мы вас в тюрьму не звали, не надо было попадать", – говорят врачи. Да и больница, собственно говоря, ничем не отличается от обычной камеры: такие же бетонные полы, такие же жалюзи на окнах; ни света, ни воздуха, только что кормят получше. Даже унитазов нет – на оправку водят два раза в день. Не захочешь такой больницы.

Вообще медпомощь здесь рассматривается как награда за хорошее поведение. В соседней камере у уголовников сидит эпилептик. Каждый день зэки стучат в дверь, требуют врача. Какой там врач! Часа через четыре, может быть, заглянет в кормушку фельдшер: "Что, эпилептик? Не умрет, больше не зовите", – и захлопнет кормушку. Когда у нас в камере стало плохо Гуннару Роде, мы полночи ломились в дверь, орали в окно, вырвали из пола скамейку и ей с разбегу били в дверь, как тараном, выбили кормушку напрочь, дверь треснула. Еще немного, и дверь бы вылетела. Потом нас всех посадили в карцер, но Роде все-таки забрали в больницу. В другой раз посадили опять в карцер Сусленского, а он сердечник, и как его в карцер посадят, у него дня через три – приступ. Так и в этот раз. Тут уж весь корпус, все камеры, включая уголовников, ломали двери – грохот стоял, как при канонаде. Корпус ходуном ходил. Шутка сказать, 66 камер – около двухсот человек – долбили двери. В результате Сусленского на носилках перенесли в другой карцер, на другой корпус – только и всего.

Так что нелегко нам досталась наша победа – зато для скольких поколений зэков отстояли мы право не работать в тюрьме, кто знает? Да и добились многих улучшений. А самое главное, боятся нас теперь начальники, как огня! И когда новый начальник тюрьмы попытался было опять прижать нас с книгами – всего только несколько дней и проголодали, а уж начальник сдался. Нас и пальцем тронуть не смеют теперь. Уголовников же что ни вечер кого-нибудь отволокут в туалет и лупят. А то в наручники затянут и месят сапогами. Что ни вечер – крики, стоны. Особенно известен этим майор Киселев. Вечно пьяный, с белесыми, невидящими глазами, он просто больной делается, если за смену кого-нибудь не отметелит. Нас же обходит стороной, даже дышать боится, чтобы не учуяли запах перегара.

Особенно навалились мы на него после того, как в конце

74-го года убили в его смену в карцере уголовника по кличке Дикарь. Никто не знал фамилии этого несчастного Дикаря, и были мы в затруднении, как же писать об этом случае в заявлениях: так и писали – "уголовник по кличке Дикарь". Долго его били, видно, всю ночь, потому что всю ночь выл он в карцере. Несколько раз за эту ночь вызывали мы корпусного, спрашивали, в чем дело. "А кто его знает, – отвечал он, – должно быть, сумасшедший, вот и воет". Наутро сообщили нам уголовники, в чем было дело. С тех пор два года одной из наших постоянных тем в жалобах был этот Дикарь – требовали суда над Киселевым. Одних только жалоб написали тысячи полторы. Суда, конечно, не добились, прокуратура неизменно отвечала: "Причастности администрации к смерти осужденного Гаврилина не установлено". Только так и узнали его фамилию.

Киселев, однако, поутих и уж во всяком случае нас боялся. Ненавидел он нас при этом люто и всегда норовил составить на нас рапорт, чтоб наказали. Вся смена у него была такая же, как он, словно на подбор, – один Сорок первый чего стоил! Маленький такой корпусной, старшина Сарафанов, постоянно дежурил на первом корпусе в смене Киселева. Кличку свою он получил от зэков много лет назад за то, что за одну смену как-то написал 41 рапорт. Как он ухитрился успеть – уму непостижимо, тем более что был он полуграмотный. Исключительно ехидная скотина! Этот, да еще корпусной по кличке Цыган, тоже из смены Киселева, больше всего доставляли нам забот и открыто нас ненавидели. Цыган был, правда, откровеннее, прямее. Кричал нам, не стесняясь: "Жаль, Гитлер не всех вас в печках сжег!" – он считал, что мы все евреи. Ну, уж и мы им спуску не давали.

Остальные надзиратели, особенно помоложе, относились к нам неплохо, иногда с открытым сочувствием. Так же, как и мы, ненавидели они капитана КГБ Обрубова, приставленного к нам в качестве оперуполномоченного по тюрьме. Как и уголовники, надзиратели называли его Адмирал Канарис. Внешне Обрубок действительно чем-то походил на Канариса, но, думаю, был во много раз глупее. Подсылал он к нам постоянно баландеров, шнырей и прочих уголовников из хозобслуги, чтобы те взяли у нас какую-нибудь записочку на волю или письмо. За это приносил им тайком запретный в тюрьме чай. Хозобслу-

га, естественно, все это рассказывала нам, считая такой путь наиболее простым, и просила нас сочинять для них туфтовые записочки. Нам это тоже было выгодно, так как взамен хозобслуга соглашалась передавать нашим в карцер махорку, а иногда и хлеб. Поэтому мы регулярно снабжали Обрубова туфтовыми посланиями на волю, а то и петициями в ООН, которые он представлял выше как доказательство своей полезности. Заработанный таким образом чай баландеры продавали в камеры блатным, так что все были довольны.

Несколько лет тому назад, как рассказывают, был Обрубов понаглее и понастырнее, вызывал всех подряд и предлагал сотрудничать, писать доносы. Одним в награду обещал приносить еду, другим – водку, третьим – досрочно освободить. Наконец, надоело это ребятам. Особенно же взорвались после того, как вызвал Обрубов таким вот образом Заливако, Бориса Борисовича, бывшего священника, и предложил ему – за сотрудничество – после освобождения помочь получить приход. Некоторое время потребовалось, чтобы сговориться, особенно между разными корпусами, и в назначенный день все как один объявили голодовку с требованием прекратить наглую вербовку и убрать Обрубова. Совершенно неожиданно голодовка эта вызвала ликование у начальства и даже в прокуратуре. Моментально появились начальник тюрьмы и прокурор и, еле сдерживая радость, спрашивали, действительно ли Обрубов так грубо вел вербовку. С тех пор Обрубов открыто не появлялся, вербовать не отваживался, да и не вызывал почти никого, бродил где-то вокруг нас. Уголовники рассказывали нам, что много раз видели, как он стоит часами и подслушивает у дверей наших камер.

Надо сказать, что отношение к нам уголовников тоже стало совершенно иное. Рассказывают, что еще лет 20 назад называли они нашего брата не иначе как фашистами, грабили на этапе и по пересылкам, угнетали в лагерях и так далее. Теперь же вот эти самые уголовники добровольно помогали таскать на этапах мои мешки с книгами, делились куревом и едой. Просили рассказать, за что мы сидим, чего добиваемся, с любопытством читали мой приговор и только одному не могли поверить – что все это мы бесплатно делаем, не за деньги. Очень их поражало, что за вот так за просто, сознательно и бескорыстно люди идут

в тюрьму. Во Владимирской тюрьме отношения у нас с ними сложились самые добрососедские: постоянно обращались они к нам с вопросами, за советами, а то и за помощью. Мы были высшими судьями во всех их спорах, помогали им писать жалобы, разъясняли законы, и уж, разумеется, бесконечно расспрашивали они нас о политике.

В тюрьме хочешь не хочешь, а даже уголовники читают газеты, слушают местное радио и, может быть, впервые в жизни задумываются: отчего же так скверно жизнь устроена в Советском Союзе? Подавляющее их большинство настроено резко антисоветски, а слово "коммунист" – чуть ли не ругательство. Из-за своей разобщенности и неграмотности они не могут постоять за свои права, да чаще всего и не верят ни в какие права заключенных. Начальство пользуется их распрями, натравливает друг на друга. Когда хотел начальник сломать кого-нибудь из них, то обычно переводил в камеру к тем, с кем у него смертельная вражда. И уж там кто кого убьет, а убийцу же потом приговорят к расстрелу.

Известно было, что наш новый начальник тюрьмы подполковник Угодин так-то вот перевел некоего Тихонова в камеру к его врагам. Там его убивали долго, чуть не два дня топтали сапогами. Кричал он на весь корпус, но никто не вмешался. Угодин же, как рассказывают, частенько подходил к дверям, смотрел в глазок, слушал, как вопит Тихонов, и затем удовлетворенно отходил. За этим занятием его застали зэки из соседней камеры, которых проводили по коридору на прогулку. А из противоположной камеры все это было видно в щель. Лишь на третьи сутки зашли в камеру надзиратели, забрать труп. Виновных потом приговорили к расстрелу, Угодин же остался ни при чем.

Нам об этом тотчас передали, а мы написали Генеральному Прокурору. Ответ же, как водится, пришел из местной прокуратуры: "Причастности должностных лиц к убийству Тихонова расследованием не установлено". Так это дело и заглохло.

В условиях нашей перманентной войны за режим необходимость согласовывать действия и обмениваться информацией вынуждала нас искать надежные средства связи между политическими камерами, разбросанными по тюрьме. Вот здесь-то и оказались наши уголовнички необычайно полезны: у них,

особенно у воров-законников, вся тюрьма была связана дорогами, по которым циркулировали их директивы. Из окна в окно, на прогулке, через этажи и корпуса проходили невидимые нити связи. В эту же систему подключились и мы.

Должен сказать, что воры, в этом отношении, были предельно честны: записки никогда не попадали в руки надзирателей и доходили в том самом заклеенном и прошитом нитками виде, как мы их отправляли. Соответственно, и нам пришлось принять участие в передаче их почты, и мы всегда нервничали за нее больше чем за свою. Неловко было бы подвести соседей, которые самоотверженно шли в карцера, глотали записки целиком, но никогда не отдавали их властям.

Вообще же, при той полнейшей изоляции и строгом режиме, которые были в тюрьме установлены, поразительно, как много существовало средств связи: любые две точки в тюрьме оказывались связаны. Все это, разумеется, запрещалось, а нарушители строго наказывались за "межкамерную связь" – так это официально называлось.

Я, помню, только приехал в тюрьму первый раз, ничего еще не знал, сразу после обыска посадили меня на время одного в этапную камеру – темную, грязную и холодную. Вместо унитаза – этакий трон, возвышение со ступеньками высотой полметра – в середине дырка. Вонь жуткая. Над дыркой кран – это вместо раковины. Присел я на нары в некотором оторопении от такой камеры. Ну, думаю, неужели мне так три года сидеть? Вдруг слышу: "Гхм!" То ли показалось, то ли действительно кто-то кашлянул у меня под самым ухом. Оглядываюсь по сторонам – никого. Вдруг опять: "Гхм! Землячок!" Что за дьявол? На всякий случай ответил: "Что надо?" – "А подойди, землячок, к унитазу поближе – плохо тебя слышно!" Так состоялось первое мое знакомство с тюремным телефоном.

В других камерах, где настоящие унитазы стоят, там обычно веником или тряпкой откачивают воду из сифона и говорят, действительно, прямо, как по телефону. Потом уж и мы привыкли. Особенно к вечеру хорошо слышно, как кричат в окно из одной камеры в другую, например, в тридцать первую: "Тридцать первая! Тридцать первая! Качни!" или "Откачай!" А то и прямо: "Тридцать первая, на телефон!"

Однако далеко не все камеры связаны этим телефоном.

Обычно позвонить можно только вверх или вниз, в редких случаях напротив – это зависит от устройства канализации. Да и не во всех камерах есть унитазы. Тогда пользуются другим способом. Через все камеры проходит система центрального отопления. Поэтому если алюминиевую кружку, какие дают всем в тюрьме, прижать дном плотно к трубе, а ртом плотно прижаться к отверстию кружки и кричать, то звук хорошо расходится по трубам во все стороны. В другой камере нужно так же точно прижать кружку к трубе, а к отверстию приставить ухо – это очень загруженная связь, целый день гудят трубы от голосов. Но есть в ней и свои неудобства. Во-первых, надо ждать очереди, нескольким людям сразу говорить нельзя. Во-вторых, через несколько камер уже плохо слышно, приходится просить, чтобы передавали из камеры в камеру по эстафете. В третьих же, не всякое сообщение желательно передавать открыто. Вот для этих-то случаев и существует почта.

Обычно она передается "конем", так же, как и более крупные вещи – продукты, книги и тому подобное. Распускают несколько носков, и из этих ниток плетут прочный шнур. На конец шнура привязывают груз. Затем, изловчившись, через щель в жалюзях – а она обычно от силы в палец шириной – кидают этот груз вбок или опускают вниз. В другой же камере ловят "коня", выставив в щель "плечо", то есть какую-нибудь палку с крючком на конце, а то и плотно скрученную трубочкой газету. Приняв таким образом "коня", шнур втягивают в камеру и привязывают к его концу то, что надо передать. И так ваша посылка движется по тюрьме из окна в окно. Конечно, если застанут вас за этим занятием надзиратели – 15 суток карцера обеспечены.

Другой способ – передача на прогулке. Веселым словом "прогулка" обозначается, в сущности, весьма скучная процедура. Давно уже прошли те времена, когда заключенные чинно гуляли парами по общему тюремному двору. Теперь прогулочные дворики – это бетонные клетушки размером чуть больше камеры. Стены покрыты грубо набросанным цементным раствором , "шубой", – это чтобы не оставляли надписей. Дверь такая же, как и в камере, с глазком, обитая листовым железом. Стены более трех метров высотой, вместо потолка решетка. Гулять выводят по камерам, так что разнообразия эта прогулка не вно-

сит. Таких прогулочных двориков строят вместе 10-12 штук — по пять-шесть с обеих сторон прохода. Сверху, над проходом, специальная платформа для надзирателя, по которой он ходит взад-вперед, поглядывая сверху в дворики направо и налево. Как только он поворачивается спиной, из дворика в дворик норовят перебросить записки или небольшие свертки. Камера, замеченная за этим занятием, обычно лишается прогулки.

Позднее, пытаясь пресечь эту связь, сверх решеток еще постелили мелкую сетку, так что зимой, при сильном снегопаде, снег даже не проваливается вниз, а застревает на сетке. Однако и это не помогло. Заключенные приноровились как-то поднимать эту сетку и под ней проталкивать в соседний дворик свою почту. Местами сетку стараются прорвать, и тогда, стоя на чьих-нибудь плечах, можно просунуть руку в дыру и кинуть в соседний дворик или в дворик напротив то, что тебе нужно. Включившись в общетюремную систему связи, и мы были вынуждены служить звеном передачи. Чего только не приходилось перекидывать нам из одного дворика в другой по просьбе соседей! Один раз — мешок махорки, он еле пролез в щель под сеткой, другой раз — 15 кусков мыла, причем с каждым куском надо было уловить момент, когда надзиратель отвлекся. Однажды, не успели мы выйти на прогулку и выяснить, кто наши соседи слева, а кто справа (обычная процедура), как справа с большим трудом пропихнули толстенную книгу, за ней другую — оказались мемуары Жукова. Ну, один том мы пропихнули дальше, второй застрял. Ни мы, ни соседи не могли его впихнуть в щель. Так и зацапали его надзиратели. Но для передачи записок это очень удобный способ.

И уж совсем, казалось бы, примитивный способ — оставлять надписи на стенах. А и он был весьма эффективен. Мелко-мелко карандашом везде, куда только ни приведут: в бане, на прогулке, в этапных камерах — оставляют автограф или список камеры, а то и короткую надпись. Практика показала, что в течение недели эти надписи обязательно попадут на глаза кому нужно. Мы обычно писали по-английски, так что надзиратели не понимали смысла. Догадывались, конечно, что политические писали. Вообще английский язык скоро сделался у нас своего рода шифром или жаргоном — по-английски можно было и в окно кричать, и по трубе переговариваться, никто посторонний не понял бы.

Таким вот образом просидел я здесь уже два с половиной года (да еще до этого год – в 72-73-м году перед отправкой в лагерь). Последние три месяца было затишье – на работу больше не гнали, на строгий режим не переводили. Затишье это казалось мне подозрительным, а тут еще собрали нас почти всех на четвертом корпусе, на втором этаже, через камеру. До этого всё старались разбросать наши камеры подальше друг от друга, чтобы труднее было связываться. Тут же, как нарочно, собрали всех вместе. Трое в двадцать первой камере, восемь человек в пятнадцатой, двое – в двенадцатой, четверо – в десятой. Я был в десятой. Еще было наших четверо в семнадцатой, но как раз подошло двум ехать обратно в лагерь да двоим на ссылку, и камеру растасовали. Человек десять сидело еще на первом корпусе, но и их на работу не гнали. Говорили начальники, что к концу года всех сюда соберут. Трудно было сказать, замышляет что-то начальство или, наоборот, решило оставить нас в покое. Если не считать очередного нападения на наши книги, никаких признаков подготовки к наступлению вроде бы не наблюдалось. Правда, почти все лишились переписки, а это всегда недобрый знак.

Еще с конца прошлого года взяли власти за правило конфисковывать все наши письма. Просишь объяснить, в чем причина, – говорят, объяснять ничего не обязаны, пишите новое письмо. А напишешь – опять конфискуют. Так эта бодяга и тянулась, и уже скоро год, как я не мог ни одного письма домой отправить. И непонятно было, кого они хотят этим наказать – мою мать или меня. Так и у других – у кого полгода, у кого восемь месяцев не было переписки. Поневоле приходилось пользоваться нелегальными каналами.

Новости с воли доходили с трудом – в основном, невеселые новости. Одних сажали, других выгоняли за границу. Кого на восток, кого на запад – и все это были мои друзья, люди, которых знал я уже много лет. Как ни жаль было посаженных, а оставалась надежда их увидеть хоть когда-нибудь – все-таки они исчезали не навсегда. Тех же, кого выгоняли на Запад, словно в могилу провожаешь – никогда уже их не видать. Пустела Москва, и как-то все меньше и меньше думалось о воле. Особенно же тяжело было, когда кто-то из знакомых отрекался или каялся, – точно часть своей жизни нужно было забыть навсег-

да. Долго потом всплывают в памяти эпизоды встреч, обрывки разговоров, и никак не заглушить их, как будто сам ты виноват в их предательстве.

Когда-то раньше был я очень общительным человеком, легко сходился с людьми и уже через несколько дней общения считал своими друзьями. Но время уносило одного за другим, и постепенно я стал избегать новых знакомств. Не хотелось больше этой боли, этой судороги, когда человек, на которого ты полагался, которого любил, вдруг малодушно предавал тебя и нужно было навсегда вычеркнуть его из памяти. Тяжело было сознавать, что вот сломали еще одного близкого человека. Старые зэки, стоя у вахты, когда заводят в зону новый этап, почти безошибочно предсказывают: вот этот будет стукачом, этот – педерастом, тот будет в помойке рыться, а вот добрый хлопец. Со временем и я стал невольно примерять на всех людей арестантскую робу, и оттого друзей становилось меньше. Постепенно остался какой-то круг особенно дорогих мне людей, потому что они были единственным моим богатством, всем, что я нажил за эти годы, и уж если из них кто-нибудь ломался, то это было пыткой. И еще меньше становилось нас в замке, еще одно место пустело у камина, умолкала наша беседа, затихала музыка, гасли свечи. Оставалась только ночь на земле.

Теперь же вот эти дорогие мне люди уезжали навсегда на Запад, точно в пустоту проваливались. Глухо доходили о них сведенья, в основном, из советских газет – словно голоса с того света. Последнее время и меня вдруг вспомнила советская печать. Почти шесть лет они молчали – выдерживали характер, а тут целая страница в "Литературке" – интервью первого заместителя министра юстиции СССР Сухарева. Еще в 72-м году, сразу после суда, появилась в московской газете статейка под заголовком "Биография подлости". При всей ее обычной для советской пропаганды лживости и обилии ругательств эта статья не выходила за рамки приговора, то есть не добавляла лжи от себя. Теперь же замминистра юстиции нес совершенную околесицу, даже отдаленно не напоминавшую моего приговора. По его словам, я обвинялся чуть ли не в сотрудничестве с Гитлером и в подстрекательстве к вооруженному восстанию. Забавно было читать все это, напечатанное миллионным тиражом, разосланное во все уголки страны, и при этом иметь на руках

приговор с печатью советского суда. Любопытно – на кого рассчитана такая откровенная чепуха? В наше время, когда почти все слушают западное радио, когда меня даже конвойные на этапе узнавали, – что может дать такая глупость?

Разумеется, я пытался легально протестовать: написал письмо редактору "Литературной газеты", Генеральному Прокурору, министру юстиции – тюрьма все конфисковывала. Ни одной жалобы по этому поводу мне не дали отправить, даже официальный иск о клевете в суд. Мне было любопытно получить хоть какой-нибудь, пусть самый нелепый, но официальный ответ. Забавность ситуации состояла в том, что, по советским законам, любой приговор суда, если он не отменен, обязателен для всех должностных лиц и организаций. Мне было интересно, как они вывернутся, поэтому я писал в очень спокойном, сдержанном тоне, воздерживаясь от выводов и оценок, лишь констатируя факт несоответствия публикации приговору. Однако тюрьма не пропустила ничего. Вот так они всегда и действуют: одни врут на всю страну, другие зажимают рот тем, кто может их разоблачить, – типично коммунистическое разделение труда.

Вызвал на беседу воспитатель, стал уговаривать – бросьте, не пишите, зачем вам это нужно? Чепуха все это, мелочь. "Как же так, – говорю, – приговор, именем Российской Федерации, он же обязателен для всех. Вы меня по этому приговору в тюрьме держите, и вдруг он оказывается неверным." – "Да ну, – говорит он, – не обращайте внимания, газеты всегда врут, стоит ли нервничать?" – "Да ведь замминистра юстиции пишет! Может, он лучше знает, за что меня судили? Может, мой старый приговор пересмотрели, изменили? А я сижу и ничего не знаю". – "Нет-нет, приговор правильный, не беспокойтесь, нам бы сказали".

Воспитатель наш, капитан Дойников, человек не злой, сам от себя гадостей не сделает. В сущности, обязанностей у него немного, никто всерьез от него не требует, чтобы он нас перевоспитал. Понимают, что это задача непосильная. Должен он время от времени проводить с нами беседу. С кем-нибудь другим мы и беседовать отказались бы. За последнее время сменилось их у нас трое или четверо.

Поначалу они все радовались, что перешли на легкую работу:

ребята спокойные, матом не ругаются, не дерутся, в карты не играют, сидят себе тихо, книжки читают. Не работа, а дом отдыха! Но уже месяца через три просились от нас и согласны были идти к любым разбойникам и головорезам. С одной стороны, жало на них начальство, требовало на нас материал, требовало закручивать гайки. А когда мы давали отпор – виновным был воспитатель, ему сыпались на голову выговоры. С другой стороны, мы тоже не давали спуску, и от одних наших жалоб можно было одуреть. Да кроме того не получалось у этих воспитателей контакта с нами, не могли они к нам приноровиться. Привыкли они к уголовникам, к их психологии. Там – матом обложил, здесь – в ухо дал, и глядишь – навел порядок. С нами же нужно было что-то особое, чего эти воспитатели никак понять не могли. Наконец, поставили к нам этого Дойникова.

Считался он по тюрьме самым бестолковым офицером, самым глупым и безответным. Мундир сидел на нем, как на вешалке. Говорить он не умел, да был и не шибко грамотным. Отдали его нам в жертву, на растерзание, с расчетом, что месяца через три-четыре спишут на пенсию за неспособностью. Однако совершенно неожиданно он у нас прижился. Нас он вполне устраивал, и мы на него никогда жалоб не писали. Его нескладная худая фигура в нелепой засаленной униформе возбуждала скорее сострадание. Говорил он тоже нескладно, совершенно несвязно, постоянно перескакивая с одного на другое. При этом пробалтывался о многом, для нас важном. Понимал и он, что мы его терпим, а потому, вызывая на беседу, говорил о чем угодно: о рыбалке, о футболе – битый час мог городить околесицу. Изредка так, виноватой скороговоркой, вставит фразу-другую о политике партии и опять перескочит на свою мешанину без конца и начала, торопясь загладить бестактность. Так вот с часочек поболтает и запишет себе для отчета, что провел беседу. При ближайшем рассмотрении был он совсем не глуп, иногда даже поразительно изворотлив, и вся эта напускная бестолковость выработалась у него в жизни, как у зебры полосы, – в результате естественного отбора. А кроме того нужно ему было как-то примирить свои жестокие функции с отнюдь не жестоким характером.

Удивительно, как это все примиряется в русском человеке. Я редко встречал садистов в должности надзирателей – даже

злых по характеру людей среди них, в сущности, тоже немного. Обычно же это простые русские мужики, сбежавшие в город из колхоза. Но вот прикажут такому Дойникову нас расстрелять – и расстреляет. Он, конечно, постарается, чтобы его по бестолковости на такое дело не послали. Он и нас постарается как-то ублажить, чтобы мы на него за это не очень обижались. Но ведь расстреляет!

Стыдно признаться – много раз ему удавалось упросить нас забрать назад жалобы. Придет в камеру, станет с этими жалобами в руках как-то так жалостно и начнет свою бесконечную околесицу, свою бестолковщину. И всем своим видом так и просит: забрать бы надо, дескать, жалобы, совсем это ни к чему – жалобы ваши. Что ж это вдруг – жалобы да жалобы? Забрать бы их надо, и так жизнь собачья! И – черт знает что! – у нас война идет не на жизнь, а на смерть, нас уже почти задавили, заморили, а мы берем у него эти жалобы. Рука не поднимается, сил нет – Дойникова жалко...

Помню, в Институте Сербского, на экспертизе, работали у нас санитарками бабки, простые деревенские бабки, почти все верующие, с крестиками тайком за пазухой. Жалели нас эти бабки, особенно тех, кого из лагеря привезли или из тюрьмы, тощих, заморенных. Тайком приносили поесть. То яблочко незаметно под подушку подсунут, то конфет дешевых, то помидор. Забавно было смотреть, как они обращаются с настоящими сумасшедшими, такими, которые уже ничего не понимают, только смотрят в одну точку или бредут, не зная куда. Точно как крестьянки на коров, покрикивали они на психов безо всякой злобы: "Ну, пошел, говорю, ну, куда прешь? Ну, милый!" Так и казалось – сейчас хворостиной огреет. И вот эти-то бабки стучали на нас немилосердно. Каждую мелочь, каждое слово наше замечали и доносили сестрам, а те записывали в журнал. Случалось, и побеги готовились, а иной норовил симулировать, особенно кому грозит смертная казнь, – бабки же все замечали и обо всем тут же докладывали. А спросишь их, бывало: "Что ж вы так? Вы же ведь верующие!"– "Как же, – говорят, – работа у нас такая". Вот и спорь с ними. Может, и Брежнев неплохой человек, только работа у него скверная – генеральным секретарем.

Любопытно, что при всем многообразии книг, исследований и монографий о социализме – политических, экономических, социологических, статистических и прочих – не догадался никто написать исследования на тему: душа человека при социализме. А без такого путеводителя по лабиринтам советской души все остальные монографии просто бесполезны – более того, еще больше затуманивают предмет. Ах, как трудно, наверно, понять эту чертову Россию со стороны! Загадочная страна, загадочная русская душа!

Судя по газетам, по книгам, по их фильмам – а по чему еще судить о советской жизни? – они всем довольны. Ну, нет у них политических свобод, многопартийности, а они и рады – народ и партия едины! Ведь вот у них выборы – не выборы, черт знает что такое: один кандидат, и выбирать не из кого. А участвуют в выборах 99,9%, причем 99,899% голосуют за. Ведь вот у них жизненный уровень низкий, продуктов, говорят, не хватает – а забастовок нет! Говорят, морят их голодом по лагерям и тюрьмам безо всякой вины, за границу не выпускают, но вот – глядите же – по всем заводам и селам митинги: Единодушно одобряем политику партии и правительства! Ответим на заботу партии новым повышением производительности труда! Голосуют дружно, все руки тянут – что за черт? Едут зарубежные корреспонденты, присутствуют на митингах и видят: вправду все одобряют политику партии, никто даже не воздерживается при голосовании.

Говорят, отсталая экономически страна, ручной труд и прочее, а ведь запустили первый спутник, первого человека в космос – обогнали Соединенные Штаты. Более того, имеют мощную военную промышленность, да такую, что весь мир в страхе дрожит, – откуда это? Делаются научные открытия, и какие! А Большой театр, балет! Что же это всё – рабы, подневольные люди?

Ну, литература у них, положим, скучная – все о производстве да о планах, о собраниях, но читают же, покупают книги – значит, им нравится. Есть и у них отдельные недостатки – так сами признают и критикуют их. Было что-то раньше, какие-то неоправданные репрессии, но теперь-то нету – разобрались, осудили ошибки, невинных выпустили. И за границу их все-таки пускают. Вот и туристы, и спортсмены, и артисты, и разные там де-

легации – и всем довольны, и назад возвращаются. Ну, бывает, один-другой убежит, не вернется – так, может, только этим и было плохо, а остальным хорошо, остальные довольны?..

Спроси любого советского человека на улице, хорошо ему или плохо. И все ответят, как по писаному: Хорошо, лучше, чем у вас на Западе. А может, и вправду лучше? Образование бесплатное, медицинское обслуживание бесплатное, жилье дешевое, безработицы нет, инфляции нет. Может, подвирает западная пропаганда и жизнь у них – прекрасная?

Или вот еще объяснение: может быть, *для них* эта жизнь лучше нашей, и они люди другие, особенные, им только такая жизнь и нужна, и не нужно им наших благ и свобод?

И уж совсем сбивают с толку эти самые диссиденты. Если все так плохо, как они говорят, такое бесправие и произвол, так почему они все еще в живых, даже не сидят некоторые? Значит, есть и какая-то свобода,и какие-то права? Или это просто инспирировано и выгодно советским властям? А может быть, придумано ЦРУ? Да и сколько же их, этих диссидентов? Ведь вот под какой-то там петицией протеста подписалось десять человек. Это же курам на смех – в стране, где 250 миллионов.

Ну, наконец, если им всем и вправду плохо – почему нет восстаний, массовых протестов, демонстраций, забастовок? И массового террора ведь тоже больше нет? Ну, посадят там человек 10-15 в год – не то что в Чили или Южной Корее. И еще много-много недоуменных вопросов, на которые нет ответа...

И критически мыслящий западный наблюдатель после досконального, с его точки зрения, изучения вопроса приходит к двум выводам. Если наблюдатель придерживается левых взглядов: Прекрасная страна СССР, прекрасный и самый передовой у нее строй. Люди счастливы и, несмотря на отдельные недостатки, строят светлое будущее. А буржуазная пропаганда, конечно, стремится ухватиться за эти отдельные недостатки и извратить, оклеветать, оболгать само светлое существо. Если наблюдатель не придерживается левых взглядов: Русские – люди особенные. Что нам плохо – им очень нравится. Такие они фанатики, так рвутся строить свой социализм, что готовы отказаться от привычных нам удобств и образа жизни. И в обоих случаях – одно заключение: не нужно мешать им, нельзя запретить людям

страдать, коли им это нравится, не спасать же людей вопреки их воле. Такие уж эти русские!

Да, трудно понять эту страну со стороны, почти невозможно, но легче ли изнутри? То есть легче ли понять и оценить происходящее тем самым "русским" (Запад всех нас зовет русскими – от молдаванина до чукчи), которые там всю жизнь живут?

Вот он родился, этот будущий советский человек, человек нового типа. И на первых порах его никак нельзя посчитать диссидентом. Никаких особых свобод он не требует, книг запрещенных не читает, за границу не просится, против места и времени своего рождения не протестует. Он еще, правда, не знает, как уже много он должен советскому государству и родной партии. Не лежать бы ему сейчас в коляске и не сосать мирно соску, если бы не их неустанная забота. Но очень скоро с него этот долг спросят.

Родители, по занятости своей, отдадут его сперва в ясли, потом в детский сад, и если первые слова, которым он обучится, будут МАМА и ПАПА, то уж затем обязательно ЛЕНИН. Будет он, возвращаясь домой, по выходным дням удивлять своих родителей способностями, декламируя:

День Седьмого ноября –
Красный день календаря!
Посмотри в свое окно –
Все на улице красно!

Затем в школе кругозор его еще расширится. Постепенно он узнает, что Бога не было и нет, что вся история человечества есть переход из мрака к свету, от несправедливости и угнетения к свободе и социализму. Что люди во все времена мечтали жить в такой стране, как наша, – ради этого они тысячелетиями шли на восстания, жертвы, на муки и казнь. Что все великие люди прошлого стремились к тому самому обществу, которое мы наконец построили, – даже если они сами не всегда это понимали. Что такое Лев Толстой, например? Зеркало русской революции. И сейчас мир разделен пополам: с одной стороны – силы света, счастья и прогресса у нас, с другой – реакция, капитализм, империализм. И они только и мечтают, как бы уничтожить наше счастье, поработить нас так же, как порабощен народ в их соб-

ственных странах. А чтобы этого не произошло, нужно прилежно учиться, а потом вдохновенно трудиться.

Чем дальше, тем подробнее и обстоятельнее, сначала в школе, а потом в институте, в армии, на работе – изо дня в день усваиваются эти представления. В явной форме – в виде преподавания истории СССР, истории КПСС, политэкономии, научного коммунизма, научного атеизма, основ марксизма-ленинизма, диалектического материализма, исторического материализма и так далее, и тому подобное. В неявной форме – почти шепотом, как гипноз, – в кино и книгах, в полотнах и скульптурах, по радио и телевидению, в газетах, на лекциях, в учебниках математики, физики, логики, иностранного языка, в плакатах и афишах, и даже в сочинениях, переведенных с других языков мира.

И если, допустим, вы переводите из учебника французского, немецкого или английского языка текст, то это о том, как плохо живется рабочим во Франции, Западной Германии, Англии или США. Или, наоборот, о том, как хорошо живется людям под солнцем социализма. Или эпизоды из жизни великих революционеров прошлого, или о борьбе народов против капитализма. Если же вы откроете учебник логики, то в качестве примера объективной истины вам приведут: "Марксизм-ленинизм – всепобеждающее учение".

Возьмите газетные новости или кинохронику. Вам сообщают или показывают: открыт новый курорт в Болгарии; пронесся тайфун в Японии; уральские рабочие перевыполнили план; многотысячная забастовка во Франции; собирают богатый урожай на Украине; чудовищная статистика автомобильных происшествий в Америке; сдан новый жилой микрорайон в Ташкенте; разгоняют студенческую демонстрацию в Италии... И становится ясно, что там – только стихийные бедствия, катастрофы, демонстрации, забастовки, полицейские дубинки, трущобы и постоянное падение уровня жизни, а у нас – только новые курорты, заводы, урожаи, бескрайние поля, светлые улыбки, новоселы и рост благосостояния. ТАМ – черные силы реакции и империализма угнетают трудящихся и грозят нам войной, ЗДЕСЬ – светлые силы прогресса и социализма строят сияющее будущее и борются за прочный мир. И силы мира, социализма и прогресса неизбежно победят. И все это каждый день, каждый час – в

тысячах газет, журналов, книг, кинофильмов, концертов, радиопередач, песен, стихов, опер, балетов и картин. И ничего кроме этого – ничего против. И даже когда вы едете в поезде и рассеянно глядите в окно на проносящиеся пейзажи, взгляд ваш бессознательно пробегает, а мозг фиксирует выложенные вдоль дороги камушками и битым кирпичом лозунги: "Миру – мир!", "Ленин – всегда живой!", "Вперед, к победе коммунизма!"

С восьми-девяти лет почти принудительно тебя заставляют вступить в пионеры, а с четырнадцати-пятнадцати – в комсомол, то есть в молодежные политические организации с соответствующей дисциплиной. Это означает активное участие в идеологической работе – и вот уже не тебе втолковывают, а ты втолковываешь другим насчет всепобеждающего учения и требуешь от них повышения успеваемости или производительности труда во имя светлого будущего. Ведь все мы в неоплатном долгу перед партией и правительством за их заботу.

Что делать родителям? Пытаться с самого начала объяснить детям, что их обманывают? Но это опасно: дети расскажут своим друзьям, а те – своим родителям, учителям. И что посоветовать детям? Говорить открыто о своем несогласии? Или молчать, скрывать взгляды, лгать, жить двойной жизнью? Да и поверят ли дети вам, а не тому, чему учат их школа и пропаганда? Да к тому же вся эта идеология существует не только в чистом виде – она заложена во все школьные предметы: историю, литературу, ботанику, географию и т.д., а ученик обязан знать и отвечать их так, как написано в учебнике. И чаще всего родители машут рукой: Э, черт с ним, вырастет – сам поймет.

Рано или поздно он понимает, ибо в жизни почти каждого жителя СССР наступает этот момент просветления. Рассказывают такой анекдот. Воспитательница в детском саду проводит беседу. Повесила на стену карту мира и объясняет: "Вот это, дети, Соединенные Штаты Америки. Там люди живут очень плохо. У них нет денег, и поэтому они не покупают своим детям конфеты и мороженое и не водят их в кино. А вот это, дети, Советский Союз. Здесь все люди счастливы, и живут хорошо, и покупают своим детям конфеты каждый день, и мороженое, и водят их в кино". Вдруг маленькая девочка плачет. "Что ты, Таня, плачешь?" – спрашивает воспитательница. "Хочу в Советский Союз!" – всхлипывает она.

Но это только первый импульс, первое недоразумение. Обыкновенно человек долгое время ощущает гордость и радость от того, что он живет в такой замечательной, единственной стране. В самом деле, надо же, чтобы человеку так повезло – родиться именно здесь и теперь! Всего каких-нибудь три тысячи километров на запад или 50 лет назад, и столько несчастий, столько горя и угнетения. И только одно слегка беспокоит: зачем так много об этом кричать? Ну, хорошо, знаем уже, слышали, рады и счастливы, самая лучшая, самая первая, самая прогрессивная! Будем помнить, спасибо, разве такое забудешь? Да неужели еще кто не усвоил?

Постепенно вы начинаете различать, что не все так гладко в жизни, как в газетах. Живут все, за исключением большого начальства, от получки до получки. А перед получкой уже несколько дней еле-еле концы сводят, норовят друг у друга занять. А уж одежду купить, или мебель, или телевизор – так надо извернуться, сэкономить или на стороне приработать. Опять же все время какие-то нехватки – то мяса нет, то масло пропало, то картошка не уродилась. Очереди всюду – их уже почти не воспринимаешь, только отстаиваешь часами.

Потом уж очень раздражает человека бесхозяйственность, нерациональность. Вот привезли вам под окна какую-то кучу бревен или кирпича. Везли, торопились, разгружали, а потом лежит себе эта куча и год, и другой, пока не сгниет. Никому не нужно. То вдруг раскопают улицу – ни пройти, ни проехать. Полгода что-то чинят – говорят, водопровод. И точно, перестает идти из крана вода. Наконец, починят, закопают улицу. Привозят асфальт, и бабы, обычно вручную, этот асфальт укатывают. Не успел застыть – глядь, опять приехали и раскопали, опять месяца три-четыре ни пройти, ни проехать. Теперь, говорят, газ чинят – и точно, перестает идти газ. Ну чего бы, казалось, сразу его не чинить, пока раскопано было? Или вот еще бедствие: крыша в доме протекла. Это уж форменное бедствие, потому что добиться ее ремонта – дело почти невозможное. Ходят целые делегации жильцов – и в райсовет, и в горсовет, и к депутатам, пишут жалобы, собирают петиции, приезжают какие-то комиссии – крышу обследуют, устанавливают, что точно, течет крыша. Но нет денег на ремонт, не запланировано. И так иногда годами. А пока что собирают жильцы старые корыта, тазы и ведра, под-

ставляют на чердаке под течь и с тревогой смотрят по утрам на небо – будет дождь или нет.

Казалось бы, совсем незначительный факт, но врезался мне в память с детства. Невдалеке от нашего дома был магазин, куда мне часто приходилось бегать то за хлебом, то за сахаром. Магазин был на другой стороне улицы, метрах в двухстах от перекрестка, где обозначен переход. Большинству людей, чтобы попасть в магазин, не нарушая правил перехода, нужно было пройти эти 200 метров до угла, а затем еще 200 метров – по другой стороне до магазина. Естественно, что все норовили перейти улицу напротив магазина, не делая крюка. Но именно здесь, затаясь в засаде, поджидал их милиционер и нещадно штрафовал. И, видно, получал неплохой доход для государства, так как никакая опасность – быть оштрафованным или попасть под машину – не могла заставить людей идти лишних 400 метров. Не только мы, пацаны, но и взрослые люди, даже старые бабки в валенках и с кирзовыми кошелками в руках рысцой бежали через эту улицу под свист милиционера. Вроде бы чего проще: разреши людям переход, раз им это удобней. Нет, десятилетиями, на моей памяти, стоял там милиционер, собирая дань.

Трудно сказать, что двигало властями – экономическая ли выгода или желание отстоять свой авторитет, но эпизод этот очень типичен. Порядки, вводимые властями на моей памяти, всегда были противоестественны, противоречили здравому смыслу и всегда вводились под угрозой наказания. Не сказать, чтобы это меняло психологию людей или приучало их к повиновению, но зато все оказывались виновными перед государством, любого можно было наказать. Стояла за этим и типичная философия порядка, государственной власти. Дескать, разреши людям делать, что они хотят, и что получится?– Совсем никакого порядка не будет в государстве.

Все эти мелочи, накапливаясь, затуманивают, конечно, счастье советского человека, его веру в светлое будущее. Но тысячеустый хор газет и журналов, кинофильмов и радиопередач, лекторов и просветителей уже готов ему все объяснить:

– Зачем же так сразу обобщать, товарищи! Да, есть у нас отдельные недостатки и временные трудности. Местные власти часто работают еще недостаточно четко. Мы их критикуем, по-

правляем. Не нужно забывать, что мы идем, так сказать, по нехоженой тропе, первые строим новое общество, подсказать нам некому, порой и ошибаемся. Но посмотрите, сколько уже достигнуто, сколько сделано по сравнению с 1913 годом! Конечно, частично, во имя создания в будущем самого совершенного общества, мы должны пойти на определенные жертвы. Если сейчас и не всегда легко, то потом наши дети будут благодарить нас. Ведь как бы мы ни ошибались в отдельных случаях, в целом-то мы идем правильным путем, идеи-то наши светлые. Не нужно забывать и о капиталистическом окружении, которое нам вредит и будет вредить. Они только и ждут, чтоб мы расслабились, усомнились в своей правоте. Враг не дремлет! И чтобы с ним успешно бороться, тоже нужно приносить определенные жертвы. (И так далее, и тому подобное, и прочее, и прочее.)

И что ты тут скажешь? Ну, нельзя же в самом деле утверждать, что если у меня крыша течет, то и коммунизм плох или строить его не нужно. Или если мяса сейчас не хватает, то не нужно было делать революцию.

А годы идут, складываются в десятилетия, и уже знает советский человек, что самое постоянное в его жизни – это временные трудности. Но что ж, если в моем районе или области или у меня на работе, в той отрасли хозяйства, где я работаю, бесхозяйственность, неустроенность и обман, то это же не доказывает, что везде плохо и никогда не будет лучше. Ведь вот, запускаем людей в космос, балет наш едет за границу с большим успехом, строим огромные заводы, плотины, значит, не везде и не все плохо, в чем-то и мы сильны. И уж, по крайней мере, не так плохо, как там, на Западе. У них что ни месяц – забастовка. Это уж, должно быть, совсем скверно жить людям, если на такое решаются. И безработицы у нас нет, с голоду не умираем.

А годы идут, и ничего не меняется, и возникает уже сомнение: да строим ли мы этот коммунизм? Может, еще и не начинали? Ведь вот с 17-го по 22-й год, ясное дело, никакой советской власти не было, была гражданская война. Потом, до 30-го года, – НЭП, а это, известно, было отступление. Затем до 53-го – культ личности, тоже никак не советская власть. Дальше, до 64-го, Хрущев, оказывается, все не так делал – вовремя спохватились, сняли. Выходит, с 65-го только и начали правильную

жизнь? Да еще подождать надо – может, и этого снимут или после смерти объяснят, что все было неправильно.

Нестойкое это состояние неуверенности быстро сменяется убеждением в полной лживости пропаганды. Как ни сложно получить информацию, а все-таки и мы не совсем изолированы. И выясняется, что в других областях и районах ничуть не лучше, а порой – хуже, чем у нас, что в других отраслях хозяйства такой же бардак, что космос – сплошная туфта, а крупнейшие эти заводы и плотины строили зэки за пайку хлеба. Вот только насчет балета ничего не выясняется – как он, этот балет, не разваливается? Ну да и черт с ним, с балетом, не тем живы.

Более того, просачивается к нам, что и на Западе не все так (все не так), как нам пели. И безработным, оказывается, платят за то, что они не работают. Вот фантастика – у нас бы в Сибирь сослали, а там деньги платят. У каждого автомобиль, колбаса в магазине всех сортов, и никаких очередей – рай, сказка! И – кончилась вера в светлое будущее.

Один мой знакомый, еще в 50-е годы, провел такой забавный эксперимент. Был он в магазине, стоял в очереди за молоком. Очередь была громадная, продавцы работали медленно, лениво. Начала очередь роптать, как водится, что не всем хватит да что медленно отпускают. В одну из пауз между взрывами народного гнева знакомый мой возьми да и скажи, громко и внятно: "Безобразие развели! Очередь на полдня. Совсем как в Америке!" И обрушилось на него народное негодование: "Да что вы, гражданин, какая Америка? Такое только у нас возможно!" Долго еще поглядывали на него укоризненно и с сожалением.

Дальше – больше. Стало, например, выясняться, что пока у нас у всех временные трудности, у них там, в обкомах-горкомах да в Кремле, уже давно коммунизм построен. Тайно промеж себя распределяют икру, колбасу, всякие импортные товары. Понастроили себе виллы, огородили заборами, поставили охрану, чтоб никто не увидел, как они эту икру лопают. Наплевать им на нас, хоть сдохни!

И это еще самый долгий путь размышлений и прозрений у самого благополучного человека. Обычно же все происходит быстрее. Рано или поздно сталкивается человек с такой вопиющей несправедливостью или ложью, что уж молчать не может.

Толчок может быть любой, лишь бы привел он к прямому столкновению с властью. Очень это полезно, когда трудящийся общается со своею рабоче-крестьянской властью в качестве просителя или протестующего. По вопросам ли прописки, протекающей крыши, бесхозяйственности на работе или получения квартиры, а ясней всего, когда твоего родственника посадили в тюрьму ни за что, ни про что. И начинает трудящийся добиваться правды, искать, писать жалобы, петиции, ходить на приемы, начинают ему приходить ответы один другого наглее — или вообще никаких ответов.

Как же так, в моем рабоче-крестьянском государстве? — ярится трудящийся. — А ну, в "Правду", а ну, в ЦК! И опять ничего. А на приемах, если он их добьется, смотрит на него бревно в очках и губами чмокает — и опять ничего! Аж зайдется трудящийся! Куда только ни пишет: и в комитет советских женщин, и в общество защиты животных, и космонавтам, и даже в ООН. И чем дальше, тем свирепее. Таких вещей понапишет про советскую власть, что и сам удивляется, откуда у него взялись такие мысли. Особенно если он участник Великой войны или еще чем заслуженный.

А зэки — те додумались даже в Мавзолей, Ленину жалобы писать! Вы ж говорите, он вечно живой — пусть разбирается. И ничего, аккуратно извещает комендатура Кремля, что жалоба переслана по принадлежности. Ответ обычно приходит из районной прокуратуры. Обычный ответ, что все по закону и жаловаться не на что.

Вообще же все жалобы стекаются именно к тому бревну в очках, на нечувствительность которого ты жалуешься. И приходит самый успокаивающий ответ — сочувствуем, все понимаем, помочь, правда, не можем. И светлеет трудящийся. Поразительно, как быстро вспоминает он все, чему учили его в школе, всю историю Советского Союза, всю литературу с географией, всю эту пропаганду, что с пеленок твердила ему про отдельные недостатки и временные трудности, про светлое будущее и капиталистическое окружение, и про зеркало русской революции, и даже стишки про Ленина из детского сада.

А пропаганда — знай себе наяривает, как ни в чем не бывало: и про тайфун в Японии, и про курорт в Болгарии, про урожай на целине, про забастовку в Англии, про светлые дали, про силы

мира и прогресса. И так день и ночь, день и ночь со всех сторон. И сатанеет трудящийся. Вокруг ходят люди, миллионы людей, выполняют планы, принимают трудовые обязательства, отвечают на заботу партии повышением производительности труда и — ничего не знают. Как только они узнают, как только я им объясню, они остановятся, все изменится, все станет другим. Эй, люди! Стойте! Дайте мне микрофоны! Пустите меня к микрофонам! Чтоб — ГОВОРИТ МОСКВА И ВСЕ РАДИОСТАНЦИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!

Да что там Москва! Надо, чтоб весь мир, вся планета!

В таком состоянии трудящийся совершает некоторые стандартные поступки. Он пытается выступить на собрании с разоблачительной речью, распространить листовки, передать через иностранцев послание в ООН или президенту США. И уж, как минимум, широко и открыто высказываться в кругу знакомых. Его не оставляет необыкновенное чувство свободы и всемогущества. Простое человеческое слово кажется ему мощным оружием, способным двигать горы и поворачивать реки. Но — замечает трудящийся, что никто не жаждет его выслушать. Напротив, создается вокруг него некоторый вакуум, точнее сказать — духота. На собрании ему слова не дают, знакомые смотрят в сторону, стараются свести разговор в шутку и поспешно вспоминают о каких-то срочных делах. Жена с утра в слезах, бранит его эгоистом, себялюбцем, разбившим ей жизнь. Внезапно приезжает из Калуги теща, которой уже пять лет слышно не было, и решительно уговаривает дочь уехать к себе.

А на работе, ближе к обеду, вызывают его зачем-то срочно в отдел кадров. И там вежливый, но настойчивый человек лет сорока, в сером хорошем костюме, аккуратно причесанный, по имени Николай Иваныч, или Владимир Иваныч, или, в крайнем случае, Сергей Петрович предлагает ему проехаться — тут, недалеко, к нему на службу. Нет-нет, вещей никаких брать не нужно, жене звонить тоже не нужно,и заезжать домой незачем — это ненадолго. И даже переодеваться не нужно. Далее Николай Иваныч, Владимир Федорыч или, на худой конец, Петр Сергеевич провожает его к машине, и вместе они едут — действительно не слишком далеко. Поднимаются по лестнице обычного с виду многоквартирного дома, заходят в одну из дверей, которая оказывается коридором с рядом дверей. За одной из них, в служеб-

ном кабинете, за столом, сидит человек лет пятидесяти, седоватый, в сером костюме, которого зовут Николай Петрович, или Сергей Иваныч, или, в худшем случае, Владимир Федорович.

– Присаживайтесь, – говорят ему вежливо, – как жизнь, как на работе? – А за окном пылко дышит лето или, наоборот, добрый морозный день, а то и зрелая румяная осень. И так бы хорошо сейчас где-нибудь пройтись по лесу, где-нибудь далеко-далеко, где не слышно цивилизации.

Начинает трудящийся излагать свои открытия – хоть и с некоторым напором, но уже без того накала. Пытается даже раззадорить себя, но как-то не ощущает больше мировой трагедии, бурления страстей и порыва к микрофонам. Сами собой как-то смягчаются выражения и выводы, напрашиваются обтекаемые формулировки и уменьшительно-ласкательные эпитеты. А Владимир Николаич, Сергей Петрович, а может, и Иван Иваныч слушает молча, по-отечески, изредка кивая головой, помечает что-то в блокноте и, дождавшись паузы в сбивчивом рассказе, говорит:

– А кому еще вы об этом рассказывали? Тааак... А кто еще при этом присутствовал? Так-так. А письмо в ООН вы кому показывали? И уж за границу собрались бежать? Так-так-так! Что ж это получается? Родина о вас заботилась, сил не жалела, вырастила вас, воспитала, ни в чем не отказывала, а вы? И это в то время, когда наши враги так и ищут, как бы нам навредить! Ну, а если бы вы оказались за границей? Вас бы там в контрразведке стали спрашивать – где работали, да где в армии служили, да какой номер части, да какое оружие ...

От такого предположения трудящегося аж в пот бросает – нет-нет, только не это! Тут Владимир Иваныч, он же Николай Петрович, он же Сергей Михалыч достает из стола довольно объемистую папку, открывает ее, и трудящийся, к ужасу своему, видит, что все его жалобы, заявления и протесты, в том числе в ООН, уже лежат там, с какими-то пометками синим карандашом.

Господи, много ль человеку надо? Ну, нет мяса – можно картошки купить, кефиру наконец. Ну, течет крыша, так подставь ведро, только-то и дел. Ну, где-то что-то не так – может, и неправильно, да разве все зло в мире исправишь? Мало платят? Так можно вечером подработать или еще как. А что врут –

так оно везде врут, и всегда врут, и будут врать, и во все века врали. Разве я за это отвечаю, разве я что-то изменить могу?

Звонит телефон, и Владимир Николаич или черт его знает кто берет трубку: Да? — И вдруг весь подбирается, выпрямляется в кресле. — Да, товарищ генерал. Да, у меня. Вот, беседуем. Я думаю, пока не будем, товарищ генерал. Нет, я думаю, не стоит. Ну, устал человек на работе, бывает. Конечно. Да. Слушаюсь. Есть!

— Ну, что же, распишитесь здесь и здесь. И вот тут. Можете теперь идти... домой. Если понадобитесь — вызовем. До свиданья. — И если он не успел натворить слишком много, его не арестуют, нет. Если б всех таких сажать, пришлось бы переловить полстраны, а это теперь не требуется — достаточно одного на десять тысяч таких прозревших упрятать, самого нахрапистого, чтобы другие боялись. Раньше — другое дело. Еще бы и рта не успел раскрыть — уже ехал бы этапом. Теперь времена другие. Никто не требует, чтобы ты любил эту власть или верил в нее, — достаточно, чтобы ты ее боялся, был покорным, выполнял план, поднимал руку на собрании, единодушно одобрял и гневно осуждал...

И бежит наш трудящийся по весенним или осенним, зимним улицам легким галопом домой — к жене и теще из Калуги. Только что приоткрылась для него тяжелая дверь и пахнуло на него подвальной сыростью, какой-то гнилью и безнадежностью, но, слава Богу, обошлось. Через недельку-другую соберут общее собрание трудящихся, выступят парторг, комсорг и представитель месткома, гневно осудят, будут клеймить позором, старенький мастер Петрович заявит, что, по его мнению, таким не место в рабочем коллективе. Сам он выступит, покается и пообещает исправиться. Где-нибудь с краешку, незаметно, будет сидеть Николай Иваныч, Петрович, Сергеич. Нет-нет, он не хочет в президиум, выступать он не собирается, он хочет поприсутствовать, послушать, как товарищи выступают. Под конец собрание трудящихся, вдоволь навыступавшись, поручится за своего заблудшего, пообещает коллективно его исправить, проголосует и удовлетворенно разойдется по домам. И где-нибудь вечерком, у пивного ларька, старый мастер Петрович, более всех распинавшийся днем, скажет нашему трудящемуся за кружкой пива:

— Так-то, голубок, ПЛЕТЬЮ ОБУХА НЕ ПЕРЕШИБЕШЬ!

Посмотри, трудящийся, посмотри пристально в глаза своим сослуживцам, посмотри на толпы людей, текущие по улицам, в кинотеатрах, на стадионах или даже во Дворце Съездов – и ты увидишь: подавляющее большинство их уже знает все насчет плети и обуха. Ну, что ты мог сказать им? Каждый из них пережил или переживет еще эту судорогу прозрения. Подергается, подергается и затихнет – и ничем ты их больше не выведешь из равновесия. Что ты можешь сказать им в коротенькой листовке или даже по всем радиостанциям Советского Союза? Они-то знают, помнят еще то лихое время, когда каждую ночь кружили по улицам воронки и собирали свою дань. Они и войну помнят. Уж какая, казалось бы, силища перла, а и та не перешибла обуха. Они оттого молчат, что знают, а не оттого, что не знают. Можно ли упрекать их в этом?

Помню, в Сибири, в экспедиции, на одной из наших лесных стоянок где-то под Читой, я поймал трех муравьев и бросил их в кружку – хотелось мне посмотреть, насколько муравьи лучше людей. Естественно, они попытались выбраться, но я стряхнул их на дно. Они опять попытались – я опять стряхнул. В общей сложности они сделали около ста восьмидесяти попыток – и все, конечно, безрезультатно. Потом они затихли на дне, сползлись и уселись в кружок. Интересно, о чем они думали или говорили? Я долго смотрел за ними, но они больше не попытались убежать. Кружка с муравьями простояла в траве почти три дня. Несколько раз моросил дождь, садилось и вставало солнце, но они так и сидели в кружок и шевелили усами – должно быть, анекдоты рассказывали.

А что им остается делать? Они уже все поняли, им больше ничего не надо. Им бы и хотелось сузить свой мир до пределов семьи, квартиры, жить тихими муравьиными радостями, весенним теплым днем вылезти на солнышко, выпить на троих. Радоваться минуте, пока она солнечная, пока так уютно где-нибудь на бочках за пивнушкой и каждая минута состоит из шестидесяти блаженных секунд, а выпивка еще растягивает каждую секунду. Да не оставляют, не дают человеку жить его маленьким миром. Всюду его настигает пропаганда, вездесущий крикливый голос, заглушая весеннее чириканье. Словно горное эхо, несется этот глас со всех сторон, порождая странное существо, которое бродит между нами, – анекдот. И, выпив в укром-

ном уголке, не может советский человек насладиться моментом, прет из него то, что он весь день сдерживал. Анекдот выглядывает из-за плеча, вечный "четвертый". И, закусывая плавленым сырком, говорит:

– А знаете, как добиться изобилия? Включи холодильник в радиосеть – всегда будет полон.

Потому что хочет того или не хочет советский человек, но происходит в его душе постоянный диалог с советской пропагандой.

Включает человек телевизор, придя с работы: на экране Брежнев. Переключил на вторую программу – опять Брежнев. На третью – опять. На четвертую, учебную, – а с экрана кулак и голос: Ты у меня докрутишься!

В воображении советского человека вечный истошный пропагандный крик воплощается в наглую морду, которая расталкивает и отталкивает его мысли. Морду-то мы эту видим, да нельзя в нее ни долбануть, ни харкнуть. И человек пытается ей хоть ответить: Да ты посмотри по сторонам, о чем ты говоришь, ничего же этого нет! – А морда знай свое вопит, точно и не слышит тебя. И не выключишь ее, сколько ни крути, сколько ни выключай телевизор.

В психиатрической спецбольнице в Ленинграде был у нас такой больной, который целый день вел бесконечный спор с пропагандой. Сидит у себя на кровати и возмущается: "Ну вот, опять завели, вот бред, вот сброд проклятый! Электрификация, индустриализация, химизация! Хи-ме-ри-зация все это!" Постепенно расходясь, он до крика доходил: Тьфу, бред! Вот сброд, тьфу!

Как-то в минуту внутреннего затишья рассказал он мне свою невероятную историю. Признался, что спор с пропагандой ведет лет с двадцати (а было ему тогда уже под пятьдесят), только спорил не вслух. Однажды его, наконец, прорвало, и на каком-то собрании он высказал все, что у него накопилось. Посадили.

– Сижу я в камере и, как обычно, спорю. С ними же не спорить – совсем обнаглеют, житья не будет. Заспорились за полночь – больно спор горячий был, это когда Никита заявил, что у нас нет политзаключенных. Я уже до мата дошел, а тот сидит себе с невозмутимым видом и знай свое повторяет. К утру я аж охрип. Подошел завтрак, открыли кормушку и суют пайку. Од-

ну!' Точно не видят, что нас двое. Я в дверь стучать, скандалить, приходит начальник тюрьмы: "Как фамилия?" – говорит. Называюсь. "А второго?" Тот, сволочь, за мной повторяет. "Ничего не знаю, – говорит начальник тюрьмы, – у меня здесь один такой числится. Не положено". Сколько я ни скандалил, и прокурора вызывал, и самому Хрущеву писал – бесполезно. А тот все норовит первый к кормушке подлететь и мою паечку зацапать, и сахарок. Так и пришлось мне его кормить. И баланду, и кашу – хлебаем из одной миски и все спорим, спорим, есть у нас политзаключенные или нет. Наглая морда – вместе же сидим в тюрьме, на одних нарах спим, одним бушлатом укрываемся, а он все свое. Вот сброд проклятый, тьфу! Повезли нас на экспертизу – обоих. Профессор, умный такой, в очках, еврей между прочим, спрашивает: "Ваша фамилия как? А ваша?" Называем хором. "А, – говорит понимающе так, – раздвоение личности? Бывает... И давно это у вас началось?" Видим, человек сочувствующий, мы ему про пайку. Он опять головой кивает, прописал две пайки, каждому отдельную койку. "Не волнуйтесь, – говорит, – вам обоим все это только кажется, подлечитесь – пройдет". А потом начал про взгляды выспрашивать. Тот ему как завел свое обычное – профессор головой закивал и даже записывать не стал. Я ж только рот открою – хмурится и строчит. Ему, гаду, таблетки слабенькие прописал, а мне уколы – вот ведь бред! Каким-то чудом узнали про нас за границей, крик подняли – ишь, говорят, советская власть держит в заточении двух братьев – борцов за свободу. Сам Арагон, говорят, статью в "Юманите" написал, а "Дейли уоркер" выразила сожаление: зря, мол, московские товарищи нарушают ленинские нормы. Так наши что придумали, сволочи? Выпустили, сброд проклятый! Его, а не меня. Сидит он теперь, мерзавец, в Париже и по березкам тоскует. По вечерам московское радио ловит, в посольство ходит, назад просится, в советские газеты пишет: "Не хочу больше жить на гнилом Западе". Они его печатать печатают, а обратно не впускают. Наших туристов водят на него посмотреть: вот оно как тошно без советской родины. Пьет горькую, а с похмелья Арагону звонит: "Черта лысого ты меня сюда вытащил? И метро у вас грязное, и похмелиться не на что. Лучше б я в родной тюряге сидел". Тот ему сразу чек, на опохмелку. А про меня и забыли. Сброд собачий! Ну, бред, тьфу... – И опять зашелся.

Вот они, советские люди, валят толпой по переходам в метро, по бульварам, молча, мимо газетных стендов, только выловит глазами заголовок в газете и ощерится. Все молчат – каждый ведет свой диалог. И за целую жизнь накипает такая злоба – весь свет им не мил.

Тащится интеллигентный старичок по Арбату, в "Прагу" за продуктами, тихий такой старичок, никого не трогает. "Ага, – рассуждает он сам с собой, – солнце светит, солнышко вызверилось, опять скажут – достижение социализма". Ненавистно ему небо – советское; листочки зеленые – и те будто с первомайского плаката. Газета висит – свежая, а ну, чего еще они там наврали? И ведь знает, что наврали, и противно читать, ан нет – станет, проглядит, чтобы душу растравить. "Ага, урожай! Опять небывалый, опять в рекордные сроки. Опять, значит, в Канаду за хлебушком. Студенты на колхозных полях. Ну да, как обычно: колхозники, поможем студентам наполнить государственные закрома. Забастовка во Франции. Ничего, добастуетесь, покажут вам забастовки. Разгон студенческой демонстрации. Сюда бы их, этих студентов, на картошку, живо отучились бы демонстрировать". Один только товарищ Пиночет радует его сердце: "Взвыли, голубчики, когда ваших прижали? Жми и дальше, дорогой, на тебя одна надежда, везде бы так". Нет, так уж устроен советский человек, что не может пройти мимо этого, отгородиться – как наркотик, как допинг нужно ему травить душу этим ядом.

Этот вот самый старикашка всю жизнь до пенсии работал в той же самой газете, всю жизнь писал про те же небывалые урожаи. Или пусть не писал, пусть был наборщиком или печатником, мастером на заводе или школьным учителем. Почему, в самом деле, производить колючую проволоку – не преступление, а надзирателем работать – преступление? Так или иначе, все вовлечены в преступления власти, все работают на государственных предприятиях, укрепляя этим систему, создавая ей ценности. Все поднимают руки на собраниях, голосуют на выборах и – самое главное – не протестуют. Что бы ты ни сделал, объявляется достижением системы. Научное открытие, новая симфония, победа на Олимпийских играх – все новая победа социализма, доказательство его прогрессивности. Так почему же тогда де-

лать открытия, писать музыку, играть в хоккей или перевыполнять план на заводе можно, а создавать советскую пропаганду – нельзя?

Почему нельзя быть членом партии или комсомола? Там же ничего особенного не делают, от рядового члена ничего и не требуется – только взносы плати. А дальше никто твоего согласия и не спросит – пошлют ли тебя работать в КГБ или в милицию, какая разница? Не меня, так другого. Работа как работа – приказы выполнять. У нас ведь все чиновники, все служащие государства. И там люди не хуже других, просто работа у них такая. Ну, а те, что отдают приказы, те, что на самом верху? Но и они лишь чиновники, рабы системы, рабы внутренней борьбы за власть. И если сейчас в Москве провести суд наподобие Нюрнбергского, никакие судьи и прокуроры виновных не найдут. Сверху донизу уже никто не верит в марксистские догмы, но продолжают ими руководствоваться, ссылаться на них и ими бить друг друга – это доказательство лояльности, хлебная карточка.

Так как же эта таинственная душа примиряет в себе – думать одно, говорить другое, а делать третье? Одними анекдотами здесь не отделаешься, и даже муравьям, чтобы оправдать свою покорность, нужно развить целую теорию.

– Плетью обуха не перешибешь.

– Что я могу сделать один? (Если бы все, тогда и я.)

– Не я, так другой. (И я лучше, я сделаю меньше зла.)

– Ради главного следует идти на компромиссы, уступки и жертвы. (Так и Церковь считает, что ради самосохранения надо идти на уступки, – уступкам конца не было, и вот уже священников назначает КГБ, а с амвона возглашают здравицу советской власти. Так и писатель, стремясь напечатать свое нужное читателям произведение, соглашается там вычеркнуть строчку, здесь добавить абзац, изменить конец, убрать действующее лицо, пересмотреть название, и глядишь – главное-то уже потерялось! Все равно – гордится писатель: на такой-то странице намек, а отрицательный герой и вообще чуть не открыто ВСЕ говорит – правда, потом перевоспитывается и говорит совсем другое.)

– Служить надо России, коммунисты когда-нибудь сами собой исчезнут. (Это особенно распространено у ученых и военных.)

– Служить надо вечному, создавать непреходящие ценности науки и культуры, а "мышиная возня" протестов отрывает от этого служения.

– Ни в коем случае не протестовать открыто – это провокация, это только озлобит власти и обрушит удар на невинных.

– Открытые протесты играют на руку сторонникам твердого курса в Политбюро и мешают "голубям" проводить либерализацию.

– Открытые протесты мешают успехам либерализации, которых можно достичь с помощью большой политики и тайной дипломатии.

– Протестовать по мелочам – только раскрывать себя. Нужно затаиться. Вот когда придет решающий момент, тогда да! – а пока замаскируемся.

– Только не сейчас, сейчас самый неподходящий момент: жена рожает, дети болеют, сначала надо диссертацию защитить, сын в институт поступает... (И так далее – до конца жизни.)

– Чем хуже – тем лучше. Нужно сознательно доводить все нелепости системы до абсурда, пока чаша терпения не переполнится и народ не поймет, что происходит.

– Россия – страна рабов. Никогда у русских не было демократии и не будет. Они к ней не способны – нечего и пытаться. С нашим народом иначе нельзя!

– Народ безмолвствует. Какое право имеет кучка недовольных высказываться – кого они представляют, чье мнение выражают?

Слышал я даже такое рассуждение: Ваши протесты вводят в заблуждение мировое общественное мнение: люди на Западе могут подумать, что у нас есть возможность говорить открыто или что-нибудь изменить, – следовательно, это на руку советской пропаганде.

– Надо спокойно сделать карьеру, проникнуть наверх и оттуда пытаться что-то изменить – снизу ничего не сделаешь.

– Надо войти в доверие к советникам вождей, воспитывать их и поучать в тишине – только так можно повлиять на государственный курс.

– Вы протестуйте, а я не буду – должен же кто-то остаться живым свидетелем. (Это я слышал в лагере перед голодовкой.)

– Была бы новая теория, вместо марксизма, чтобы увлечь людей, – а на одном отрицании ничего не построишь.

– Коммунизм ниспослан России за грехи, а Божьему наказанию и противиться грешно.

И так все – от членов политбюро, академиков и писателей до рабочих и колхозников – находят свое оправдание. Причем чаще всего люди искренне верят, что это их подлинные чувства. Редко кто сознает, что это лишь отговорка, самооправдание. И уж совсем мало кто открыто и честно признается, что просто боится репрессий. Всего один за всю мою жизнь сказал мне, что его устраивает коммунистическое государство: оно позволяет ему зарабатывать деньги, печатая всякую демагогическую чушь в газетах. – В нормальном государстве, – говорил он, – меня бы на пушечный выстрел не подпустили к печати! Что бы я делал? Грузчиком работал?

В сущности, только так называемые истинно-православные, секта, отколовшаяся от Православной Церкви и не признающая советского государства, считающая, что оно от дьявола, – только они и не поддерживают эту систему насилия. Но их немного, и сидят они все по тюрьмам, потому что отказываются работать на государство. Они не читают газет, не слушают радио, не берут в руки официальных бумаг, а чиновников, в том числе и следователей, крестят – сгинь, Сатана! На воле живут они тем, что подрабатывают у частных людей.

Ну, может, еще бродяги, питающиеся подаянием, живут вне советской системы (в лагерях они, однако, работают). Остальные же – хотят они этого или не хотят – строят коммунизм. Государству наплевать, какими теориями они оправдывают свое участие в этом строительстве, что они думают и что чувствуют. До тех пор, пока они не сопротивляются, не протестуют и не высказывают публично несогласия, они устраивают советское государство. Любви никто не требует, все просто и цинично: хочешь новую квартиру – выступи на собрании; хочешь получать на 20-30 рублей больше, занимать руководящий пост – вступай в партию; не хочешь лишиться определенных благ, нажить неприятности – голосуй на собраниях, работай и молчи. Все так делают – кому охота плевать против ветра? На том и стоит это государство, продолжает морить людей по тюрьмам, держать всех в страхе, порабощать другие народы, угрожать всему миру.

Чего же требовать от капитана Дойникова? Однажды он мне сказал: "Вот освободитесь – будете вспоминать меня с ненавистью, так ведь?" – "За что?" – спросил я. – "Ну как же, тюремщик, в тюрьме вас держал, морил голодом, не давал писем".

Нет, за те одиннадцать лет, что просидел я в общей сложности по разным лагерям да тюрьмам, не стал я ненавидеть надзирателей, особенно тех, кто сам от себя зла не делал. В тюрьме же и подавно надзирателю не позавидуешь. Бóльшую часть своего времени он сам в тюрьме, сам заключенный. А ну-ка, походи целый день по коридору, да еще если в ночную смену – взвоешь. Все время мат, жестокость, ненависть. За день зэки в кормушку тебе столько насуют, что на всю жизнь хватит, – звереют люди. Иной надзиратель настолько привыкает к ругани, что сам не свой, пока не обложат его из какой-нибудь камеры. Ходит, задирается, вызывает на ругань – душа болит. Один старшина, старый уже, так зверел от скуки в ночную смену, что мяукал, лаял, ослом кричал, – заедало его, что вот зэки спят, а ему спать нельзя. Другой ходил по коридору и громко орал: "Кто здесь начальник, а? Я спрашиваю, кто здесь начальник?" – "Ты начальник, так тебя и эдак!" – кричали зэки из камер. "То-то же, туда вас и сюда!" И через две-три минуты опять: "Кто здесь начальник, а? Я вас спрашиваю, кто здесь начальник?"

Молодые же надзиратели проявляли к нам как минимум интерес, если не симпатию. На обыске с любопытством разглядывали наши книги, листали, даже спрашивали тайком, что за книга да о чем в ней написано. Теперь вот, после статьи Сухарева в "Литературной газете", во время очередного шмона внимательно прочли мой приговор, незаметно для офицера передавали его друг другу, посмеивались. Очень бы я хотел, чтобы замминистра юстиции посмотрел на их усмешки.

За что же их ненавидеть? Уж если кого и ненавидеть, так тех, кто там наверху дерется за портфели, забыв обо всем на свете, тех, кто от имени всего народа вещает с высоких трибун, да тех, кто за хорошую плату их восхваляет в стихах и прозе. Тех, по чьему приказу затопляют кровью страну вот уже скоро 60 лет. Но и их я не мог ненавидеть. Презирать мог, так же, как все их общество, так же, как их идеологию и самооправдания, психологию рабов и поработителей одновременно. Презирал я

советского человека. Не того, который изображен на плакатах или в советской литературе, а того, который существует на самом деле, у которого нет ни чести, ни гордости, ни чувства личной ответственности, который может один на медведя с рогатиной ходить, а мимо милиции идет – робеет, аж пот его прошибает. Который предаст и продаст отца родного, лишь бы на него начальник кулаком не стучал. Трагедия же заключалась в том, что сидел он в каждом из нас, и пока мы не преодолеем в себе этого советского человека – ничего не изменится в нашей жизни. Он-то и держал меня в тюрьме. Таким образом, и с этой стороны выходило, что сидеть мне еще много, видимо, до конца жизни.

Куда же, однако, меня везут? Чекист мой слева задремал, даже всхрапнул. И вдруг, точно от толчка, проснулся, испуганно озираясь по сторонам. Все так же неслись мы с бешеной скоростью – спереди милицейская машина, сзади милицейская машина. Все так же мелькали они своими фонарями. Но чувствовалось, что подъезжаем к городу. Москва, наверное. Вот завертелись – поворот за поворотом, скорость сбавили. Да, видно, в Москве. Куда теперь? В Лефортово? Действительно, минут через 20 въезжали мы уже в знакомые лефортовские ворота.

Приехать в знакомую тюрьму – все равно что домой вернуться. Вылез из машины, повели в боксы – опять шмонать. А вещи мои? "Не беспокойтесь". Навстречу подполковник Степанов, старый мой приятель, смеется, бес. "Как дОехали, хОрОшО?" Все так же окает, как и десять лет назад. Так я и не выяснил, вологодский он, володимирский или костромской. Теперь все более или менее ясно – успокоился я. Скорее всего, привезли меня опять уговаривать отречься от своих взглядов, примириться с властью. Может, даже по Москве поводят.

Так-то вот Роде прошлой зимой возили в Ригу. Катали по городу, даже к матери завезли, всё уговаривали – видите, какая жизнь вокруг хорошая. Пока вы 15 лет сидели, у нас жизнь шла, социализм построили, все довольны. Пишите помилование – и вас выпустят. Не на того напали. Покатался Роде, повидал мать, посмотрел свою Ригу и уперся: везите назад во Владимир. Так ни с чем и привезли его назад.

Конечно, может быть, привезли меня на следствие. Весьма возможно, опять кого-то из ребят арестовали в Москве, опять

их ниточки на меня вывели. Так уже допрашивали меня и по делу Хаустова, и по делу Суперфина, и по делу Якира, и по делу Осипова – только давно убедились чекисты, что ничего от меня не добьешься, и возить перестали. Обычно наоборот – приезжал ко мне в тюрьму следователь КГБ, задавал формальные вопросы, ничего не получал и уезжал. И так они к этому привыкли, что последний раз, по делу Суперфина, следователь свой допрос тем и начал: "Ну что ж, говорить вы, конечно, не будете, да нам и не надо – чисто формальные вопросы. Протокол заполним и разойдемся". Но кто их знает, может, опять будут пытаться – терпение у них собачье. Впрочем, что я теряю? Отъемся здесь немного, отдохну, над чекистами поиздеваюсь, может, даже свидание урву – и назад, в свой Владимир. Вот только заниматься здесь не дадут – придется перерыв сделать.

Тем временем шел обычный шмон – раздели, вещи ощупали.

– Ну, что? Скоро вы там? Сколько я должен голый стоять?

– Сейчас-сейчас. – И несут мне вещи совсем другие, новенькие. Костюм какой-то черный, ботинки, рубашку шелковую. Что за дьявольщина опять?

– А мои, – говорю, – мои вещи отдайте! (Особенно волнуюсь я за свою телогрейку – там лезвия, да и привык я спать под своей телогрейкой. Зачем мне их барахло?)

– Потом-потом, – говорят, – ваши вещи дезинфицировать будут, такой порядок.

– Какая дезинфекция, какой порядок, что ты мне, бес, гонишь? Ты еще в школу ходил, а я в этой тюрьме уже сидел. Лефортовские порядки знаю – никакой дезинфекции никогда не было!

Что-то не так, что-то почуял я недоброе. И улыбочка у него елейная, так и стелется. Опять подумалось мне о лесочке да о попытке к побегу, "сапоги вам больше не нужны"... Я в скандал, я в крик:

– Не нужно мне чужое – отдайте мое. Какая дезинфекция – я из другой тюрьмы приехал, а не с воли. У нас карантина нет и санобработку проходим.

Засуетились, черти, забегали. Прискакали офицеры. Вот, дескать, порядки у нас новые, обязательно дезинфекция, никак нельзя без дезинфекции. Пожалуйте в баню. Сколько ни скандалил – бесполезно. А, будь вы неладны! Застрелить – и в своем застрелите, если приказ есть.

– А вещи мои где?

– Не волнуйтесь, завтра отдадим.

– Ну, хоть зубную щетку, порошок, мыло да махорку можно взять?

– Можно, – говорят, – берите.

С тем и привели в камеру. Непривычно как-то в вольной одежде. Шесть лет не надевал, отвык, неловко. Заводят в камеру уже к ужину. Всегда вот так с этими этапами – чего-чего, а покормить забудут, потом не допросишься, проехало. Камера номер сорок. Сидел я в ней раньше. Корпусные все знакомые, надзиратели тоже – действительно как домой вернулся. Смеются: "Опять тебя прикатили!"

В камере двое. Оба следственные. Тоже странно. Не должны бы меня держать со следственными. Значит, и я тоже под следствием. Курят сигареты, угощают. Сигарет я уже давно не курил – не накуриваюсь я ими, привык к махорке. Познакомились, поболтали. Я в основном помалкиваю – кто их знает, что за люди. К хорошим людям меня не посадят. У одного на пальце золотое кольцо – странно. Заметил он мой взгляд, объяснил, что, дескать, снять не могли, не слезает кольцо. И еще того странней – что я, чекистов не знаю? С пальцем оторвут! Ну, ладно.

Спрашиваю, действительно ли дезинфекцию вещей теперь делают, – все-таки не был я здесь три с лишним года, могли измениться порядки.

– Вам, – спрашиваю, – делали?

– Делали, – говорят.

– А что взамен давали?

– Да тоже вот костюмчик, только не такой, как у тебя, попроще. Ишь какой тебе шикарный выдали. Ну-ка, расстегни пиджак-то. Смотри, да он французский! – И точно, на подкладке изображена Эйфелева башня. Стали мои соседи поглядывать на меня с любопытством – что ты за шишка такая, почему тебе такой костюм дали? Кое-как скоротали вечер. Для меня они вольные люди, всего два месяца с воли, есть о чем спросить. Отбой. Легли спать. Ребята мои поворочались-поворочались и заснули, а мне не спалось.

Происходило со мной что-то странное. Весь мой тюремный опыт говорил мне: такого не бывает, не может быть, готовят

тебе ловушку какую-то, западню. Может, выведут гулять в Москву, а сами сфотографируют – вот, дескать, видите: он и не сидит вовсе, гуляет в новом костюме по улице Горького. Может, даже западным корреспондентам собираются показать издали – видите, живой! Может, добился кто-нибудь из-за границы свидания со мной? Каких только предположений я не строил! Да и Лефортовская тюрьма была для меня полна воспоминаний. Сидел я здесь четыре раза – в 63-м, 67-м, 71-м и 73-м, больше двух с половиной лет в общей сложности. В разные времена, при разных режимах и даже разных правителях. Удивительное свойство имеет следственная тюрьма – из свежего, только что попавшего с воли человека она выдавливает воспоминания. То кажется тебе, что ты только что прошел по Арбату или по Тверскому бульвару, то будто повидался с кем из друзей.

Постепенно воспоминания углубляются, и начинаешь перебирать картины детства. И словно в чистилище, где мучаются грешники своими грехами, всплывает к тебе из памяти все то, что неприятно, что хотел ты забыть и годами не вспоминал, так неотвязно, так назойливо, что аж зубами скрипишь. Точно весь осадок со дна поднимается и всплывает на поверхность сознания – мучительная это вещь и не скоро проходящая. И совестно тебе, и стыдно, и хочешь отвязаться, отогнать эти призраки – все бесполезно. Та́к вот, сколько ни попадал я в Лефортово, неизбежно вспоминалось детство, а с ним – наш двор, где я рос, и ведьма.

Обычно не помню я детства, хоть убей! Смутно, словно старый кинофильм, словно не моя это жизнь совсем. Какие-то картинки, обрывки. Знаю я о своем детстве больше по рассказам своих родных.

Родился я в эвакуации, на Урале, в Башкирской АССР, куда всю нашу семью вывезли из Москвы при наступлении немцев. Городок, где я родился, доставил мне в жизни много хлопот, хоть никогда я там больше не был. Во-первых, вечно путали его написание и вечно мне приходилось его диктовать по буквам всем чиновникам: Бе-ле-бей. Да не Пелепей, и не Белидей, а Белебей – черт их дери совсем, географии не знают. И все равно путали. В последнем паспорте мне-таки написали Белебель, хоть старался я изо всех сил.

А еще, стоило назвать этот несчастный Белебей, эту Башкирскую АССР, как тут же вопросительно-испытующий взгляд, словно позывной у самолетов: свой-чужой — башкир или русский? И приходилось мне всю жизнь объяснять, что я не башкир, а русский, что родился просто в эвакуации, всю жизнь жил в Москве, так же, как и мои родители. Потому что это не совсем безразлично людям, башкир ты или русский, а тебе не безразлично, кем тебя считают, вот и торопишься объяснить. И так это досадно, ну что бы стоило родить меня в Москве?! Просто и ясно,и вопросов никаких. Секундная неловкость, замешательство, и все, слава Богу, разъяснилось. Обычно это тут же забывается, но так уж устроена тюрьма, что выдавливает она тебе в память все постыдное. "Ага, — говорит тебе тюрьма, — ты же всю жизнь прикидывался, будто для тебя все равны: и русские, и башкиры". И так это тебя жжет, так мучает, как будто ты всех этих башкир в газовой камере уничтожил.

Конечно, узнал я впоследствии, что родился в самый разгар войны, когда миллионы людей убивали друг друга ради того, какие будут на свете концлагеря: коричневые или красные. Сам же я с тех времен ничего не помню. А самое раннее мое воспоминание — это картинка салюта победы в Москве. Кто-то поднял меня на руки к окну и сказал: "Вот, запомни это на всю жизнь. Это — салют победы". Оттого, видно, и запомнил, что сказали. А сам салют — цветные пятна, словно когда глаза сильно зажмуришь.

Рассказывают, что рос я в чемодане, так как в условиях войны ни коляски, ни кроватки достать было негде, и довольно долго, лет до двух с половиной, не начинал говорить. Родители заволновались — уж не немой ли я, но знакомый врач успокоил их, что все дело в недостатке питания и особенно сахара. Где уж потом доставали они для меня сахар, не знаю. Зато читать научился очень рано, лет в пять, в основном — по газетам. Очень мне нравились газетные карикатуры, и я с охотой их перерисовывал, а потом читал подписи под ними.

Долговязый, нескладный Дядя Сэм в полосатых брюках, в цилиндре и с бородкой клинышком вместе с толстеньким Джоном Буллем в сапожках и фраке не сходил тогда с газетных страниц. Чего только с ними не происходило: то они шлепались в лужу, то их выгоняли пинком под зад какие-то дюжие ребя-

та, а иногда даже дрались между собой. Если же появлялся непомерно толстый капиталист в черном цилиндре и с сигарой в зубах, то в руках у него непременно был огромный мешок, а на нем единица со многими нулями – чем больше, тем лучше. Иногда сквозь дырки в мешке сыпались монеты или бумажки. Если же на арене появлялся британский лев, то ему не забывали нарисовать заплатку на заднем месте или отпечаток чьего-то ботинка. И так мне нравились приключения этих персонажей, что стал я сам придумывать им новые беды. Кажется, родителей эта затея не воодушевила – во всяком случае, они пытались отвлечь меня старыми немецкими книжками с готическим шрифтом и с литографиями, которые остались от деда. Все это услужливо и ехидно напоминала мне теперь тюрьма.

Жили мы тогда недалеко от Пушкинской площади, в старом, деревянном и оштукатуренном сверху, двухэтажном доме, очень типичном для Москвы. Их стояло на нашей улице три таких подряд, и еще во времена моего детства осмотрела их какая-то комиссия и определила, что для жилья они не годны. На углу каждого из них написали синей масляной краской "Д.Н.С.", что означало: Дом На Слом. Простояли они, однако, до 1970 года, и все время в них люди жили.

В нашей квартире на втором этаже жило четыре семьи, одна из них – наши родственники. Кухня же, коридор, ванная и туалет были у нас общими. Считалось, что нам еще здорово повезло: бывали квартиры и по десяти-двенадцати семей, а то и вообще бараки, где семьи жили, разделенные занавесками или фанерными перегородками. Да и соседи у нас были сравнительно спокойные.

Во время войны московские жители почти все эвакуировались в глубь страны, другие же, выкуренные из фронтовой полосы семьи оседали в Москве и селились в оставленных домах. После войны, когда вернулись старые жильцы, Москва оказалась переполненной. Уезжать из Москвы никто не хотел, так как снабжалась она продуктами лучше, чем провинция. Жили в подвалах, сараях, в бараках, а почти во всех квартирах ютилось по многу семей: хоть и до войны была теснота в коммуналках, а стало еще хуже. Так продолжалось до 60-х годов, но и сейчас еще больше трети московских квартир – коммунальные.

Такая жизнь порождала бесконечные коммунальные склоки, ссоры и драки. Люди не могли скрыть друг от друга малейших подробностей своей жизни, и каждый знал, что варится в кастрюльке у соседа. Любое неосторожно оброненное на кухне слово могло быть использовано в этой кухонной войне для политического доноса, особенно если это сулило возможность получить опустевшую комнату. Тяжелее всего приходилось людям интеллигентным, исконным московским жителям, воспитанным по-старому. Они не могли опуститься до кухонных склок, до каждодневной борьбы за жизненное пространство, да и приучены к этому не были. Воспитание требовало от них уступчивости, сговорчивости, вежливости, а повседневная жизнь – обороны. Проблема эта, если ее обобщить, стала, видимо, одной из центральных в нашем веке. Интеллигентность и вежливость стали неконкурентноспособными в столкновении с хамством, подлостью и грубой силой. Что противопоставить им? Использовать те же средства? Но тогда наступает внутреннее перерождение, и обе стороны перестают чем-либо отличаться друг от друга. Оставаться собою? Но тогда наступает физическое истребление.

Не та ли проблема ощутима и в попытках западных обществ противостоять коммунизму или внутреннему терроризму? Бабушка моя, не зная, может быть, универсальности этой проблемы, стыдилась выходить на кухню, когда соседи развешивали там для просушки украденные у нее простыни. Точно так же исчезала неосторожно оставленная посуда. К счастью, очевидно, благодаря нашей уступчивости, ни скандалов, ни драк не происходило, чего нельзя было сказать о других домах в округе. То пьяный муж гонялся с ножом за женой по двору, то дрались в какой-то квартире, и со звоном разлетались стекла, а то и просто сцеплялись где-то бабы и истошно материли друг друга полдня. Все это были обычные сцены.

Жили мы впятером в двух комнатах. Родители бóльшую часть дня были на работе, сестра в школе, а мы с бабушкой оставались дома. Вместе мы ходили за керосином (газа еще не было, и пищу готовили на керосинках), вместе же выстаивали огромные километровые очереди за мукой. Выстоять такую очередь нужно было несколько дней, и, чтобы порядок не спутался, на ладонях писали чернильным карандашом порядковый номер. По вечерам и по утрам приходили на перекличку. Обычно стояли

целыми семьями, с детьми, так как количество муки на человека было нормировано. По вечерам бабушка читала мне вслух – в основном, Пушкина, Жуковского, Некрасова, сказки Андерсена или братьев Гримм. Была она уже очень старая и обычно засыпала среди чтения. Очки у нее сползали, и она начинала всхрапывать, а я теребил ее: "Бабушка, ну что там дальше? Бабушка, ну не спи!"

Иногда мы с бабушкой ходили гулять далеко. Мы шли не торопясь вдоль реки, через Красную площадь и в Александровский сад – вокруг Кремля. По камням Красной площади громыхали грузовики – пыльные и зеленые. Бабушка говорила, что они защитного цвета. Кремль возвышался таинственной твердыней, и войти в него было нельзя. Только из-за стены манили купола и башни. Бабушка рассказывала мне разные истории: и про татар, и про Ивана Грозного, и про царь-колокол, и про царь-пушку. Она рассказывала про царей, про бояр, и про кремлевские колокола, и как по утрам колокольный звон плыл над Москвой и празднично разодетый народ толпой валил в Кремль. А когда мы проходили мимо Спасской башни, она неизменно повторяла:

Кто царь-колокол поднимет,
Кто царь-пушку повернет,
Шапки кто, гордец, не снимет
У святых Кремля ворот?

Я всегда представлял себе этого гордеца – он стоял у Спасских ворот подбоченясь и глядел вверх, так высоко задирая голову, что шапка почти сваливалась. Лихой парень!

А так почти весь день проводил я во дворе. Среди всех обычных скандалов, мата и поножовщины жили мы, мальчишки, своей, особой жизнью, мало обращая внимание на происходящее. Чердаки, подвалы и лестницы были нашим миром. Конечно, постоянно играли в войну, причем одна сторона были НАШИ, а другая – непременно НЕМЦЫ. Поскольку никто играть за немцев не хотел, то каждая сторона считала, что они – наши, а немцы – другие. Двор наш из-за обилия сараев и пристроек имел множество уголков, удобных для засад.

Парни постарше гоняли голубей, обменивались ими, ловили чужих и тайком распивали водку в своих голубятнях. По ве-

черам они собирались группами у ворот, иногда с гитарами. Почти все они, так или иначе, занимались воровством, и атмосфера этой жизни была насквозь пропитана уголовным духом. Насколько я могу судить, таков вообще был климат в Москве в те годы.

Кумиром мальчишек был здоровенный, вечно пьяный мужик по имени Юрка, бывший борец, зачинщик всех драк. Он любил выходить во двор в майке или вообще голым по пояс, чтобы видны были его могучие бицепсы, и шел в пивную невдалеке. Там он напивался и затевал драку, неизменно оказываясь победителем. Часами он выстаивал у ворот, задирая прохожих. Среди нас ходили легенды о его силе и подвигах.

Самые скандальные и многочисленные семейства жили в подвалах. Между ними часто возникали настоящие побоища, причем иногда весь двор принимал ту или другую сторону и ввязывался в драку. В хорошую погоду выползали на солнышко какие-то бабки, ползали в пыли дети, сушилось на веревках белье, а в глубине двора, в полуподвальной комнате, жила ведьма. Самая настоящая старая безобразная ведьма с волосатой бородавкой на щеке, и нос крючком. Рассказывали, что она ни с кем не общается, даже на кухню не выходит, а готовит на керосинке у себя в комнате. Даже общим светом она не пользовалась, а сидела с керосиновой лампой. Говорили также, что по ночам она листает какие-то старые колдовские книги, которые, кроме нее, никто прочесть не может, и что-то над ними ворожит.

Действительно, много раз по вечерам, подкравшись к ее окну, можно было разглядеть сквозь грязные стекла, как она сидит у керосиновой лампы с этими жуткими книгами. Наружу появлялась она редко, и, конечно, каждое ее появление в неизменном облезлом меховом пальто и старомодной шляпе вызывало всеобщее возбуждение. Зимой мы швыряли в нее снегом, а то и льдышками, бежали за ней следом и исступленно вопили: "Ведьма! Ведьма! Ведьма!" Обычно уже у дверей она останавливалась, поворачивала к нам свой крючковатый нос и говорила плаксивым голосом: "Дети, какие вы злые, дети! Что я вам сделала?" И, конечно же, возбуждала этим еще бóльшую нашу ненависть.

Однажды летом к вечеру вдруг заметались по двору бабы, всполошились старухи: "Ведьма помирает! Ведьма помирает!"

Большой толпой, превозмогая страх, сорвали дверь, ввалились к ней в комнату, напирая друг на друга и спотыкаясь о порог.

"Померла, померла уж ведьма-то".

Мне ничего не было видно из-за спин, я стал разглядывать стены и потолок. Пахло, как на чердаке – пылью и плесенью. На одной стене висела большая фотография под стеклом: молодой офицер с лихими усиками и смущенно улыбающаяся девушка в белом подвенечном платье.

Долго в этот вечер не утихало во дворе возбуждение. Стояли кучками, толковали про ведьму. Какая-то древняя бабка рассказывала: "Образованная была барыня, говорят, десять языков знала. Сразу в восемнадцатом-то году жених ее сбежал на юг, к белым, офицер был, да так и не вернулся – говорили, что убили его. Она же вот все не верила, все ждала." В других же кучках толковали больше про то, что освободилась теперь комната и кому она может достаться.

Вот эту-то историю с ведьмой неотвязно вспоминал я в Лефортово – каждый раз, как попадал туда. Аж карежило меня от этих воспоминаний, и никакие оправдания не помогали. Так и виделась мне она, словно живая, когда, обернувшись у двери, в своей драной шубе, говорила плаксивым голосом: "Дети, какие вы злые, дети!"

Школа наша стояла в конце улицы, на пригорке, серое четырехэтажное здание казарменного типа. Один его вид вызывал у меня неистребимую скуку. Вся система преподавания у нас возбуждает отвращение к учебе. Программы унифицированы для всего Советского Союза, утверждаются и разрабатываются в Министерстве просвещения и рассчитаны на самые средние способности, даже ниже средних. Но для слабых учеников и они непомерно трудны, а для способных – настолько скучны и однообразны, что не создают интереса и не приучают работать. Полностью исключена инициатива, своеобразие понимания – от ученика требуется слово в слово повторять, что написано в учебнике. Для успевания достаточно средней памяти.

Учатся, например, в школе с семи до семнадцати лет, то есть десять лет, да потом некоторые еще пять лет в институтах. Пятнадцать лет по всему Советскому Союзу учат язык (чаще всего английский), и никто его не знает, если только не занимаются

дополнительно. Кроме какого-то десятка бессмысленных предложений, никто ничего произнести не может. Еще остается в голове смутное представление об английской грамматике, но и оно исчезает, потому что не к чему его приложить. Позже на моих глазах взрослые люди – не такие способные к языкам, как дети, – за год тюрьмы или лагеря выучивали язык вполне прилично. Здесь же просто тратилось впустую время.

Особенно были мне противны гуманитарные предметы: история, литература, даже география. Они настолько пропитаны идеологией, что от них ничего не остается. Не то чтобы эта идеология в то время вызывала у меня какие-нибудь серьезные возражения, но она делала предметы убийственно скучными. В самом деле, что интересного в истории, если все это – сплошная классовая борьба и постепенный переход к социализму? Оставалось только запомнить даты каких-то сражений, восстаний и годы жизни выдающихся революционеров.

А литература? Уже взрослым, в тюрьме, я от нечего делать перечитал Толстого и вдруг обнаружил, что это же страшно интересно. А в школьные годы я обязан был писать сочинения по его произведениям, анализировать "образы" – положительные, отрицательные – и люто ненавидел Толстого. И все эти гуманитарные советские знания я механически запоминал, механически отвечал и так же механически забывал, как большинство моих сверстников. Несмотря на все это, учился я всегда хорошо, особенно же любил математику и химию. А вот каких предметов мы терпеть не могли – это рисование, физкультуру и пение. Инстинктивно мы все чувствовали, что для этих занятий нужны особые способности, склонности или хотя бы настроение, а просто так петь или прыгать, потому что это по программе положено, – смертельно противно.

Советским детям не полагается никакой самостоятельности, они должны делать то и только то, что им сказано. Резвость, озорство, подвижность – естественные свойства нормально развитого ребенка – советская школа стремится истребить в корне, действуя нудными выговорами, наказаниями и натравливанием родителей на детей. Никому не дают остаться самим собой, всех стремятся переделать, перевоспитать, как в заведении для малолетних преступников. Это вызывает отчаянное сопротивление молодых организмов, своеобразный протест против непри-

знания их личности. А поскольку формально все проводится через учителя, то его изолированное положение надзирателя вызывает к нему естественную ненависть. Возникают примерно те же отношения, что в "Бурсе" Помяловского, когда учителя и ученики – смертельные враги и класс травит учителя, как только может, он же норовит их наказать или унизить, чем только возможно.

Нужно добавить, что учителя, как и врачи, у нас самая низкооплачиваемая профессия, поэтому в учителя идут по нужде, когда человеку некуда больше устроиться, да еще неудачники или неспособные к более квалифицированной работе. И еще наивные девицы, представляющие себе эту работу идиллически. Они обычно скоро убегают, затравленные и учениками, чующими в них слабость, и администрацией, требующей формальных показателей работы и слепого выполнения директив. Словом, обычное советское производство, со всякими межрайонными соревнованиями и переходящими вымпелами.

Справедливости ради следует сказать, что есть и весьма незначительное число истинных энтузиастов-педагогов, людей талантливых и честных, однако их так мало, что это практически не меняет картины. Даже ученики чувствуют, что это какое-то исключение, и относятся к этим людям иначе. Обычно у таких учителей не жизнь, а каторга – они в вечном конфликте с администрацией, вечно стремятся преподавать как-то нестандартно, по-своему, не выполняют каких-то директив и указаний, постоянно получают выговоры и целый день с утра до ночи торчат в своей любимой школе. Инстинктивная любовь ребят к ним вполне понятна: с ними не так скучно, а главное – они сами гонимые, а не гонители. Средний же интеллектуальный уровень учителей в СССР часто ниже уровня учеников.

А образование обязательное, ребята, не желающие учиться совсем, вынуждены таскаться в школу каждый день и отсиживать свои часы. Им ставят двойки, их наказывают, их оставляют на второй год, но они отлично знают, что в конце концов им все равно поставят удовлетворительные оценки и они закончат школу, получат свою бумажку об окончании. И уж как их ни наказывай, что с ними ни делай, они все равно будут хулиганить – скучно же! Оставшись на второй год, они старше и сильнее всех в классе и наводят свои порядки. Словом, бурса.

Стыдно вспомнить, чего только не вытворяли мы со своими учителями. Была у нас, например, учительница истории по кличке Моржá. Звали ее так уже многие поколения школьников, оттого что росли у нее пышные усы. Человек она была, видимо, не злой, да вот беда – глуха на одно ухо, и какая уж там история! Мы весь урок норовили взорвать у нее под глухим ухом ружейный капсюль. Обычно натыкали его на перо ручки и бросали об пол с "глухой" стороны. Грохот оглушительный, а она и усом не ведет. Очень это нас забавляло. Другая учительница, по естествознанию, несчастная женщина, сказала нам как-то, что была в экспедиции, где их всех перекусал энцефалитный клещ. "Энцефалит, – говорила она нам, – это такая болезнь, от которой или умирают, или сходят с ума. У нас в экспедиции все умерли, а я, как видите, ничего, выжила". Уроки у нее иногда походили на побоища, никто на нее даже внимания не обращал с ее энцефалитом: возились, орали, играли – самое веселое время было в школьной программе.

Совершенным идиотством были уроки пения. Приходила в класс женщина со скрипкой и мелодичным голосом предлагала нам спеть песенку. Она уговаривала нас, уверяя, что мы сами не знаем, какие мы музыкальные. Она пела эту песенку сама три раза, водя смычком под горлом. Это была мука и для нее, и для нас. Попробуйте, без всяких музыкальных способностей, спеть, стоя перед целым классом своих товарищей! Все с нетерпением ждут твоего конфуза. Мнешься, потеешь, краснеешь, но петь невмоготу: ведь сейчас же тебя обсмеют! И говоришь со злобой сквозь зубы: "Не буду петь". Обычно все эти пытки кончались тем, что мы принимались мычать, свистеть, визжать, хрюкать в тридцать глоток на разные лады. Она же роняла скрипку и затыкала уши – ей было больно слышать такие немузыкальные звуки. На наш кошачий концерт сбегались учителя из соседних классов и бедную женщину уводили всю в слезах.

К старой учительнице русского языка был у нас подход совершенно особый. Она была уже глубокой старухой, глуховатой, сентиментальной, и обожала птиц. Поэтому, как только начинался урок, кто-нибудь из нас начинал, аккуратно так, посвистывать по-птичьи. "Ах, – умилялась она, – скоро весна, детки, птички поют". Какое там весна, дура старая, – на дворе декабрь!

Но это было только начало. Тотчас же кто-нибудь другой заявлял под птичий пересвист: "А я рогатку сделаю и буду их стрелять". Тут же русский язык и кончался – начиналась лекция о птичках: какие они полезные да как нехорошо их убивать. И удивительно, не надоедало нам каждый день слушать эти птичьи лекции. Главное же – урок проходил, никого не спрашивали, домашних заданий не проверяли.

Большинство же учителей были жестокими, бездушными машинами, беспощадно нас притеснявшими. Лучший пример – сам директор, здоровенный двухметровый детина. Он даже старшеклассников, ребят по 16-17 лет, бил по лицу публично, а уж младших-то затаскивал к себе в кабинет и там расправлялся нещадно. И все терпели – здоровые ребята сносили публичные пощечины. Только мы не стерпели, и, когда он побил кого-то из нашего класса, мы, человек пятнадцать, зашли к нему в кабинет после уроков, когда в школе почти никого не осталось. Было нам лет по 14, а некоторым и больше, страха мы не ведали, вид у нас был весьма внушительный. Мы очень быстро отключили телефон, когда он попытался вызвать милицию, и объяснили, что легко отключим и его самого, если он еще кого-нибудь из нас тронет. Поверить в это, зная тогдашнюю московскую атмосферу, было нетрудно. Он как-то сник и с тех пор обходил нас стороной.

Пожалуй, единственный человек,пользовавшийся у всех ребят уважением, был преподаватель английского языка. Это был человек небольшого роста, со шрамом на лбу и удивительным умением внушать страх. Одевался он чрезвычайно плохо и, видимо, сильно нуждался. Вообще было в нем что-то трагическое. Говорили, что он был ранен на фронте и вроде даже в плену побывал. Во всяком случае, зрение у него было повреждено как-то странно: видеть он мог или совсем вблизи, буквально водя носом по странице, или вдали, в конце класса. Середины же не видел – это проверялось много раз, но никто не осмеливался пользоваться его слабостью. Он входил в класс стремительно, как-то боком, на ходу открывая журнал: „Whom shall I ask, whom shall I ask, whom shall I ask at first?" – говорил он зловеще, двигая носом по журналу, и наступала гробовая тишина. "Мамочки, только б не меня!" – молился каждый. И ведь никого не бил, а все учились, даже самые ленивые, даже второгодники. Он был какой-то загадочный и оттого страшный.

Впоследствии, когда я перешел уже в другую школу, я даже нашел его адрес и несколько раз был у него дома. Жил он действительно совершенно нищенски, но это меня нисколько не разочаровало – напротив, я чувствовал в нем необычного человека и тянулся к нему. Поражало его умение общаться как бы на равных, хотя мне было тогда лет 15, а ему лет 45. Это тем более поражало, так как я знал, каким недосягаемым и страшным был он в классе. Однажды я застал его слушающим приемник, но он тотчас же его выключил, и я понял, что слушал он не московское радио. Но разговора об этом не было. В другой раз попросил он меня переснять какую-то фотографию. Я тогда занимался фотографией, но фотоаппарат у меня был самый дешевенький, не приспособленный для этих целей. Я возился целый месяц, усовершенствовал свой аппарат, изучил оптику по учебнику старшего класса, рассчитал линзы, сломал ограничитель, отвернул объектив за дозволенный лимит, но фотографию ему сделал лучше любого ателье. Я и мысли не допускал, что могу не выполнить его просьбу.

Потом мы как-то растеряли друг друга. Прошло много лет, КГБ уже собирал материал на меня, а я об этом знал, как вдруг он нашел меня сам через кого-то из моих бывших школьных сотоварищей. Мы встретились на улице, и он объяснил мне, что в школу приходили из КГБ, собирая обо мне сведения. "Я не знаю, в чем дело, и не интересуюсь, – сказал он, – просто хотел тебя предупредить, чтобы ты знал". Мы расстались, и больше я не встречал его, а жаль, человек был явно особенный, редкий.

Но, пожалуй, только два эпизода из моей школьной жизни вспоминались мне теперь чаще всего, два самых постыдных и мучительных эпизода. Один из них связан с моим пребыванием в пионерах.

Принимали нас в пионеры почти всем классом, было нам по восемь лет, и согласия у нас никто не спрашивал. А просто объявили, что такого-то числа будет прием в пионеры и примут самых достойных. В назначенный день нас повели в Музей Революции, благо был он за углом, на улице Горького. Выстроили в одном из залов, торжественно внесли знамя, и каждый из нас должен был произнести клятву перед знаменем: "Я, юный пионер, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь, что буду

твердо стоять за дело Ленина-Сталина, за победу коммунизма", и так далее. Затем каждому надели красный галстук, забили в барабан, заиграли в горны, а распорядитель всей церемонии, стоя у знамени, провозгласил: "Юные пионеры! К борьбе за дело Ленина-Сталина будьте готовы!" — "Всегда готовы!" — хором ответили мы, и на этом церемония окончилась.

В сущности, я ничего не имел против того, чтобы быть пионером. Дело это самое обыкновенное: подходит твой возраст — становишься пионером, потом комсомольцем, а затем и членом партии. На моих глазах так было со всеми, примерно так же, как переходят из класса в класс. Дальше, однако, все оказалось хуже. Регулярно проводились пионерские сборы, какие-то смотры и линейки, и в то время, как счастливчики-непионеры шли себе домой, гулять и развлекаться, мы должны были париться на сборе и обсуждать какие-то скучнейшие вопросы успеваемости и поведения, проводить политинформации и так далее. Учителя и воспитатели при каждом случае начинали тебя упрекать: ты же пионер, ты должен больше слушаться, не делать того и сего. И всем нам давались общественные поручения: выпускать стенгазету, делать доклады, подтягивать отстающих, а главное — воспитывать других и друг друга, прорабатывать двоечников и нарушителей дисциплины. То есть, сами того не заметив, мы оказались — в нашей традиционной вражде учеников и учителей — на стороне учителей, что было противоестественно и как-то подло. С точки зрения класса, это было предательством.

Получалось какое-то раздвоение: с одной стороны, как и весь класс, мы дразнили учителей и старались на уроке сделать им шкоду, с другой стороны, на сборах мы должны были осуждать тех, кто это делал, должны были доносить на них публично. Некоторые из нас таким образом становились просто ябедниками и возбуждали всеобщую ненависть. Большинство же — лгали и лицемерили, притворялись, что ничего не знают и не видят. Все мы, однако, должны были осуждать нарушителей.

Для меня все это стало особенно очевидно, потому что — как лучшего ученика — меня назначили пионерским председателем в нашем классе. Я должен был вести эти чертовы сборы, следить за тем, чтобы все остальные пионеры выполняли свои по-

ручения, участвовать в заседаниях пионерского руководства всей школы и тому подобное. Непосредственно мне говорили учителя, о ком я должен поставить вопрос на сборе, кого предложить исключить из пионеров или еще как наказать. Я же должен был участвовать в персональной проработке отстающих и нарушителей.

Однажды наша учительница очередной раз позвала меня на такую проработку. Как обычно, мы втроем уединились на переменке, и я должен был в присутствии учительницы отчитывать своего провинившегося одноклассника. Я начал обычные в таких случаях уже надоевшие мне формальные уговоры, говорил, что он позорит всех нас, что он должен исправиться, чтобы помочь этим всей стране строить коммунизм, как вдруг мне в голову пришла неожиданная мысль: фамилия этого парня была Ульянов, как и Ленина, и я начал говорить ему, что он позорит фамилию вождя, что с такой фамилией он обязан учиться, как учился Ленин, да еще добавил что-то о том, как бы, наверное, расстроился Ленин, если бы узнал о его поведении. Говорил я, видимо, очень красноречиво, убедительно и даже обидно, потому что вдруг он покраснел, сморщился и заплакал.

– Сволочь ты! – сказал он. – Гад! – Встал и ушел вон.

Учительница была в восторге от такого эффекта, хвалила меня, а я вдруг почувствовал себя действительно гадом и сволочью. Я вовсе не чувствовал, что парень кого-то позорит, и никакого зла на него не имел. Я просто привык формально произносить слова, которые от меня требовались, и все, кому я их до сих пор говорил, понимали, что я говорю неискренне, только чтоб от меня отвязались. Никто на меня не обижался, и со всеми я был в приятельских отношениях. Наоборот, ко мне относились с уважением, потому что я никого не выдавал, а всегда делал вид, что ничего не заметил. И меня тоже никто не выдавал. Тут же я сделал ему по-настоящему больно, и это меня поразило.

Я вдруг понял, что не хочу, не могу больше играть эту дурацкую роль. Зачем? Ради чего? Почему я должен быть орудием в их руках? И я отказался. Меня уговаривали, прорабатывали, осуждали, но я настоял на своем. Я не объяснял причину своего отказа, так как, видимо, не смог бы ее объяснить, но с тех пор даже галстук перестал носить. Так делали многие: носили галстук в кармане, и если старшие придирались, то украдкой, в

уборной, надевали его. Всегда можно было объяснить, что он испачкался, а родителям некогда постирать.

Было мне тогда лет десять, а в четырнадцать, когда стали всех принимать в комсомол, я в комсомол не вступил. "Ты что, в Бога веришь?" – спрашивали меня с любопытством, но я опять ничего объяснять не стал. Долго ко мне приставали, потому что я хорошо учился и всех таких было положено принять в комсомол, но сделать ничего не могли и отстали. "Смотри, – говорили многие ребята, – труднее будет в институт поступить!"

Другой, не менее позорный эпизод относился примерно к тому же времени. В 1952 году началось дело врачей-вредителей, а с ним вместе и гонение на евреев. Много было разговоров, что евреев всех вышлют, потому что они враги и хотят убить Сталина. Нарастала ненависть к евреям у людей вокруг. Для нас для всех Сталин был больше чем Богом – он был реальностью, в которой нельзя сомневаться, он думал за нас, он нас спасал, создавал нам счастливое детство. На шкале человеческих ценностей не могло быть большей величины. Все хорошее – приписывалось его воле, все, что мы видели плохого, – к нему отношения не имело. Поэтому нельзя было придумать большего зверства, чем убить Сталина.

Я тяжело переживал происходящее. Несколько раз мне снился навязчивый сон: будто бы сижу я в огромном зале, полном народу, все аплодируют, кричат, а на трибуне – Сталин. Он только что говорил речь, и вот его прервали аплодисментами. Он берет графин с водой, наливает ее в стакан и хочет выпить. Я один знаю, что вода в графине отравленная, но ничего не могу сделать. Я кричу: "Не пей, не пей!", но мой голос не слышен из-за оваций и криков. Я хочу бежать к трибуне, но народу столько, что пробиться нельзя. Страх, что Сталина убьют, преследовал меня как кошмар, я буквально заболел от этого.

В нашей школе учились всего два еврея. Один, Иосиф, был парень довольно неприятный: какой-то заискивающий, подобострастный и в то же время навязчивый, бесцеремонный. Я не любил его, и мы не дружили. О другом же никто, кроме меня, не знал, что он еврей, фамилия у него была украинская. Он жил рядом со мной, и мы обычно шли в школу вместе. Я видел его отца и мать и знал, что они евреи. Друзьями мы не были, и наше общение ограничивалось дорогой в школу. Теперь меня мучил вопрос: неужели его родители тоже хотят убить Сталина?

Наконец, одним утром чаша народного негодования переполнилась,и Иосифа начали избивать. Случилось это на перемене, на школьном дворе. А главное, стали его избивать те самые приятели, с которыми он водился, к которым больше всего лип. Толпа собралась большая, и всякий норовил его пнуть или ударить. Объяснений или призывов никаких не требовалось: все просто понимали, что его можно бить, никто за это не накажет. Несчастный же этот Иосиф, вместо того, чтобы уйти после первого избиения, потащился зачем-то в школу, норовил всем своим видом показать, что он хороший, что он со всеми и нисколько не обижается. Поэтому его били и на следующей перемене, и на следующей, а он все так же, с жалкой улыбкой, продолжал липнуть к своим приятелям, и чем больше его били, тем больше он, казалось, приглашал продолжать.

Видно, он никак не мог свыкнуться с мыслью, что нет у него больше приятелей, что он один против всех. Он хотел со всеми, готов был унижаться и заискивать, терпеть побои и издевательства, только чтобы не остаться одному. Каждый раз после перемены тащился он в класс весь в крови, с распухшими губами, и все пытался заговорить с кем-нибудь, как ни в чем не бывало. Он верил, что теперь-то уж все кончилось, все прошло и будет по-прежнему. На следующей же перемене начиналось все заново. Учителя только говорили ему сурово: "Пойди в туалет, умойся". И никаких расспросов.

Я не бил его. Он был настолько противен со своей жалкой, заискивающей улыбкой на разбитых губах, что я просто боялся оказаться с ним рядом. И только с тоской ждал: когда же это кончится? Хоть бы уйти догадался или убили бы его что ли! В то же время я отлично понимал, что этот вот Иосиф никакого отношения к Сталину не имеет – не может, не способен даже думать об убийстве. За что же его тогда бьют, и почему никто не прекратит это? Почему *я* не попытаюсь остановить? Более того, со следующего утра я перестал ходить в школу вместе со своим соседом. Я старался чуть-чуть запоздать и, выходя из дверей, искал глазами его спину. То ли мне было стыдно, то ли противно, не знаю.

Смерть Сталина потрясла нашу жизнь до основания. Занятий в школе практически не было, учителя плакали навзрыд, и все

ходили с распухшими глазами. По радио без конца передавали траурные марши, и чувствовалось как-то, что нет больше власти.

Какой-то человек кричал со слезами в голосе из окна глазной больницы: "Сталин – умер, а я – здесь!"

Не слышно было скандалов и драк во дворе, и люди говорили вполне открыто: "За кого теперь пойдут умирать? За Маленкова, что ли? Нет, за Маленкова народ умирать не пойдет!"

Огромные неуправляемые толпы текли по улицам к Колонному залу, где лежал Сталин, и ощущалось что-то жуткое в этой необъятной, молчаливой, угрюмой толпе. Власти не решались ее сдерживать, загородили только рядами автобусов и грузовиков некоторые боковые улицы, и толпа текла нескончаемо. По крышам и чердакам ухитрились мы пробраться аж до "Националя", и оттуда, с крыши, я увидел море голов. Словно волны ходили по этому морю, раскачивалась толпа, напирала, отступала, и вдруг в одном из боковых проулков под натиском ее качнулся и упал автобус, точно слон, улегшийся на бок. Несколько дней продолжалось это шествие, и тысячи людей погибли в давке. Долго потом по улице Горького валялись пуговицы, сумочки, галоши, бумажки. Даже львам на воротах Музея Революции втолкнул кто-то в пасть по галоше.

В день похорон завыли надрывно фабрики и заводы, засигналили автомобили и паровозы, произошло что-то непоправимое, страшное. Как теперь жить-то будем? Отец родной, на кого ты нас покинул?

Но вот прошли почти два года, а мы жили все так же – во всяком случае, не хуже, и это само по себе было кощунством. Жизнь не остановилась. Взрослые так же ходили на работу, а мы – в школу. Выходили газеты, работало радио, и во дворе все шло по-старому – те же скандалы и драки. Сталина вспоминали все реже и реже, а я недоумевал: ведь умер-то Бог, без которого ничего не должно происходить...

В это же время, словно тяжелые тучи, поползли упорные слухи о расстрелах и пытках, о миллионах замученных в лагерях. Освободили врачей-вредителей, расстреляли Берию как врага народа, а слухи все ползли и ползли, словно глухой ропот:

"Самый-то главный враг народа – Сталин!"

Удивительно, как быстро поверили в это люди, те самые лю-

ди, которые два года назад давились на его похоронах и готовы были умереть за него. Казалось, они всегда это знали, только не хотели говорить. Наконец, об этом было объявлено на съезде, и все те газеты и радио, книги и журналы, кинофильмы и школьные учебники, которые так долго говорили о его гении, принялись осуждать его "ошибки" и "извращения". Все, кто многие годы профессионально занимался его восхвалением, теперь уверяли, что ничего не знали прежде: или не знали, или боялись сказать.

Я не верил тем, которые не знали, – слишком легко приняли они новое знание. Да и как можно не заметить гибель миллионов людей, гибель соседей и товарищей?

Не верил я и тем, которые боялись, – слишком большие чины получили они за свой страх. От страха можно промолчать, можно убежать или спрятаться, можно, наконец, поддакивать тому, кого боишься, но кто же заставлял их сочинять оды и хоралы, лезть в генералы и члены ЦК? От страха не получают Сталинских премий и не строят дач. Рассказывали, что на съезде кто-то послал записку Хрущеву: "А где же вы были тогда?" И якобы Хрущев, прочтя записку, спросил: "Кто это написал? Встаньте!" Никто, разумеется, не встал. "Так вот, – сказал Хрущев, – я был как раз там, где сейчас вы". Многим этот ответ нравился, многим казался убедительным – я же презирал их обоих: и Хрущева, и автора записки. Им обоим, знавшим правду, не хватало смелости сказать об этом открыто. Но оба они могли и не быть там, где требовалась смелость, никто не заставлял их быть в этом зале, вблизи власти.

Как могло случиться, что люди до сих пор боятся встать? Как мог один человек, ну, пусть десять человек захватить власть и всех держать или в страхе, или в неведении? И когда же все это началось? Хрущеву казалось, что он все объяснил, на все вопросы дал ответы. Дескать, разобрались, отпустили невиновных, помянули убитых, и можно жить дальше. Для нас, в особенности же для моего поколения, вопросы только начинались. Для нас, не знавших довоенной жизни, не успевших впитать коммунистическую догму, ставились под сомнение самые основы этой жизни.

Нам уже успели внушить, что коммунизм – самое передовое учение, а Сталин – воплощение этих идей. И вдруг Сталин ока-

зался убийцей и тираном, жутким выродком, не лучше Гитлера! Что же тогда такое эти передовые идеи, если они породили Сталина? Что же тогда партия, если она, выдвинув Сталина, не могла его остановить? Боялась или не знала – не все ли равно? Ведь даже теперь, когда все открылось, они встать боятся. Первый, самый очевидный вывод напрашивался сам собой: система, построенная на однопартийном правлении, неизбежно будет рождать Сталиных и не сможет их потом устранять, она всегда будет уничтожать попытки создать оппозицию, альтернативу.

В то время много говорили о внутрипартийной демократии, но для нас это звучало неубедительно. Почему это демократия должна быть только внутрипартийной? Что же, все остальные – не люди что ли? Мы же не выбираем партию, они сами себя выбирают. И, выходит, те самые люди, которые и породили, и поддерживали Сталина, опять берутся устанавливать высшую справедливость путем демократии внутри себя? Они опять будут говорить от лица народа, который их на это не выбирал. Те же негодяи, которые тридцать лет врали нам о Сталине, будут и дальше врать о партийной демократии. Кто же в нее поверит? Да ведь и ничего, ровным счетом ничего не изменилось – если сейчас, временно, не убивают миллионы людей, то где гарантия, что этого не случится завтра? Система та же, и люди те же. Даже никто не наказан, никого не судили.

А кого судить? Виновны все – и те, кто убивал непосредственно, и те, кто отдавал приказы, и те, кто одобрял, и даже те, кто молчал. Каждый в этом искусственном государстве выполнял ту роль, которую ему отвели и за которую платили, – большой кровавый спектакль. Ну, вот хотя бы мои родители – скромные, тихие, честные люди. Но они журналисты, они создают ту самую пропаганду, которая так подло обманула меня и которая была призвана оправдывать убийства или замалчивать их. Один большой очерк отца понравился Сталину, и по его личному распоряжению его приняли в Союз писателей – он стал писателем. Это было совсем недавно, словно вчера. Все радовались и поздравляли его. Очерк передавали по радио, печатали в "Правде", издали отдельной книгой. Чему же было радоваться? Он исполнил свою подсобную роль, и главный палач наградил его. Какое мне дело, чем они оправдывали свое соучастие. Может быть, даже тем, что им нужно кормить меня.

А я сам, разве я был лучше? Мало того, что я ел их хлеб, – я еще был пионером, я участвовал в работе этой страшной машины, продукцией которой были либо трупы, либо палачи. Разве мне легче оттого, что я не понимал этого тогда? Разве легче человеку, если он узнáет, что случайно, без умысла стал соучастником убийства? Вспомнился мне Иосиф, за которого я не вступился, и Ульянов, которого я терзал его однофамильцем. Так бы и шел, наверно, от ступеньки к ступеньке, из пионеров в комсомольцы, затем в партию, как из класса в класс. Лет через сорок, может быть, приветливо махал бы рукой с трибуны народным массам или подписывал ордера на арест. А под старость мои же дети сказали бы мне: "Где ты был? Почему молчал? Как ты мог допустить все это?" И мой кусок хлеба стал бы им поперек горла.

Кто же сделал всех нас преступниками? Я жаждал правды и, естественно, начал читать все подряд, что ни попадалось. Конечно же, одним из первых попался мне в моих потемках Владимир Ильич Ленин. Ах, дорогой наш Ильич, скольких он завел в потемки, скольким дал оправдание их преступлений! Мне же он дал свет. Воистину, зажглась в моих отчаянных сумерках лампочка Ильича.

Как-то много лет спустя бывал я часто у своих знакомых. Кроме их самих и их маленькой дочки жила с ними еще бабка. Милая, тихая семья, говорили все больше об искусстве, о живописи. Однажды я неожиданно застал их в ожесточенном споре. Вся семья, включая старую бабку, спорила о Ленине. У каждого было свое представление о том, чего же хотел Ленин, во что верил и какие принципы исповедовал. Но что меня поразило больше всего – они цитировали Ленина, и каждая цитата опровергала другую. Такой эрудиции я в них не предполагал. Ленина они не любили, семья была верующая, и никогда раньше не замечал я, чтобы их интересовали взгляды Ильича. На следующий день зашел я к ним опять – и опять застал их в споре о Ленине. Что за черт, какая их муха укусила? И так недели две.

Я уж стал из терпения выходить: о чем ни заговорю, их все на Ленина сносит. Пропала моя тихая заводь, где можно было отдохнуть душой. Надо же, думал я, этот Ленин, как Сатана, вселяется в людей, чтобы их ссорить!

Внезапно все разъяснилось анекдотическим образом. Оказалось, что за отсутствием туалетной бумаги снесли они в туалет полное собрание сочинений Ленина. Естественно, каждый из них видел разные страницы этого собрания, с различными статьями, а иногда и разных периодов, и, конечно, они не могли прийти к единому мнению, что же он проповедовал. Таков действительно Ленин, такова его диалектика. Попробуйте, раздайте его сочинения разным людям и спросите потом их мнение: дай Бог, если двое из ста сойдутся. Не удивительно, что существуют на свете десятки марксистско-ленинских партий, и все — истинные! У него просто не было принципов, кроме одного: всегда подвести теоретическую базу под какое-то свое конкретное решение. Эта вот беспринципность и называется ленинской диалектикой. Философия чрезвычайно удобная для жуликов, но никогда не спасавшая их от расплаты.

В древней Греции, рассказывают, один из последователей Гераклита, первого в мире диалектика, задолжал соседу крупную сумму денег, а возвращать отказался. На суде, ссылаясь на своего учителя, он заявил, что прошло время и он уже совсем не тот человек, который брал деньги, да и кредитор его претерпел диалектические изменения, так что еще вопрос — должен ли ему вообще кто-нибудь? Все течет, все меняется. Судья, тоже приверженец Гераклита, оправдал его. Тут кредитор, рассвирепев, взял палку и избил обоих до полусмерти. Его тоже пришлось оправдать, так как он уже был совсем другим человеком, да и пострадавшие вряд ли были теми же людьми, которых били палкой.

И все-таки я извлек много пользы из чтения Ленина. Прежде всего, это живая история преступлений большевиков, та самая история, которую они теперь упорно скрывают. Даже подшивку "Правды" двадцатилетней давности советским гражданам на руки в библиотеках не дадут, а тут вся революция, вся гражданская война — в записочках и заметках Ленина, как живая! И, зная историю дальше, легко увидеть, откуда что началось.

Стержень зла я нашел в ленинской логике. Вот он говорит: "Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества". Вроде правильно: все в обществе взаимосвязаны. Но вывод-то у него, что эту несвободу надо насаждать умышленно, культи-

вировать — все равно она неизбежна. Создать своего рода круговую поруку: вот мы и оказались все преступники.

По той же схеме: Государство, говорит он, всегда насилие. Насилие одного класса над другим. В большей или меньшей степени. А значит, совершать насилие в данном случае — во имя класса пролетариата — оправданно и необходимо. Нечего стесняться. Вот вам и оправдание террора.

Литература и искусство всегда классовы, говорит он, всегда являются оружием господствующего класса, господствующей культуры, а стало быть, мы вполне продолжим культурные традиции, если разрешим создавать только пролетарское искусство в нашем рабочем государстве. Вот вам и цензура, введенная при Ленине как "временная мера", и дитя ее, соцреализм, — куда уж постоянней.

Частная собственность — это награблено у трудящихся, значит: грабь награбленное! Рассуждая строго по-ленински, почему не оправдать убийство? Ведь человек — смертен, почему не убить его сейчас, все равно ж умрет? Недаром у него была четверка по логике.

И вся его тактика как на ладони: сначала вместе со всеми съесть одних, потом с оставшимися — других, затем — третьих, и так, чтобы остаться в конечном итоге со слабым противником. А кто высший судья? Кто единственно знает, в чем интересы народа? Только он — все остальные предатели. Так чего ж нам обижаться на Сталина? Он был всего лишь послушный ученик. И посмотрите, как прилежно они ели друг друга. Сегодня — палач, завтра — жертва. Вот так, вплоть до Сталина — его уже посмертно съели. Так что читайте, господа, классиков марксизма-ленинизма! Хоть в туалете читайте, если времени жалко. Очень просвещает.

С Ленина перешел я на русских мыслителей XIX века и тут обнаружил забавную особенность: все они, сидя в своих поместьях или городских квартирах, очень любили рассуждать о народе, о том, какие в нем бродят силы неизведанные да как этот народ однажды проснется и все решит, выскажет окончательную истину и создаст настоящую культуру. Понятно, они не могли знать, что произойдет в начале будущего века и как себя народ проявит, а судили больше по своему кучеру или дворнику. Так-то вот и родилось понятие пролетарской культуры как чего-то высшего.

Нам же, росшим во дворах и коммуналках среди этого самого пролетариата, жившим с ним на равных, а не господами, было странно слышать выражение ПРОЛЕТАРСКАЯ КУЛЬТУРА. Для нас это не было мистической тайной, а означало пьянство, драки, поножовщину, гармошку, матерщину и лузганье семечек. И ни один истинный пролетарий культурой все это не назвал бы, потому что отличительной чертой этого пролетариата была ненависть к культуре и какая-то необъяснимая зависть. Культура – это была ведьма, которую гнали камнями. "Ишь, культурные!" – шипели со злобой соседи. И с детства я знал, что нет ничего более позорного, чем быть интеллигентным. Даже в шляпе ходить или в очках было скверно. И что удивительно – никто из талантливых людей, пробившихся снизу, социализма не проповедовал и пахать землю не стремился, в то время как граф Толстой спокою себе не находил, что физически не работает.

С большим интересом стал я читать дальше – и перечитал всех социалистов-утопистов, каких только мог достать. И был удивлен до крайности – ведь все их утопии действительно у нас осуществились! То есть так осуществились, как это и возможно среди людей. Мы просто оказались самыми прилежными и последовательными исполнителями этих утопий. Заметьте – все эти теории предполагают каких-то особенных людей, которым идеальное государство будет нравиться, людей только честных, объективных, заботящихся об общем благе, – интересно, куда у них все подлецы подевались? Для этого новое государство нужно изолировать от внешних влияний – вот вам и железный занавес.

В любой утопии государство создается волей какого-нибудь мудреца, этакого Дедушки Ленина, давшего людям добрые законы. Люди почему-то с радостью соглашаются принять эти законы. Вчера еще не хотели, а сегодня как один радуются – словом, вчера было рано, завтра будет поздно. Если же какая-то их часть не согласна – значит, гражданская война?

Жители утопического государства должны полностью забыть свои прежние привычки, традиции и законы, всю прежнюю историю – стало быть, цензура, запрещенные книги и тому подобное. Для пущей объективности и беспристрастия все блага жизни распределяются поровну чиновниками – вот и бюрократия.

Кампанелла в "Городе Солнца" предлагает даже подбор супружеских пар поручать особым чиновникам – то-то есть где поживиться взяточникам!

И, наконец, самое главное положение всех утопистов: считается как само собой разумеющееся, что люди, родившиеся и выросшие уже при новых порядках, будут совсем другими, такими, какие нужны для этого строя. Вот их основная ошибка: они всерьез считают, что человек рождается на свет пустым, как сосуд, и податливым, как воск, а потому – утверждали они – не будет больше преступности, недовольства, зависти и злобы.

Удивительная, наивная и бесчеловечная вера всех социалистов в силу воспитания превратила наши школьные годы в мучение, а страну покрыла концлагерями. У нас воспитывают всех – от мала до велика, и все должны воспитывать друг друга. Собрания, митинги, обсуждения, политинформации, надзор, проверки, коллективные мероприятия, субботники и социалистические соревнования. Для самых трудновоспитуемых – тяжелый физический труд в концлагерях, тот самый, к которому Толстой стремился. А как еще строить социализм? Все это мне, пятнадцатилетнему пацану, уже было понятно. А спросите и сейчас любого западного социалиста: что делать при социализме с неподходящими людьми? Воспитывать – ответит он.

У нас даже всерьез пытались путем воспитания из яблок делать груши и на этой вере пятьдесят лет строили биологию. Говорят, один чудак-англичанин двадцать лет крысам хвосты рубил, все ждал бесхвостого потомства – не дождался и плюнул. Что с него взять, с англичанина? Нет, так социализма не построишь. Не хватало ему огонька, здоровой веры в светлое будущее. Другое дело у нас: десятки лет рубили людям головы – и наконец стали-таки рождаться безголовые люди нового типа. Главное – не унывать, ведь все это ради всеобщего счастья.

Удивительная, страшная и бесчеловечная эта мечта о всеобщем абсолютном равенстве. И как только захватывает она умы людей, так сейчас же кровь рекой и горы трупов, сейчас же начинают выпрямлять горбатых и укорачивать длинных. Я помню, на психиатрической экспертизе существовал такой тест на выявление идиотизма. Подэкспертному задавали задачу: "Представьте себе крушение поезда. Известно, что во время такого

крушения больше всего страдает последний вагон. Что нужно сделать, чтобы он не пострадал?" Ожидается, что нормально идиот предлагает отцепить последний вагон. Это кажется забавным, но подумайте, намного ли умнее идеи и практика социализма?

В обществе, говорят социалисты, есть богатые и бедные. Богатые богатеют, а бедные беднеют – что делать? Отцепить последний вагон – уничтожить самых богатых, лишить их богатств и раздать бедным. И они начинают отцеплять вагоны. Но всякий раз оказывается, что все еще какой-то вагон последний, все еще кто-то богаче и беднее, потому что общество – как магнит: сколько его ни режь, все остается два полюса. Но разве это обескуражит истинного социалиста? Главное – осуществить мечту, поэтому сначала уничтожается самая богатая часть общества, а все радуются, всем чуть-чуть перепало! Но вот добычу прожили, и опять бросается в глаза неравенство, опять есть богатые и бедные – отцепляют следующий вагон, затем следующий, а конца все нет, абсолютное равенство не достигнуто. И вот, глядишь, если у крестьянина две лошади и корова, он уже оказался в последнем вагоне, его уже раскулачивают ради светлых идей. Разве удивительно, что как только возникает стремление к равенству и братству, как тут же и гильотина появляется?

Так ведь легко, так просто и так соблазнительно – отнять и разделить! Всех уравнять и одним махом, одним усилием разрешить все проблемы. Так заманчиво – раз и навсегда избавиться от нищеты и преступности, от горя и страданий. Стоит лишь захотеть, стоит только исправить тех, кто мешает всеобщему счастью, – и рай на земле, полная справедливость и благоволение в человецех! Трудно удержаться человеку от этой мечты, от этого прекрасного порыва, особенно людям искренним и порывистым. Они-то первые и начинают срубать головы –

Не бойтесь золы, не бойтесь хулы,
Не бойтесь пекла и ада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: "Я знаю, как надо!"
Кто скажет: "Всем, кто пойдет за мной,
Рай на земле – награда"

– они же первые попадают на плаху или в тюрьму. Слишком удобна эта система для подлецов и демагогов, которые и будут в конце концов решать, что благо, а что зло.

Нужно научиться уважать право самого невзрачного, самого противного человека жить, как ему хочется. Нужно отказаться раз и навсегда от преступной веры в перевоспитание всех по своему образцу. Надо понять, что без насилия реально создать только равенство возможностей, но не равенство результатов. Только на кладбище обретают люди абсолютное равенство, и если вы хотите создать из своей страны гигантское кладбище, что ж, тогда записывайтесь в социалисты. Но так уж устроен человек, что чужой опыт, чужие объяснения не убеждают его, нужно ему все самому попробовать, и с ужасом смотрим мы теперь на развитие событий во Вьетнаме и Камбодже, печально слушаем болтовню про еврокоммунизм и социализм с человеческим лицом. Странное дело – никто не говорит про фашизм с человеческим лицом, а почему?

Как раз в это время произошла венгерская революция. Уже после всех разоблачений, осуждений и посмертных реабилитаций, после всех заверений в невозможности возврата старого – снова трупы, танки, насилие и ложь. Еще одно убедительное доказательство, что ничего не изменилось. Такие же ребята, как мы, по 15-16 лет, гибли на улицах Будапешта с оружием в руках, отстаивая свою свободу. Кто теперь наши, кто не наши? Это уже не кино, не игра в войну, где всегда – наши и немцы, а ты всегда на правой стороне.

А тут на одной стороне – НАШИ, русские, которых не спросясь гонят убивать. И на другой стороне – тоже НАШИ, потому что и я на их месте делал бы то же самое. Как изнемогали мы от московской тишины, от спокойной будничной жизни! Казалось, вот сейчас затормозит грузовик у нашего двора – запыленный грузовик защитного цвета. "Пора", – скажут нам и начнут подавать через борт новенькие автоматы. И мы пронесемся бурей по чердакам и проходным дворам, в которых знаем наощупь каждую балку, каждый поворот, туда, к центру, к кремлевским звездам! Но громыхали по булыжникам мимо пыльные грузовики, шли безразличные пешеходы, да где-то лениво переругивались бабы. Мертвое царство. Мучительно тащился день за днем, пока все не кончилось, пока Венгрию не придушили. И

было ясно, что ждать больше нельзя, надо что-то делать. А что делать? Я был готов на все.

И поэтому, когда ребята, с которыми я учился в одной школе, осторожно стали заговаривать со мной о какой-то организации, я им даже договорить не дал, так обрадовался. Вот оно, началось, думал я, наконец-то! Теперь автоматы и — к делу! Так я оказался членом нелегальной организации. К моему сожалению, никаких автоматов не было и в помине, никто даже не заговаривал о таких вещах — напротив, руководители наши, ребята постарше, говорили, что организация не имеет политических целей. Но говорилось это столь многозначительно и с таким понимающим, заговорщицким видом, что всем было ясно: так просто нужно говорить, на всякий случай — вдруг кто проболтается или не выдержит допроса, а то и подслушают. В общем, для отвода глаз. Само же собой разумелось, что ждем мы просто сигнала, чтобы начать, определенного момента, кому-то там наверху известного, и уж тогда...

Если же кто-нибудь вдруг заговаривал о коммунистах, о Венгрии, то его немедленно останавливали: зачем об этом говорить? Это к нам отношения не имеет. Что ты, н а с агитировать собрался? Дескать, умный человек сам должен все понимать. По некоторым намекам, брошенным небрежно, вскользь, можно было догадаться, что нас очень много, чуть ли не вся страна опутана нашей сетью — и ждет сигнала. Действительно, на одной сходке в лесу, километрах в сорока от Москвы, где принимали новых членов, видел я человек 20, да еще по лесу были посты расставлены. На других встречах я замечал и новых, незнакомых ребят, но по заведенному порядку считалось, что мы не должны знать друг друга, даже имена, как правило, предлагалось брать другие на всякий случай.

В сущности, мы ничего не делали. Вся наша деятельность состояла в конспирации и вовлечении новых членов. Даже нелегальная литература не распространялась, и не рекомендовалось ее доставать. Считалось, что мы и так все понимаем и нас агитировать уже не нужно. К тому же это могло навести КГБ на наш след. Прежде всего нам объясняли, что все телефоны и квартиры могут прослушиваться и по телефону нужно говорить только условными фразами, которые звучали бы невинно. В квартире же вообще лучше ничего не говорить. Учились мы также

распознавать слежку и уходить от нее. Для этого какой-нибудь незнакомый член организации брал на себя роль следящего. Ты мог об этом ничего и не знать заранее, но полагалось быть всегда начеку. И считалось большим позором, если ты слежки не заметил, а потом тебе рассказывали, что ты делал в этот день и куда ходил. Соответственно и ты мог получить задание проследить за кем-то незаметно. В случае, если слежка обнаруживалась, нужно было не подавать вида и не дать уйти своему объекту. Если же следили за тобой и ты замечал это – нужно было найти способ обмануть следящего и уйти. Все эти способы тщательно разрабатывались и изучались.

Объяснялось нам, как вести себя на допросе: никогда ни в чем не признаваться, особенно в членстве в организации; не узнавать других членов, если будут показывать; скрывать свои взгляды и прикидываться советским человеком; разыгрывать удивление, недоумение, негодование и другие психологические приемы на допросе. К сожалению, юридическую сторону допроса нам никто не объяснял. Вообще же всеведение и всесилие КГБ сильно преувеличивались. Считалось также, что обязательно будут пытки, побои и запугивание, что будут предъявлять ложные письменные показания других членов и т.д. Отчасти это впоследствии оправдалось, и моя подготовленность сослужила хорошую службу. В то время, однако, никто на нас внимания не обращал.

Вовлекать новых членов разрешалось далеко не всем – сперва нужно было доказать свои способности. Заговаривать на политические темы категорически запрещалось. Вообще рекомендовалось сначала долго присматриваться к людям, особенно не сближаясь. Отбирать будущего члена организации нужно было не по его настроениям или словам, а совсем по другим признакам. Человек должен быть не болтливым – скорее замкнутым; смелым; надежным товарищем. Нужно было выяснить, нет ли у него каких-нибудь пороков, не связан ли он с уголовниками, не слишком ли доверчив, не слишком ли глуп. Наконец, выяснив все необходимое и удостоверившись, что он подходит, нужно было познакомить его с кем-либо из руководителей, и если тот одобрял твой выбор, то назначался кто-то другой для вовлечения. Твоя задача была их только познакомить, а затем исчезнуть со сцены.

Способов вовлечения было много, и все они тщательно разрабатывались. Чаще же всего применялся способ, которым мы все и были вовлечены. Формально, так сказать — на словах, все мы вступали не в политическую организацию, а в некую организацию товарищеской взаимопомощи. Мне, например, объяснили это так: сейчас мы все еще учимся в школе, особых проблем у нас нет, потом же придется нам жить в более сложной ситуации, преодолевать определенные препятствия, пробиваться. В одиночку это сделать очень трудно: нужны надежные тайные друзья, которые неожиданно для всех остальных тебя поддерживали бы, а ты соответственно поддерживал бы их. Если такая организация станет достаточно большой, то мы окажемся очень сильны, практически ВСЕ сможем сделать. Вот примерно и все, что говорилось. Вполне невинная затея, и если человек не понимал, что же такое мы сможем сделать, то ему больше ничего и не объясняли. Так он и считал, что его звали в организацию взаимопомощи для построения карьеры.

Но так уж устроены были наши мозги и такая атмосфера царила в стране, что при слове "организация", да еще "тайная" в глазах у твоего собеседника загорался радостный огонек, и сразу было видно, что он, как и ты, давно ждет грузовика с автоматами. Разумеется, он тут же у тебя справлялся для верности насчет такой возможности, а ты важно и многозначительно разъяснял, что о таких глупостях умные люди не говорят и что организация политических целей не имеет. "Ага!" — радостно кивал он головой, торопясь дать понять, что он человек умный и понимает, что вслух говорить об этом не надо. Затем на ближайшей сходке ты должен был его рекомендовать и представить собравшимся под другим именем. Если никто не возражал, то он становился членом организации и включался в общую работу.

Однажды только я столкнулся с человеком, который вроде бы и подходил по всем статьям, но не понимал истинных целей организации. Он занимался радиолюбительством и совершенно был поглощен этим. Думаю, он даже не слышал о Венгрии и никогда не размышлял о том, в какой стране живет. Идею взаимопомощи он принял за совершенно чистую монету и постоянно просил меня доставать какие-то радиодетали — видно, он думал, что вступил в тайный клуб радиолюбителей. Если же я

заговаривал с ним о другом, он недоуменно смотрел на меня сквозь очки, не спорил, со всем соглашался, но чувствовалось, что совершенно не понимает, о чем речь. На всю нашу возню с конспирацией он смотрел снисходительно, как взрослый пес на возню щенков.

Разумеется, я доложил о своей неудаче, но такова была общепринятая атмосфера двусмысленности и недоговоренности, что невозможно было объяснить, чем я недоволен. "Наоборот, все очень хорошо, – ответили мне, – парень серьезный, хороший специалист, идею взаимопомощи приветствует, членом организации быть согласен, не болтливый, надежный – что еще надо?" Его приняли, а я был совершенно обескуражен. Я представлял себе его недоумение, если завтра вдруг нам раздадут автоматы или потянут на Лубянку. В сущности, игра велась так осторожно, что в случае ареста никто из нас ничего не смог бы сказать, даже если б захотел. Внешне все выглядело невинной игрой, а надежды на автоматы были личной фантазией каждого из нас. Никто при всем желании не смог бы объяснить, почему мы считаем организацию политической. Вслух не говорилось ничего.

В то же время организация росла. Куда бы я ни ехал: в пионерский лагерь, или просто на дачу в пригород Москвы, или в другую школу – мне всегда говорили заранее, кто там уже из наших, и как с ними связаться, и что делать. Поддерживалась постоянная тайная связь с руководителями, отыскивались новые кандидаты в члены организации и осуществлялась некоторая взаимопомощь. Само собой разумеется, что нельзя было отказаться от поручения или участия в оказании помощи – так же, как и расспрашивать о целях поручений, которые давались. Задавать вопросы вообще считалось бестактным и сразу снижало уважение к тебе. Знать полагалось ровно столько, чтобы успешно справиться с поручением, и после этого полагалось сразу же напрочь забыть все, что ты делал. Существовала целая система проверок на болтливость, и, если даже руководители спрашивали тебя потом, как прошло дело, принято было ничего не помнить и удивляться вопросу. Нечего и говорить, что родители не подозревали о наших делах.

Кто не справился с поручением, покрывался позором, и никакие оправдания не спасали. Даже опоздать на условленную встречу хоть на пять минут было несмываемым пятном. Считалось,

что для полноценного человека не существует невыполнимых заданий, и, если тебе что-то помешало, значит — сам виноват. Наше суровое предупреждение директору школы за мордобой тоже было акцией организации и являлось оказанием помощи нашему побитому сотоварищу. Другой раз, когда я отдыхал на даче под Москвой, мне передали, что у наших ребят, пока они купались в реке, кто-то украл вещи. Подозревали местных парней, весь день загоравших неподалеку. Я хорошо знал местных ребят, был с ними в приятельских отношениях и без труда уговорил их отдать мне вещи — для них же моя осведомленность оказалась неожиданностью.

Однажды, отрываясь от тренировочной слежки, я на бегу заскочил в какой-то подъезд. Мои преследователи не видели, куда я скрылся, но если бы они стали осматривать подъезды, то сразу же обнаружили бы меня. Это был бы большой позор, и я лихорадочно думал, что делать дальше. Забегая в подъезд, я случайно заметил в окне первого этажа целую коллекцию кактусов. Не теряя времени, я позвонил в дверь. Открыла пожилая женщина, и я стал говорить ей, что сам собираю кактусы, очень этим увлекаюсь и вот случайно заметил у нее в окне несколько не знакомых мне сортов. Наверно, вид у меня был такой простодушный, невинный и искренний, что она тут же провела меня в комнату, напоила чаем, подарила целую груду кактусов и долго не отпускала. С трудом отделался я от словоохотливой кактусоводки, и, когда вышел на улицу, никого уже не было.

Моя репутация постепенно росла, особенно же оттого, что я очень успешно вовлекал новых членов в организацию. У меня и до этого был свой круг единомышленников, которых я теперь притащил за собой, а кроме того я не жалел сил и все готов был сделать для нашего успеха.

Конечно, мы мало задумывались тогда, какую задачу ставим себе, и, что любопытно, совершенно не думали о последствиях, о результатах. Мы не пытались подсчитывать силы противника и даже вообразить себе, что будем делать в случае успеха или, наоборот, неуспеха. Нас не интересовало, насколько реален наш замысел. Мы не планировали создать какой-нибудь новый строй взамен — нам нужен был взрыв, момент наивысшего напряжения сил, когда можно будет, наконец, уничтожать всю эту не-

чисть, когда вдруг по всем концам Москвы поднимутся во весь рост НАШИ и неудержимо пойдут на штурм всех этих Лубянок, партийных комитетов и министерств.

Не удивительно ли — такие расчетливые и изощренные до цинизма, мы были совершенно иррациональны и беззаботны в главном. Как это могло совмещаться? Объяснялось же все безумно просто: каждый из нас втайне, быть может — бессознательно, жаждал погибнуть. После всего чудовищно подлого обмана, после того, как бездна человеческой низости развернулась у наших ног, мы возненавидели всех, кто был старше нас, кто был причастен. После того, как краснозвездные танки — мечта и гордость нашего детства — давили на улицах Будапешта наших сверстников, кровавый туман застилал нам глаза. После того, как весь мир предал нас, мы никому не верили. Мы хотели погибнуть плечом к плечу с теми, кому доверяли безгранично, на кого полагались, как на самих себя, посредине этого моря предательства. Наши родители оказались доносчиками и провокаторами, наши полководцы — палачами, даже наши детские игры и фантазии были пронизаны обманом. Мы были циничны, потому что прекрасные слова стали разменной монетой обмана. Только цинизм казался нам искренним.

Эх, романтика, синий дым,
Обожженное сердце Данки,
Сколько крови и сколько воды
Утекло в подземелья Лубянки.

Эх, романтика, синий дым,
В Будапеште советские танки,
Сколько крови и сколько воды
Утекло в подземелья Лубянки.

Эх, романтика, синий дым,
Наши души пошли на портянки,
Сколько крови и сколько воды
Утекло в подземелья Лубянки.

Мы все курили и скверно ругались, говорили гадости про женщин и пили водку, а впереди была пустота. Мы, дети социалистических трущоб, готовились как-нибудь поутру расстрелять

безразличие и сдохнуть. Кто же из нас бессознательно не чувствовал, что выиграть нельзя? А какое, собственно, могло быть будущее? Такие слова, как свобода, равенство, братство, счастье, демократия, народ, – были подлые слова из лексикона подлых вождей и красных плакатов. Мы предпочитали заменять их ругательствами. И я уверен, что мы пропели бы свою безнадежную песенку кремлевским развалинам, только, как говорится, Бог не допустил. И пусть найдется в целом мире такой трезвый и разумный, чтобы осудить нас! Я не жалею о том времени и не стыжусь нашего безрассудства. На всю жизнь осталась во мне тоска по людям, которые, не задавая вопросов, всегда встанут рядом.

Наконец меня представили руководителю всей нашей "ветви". Несколько раз мы встречались с ним на улице, затем я бывал у него дома. Мы говорили подолгу, обстоятельно, и я все хотел докопаться до сути. Эти встречи породили во мне первые сомнения: что же мы все-таки делаем? Ему было тогда лет 27. Учился он в аспирантуре и по виду совершенно не подходил к роли руководителя подпольной организации. Дело было даже не в том, что он был много старше меня, то есть принадлежал тому прокаженному поколению, которое мы от души презирали. Но сам его облик, его неторопливая манера говорить, слегка шепелявя, пристальный многозначительный взгляд через очки, нескладная фигура, лысеющая спереди голова – словом, все в нем настораживало меня, порождало какое-то неуютное чувство недоумения. Зачем ему-то все это нужно? – спрашивал я себя и не мог ответить. Зато я совершенно определенно знал, что, если бы мне предложили вовлечь этого человека в организацию, я бы отверг его кандидатуру.

– Общество, – говорил он своим тихим бесцветным голосом, – это как организм: у него тоже должны быть мускулы, грубая сила, но должны быть и нервы, мозг, должны быть глаза и уши.

Он аккуратно намекал, что мы с ним относимся к мозгу, а мне полагалось ощущать трепет, восторг и благодарность оттого, что я причислялся к избранным. Он умел быть очень настойчивым, убедительным и ни разу не нарушил того стиля таинственной двусмысленности, который царил у нас в организации. От любого прямого вопроса он умел уйти весьма ловко, посто-

янно оставляя тебя в неясности относительно истинного значения своих слов. Поражало, что всех нас он знает на память, со всеми нашими особенностями, достоинствами и недостатками, но знает как-то внешне, не чувствуя. Вряд ли он понимал, что оказался абсолютным властелином нескольких десятков смертников. И наши устремления интересовали его постольку, поскольку помогали управлять. Мне казалось, что ничто кроме личной власти его не интересует. И уж никак не мог вообразить я себе его с автоматом, под пулями или даже на допросе в КГБ.

С его младшим братом, однако, мы сошлись гораздо ближе. Он был всего года на два старше меня, значительно живее и понятней. В нем я чувствовал тот же импульс, какой двигал и нами. Своего старшего брата он очень любил и оттого идеализировал.

Из всех своих наблюдений и впечатлений я сделал вдруг неожиданный вывод: я понял, что никого выше их уже нет, что они-то и есть руководители всей организации, а не только ветви. Намеки же, что нас очень много, чуть не по всей стране, были необходимы для нас как приманка. Но это как-то не разочаровало меня – даже несколько десятков человек, с моей точки зрения, были уже силой. Конечно, не могло больше и речи быть о штурме, о каком-то таинственном сигнале, которого мы все ждали, но дело не было потеряно – нужно было найти способы разрастаться быстрее, как-то привлекать людей и внедряться в уже существующие официальные организации. Надо было менять тактику.

Главное же, становилось бессмысленным наше бездействие – сигнала-то прийти не могло, и ожидание кончилось. Это бездействие и так очень плохо влияло на членов организации. Оказывалось значительно легче вовлечь людей, чем удержать. Как только проходило первое оживление, обучение конспирации и прочее, так постепенно наступала скука. Человек же не может жить в постоянном ожидании. Да и вовлечение новых членов из числа знакомых имело свой предел: в кругу общения каждого человека находилось ограниченное число подходящих. Так возникал застой, и люди разбредались кто куда. Любая же деятельность неизбежно навела бы КГБ на наш след.

Возникало неразрешимое противоречие: массовой и действенной организация могла стать, только открыто заявив себя, при-

влекши сразу всех сторонников и единомышленников в стране, — но тотчас и кончилась бы ее деятельность. За одно только участие в антисоветской организации полагалось 10 лет лагеря. И так было удивительно, что мы столько лет не проваливались, не нарывались на КГБ.

Но допустим, мы объявили бы себя каким-то образом, допустим, нашлись бы тысячи желающих вступить — как бы мы выяснили, не подосланы ли они к нам от КГБ? Откуда взялось бы доверие друг к другу? Да и нас самих, объявись мы, скорее всего сочли бы за провокаторов.

Чем больше размышляли мы об этом, тем меньше оставалось веры в возможность нелегальной работы. Получалась какая-то нелепость — наше членство в подпольной организации делало нас совершенно безопасными для власти. Этак, глубоко законспирировавшись и для камуфляжа вступив, например, в партию, человек может преспокойно всю жизнь прожить. Работать, ходить на партийные собрания и фактически поддерживать эту власть. Для пущей конспирации можно даже в КГБ поступить на службу! А с другой стороны — малейшее действие или неосторожность, и вся организация в тюрьме, ничего не сделав. Если же человек хочет действовать, то ему вовсе никакой организации не требуется — наоборот, она ему только мешает.

Уже много лет спустя, встречая в лагерях разнообразные организации, я понял, какой решающий вопрос возник перед нами, и радовался, что пережил все эти сомнения еще в детстве.

Действительно, все пятидесятые и шестидесятые годы, словно грибы, вырастали организации, союзы, группы и даже партии самых различных оттенков. Простительно было нам, пацанам, верить, что мы дело делаем, напускать таинственность, конспирировать с собственной тенью, обманывать друг друга, делая вид, что всюду НАШИ и скоро наступит день Z. Но когда в лагере встречаешь сорокалетних людей, получивших по десятке за то же самое, только плечами пожмешь. Ведь даже нам хватило ума сообразить, что всю страну не соберешь в такую организацию.

Обыкновенно логика всех начинающих примерно одинакова, и танцуют они все от печки, то есть от истории КПСС. С детства мы помним по кинофильмам и книжкам, что сначала большевики создали партию, а потом, в глубоком подполье, упорно ра-

ботая, распространяя "Искру" и "Правду", объединяли вокруг себя единомышленников и, наконец, совершили революцию. Следуя мудрой пословице, что у врага надо учиться, мы еще раз становимся жертвами пропаганды.

Мы забываем, что большевики работали в условиях свободы для создания тирании, а не наоборот; что существовала значительная свобода печати и свободная эмиграция, а все руководство сидело в Цюрихе или в Баден-Бадене. Мы забываем, что была их горстка профессиональных революционеров, хорошо снабжавшаяся деньгами; что вся тайная полиция того времени умещалась в двухэтажном домике, в котором сейчас и районное отделение милиции не поместится; что даже несмотря на это – ловили большевиков чуть не каждый день. Но никто не давал им за пропаганду 10 лет тюрьмы, а ссылали их в ссылку, откуда только ленивый не бежал.

Основные их пропагандистские книги – "Капитал" и прочая "классика" – свободно и легально печатались в России, даже в тюремных библиотеках выдавались. Газетки же их печатались за границей и, благо было свободно, ввозились через практически неохраняемую границу в Россию. Да и тиражи-то у них не превышали двух-трех тысяч. Уже в который раз покупаемся мы на коммунистическую пропаганду и забываем, что никакой революции большевики не сделали, а развили свою деятельность только после февральской революции – в условиях полной свободы, да еще на немецкие деньги. Тайной же полиции у Временного правительства не было вообще.

Как могут взрослые люди всерьез верить, что революции происходят в результате работы какой-нибудь подпольной организации? В стране, где легально существовали оппозиционные партии, процветало частное предпринимательство и не было паспортной системы, – экая трудность быть в подполье! Особенно если за это на каторгу не шлют. Разве трудно во Франции или Англии создать подпольную партию? Только вот зачем, когда можно легально?

И вот из-за этого-то пропагандистского наваждения у нас лет двадцать люди бились, копируя мифическую большевистскую революцию, – да и сейчас еще не у всех выветрилось. И стоит только собраться трем единомышленникам, как тут же

начинают соображать – как назвать свою партию. Затем пишут устав, программу, и все садятся в тюрьму.

Встречал я партии из двух человек, из пяти, из двенадцати. Самая большая – ВСХСОН – насчитывала примерно до ста человек. Только и успели, что написать глупую программу и почитать Бердяева, да и то не все. (Как будто без всяких организаций полстраны не прочитало Бердяева!) Самая маленькая партия, которую я встречал, состояла из одного человека по фамилии Федорков и называлась ПВН, что значит Прямая Власть Народа. Так его все в тюрьме и называли – ПВН, даже надзиратели. Был он часовщик из Хабаровска, лет 50-ти, маленький, полный, подвижный, словно ходики. Поначалу все спорил, доказывал нам преимущества прямой власти народной, потом привык, смирился – ПВН так ПВН, черт с вами. Долго ломали голову в КГБ, что с ним делать, – не судить же одного человека за создание политической партии! Потом плюнули и посадили в сумасшедший дом.

Вспоминая теперь все партии и союзы, которые мне приходилось встречать, я с гордостью отмечаю, что мы в свои 15-16 лет создали не только самую многочисленную, но и самую законспирированную организацию, существовали дольше всех и ни разу не провалились. Секрет наш был очень прост: мы вовлекали только своих сверстников, а в этом возрасте еще не бывает агентов КГБ и люди искреннее, чище. А самый большой наш секрет – мы ничего не делали: не писали программ, не произносили клятв, не хранили списков, не вели протоколов наших сходок, и даже говорить на политические темы запрещалось, даже названия у нас не было. И если бы другие нелегальные организации просуществовали столько же, сколько и мы, дошли бы до своего естественного предела, то и они поняли бы невозможность и ненужность нелегальщины. Пришли бы к этому, так сказать, экспериментально.

Нам повезло больше – мы пережили этот опасный этап в раннем возрасте. И уж много позднее, совсем в другие времена, поняли другую, еще более важную истину: к демократии не идут подпольным путем. Нельзя учиться у врагов, если хочешь быть не таким, как они. Подполье рождает только тиранию, только большевиков любого цвета. Тогда я лишь заметил, что наш руководитель, получив в руки безграничную власть подполья,

больше думал о личной своей власти, чем о судьбах мира. Но я еще не сообразил, что наткнулся на непреложный закон, а подумал только: "Для чего ж ему все это нужно?"

Но все это было прелюдией, не более чем разминкой. Счет еще открыт не был. Я, можно сказать, только карабкался на сосну, а пресловутая колода еще не сделала первого взмаха. Тут, однако, неожиданно для себя я толкнул ее, безо всякой мысли и намерения.

Я учился уже в последнем, десятом, классе, когда мы с ребятами, забавы ради, выпустили литературный журнал. В этом году в школе, после многих лет нудного изучения положительных и отрицательных образов у классиков русской литературы, давался очень краткий разбор литературных направлений начала века. Конечно, нам объясняли, что это была вовсе не литература, а так, вредная для народа словесная эквилибристика, и что партия подвергла ее справедливому осуждению. Попутно давались некоторые примеры этой вредной эквилибристики, вызвавшие необычное возбуждение в классе. Все принялись сочинять пародии, подражая им, и, разумеется, вплетали сюда школьную тематику.

Мы настолько увлеклись, что сами не заметили, как получился журнал. Кто-то достал пишущую машинку, кто-то предложил свои услуги в качестве иллюстратора, все же остальные были авторами. Наша десятилетняя скука неожиданно вылилась в довольно ехидную пародию на школьную жизнь, отчасти и на советскую жизнь вообще.

В последние годы бесконечно вводились какие-то реформы в системе школьного образования. Они не делали обучение интересней или разнообразней, а вносили в него дополнительные нелепости и глупости, очевидные даже нам. Например, решено было где-то наверху, что школа слишком оторвана от жизни, а выпускники школ не приучены к труду, поэтому ввели нам уроки труда, а затем и трудовую практику. Один год мы должны были работать на заводе, летом другого года нас отправили в подмосковный совхоз. Это, действительно, расширило наш кругозор, однако совсем не в том смысле, как планировала мудрая партия.

Работая на автобусном заводе в Москве, мы впервые увиде-

ли, что такое советское предприятие, с его показухой, обманом и принуждением. Прежде всего, мы не обнаружили никакого трудового энтузиазма. Никто не торопился работать, сидели больше в курилке и только при появлении мастера разбегались по рабочим местам. "За такие-то деньги куда торопиться? — говорили работяги. — Работа — не волк, в лес не убежит!" С утра почти все были пьяны или с похмелья, и в течение дня кто-нибудь периодически отряжался за водкой, через забор.

Из всего цеха только один мужик лет сорока всерьез пахал, не отходя от станка. Все остальные его люто ненавидели и, показывая на него, многозначительно крутили пальцем у виска. Ему норовили сделать гадость: незаметно сломать станок или украсть инструмент. "Что, в передовики рвешься, норму нагоняешь?" — говорили злобно. Оказалось, что если кто-нибудь один перевыполнял норму, то на следующий месяц норма повышалась для всех, и за те же деньги приходилось работать вдвое больше.

Мы быстро усвоили стиль работы и распространенную у них песенку:

Сверху молот, снизу серп —
Это наш советский герб.
Хочешь — жни, а хочешь — куй,
Все равно получишь х...

Рабочий-токарь, к которому меня приставили в ученики, молодой парнишка чуть постарше меня, выполнял норму весьма своеобразно. Получив задание от мастера, он только делал вид, что работает. Улучив минуту, когда мастера не было поблизости, мы с ним крались к складу готовой продукции — большому сараю. В задней стене этого склада две доски свободно отодвигались. Мы ныряли внутрь, впотьмах находили нужные нам ящики и распихивали по карманам готовые детали. Затем окольным путем возвращались в цех и остаток рабочего дня проводили, почти не вылезая из курилки. Думаю, не один мой "наставник" был такой хитрый.

Мы с ним были самые молодые в цеху, и, естественно, за водкой посылали кого-нибудь из нас — второй оставался у станка и делал вид, что выполняет норму. К концу дня все оживлялись, двигались веселее, постоянно уходя куда-то из цеха. Возвраща-

лись с какими-то свертками и коробками, затем опять же кто-нибудь из нас с напарником лез через забор, а нам аккуратно передавали эти свертки. Сами же выходили через проходную и потом забирали у нас свою добычу. Крали практически все, что можно было так или иначе продать на толкучку или приспособить в хозяйстве. Однажды украли целый мотор от автобуса, другой раз – рулон обивки для автобусных сидений. А уж всякие краски, эмали или детали мотора сосчитать нельзя было. При этом по всему заводу висели красочные плакаты и лозунги: "Дадим! Догоним! Перегоним!", диаграммы роста и улыбающиеся чистенькие рабочие с засученными рукавами. На плакатах страна неудержимо рвалась к вершинам коммунизма.

Приобщение к сельскохозяйственному труду было не менее убедительным. В подмосковный совхоз привезли нас к вечеру и поместили в барак. Ночь мы переспали на нарах. Чуть свет проснулись от оглушительной сверхъестественной матерщины. Высыпав из барака, мы увидели, как два десятка баб грузили лопатами на машины абсолютно гнилую картошку и материли Хрущева – просто так, чтобы облегчить работу.

– Никита, туды его и сюды! – галдели они. – С Катькой Фурцевой развлекается себе, боров жирный, и горя ему мало, а мы своих мужиков по неделям не видим. День и ночь эту ...ую картошку грузим, так ее и сяк! Сюда б его, этого Хрущева!

Эту самую картошку везли на поля и там сажали. Что уж из нее могло вырасти? Это, однако, никого не интересовало. Как объяснили нам мужики, платили им сдельно за каждую тонну посаженной картошки, урожай их не интересовал. Скоро завернули холода, зарядили дожди, нас гоняли полоть вручную свеклу. Это занятие казалось нам совершенно нелепым, да так оно и было: послали нас туда, лишь бы чем-нибудь занять, результаты никого не интересовали. Разумеется, весь совхоз также был увешан плакатами и транспарантами, диаграммами роста и изображениями тучных коров и пышных доярок.

Грязь была непролазная, и за водкой ездили только на тракторе. С удивлением узнали мы, что уволиться, уехать из совхоза рабочие не могли – им не давали на руки паспорта́. А без паспорта человек оказывался вне закона, первый попавшийся милиционер в городе мог арестовать его. Нельзя без паспорта устроиться и на другую работу. Молодые ребята нашего воз-

раста, как спасения, ждали, чтобы их забрали в армию: после армии у них был шанс не вернуться домой, а устроиться где-нибудь в городе. Молодые девчонки мечтали лишь о том, как бы выйти замуж за городского и уехать. Пьянство, драки, поножовщина были делом обычным.

Все эти впечатления в наш журнал не попали – мы просто не считали, что это имеет отношение к литературе. Но косвенно, помимо воли, наше отношение к жизни сквозило в каждой строке. Были и двусмысленные шутки, пародии и насмешки над штампами советской пропаганды, вошедшими в литературу. Однако никто из нас не предполагал придавать журналу политическое звучание – это была просто забава.

Закончив журнал, мы созвали оба десятых класса после уроков в пустом классе и пригласили двух учителей – литературы и истории. Один из нас, считавшийся хорошим актером, прочел журнал вслух под всеобщий хохот. Все были очень довольны нашей затеей. Однако, оглянувшись назад, на учителей, мы с удивлением обнаружили, что они вовсе не смеются. У обоих лица были вытянутые и бледные. Буквально трясущимися губами они стали уверять нас, что журнал неудачный, шутки плоские, а все вместе – политически неправильно.

Видя своих учителей такими перепуганными, мы притихли. Всем стало жутко неловко, а главное – непонятно, что произошло. По домам расходились с таким чувством, будто кто умер.

Учился я в это время уже в другой школе. Года за два до журнала отец получил новую квартиру, и мы переехали в другой район, на Кропоткинскую. В нашей школе училось много ребят из семей крупных партийных работников, и школа считалась передовой. Ребята, видимо, рассказали о журнале дома, родители встревожились, и разразился скандал. Что ни день в школу приезжали какие-то высокие комиссии, нас стали вызывать для расследований и обсуждений, и было дико видеть, как учителя, на которых нам полагалось смотреть снизу вверх, теперь глядят на нас со страхом, почти с ужасом. Вся школа ходила притихшая. Шепотом говорили, что наше дело разбирается где-то в ЦК.

Тут я впервые оценил, какое мне счастье привалило, что я не комсомолец. Других ребят, комсомольцев, таскали по собраниям, обсуждали, заставляли каяться, они все получали выгово-

ры, и только я оставался ненаказанным. Не знаю, почему, но начальство считало именно меня главным зачинщиком журнала. На меня смотрели как на злодея, специально все это придумавшего, чтобы доставить добрым людям неприятности. Для начала созвали родительское собрание, где моим отцу и матери чуть глаза не выцарапали. Затем мудрые партийные деятели решили: пусть виновных осудит сам коллектив, сами ребята. Типично советское лицемерие – искусственно создавать видимость общественного мнения, фабриковать всеобщее осуждение.

Тут, однако, они здорово просчитались – советское лицемерие еще не успело пропитать нас. Ребятам, которые только месяц назад весело смеялись и радовались при чтении журнала, стыдно было теперь произносить идейные речи, и собрание не осудило нас. Некоторые ребята, наученные родителями, выступали осторожно, предлагая сразу отделить вопрос об авторах журнала от самого журнала. Журнал они соглашались осудить как "политически незрелый" – нас же осуждать отказывались. Однако даже это умеренное направление не взяло верх. В основном, все разыгрывали недоумение: дескать, а что особенного – журнал как журнал, очень хороший, надо и дальше его выпускать. Под конец предложили выступить нам, виновным, но и мы отказались каяться. Это уже был скандал, недопустимый с партийной точки зрения. Затея с осуждением провалилась, но так это оставить власти не могли. Наверху наш журнал был расценен как идеологическая диверсия, поэтому меня и директора школы вызвали на обсуждение в московский горком партии.

Никогда в жизни не забуду эту дорогу в горком с директором. Был он уже пожилой, далеко за пятьдесят, лысый, с крупной головой, невысокий и полный. В школе его звали Колобком. Мы сидели рядышком в вагоне метро, как два провинившихся мальчишки, вместе нашалившие и теперь ждавшие наказания. Мы настолько чувствовали себя на равных, такая у нас установилась интимная атмосфера, что он всю дорогу грустно рассказывал про свою деревню, где родился и вырос, про своих детей и какие-то домашние заботы, жаловался на здоровье... Он был не злой человек, и я ужасно жалел его. Обо всем деле и о том, что нас ждало, мы не сказали ни слова, будто сговорившись. Говорил все время он, изливая свою печаль, и украдкой

взглядывал на меня своими грустными глазами. А я не мог придумать, чем его утешить. Право же, из-за него я впервые пожалел, что выпустили мы этот чертов журнал. Я говорил ему, что постараюсь все взять на себя и как-нибудь его отмазать, а он только печально покачивал головой и жаловался на болезни.

В горкоме партии нас уже ждали, и какие-то молодые люди, в черных костюмах, с правильными плакатными лицами, провели нас в кабинет. Здесь я остался ждать, а директора провели дальше, в большие двери главного кабинета. Там он оставался долго, минут сорок, и, когда ввели меня, он сидел у стола красный, утирая пот с лысины.

За огромным Т-образным столом сидело человек двадцать — мужчины и женщины, в основном пожилые. У всех был озабоченный вид, стопки бумаги перед ними, все что-то писали. При моем появлении все повернулись и строго, сумрачно посмотрели на меня. Странно, но я не испытывал ни страха, ни трепета, ни даже простой нервозности — меня вдруг охватила какая-то веселая злость. Эти вот важные партийные дамы, эти обрюзгшие, поседевшие партийные вожди, с такой серьезностью собравшиеся обсуждать наш школьный журнальчик, — они-то и были той нечистью, теми кровавыми палачами, которых еще год назад мы готовились уничтожить ценой своей жизни? Это они-то держали в страхе всю страну, послали в Будапешт танки, искарежили нам души!

Я с любопытством вглядывался в их тусклые, невыразительные морды. Я хотел увидеть жестокость, властность, уверенность, волю, а видел только глупость. Глупость и трусость. И ради этого мы хотели погибнуть? Да их одним словом до смерти напугать можно. Если б они хоть раз в жизни услышали тот отборный мат, которым их каждый день кроет в каждой деревне каждая баба... Должно быть, я нехорошо ухмылялся, глядя на них, потому что они вдруг задвигались, заерзали, заговорили все разом. Им не нравилось, как я стою, почему руки у меня не по швам и, конечно же, почему улыбаюсь. И вообще — кто меня научил написать вот эту... вот это ... это вот?.. Тут самый главный боров, сидевший во главе стола, двумя пальцами приподнял за угол наш многострадальный журнал.

– А почему, собственно говоря, меня кто-то должен был учить? – удивился я.

– Ну как же! – опять задвигался зверинец. – Откуда у вас могут взяться эти мысли? Вы еще ничего в жизни не видели.

Ах, вот как! Вы всю жизнь просиживаете задницы в своих партийных кабинетах, ничего кроме директив не читаете, дальше сортира не ходите, а я, значит, ничего не видел и думать ни о чем не смею, и вы теперь поучать меня беретесь. Вот, значит, как.

– Нет, – сказал я, – видел очень много. И все помню.

Моя веселая ярость вылилась вдруг наружу, облеклась в слова и стала их дубасить по тусклым рожам. Я сам не замечал, как это получается. Говорил я о Сталине, о его похоронах, о том, как все плакали и как потом, едва утершись, проклинали и поносили его; о том, что не верю им – тем, которые боялись, и тем, кто не знал. Я говорил с ними так, как если бы в руках моих был долгожданный автомат и я просто объяснял им, за что их всех надо убить. Одни пытались перебивать, другие что-то писали, но я заставил их всех слушать. Я сказал им о крепостном праве в деревне, о пьянстве, о воровстве, о бесконечной лжи, которая мне смертельно надоела, хоть мне еще только семнадцать лет.

Когда я кончил, они молчали. Наконец, главный боров, глядя куда-то мимо меня, изрек:

– У вас очень неверные мысли, вы политически незрелый,и на вас дурно влияют. – Тут весь стол опять зашевелился, задвигался: "Да-да, политически незрелый, да-да, дурно влияют!"

– Мы обсудили тут с товарищами и пришли к выводу, что вам нужно повариться в рабочем котле, пожить в ха-рошем рабочем коллективе, чтобы вам там вправили мозги. – "Да-да, в рабочем котле", – зашевелился стол.

– Учиться вам пока преждевременно. Вместо того, чтобы писать всю эту... это вот, – тут он опять приподнял краешек журнала, – нужно было собраться и почитать семилетний план. Можете идти.

Так вот первый раз качнулась колода и врезала мишке по боку. Директора сняли с работы, отцу дали выговор по партийной линии, школу вычеркнули из какого-то там межрайонного соревнования, а мне предстояло всю жизнь вариться в рабочем

котле: бегать за водкой, красть детали и набираться все той же мудрости – сверху молот, снизу серп... хочешь жни, а хочешь куй ...

Когда читаешь или слушаешь рассказы о концлагерях, о массовых расправах, о миллионах бессмысленно загубленных жизней, при всей яркости впечатлений, искреннем возмущении и негодовании, все это остается как-то в стороне, в абстракции. Не меняет это как-то тебя лично: твоих привычек, походки или почерка – скорее располагает к философским размышлениям о том, как много зла в мире да как скверно устроен человек. Другое дело, если хоть слегка проехалась тебе по боку гнилая колода государства. Всего-то и беды, что запретили мне учиться, определили идти на завод – не в тюрьму, не на плаху, на завод! Я ж места себе не находил. Произошло со мной что-то такое, после чего не мог я больше быть прежним человеком.

Еще только выходил я из горкома партии, а уже твердо знал: никогда и ни за что на свете не пойду на этот завод вариться в рабочем котле, хоть убей – не пойду! Казалось бы, разве не знал я заранее, в каком государстве живу и чего нужно ожидать от этого государства? И тем не менее был поражен: где ж мое право на образование? Какое отношение ко мне имеют эти тупые старики и старухи в кабинете горкома? Почему они определяют за меня, что мне делать, чего не делать, как мне жить всю жизнь и чем заниматься? До этого мне самому не ясно было, что делать после школы, – просто не задумывался. Тут же, не дойдя еще до дома, бесповоротно решил, что поступлю в институт, – кровь из носу, а поступлю! Я не предмет, а человек, и никому не позволю собой распоряжаться.

Из этой школы все равно надо было уходить, жалеть о ней было нечего: здесь мне не дали бы характеристику для поступления в институт. На оставшиеся полгода поступил я в вечернюю школу рабочей молодежи. Предполагалось, что и я где-то работаю, где-то варюсь, – без этого в вечерней школе учиться не положено. В доказательство требовалось принести справку с места работы. Справку так справку. В бумажном нашем государ-

стве все призрачно, и только бумага является доказательством твоего существования. Справку я сделал сам: попросил у приятеля, который работал, взять справку для себя, свел его фамилию и вписал свою – недаром же была у меня всегда пятерка по химии. Проверять никто не стал: справка есть – все в порядке.

Затем нужно было исхитриться получить характеристику для института. По счастью, классная руководительница, зная мою историю, сочувствовала мне. Бог знает, может, она сама или ее родственники пострадали когда-нибудь от этой власти, но долго уговаривать ее не пришлось. В вечерней школе отношения между учениками и учителями проще, человечней. Ученики часто старше учителей, иногда уже семейные люди, и никакой обычной для дневных школ чепухи с воспитанием здесь нет. Поступила она очень просто: сдавая директору на подпись целую груду характеристик, она подсунула и мою. Директору было некогда читать этот ворох бумаги, и он подписал не глядя. С нее же спрос был маленький: никто ей официально не приказывал не давать мне характеристики.

Теперь все зависело от меня, и, пока другие бывшие школьники, сдав выпускные экзамены, гуляли по Москве и песни пели, я сбежал за город. Никому не говоря о своих планах, даже родителям, я, как помешанный, день и ночь зубрил учебники и к началу приемных экзаменов в университете знал их на память, от корки до корки. В самый последний день приема документов я тайком вернулся в Москву. Конкурс был огромный: 16 человек на место, и нервное напряжение невероятное, в особенности же из-за страха, что кто-нибудь узнает и донесет.

Уже в самом университете я встретил девчонку из бывшей своей школы. Сдавали мы на один и тот же факультет и были конкурентами, так что до последнего момента я ждал разоблачения и о самих экзаменах думал меньше. Нужно было сдать пять экзаменов, и каждый раз, сдав очередной, я удирал из Москвы, чтобы никого не встретить, соблюдая все правила конспирации. Наконец, вывесили списки принятых – я был в их числе. Теперь никто ничего не мог поделать: формально я уже был студентом.

Но этого мне показалось мало – был мой черед толкать колоду. 'Как же так?– думал я. – Какой-то несчастный школьный журнальчик без всякой политики, и уж весь зверинец пере-

полошился, вплоть до ЦК. Значит – боятся. Значит – это для них самое опасное. Стало быть, это сейчас и нужно." Одно дело теоретически знать, что нет свободы печати, свободы слова, другое дело – убедиться в этом на практике. Разве есть гарантия, что не вернутся сталинские времена, если за пустяковый журнальчик дают выговоры, выгоняют с работы и запрещают учиться? А потом опять будут говорить, что никто не знал и все боялись? Так-то все и начинается.

Любопытное это было время, и чем дальше оно уходит, тем труднее становится правильно оценить его. Теперь говорят "хрущевская оттепель". А что это значило в действительности? Что, собственно, сделал Хрущев? Осудивши Сталина и чуточку показав кухню государства, кухню людоедов, он тотчас испугался сам и затрубил отбой. Счастье еще, что успели выпустить заключенных, – и то, как узнал я впоследствии, благодарить за это надо не столько Хрущева, сколько Снегова.

Близкий друг Хрущева по старым временам, Снегов сам сидел в концлагере и был выпущен Хрущевым, как только тот пришел к власти. По убеждениям Снегов был коммунистом, коммунистом и остался, несмотря на лагеря, на пережитый им террор и увиденную изнанку социализма. Это не удивляет меня. Люди старшего поколения, особенно помнившие досталинские времена, не так легко отождествляли идеи коммунизма с личностью Сталина, как мы. Казалось им, что если б не Сталин, исказивший светлые ленинские идеи, то все было бы прекрасно. Трудно им было понять, насколько Сталин со всеми своими зверствами органично вытекает из ленинских идей, из самой идеи социализма. Не случайно оказался он таким всемогущим и бесчеловечным, не случайно партия выдвинула и поддержала именно его.

К тому же, людям старшего поколения, осуждавшим очевидные сталинские преступления, трудно было усомниться в правильности самих идей – идей, ради которых они жили и сами участвовали в расправах над классовым врагом. Так глубоко их отрицание зайти не могло – какой-то психологический закон самосохранения заставлял их верить, что виноват один Сталин, но не они. Не может человек, прожив жизнь, осознать под конец, что вся жизнь, все, во что он верил, было ошибкой – более того, преступлением.

Даже нам, пережившим разоблачение Сталина в 14-15 лет, это далось нелегко, осталось травмой на всю жизнь, а люди старше нас лет на 10-15 уже не могли очухаться, совершить такое психологическое самоубийство. Поэтому в 50-е годы, ныне именуемые хрущевской оттепелью, господствующая идея оставалась коммунистической в ее более либеральном варианте: Ленин оставался для них авторитетом, югославский социализм – образцом правильного воплощения правильных идей, и все их новаторство дальше Тито не шло.

Но Снегов, несмотря на свою коммунистическую веру, усвоил в лагерях арестантскую психологию, этику заключенных. Когда Хрущев назначил его своим заместителем в комиссии по реабилитации, он за пару лет пребывания в этой должности, понимая всю неустойчивость создавшейся ситуации, спешил освободить как можно больше людей. Он успел сделать сверхчеловечески много, и, когда его сняли, практически никто уже не оставался в лагерях – не более нескольких десятков тысяч. При нем же был установлен самый мягкий за всю историю страны режим в лагерях, и до сих пор старые зэки вспоминают это время, как сказку, как Золотой век. Ходят легенды о коммерческих столовых, где можно было за деньги поесть, как на воле; о том, что работать не заставляли, но почти все работали сами, так как платили деньги. Теперь все это кажется невероятным.

К началу 60-х годов, однако, все уже кончилось. Золотой век продолжался всего года три-четыре. Для Хрущева это было лишь политической игрой, борьбой с противниками в ЦК, больше него связанными со сталинскими репрессиями. Вся старая налаженная пропагандистская машина сталинских времен была в растерянности. Никто не знал: что будет разрешено завтра, как понимать критику культа личности, где границы этого понятия? Проскочило в печать несколько критических книг, но и тут была половинчатость: можно было критиковать жизнь сталинского времени, но не позже (и не основы!); секретарь райкома уже мог оказаться отрицательным персонажем, но секретарь обкома непременно оказывался положительным и к концу романа устанавливал хрущевскую справедливость.

Власть КГБ, хоть и урезанная, оставалась огромной, политические аресты не прекращались, просто сократился их масштаб. Заслуга ли это Хрущева и его "оттепели"? Думаю, такое мнение

ошибочно. Массовый политический террор прекратился прямо со смерти Сталина и больше уже не возобновлялся. Дело здесь не в Сталине и не в Хрущеве: массовый террор был просто невозможен – сработал инстинкт самосохранения правящей верхушки. Неумолимая логика террора такова, что он, разрастаясь, становится неуправляемым и оборачивается, как правило, против самих террористов. Никто не был гарантирован от пули: расстреляв в 20-30-е годы всех политических противников и классовых врагов, коммунисты уже не могли остановить террора, и он стал орудием внутрипартийной борьбы и тотального подавления, он стал необходим партии, чтобы жить и править. Вдруг оказалось, что две трети делегатов XVII съезда партии – враги, и их расстреляли, а к концу 40-х годов сменился практически весь состав политбюро.

Позже я встретил человека, история которого хорошо иллюстрирует механику этого разбега. Дело происходило в 47-м году. Человек этот, полковник бронетанковых войск, был арестован по ложному доносу и обвинен в измене родине. Никаких доказательств его вины не существовало, да никто их и не искал. Все, чего хотели от него следователи, – это получить новые имена, новые жертвы. От него требовали только назвать, кто его завербовал в иностранную разведку, и жестоко пытали. Он же согласен был подписать любую нелепость против себя, но не мог оговорить своих ни в чем не повинных знакомых. Наконец, чувствуя, что больше ему не вытерпеть пыток, и боясь в беспамятстве подписать ложный донос против кого-нибудь, он сделал неожиданную для самого себя вещь.

Допросы и пытки проводили три следователя КГБ –старший и два помощника. Очередной раз, когда от него опять требовали назвать завербовавших его врагов, он вдруг указал пальцем на старшего следователя: "Ты! – сказал он. – Ты же, сволочь, меня и завербовал! Помнишь? На маневрах, под Минском, в тридцать третьем году, у березовой рощи!" – "Он бредит, сошел с ума, уведите его!" – сказал старший следователь. "Нет-нет, отчего же уводить? – сказали заинтересованно двое остальных. – Это очень любопытно, пусть говорит дальше." Больше он этого старшего следователя не видел – должно быть, его расстреляли. Один из помощников стал старшим, дело быстро окончили, и моего знакомого отправили в лагерь с четвертаком.

Легко понять, что, как только безумие массового террора приостановилось смертью Сталина, охотников возобновить его не нашлось. Теперь же, по прошествии стольких лет, когда в силу естественных причин сменился и карательный аппарат, и правящая верхушка, вернуться к тем временам просто невозможно: система бюрократизировалась, обросла жирком, да и невозможно вернуть теперь ту атмосферу всеобщей шпиономании и подозрительности. Точно геологический процесс образования материка, начавшись землетрясениями и извержениями лавы, этот строй постепенно твердел, окаменевал и достиг того состояния, когда изменения перестали быть возможными – никто их не хочет. Народ не хочет больше революций и борьбы – он инстинктивно знает, что революция не даст ему ничего кроме неисчислимых бедствий, крови, голода и новой тирании. Правители же не хотят больше террора и потрясений, которые неизбежно уничтожат их самих. Потому не назвал бы я начало этого процесса оттепелью, а скорее остыванием, окаменением.

И все-таки оттепель, оттаивание в конце 50-х и начале 60-х годов существовали, да только не хрущевские и не сверху, а в умах самих людей, в их настроениях. Пережив весь этот кошмар, люди нуждались в передышке для осмысления происшедшего. Этот процесс отчасти захватил и вел самого Хрущева, а не наоборот. После кульминации 56-го года Хрущев только тем и занимался, что пытался противодействовать этому процессу, этой самой оттепели.

Судьба этого человека трагична и поучительна. Конечно, после того шока, который дало нам всем разоблачение Сталина, ни один коммунистический вождь никогда уже любим народом не будет и ничего кроме насмешек да анекдотов не заслужит. Но никто, видимо, и не вызовет столь единодушной и лютой ненависти, как Хрущев. Все раздражало в нем людей. И его неумение говорить, неграмотность, обычная для всех коммунистических правителей до него и после. И его толстая ухмыляющаяся рожа – кругом недород, нехватка продуктов, а он ухмыляется, нашел время веселиться! И его поездки за границу, его лихорадочное и мелкое реформаторство – словом, всё, любые его начинания вызывали только злобу и насмешки. Понять это нетрудно. До него был тот же голод, несвобода, страх, безысход-

ность, но была вера в усатого бога, которая заслоняла все. Он отнял эту веру, и, хотя очевидность сказанного им ни у кого сомнений не вызывала, вся горечь, вся ненависть, вызванная смертью бога, обрушилась на Хрущева.

Более того, лишив людей иллюзий, он позволил им оглянуться, увидеть реально всю свою жизнь, и, точно до него не было всей этой жизни, тотчас же он оказался во всем виновен. Вдруг стала очевидна нежизнеспособность всей системы, некомпетентность руководства. Главное же, он ничего не изменил по существу: не искоренил сталинизма, не исправил хозяйства, не дал настоящей свободы, а вместо всего этого вновь попытался продать людям те же иллюзии, которые только что столь наглядно были разоблачены. Его наивные обещания коммунизма к 1980 году вызывали только смех. Думаю, он был последним коммунистическим правителем, который действительно верил в возможность построить коммунизм и пытался осуществить это. Но никому его коммунизм был уже не нужен, никто кроме него в такую возможность уже не верил. Всем был настолько очевиден обман, что даже кроты прозрели.

Наконец, он был лишь скверной пародией на Сталина. Не сломав старой системы, он оказался ее жертвой, и постепенно вместо культа личности обожаемого Сталина люди получили культ личности ненавистного Хрущева. Было очевидно, что порочна вся система, которая не может просуществовать без культов. Его авантюрная внешняя политика, немногим, впрочем, отличающаяся по существу от предыдущей или последующей, также не снискала ему сторонников: двойственность, половинчатость его линии просто исключала возможность успеха. С одной стороны — искусственно вызванные им берлинский и карибский кризисы, широкая подрывная деятельность против свободного мира, явное стремление к гегемонии. С другой — демагогические призывы к миру, к разоружению, к сотрудничеству и торговле, которым даже наивные западные люди под конец перестали верить. Поэтому, когда его сняли наконец, у него совершенно не оказалось сторонников.

Удивительно: человек десять лет правил и не нажил ни одного сторонника. Лишь очень немногие люди в Москве, усматривая в Хрущеве гарантию против возвращения сталинизма, жалели о нем. Некоторые полагали, что в его лице осуществилась

вековая мечта русского народа иметь на престоле Иванушку-Дурачка, но более сведущие говорили, что скорее его можно сравнить с Распутиным.

Забавно, однако, что начавшийся при нем процесс внутреннего оттаивания людей происходил, видимо, и в нем самом. Люди, видевшие его после отстранения от власти, рассказывали, что он сильно изменился, тяжело переживал всеобщую неблагодарность и, будучи не у власти, очень скоро усвоил точку зрения общества. Помню, уже в семидесятом году собрались мы у Якира подписывать очередную петицию в защиту Солженицына – в связи с присуждением ему Нобелевской премии. Как водится, Якир сидел на телефоне и обзванивал всю Москву, собирая подписи знакомых. Тут кто-то в шутку предложил ему позвонить Хрущеву – ведь по его распоряжению впервые опубликовали Солженицына. Сказано – сделано. К телефону подошла Нина Петровна, а потом и сам Никита.

– Вы слышали новость? – спросил Якир. – "Какую?" – Ну как же, Солженицыну дали Нобелевскую премию! – "А как же, как же, – оживился Никита, – слышал, конечно. Я теперь все новости узнаю по Би-Би-Си". – И как вы это оцениваете? Ведь вы первый разрешили его напечатать. – "Да, помню, Твардовский сказал мне, что это высокохудожественное произведение. Я ему поверил". – И, помолчав, добавил: "Что ж, Нобелевскую премию зря не дадут".

Конечно, мы не решились просить его подписать нашу петицию, но, думаю, проживи он лет десять не у дел, непременно оказался бы в числе подписантов. Двигался он явно в этом направлении, и его мемуары, конечно, вовсе не были делом случая.

Так или иначе, а атмосфера тех лет была весенней, полной надежд и ожиданий: фестиваль в Москве, затем выставка США – первые за всю нашу историю ласточки с Запада– разбили напрочь вбивавшиеся в нас мифы. Смешно было говорить о "загнивающем капитализме". По своей важности эти события можно поставить рядом с разоблачением Сталина. Неожиданное сближение с Югославией и начинающаяся ссора с Китаем; иностранные туристы; редкие, но все-таки достижимые импортные товары. Москва преображалась на глазах: вместо уголовного трущобного города моего детства, с бандами подрост-

ков в сапогах, плащах и кепках с разрезом, возникал город, жители которого толпились в книжных магазинах, набивались в залы, где выступали поэты, ломились в театр "Современник", а из окон домов по вечерам несся уже не Утесов, а джаз и рок-н-ролл, купленные тайно с рук. Переписывали его с радиоприемников на рентгеновские пленки, и эти "пластинки" миллионами раскупались у предприимчивых людей. Если смотреть на свет, на них видны были изображения чьих-то грудных клеток. Так это и называлось: "Рок на костях". Подростки начинали обзаводиться узкими штанами, такими узкими, что залезть в них было геройским делом. И хоть комсомольцы-дружинники ловили их поначалу, били, резали брюки ножницами, все-таки пробивалась эта мода, и скоро вся комсомолия щеголяла в таких же.

На Садовом кольце, по маршруту троллейбуса "Б", промышлял нищий. Он входил в троллейбус, снимал кепку и говорил громко, ни к кому конкретно не обращаясь: "Дорогой товарищ Тито, ты теперь нам друг и брат! Как сказал Хрущев Никита, ты ни в чем не виноват. Помогите борцу за ослабление международной напряженности!" И ему, конечно, подавали щедрой рукой.

А по всей Москве в учреждениях и конторах пишущие машинки были загружены до предела: перепечатывались для собственной потребы или для друзей стихи Гумилева, Мандельштама, Ахматовой, Пастернака. И было такое чувство, словно понемножку, осторожно все расправляют затекшие от долгого сидения члены, пробуют шевелить конечностями, переменить позу, а все тело от этого покалывает будто тысячами иголочек. Ничто вроде бы уже не держит – можно и встать, да отвыкли, отучились стоять на двух конечностях.

Возрождение культуры у нас, после полустолетнего господства чумы, повторило этапы развития мировой культуры: сначала фольклор, былины, сказания, передававшиеся из уст в уста, от поколения к поколению, затем песни трубадуров и менестрелей, стихи и поэмы, наконец – проза, целые романы, трактаты, философские опусы и публицистические сборники, открытые письма и воззвания, журналистика – так Самиздат в ускоренном ритме охватил ступенька за ступенькой историю культуры. Уже в семидесятые годы даже фильмы самиздатские начали выходить.

Когда-нибудь у нас, думаю я, поставят памятник политическому анекдоту. Эта удивительная форма народного творчества нигде в мире не встречается, только в социалистических странах, где люди лишены информации, свободной печати и общественное мнение, запрещенное и репрессированное, находит свое выражение в этой необычной форме. Краткий и сжатый по необходимости, максимально насыщенный информацией, любой советский анекдот стоит томов философских сочинений. Упрощенность анекдота оголяет нелепость всех пропагандистских ухищрений. Анекдот пережил все самые тяжелые времена, выстоял, разросся в целые серии, и по нему можно изучать всю историю советской власти. Издать полное собрание анекдотов так же важно, как написать правдивую историю социализма.

В анекдотах можно найти то, что не оставило следа в печати, — мнение народа о происходящем. На любой вопрос есть ответ.

Как, например, расценил народ разоблачение культа личности? — Когда Сталина вынесли из Мавзолея и похоронили у кремлевской стены, на его могиле появился венок с надписью: "Посмертно репрессированному от посмертно реабилитированных".

А однажды исчез из Мавзолея Ленин. Принялись искать, ошмонали Мавзолей, нашли записку: "Уехал в Цюрих — начинать все сначала".

Или — как потомки оценят наше время? В будущих энциклопедиях напишут: "Гитлер — мелкий тиран сталинской эпохи. Хрущев — литературный критик времен Мао Цзе-дуна".

И, конечно, анекдоты о КГБ.

В Египте нашли мумию. Все египтологи мира собрались, не могут установить, что за фараон. Пригласили советских специалистов. Приезжают — три египтолога в штатском. "Оставьте нас, — говорят, — с ним один на один". Оставили. День ждут, два ждут, три — ничего. На четвертый выходят: "Рамзес Двадцать Пятый". Все поражены: "Как вы узнали?" — "Сам, сволочь, сознался".

На параде на Красной площади министр обороны объезжает войска. "Здравствуйте, товарищи танкисты!" — приветствует он. — "Здра... жела... ва... маршал... ву-ву!" — дружно отвечают танкисты. Едет дальше: "Здравствуйте, товарищи артиллеристы!" — "Здра... жела... ва... ву-ву!" Наконец, подъезжает к вой-

скам госбезопасности: "Здравствуйте, товарищи чекисты!" – "Здравствуйте-здравствуйте, гражданин маршал", – отвечают те с нехорошей усмешечкой.

А проблема борьбы за мир и советского миролюбия? Во всем мире столько споров, столько трудов написано, действительно ли Советский Союз хочет мира или только прикидывается. Вот уж для нас не проблема.

Приходит еврей к раввину и спрашивает: "Ребе, ты мудрый человек, скажи: будет война или не будет?" – "Войны не будет, – отвечает ребе, – но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется".

А что говорят советские люди о "загнивающем капитализме"? – Гниет-то гниет, но запах какой! – и сладостно потягивают носом.

А когда читают в советских газетах о постоянном кризисе на Западе и о том, как коммунистические и рабочие партии сил не жалеют, чтобы вывести бедных трудящихся к солнцу социализма?

– В еврейском местечке маленький мальчик Мойше целый день занят по хозяйству. Семья большая, родители трудятся, братишки-сестренки плачут, денег нет, и он так устает, что в школе за партой почти что спит. Урок биологии. Учитель спрашивает: "А скажи-ка, Мойше, сколько ног у таракана?" – "МНЕ БЫ ВАШИ ЗАБОТЫ, ГОСПОДИН УЧИТЕЛЬ..."

И их сотни тысяч, этих анекдотов, каждый – поэма.

Затем я поставил бы памятник пишущей машинке. Родила она совершенно новую форму издательства – Самиздат: сам сочиняю, сам редактирую, сам цензурирую, сам издаю, сам распространяю, сам и отсиживаю за него. Начинался же самиздат со стихов и поэм запрещенных, забытых, репрессированных поэтов – все, что по цензурным соображениям не могло быть напечатано официально, попадало в Самиздат. Теперь же Самиздат в числе своих авторов имеет двух лауреатов Нобелевской премии.

И уж раз зашла речь о памятниках, то нужно еще поставить монумент человеку с гитарой. Где, в какой стране скверные любительские магнитофонные записи песенок под гитару будут тайно, под угрозой ареста распространяться в миллионах экземпляров?

Помню, впервые в конце пятидесятых годов услышал я голос, тихо певший под гитару о московских дворах, о моем любимом Арбате, даже о войне – но так, как никто еще не пел. Не было в этих песнях ни единой фальшивой ноты официального патриотизма, и мы вдруг с удивлением оглянулись вокруг – вдруг почувствовали тоску по родине, которой нет. Ничего политического в этих песнях не было, но было в них столько искренности, столько нашей тоски и боли, что власти не могли потерпеть этого. Нелепые и злобные преследования Окуджавы были чуть ли не первыми преследованиями поэта, совершавшимися на наших глазах.

Чуть позже появился Галич, песни которого до сих пор тайком переписывают друг у друга заключенные в лагерях. Первый вопрос каждому вновь приехавшему на лагерную зону: "Какие новые песни Галича привез с воли?"

Чем дальше, тем больше возникало этих незримых фигур с гитарами. Им не давали залов для выступлений, за каждую их песню могли намотать срок, и поэтому редкий счастливец мог похвастаться, что видел их. Их предшественникам на заре человечества было легче: никто не сажал в тюрьму менестрелей, не тащил в сумасшедший дом Гомера, не обвинял его в слепоте и односторонности. Для нас же Галич никак не меньше Гомера. Каждая его песня – это Одиссея, путешествие по лабиринтам души советского человека.

В то время, однако, наша культура только зарождалась. Никто не собирался давать ей Нобелевских премий – ничего, кроме острога. Я же, случайно наткнувшись на нее в потемках, видел в ней единственную возможность жить, единственную альтернативу.

Летом 1958 года открыли памятник Маяковскому. На официальной церемонии открытия памятника официальные советские поэты читали свои стихи, а по окончании церемонии стали читать стихи желающие из публики. Такой неожиданный, незапланированный поворот событий всем понравился, и договорились встречаться здесь регулярно. Поначалу власти не видели в том особой опасности, в одной московской газете даже была опубликована статья об этих сходках с указанием времени их и приглашением приходить всем поклонникам поэзии. Стали со-

бираться чуть не каждый вечер, в основном – студенты. Читали стихи забытых и репрессированных поэтов, свои собственные, иногда возникали дискуссии об искусстве, о литературе. Создавалось что-то наподобие клуба под открытым небом, вроде Гайд-парка. Такой опасной самодеятельности власти не могли терпеть дальше и довольно скоро прикрыли собрания.

Я не бывал тогда на площади Маяковского и знал обо всем понаслышке. Теперь же, после всей истории с журналом и дальнейших событий, пожалел об этом. Среди людей, там собиравшихся, я мог бы найти единомышленников – вместе нам легче было бы отстоять себя и свое право на самобытность. То унизительное чувство несвободы, которое я испытал, то оскорбление, когда посторонние люди пытались распоряжаться моей судьбой, жгло меня и требовало активного противодействия. И в сентябре 60-го года, уже поступив в университет, я уговорился с одним своим приятелем, который жил рядом с площадью, и с другим, который учился в театральном училище, вновь начать чтения у памятника.

Расчет был простой: все, кто собирался здесь раньше и не слишком напуган разгоном, после двух-трех наших чтений непременно придут. Так и случилось.

Вскоре чтения вновь происходили регулярно, собирая огромное число слушателей. Мы быстро перезнакомились со "старичками" и с радостью обнаружили, что жизнь у них кипит и помимо чтений. Кроме самиздатского распространения стихов многие годы запрещенных поэтов они и свои произведения собирали и распространяли. Только что за издание трех номеров поэтического журнала "Синтаксис" был арестован их друг Александр Гинзбург, а они вновь готовили к изданию новые сборники: "Феникс", "Бумеранг", "Коктейль" и другие с такими же причудливыми именами. Они старались кроме того посещать официальные советские лекции и диспуты и там выступать, задавать вопросы, завязывать настоящий, по существу спор. У них еще со старых времен образовались обширные знакомства с самыми различными людьми: учеными, писателями, художниками. Круг моих знакомых расширялся стремительно. Сами чтения на площади Маяковского, на Маяке – как мы ее называли, действительно, как маяк, притягивали и привлекали все лучшее и самобытное, что было тогда в стране. Это было именно то, чего я так долго хотел.

Около ста лет назад наши сверстники читали взахлеб социалистические брошюры, обсуждали на сходках социалистические утопии, и кто в то время не знал Фурье или Прудона, считался невеждой. У нас паролем было знание стихов Гумилева, Пастернака, Мандельштама, и если сыщики царской России учили социалистические трактаты, чтобы проникнуть в среду молодежи, то агенты КГБ поневоле становились знатоками поэзии.

Это было время, когда свобода творчества, проблемы искусства и литературы стали центральными в жизни общества и самыми большими революционерами оказались художники-неконформисты, поэты-"формалисты" и т.д. Произошло это не по нашей инициативе, а по вине властей, не желавших признавать за людьми свободу творчества и всем пытавшихся навязать свой соцреализм. Парадоксальное явление: на Западе в это время авангардисты были чуть не все как на подбор коммунистами – у нас же они считались вне закона.

Народ подбирался у нас самый разношерстный. Были и такие, кого интересовало только чистое искусство, и они отчаянно боролись за право искусства быть чистым. Это приводило таких людей, во все времена считавшихся самыми аполитичными, прямо в гущу политической борьбы, на ее передние рубежи. Были такие, как я, для которых право искусства на независимость являлось лишь поводом, одним из пунктов несогласия, – и мы были здесь именно потому, что это оказалось центром политических страстей. Были и такие, как автор запомнившихся мне с той поры стихов:

Нет, не нам разряжать пистолеты
В середину зеленых колонн!
Мы для этого слишком поэты,
А противник наш слишком силен.
Нет, не в нас возродится Вандея
В тот гудящий, решительный час!
Мы ведь больше по части идеи,
А дубина – она не для нас.
Нет, не нам разряжать пистолеты!
Но для самых ответственных дат
Создавала эпоха поэтов,
А они создавали солдат.

Среди людей, крутившихся тогда у Маяка, много еще было всякого рода неомарксистов и неокоммунистов, однако они уже не делали погоды. Эта тенденция отмирала, уходила в прошлое. Возникла она в 50-е годы как естественная реакция на сталинский произвол: опираясь на классиков марксизма-ленинизма и апеллируя к ним, люди пытались заставить власти придерживаться их же светлых принципов. Но власти давно не считались с авторитетами, вывешенными на партийном фасаде, а исходили из своих конъюнктурных соображений. А сами люди — чем больше стремились определить для себя эти незыблемые марксистские принципы, тем больше убеждались, что их нет, а то, что есть, ведет непосредственно к Сталину.

Позже некоторое время оставались еще и такие, кто прикрывался марксизмом демагогически, считая, что с этих позиций удобней и безопасней критиковать власть, так сказать — бить власть томами ее собственного Ленина. Но эта позиция, как оказалось, скорее укрепляла, чем ослабляла коммунистическую диктатуру. Основная масса сколько-нибудь мыслящих людей пошла в своем политическом развитии гораздо дальше, и такие голоса стали звучать диссонансом. Популярность Ленина и прочих упала настолько, что подобная критика стала звучать не обвинением, а почти похвалой: власти выглядели не фанатическими догматиками, а прагматиками, разумно пренебрегающими устаревшей доктриной.

Мне кажется, на Западе многие проглядели этот момент, часто считая движение за права человека в СССР еще одной разновидностью неомарксизма. А штука в том, что те немногие участники этого движения, которые искренне ухитряются верить в социализм с человеческим лицом, — в акциях протеста, в практической деятельности едины со всеми. Боремся-то мы все за человеческое лицо — социализма у нас и без того хватает!

Так или иначе, а среди нас социалистов практически уже не было и к тому времени. Боролись мы за конкретную свободу творчества, и не случайно потом многие из нас влились в движение за права человека: Галансков, Хаустов, Осипов, Эдик Кузнецов и многие другие — все мы перезнакомились на Маяке. Синчагов, будущий доносчик по делу маяковцев, — тот был социалистом с человеческим лицом.

Чтение стихов прямо на площади, посреди города, создавало совершенно необычную атмосферу. Многие чтецы были отличными актерами-профессионалами, другие – незаурядными и самобытными поэтами: Щукин, Ковшин, Михаил Каплан, Виктор Калугин, Александровский, Шухт и другие. На каждое чтение стекались сотни людей. Происходило это обычно по вечерам в субботу и воскресенье. На меня – кажется, и на всех – особенно сильное впечатление производил Анатолий Щукин. Свои талантливые и необычные стихи он еще и читал прекрасно, а это было важно: никакой техники, никаких микрофонов у нас не было. Он буквально завораживал слушателей. Он произносил: "А на Аравийском узком полуострове не осталось, Господи, места для погоста...", – и в первую минуту покорял чистым звучанием, звуковая волна захватывала тебя и подчиняла, но в тот момент, когда ты уже готов был стряхнуть с себя это наваждение чистой стихотворной формы, – как вторая волна, на тебя накатывало и уже не отпускало подводное смысловое течение.

Одним из наиболее часто читаемых произведений на Маяке был "Человеческий манифест" Галанскова. Читал его и сам автор, и ребята-актеры. До сих пор не знаю, действительно ли это хорошие стихи, и не могу оценить: слишком кровно они связаны со всей памятью о тех временах. Мы воспринимали "Человеческий манифест" как симфонию бунта, призыв к непокорности.

Выйду на площадь
и городу в ухо
втисну отчаянья крик...

– звучало над площадью Маяковского, словно здесь и сейчас найденное слово. В Юркиных стихах было то, что мы ощущали, чем мы жили:

Это – я,
призывающий к правде и бунту,
не желающий больше служить,
рву ваши черные путы,
сотканные из лжи.

Как и он, мы чувствовали, как из этого отчаяния, бунта прорастает, возрождается свободная и независимая личность:

Не нужно мне вашего хлеба,
замешанного на слезах.
И падаю, и взлетаю
в полубреду,
в полусне...
И чувствую, как расцветает
человеческое
во мне.

Действительно, был это человеческий, а не узко политический манифест.

И вообразите себе, что все это произносится в центре Москвы, под открытым небом, в той самой Москве, где еще семь-восемь лет назад за такие слова, сказанные шепотом, влепили бы десять лет без всяких разговоров.

Не имея уже той свободы действий и от этого еще больше стервенея, власти не собирались терпеть такую вольность: чуть не с первого чтения они устраивали провокации, задерживали чтецов, записывали их фамилии и сообщали в институты, так как большинство из нас были студентами. В институтах принимали свои меры – в основном, исключали. Формально – карательными мероприятиями против нас руководили горком комсомола и комсомольский оперативный штаб, фактически – КГБ. Периодически у ребят проводились обыски, изымали сборники стихов и прочий самиздат. Оперативники провоцировали драки на площади, пытались нас разгонять, не подпускали к памятнику в назначенное время, оцепляя его. Но все это не могло нас остановить – да и толпа всегда была на нашей стороне.

Одновременно против нас начали кампанию клеветы в партийной печати. Какой только чепухи не писали про нас – чаще всего, что мы паразиты, бездельники, нигде не работаем. Последнее иногда формально соответствовало действительности, так как по распоряжению КГБ нас выгоняли из институтов и никуда не давали устроиться на работу. Но вся эта клевета только создавала рекламу, и люди все больше тянулись к нам "на маячок".

В апреле шестьдесят первого на площади произошло целое побоище. Как раз совершился полет Гагарина, день был объявлен праздничным, и толпы полупьяного народа запрудили улицы. У нас же на этот день было намечено чтение, посвященное годовщине гибели Маяковского. В условленный час площадь была запружена народом до отказа. Многие праздношатающиеся подходили просто потому, что видели толпу и не знали, что должно произойти. У нас мнения разошлись: одни считали, что чтение нужно отменить, другие — что отменять поздно. В конце концов решили читать. Обстановка была накалена до предела, оперативники любую секунду были готовы броситься на нас. Наконец, когда стал читать Щукин, они взвыли и кинулись через толпу к памятнику.

Обычно мы старались окружить чтецов кольцом своих, чтобы не допускать провокаций, да и публика всегда вступалась за нас. Было так и на этот раз, но уж очень разъярились оперативники, в толпе же было много людей совершенно случайных, а то и пьяных. Завязался настоящий рукопашный бой, причем многим было непонятно, кто с кем дерется, и ввязывались в драку ради забавы. В мгновение ока вся площадь кипела: дрались, толкались локтями, протискивались к дерущимся. Оперативникам крепко досталось, но они все-таки ухитрились засунуть Щукина и Осипова в милицейскую машину. Милиция и вообще-то непопулярна в народе, а тут и подавно их появление вызвало злобу. Одно мгновение я уж боялся, что милицейскую машину перевернут и разобьют вдребезги. Кое-как она выбралась из толпы. Щукин получил 15 суток "за чтение антисоветских стихов", Осипов — 10 суток "за нарушение порядка и нецензурную брань". Последнее было особенно забавно, так как Осипов был всем известен как противник нецензурной брани и всегда возмущался, когда слышал ее.

Уже по одному этому происшествию можно судить, какое необычное было время. Неуверенность и нестабильность руководства, боязнь Хрущева произвести плохое впечатление на Запад долго сковывали карающую руку органов. А абсолютная открытость и легальность наших действий озадачивала КГБ — они все хотели найти какую-то нелегальную организацию, которая "стоит за нами" и нами со стороны руководит. Время шло, а организация не обнаруживалась, и КГБ терялся в догадках.

Однако арестов не производили, боялись "спугнуть" мифическую организацию.

Я тогда хорошо знал все эти детали, так как благодаря старым связям, еще времен нашей детской конспирации, у меня было много знакомых в горкоме комсомола и даже в комсомольском оперативном штабе, который формально должен был нас разгонять и работал в тесном контакте с КГБ. Через этих своих знакомых я получал довольно точную информацию о готовящихся против нас действиях и мог предупреждать ребят. Вообще же тогда среди комсомольских функционеров у нас было много сочувствующих.

На нас постоянно устраивали облавы, а иногда и задерживали на несколько часов. Часто, задержав кого-нибудь из нас, оперативники сдавали нас в милицию вместе с фиктивными протоколами о нашем плохом поведении. Иногда милиция наказывала нас, чаще же просто отпускала: не любили они этих добровольных полицейских, а с КГБ у них и вовсе не утихала межведомственная вражда.

Весной через своих знакомых комсомольских деятелей я попытался получить для наших ребят официальный клуб при одном из райкомов комсомола. Клуб нам давали охотно, но при этом сразу же пытались ввести определенные ограничения и контроль. Первая же затея нашего клуба – выставка художников-неконформистов – была запрещена, и клуб закрылся, не успев открыться.

Тогда же, весной, меня вызвали в КГБ на допрос. До сих пор я не привлекал особого внимания КГБ, так как никогда сам на Маяке не выступал и моя функция там была чисто организаторской. Кроме организации самих чтений нужно было обеспечивать безопасный уход читавших с площади. Пока они читали, толпа естественно охраняла их, но когда чтения подходили к концу, нужно было осторожно, по одному выводить читавших из толпы и незаметно для оперативников отправлять домой или в безопасное место. Иногда их приходилось в толпе переодеть, поменять шапку, подогнать машины или даже прямо задержать оперативников, отвлечь их внимание. Каждый раз это требовало много изобретательности. Все кончалось тем, что толпа еще стояла, а читать было уже некому – толпа недоуменно расходилась.

Тут-то и наступала самая трудная задача – исчезнуть нам самим. Иногда дело доходило до прямой погони, и вряд ли нам удавалось бы уйти, если б не рос я в этом районе и не знал все проходные дворы в окрестностях.

Но со стороны трудно было разобраться, кто что делает. И хоть меня не раз уже задерживали, но только теперь, после моей затеи с клубом, особенно после нашего отказа от клуба, КГБ мною заинтересовался. Действительно, невольно вызывало подозрение, что я, никогда не быв комсомольцем, имею такие обширные связи в их руководстве, а в райкоме, при котором мы собирались открыть клуб, просто дневал и ночевал, присутствуя чуть не на всех их заседаниях. С клубом тоже выходила какая-то неясность: затея была одобрена горкомом и райкомом комсомола, мы свезли туда массу картин неугодной направленности, и, хоть официально выставка была тут же запрещена как идеологическая диверсия, неофициально дня два мы ее показывали-таки, несмотря на запрет. А в другом месте мы планировали сделать типографию для издания поэтических сборников, и какие-то слухи о том дошли до КГБ. В результате меня дважды допрашивали.

Никакого дела у них заведено не было, и я мог просто с ними не разговаривать. К сожалению, моя подготовка к допросам была более психологической, чем юридической, и я совсем тогда не знал своих законных прав. Поэтому вместо того, чтобы просто отказаться говорить с ними, я крутился, изворачивался, разыгрывал из себя советского патриота, даже письменно изложил это, считая, что ловко провел их. И, никого, конечно, не назвав и не впутав, я создал у них совершенно ложное о себе представление. Они, видимо, решили, что я человек уступчивый, податливый, – худшего представления создать о себе в КГБ невозможно. Лишь впоследствии я понял, как навредил себе.

События между тем нарастали. Той же весной меня выгнали из университета. В сущности, сразу после моего поступления туда, как только обнаружилось, что мне это было запрещено, университетская администрация изыскивала способ меня исключить. Формально у меня все было в порядке и прицепиться не к чему. Никаких же письменных приказов, запрещающих мне учиться, не существовало. Партия, как всегда, действовала незаконно, по-воровски, используя всякие закулисные мето-

ды. Поэтому в первую же экзаменационную сессию, зимой, я вдруг обнаружил, что меня не допускают к экзаменам. – В чем дело? – удивился я. Зачеты у меня были все сданы вовремя. "Не знаем, – ответили в учебной части, – какое-то недоразумение, зайдите завтра". Но и назавтра ничего не выяснилось, а время шло, мои сокурсники уже начали сдавать экзамены. Я рисковал упустить время и не сдать сессию в срок. За это меня уже вполне законно могли отчислить. Было очевидно, что этот трюк разыгрывается учебной частью по распоряжению сверху.

По счастью, зачетная книжка была у меня на руках, я не сдал ее в учебную часть. Воспользовавшись этой оплошностью, я пошел прямо к преподавателям и попросил принять у меня экзамены без допуска. Я объяснил, что учебная часть что-то напутала и допуска мне не дают по ошибке. Оба преподавателя, химии и математики, относились ко мне хорошо, эти предметы были всегда моими любимыми. Видя, что зачетка у меня на руках и все зачеты сданы, они согласились принять у меня экзамены без допуска с тем, что допуск я принесу позднее. Так мы и сделали. Когда же учебная часть принялась заявлять мне, что я пропустил сессию, я с большим удовольствием раскрыл зачетку и показал им оценки сданных экзаменов. Делать им было нечего, и первый семестр я проскочил.

К концу второго семестра они вели себя более аккуратно, тоньше рассчитывали свои трюки и не дали мне сдать даже зачетов. Чувствуя, что в этот раз не прорваться, я сам подал заявление с просьбой об отчислении, ссылаясь на плохое здоровье. Такой ход давал мне формальное право восстановиться на будущий год. Просьбу мою удовлетворили, однако осенью, когда я пришел восстанавливаться, мне в восстановлении отказали. Как объяснили мне в общеуниверситетской учебной части, против моего восстановления выступил комитет комсомола. "Не знаю, в чем там дело, – сказал зав. учебной частью, – пойдите к ним и узнайте. Формально вам отказано как не соответствующему облику советского студента".

Секретаря комитета комсомола всего университета я застал посреди сборов к какому-то туристскому походу. На полу лежали палатки, спальные мешки и котелки: какое-то очередное коллективное мероприятие. Узнав, в чем дело, она страшно возмутилась моей наглости:

– Еще вопросы пришел задавать! Разве вам не объясняли, что запретили учиться в институте? А потом, разве вы не читаете газет? Таким, как вы, не место в университете!

Действительно, в это время уже шел разгром Маяка, и наши фамилии часто появлялись в разных газетах, где нас именовали чуть ли не врагами народа. Разговор был явно бессмысленный: на мое упоминание о праве на образование она только хмыкнула. С тех пор в газетных статьях я именовался не иначе, как "недоучившийся студент" и "отчисленный из университета за неуспеваемость" – дурачок, дескать. Даже теперь, 15 лет спустя, иначе меня не именуют.

Честно говоря, я не очень жалел о случившемся. Было ясно, что учиться они мне не дадут все равно. Жизнь же в университете была настолько тусклой и неинтересной, что я испытывал к нему омерзение. Система преподавания мало чем отличалась от школьной. Посещение лекций было обязательным. Значительное количество предметов были партийные дисциплины, которые мне, как биофизику, были совершенно не нужны. Военное дело и опять проклятая физкультура, которую я терпеть не мог. Хоть сколько-нибудь интересных предметов было примерно половина, вторая половина времени тратилась даром. Атмосфера была казарменной: за посещаемостью следили специально назначенные старосты, и, если кто-то не пришел, они составляли рапорт. Студенты были полностью бесправны, особенно иногородние и нуждавшиеся в стипендии. За эту вот стипендию и за общежитие от студентов требовалась полная покорность. Многие из них доносили на своих товарищей, лишь бы не лишиться всего этого. Никаких средств защиты у студентов не существовало, как не существует и до сих пор. Отчислить из университета могли за малейший пустяк безо всяких объяснений – иди потом, жалуйся министру высшего образования.

Получалось хуже, чем в школе, где, по крайней мере, огрызаться можно было. И хоть учиться мне хотелось, большой потерей отчисление я считать не мог: это было не ученье, а мученье. "Черт с ними, – решил я, – все равно сейчас некогда. Не до них!"

И точно, было не до них. Разведка моя доносила, что на Маяке готовится полный разгром. Получено, наконец, решение сверху: покончить с нами любыми средствами. Сведения о нас

стали просачиваться в зарубежную печать, а в октябре должен был состояться XXII съезд партии, и к съезду все должно быть тихо.

В августе арестовали Илью Бакштейна. Он никогда не выступал на площади и не читал стихов. Иногда принимал участие, если возникали диспуты, и арестовывать его было не за что даже с этой точки зрения. Он был очень болен, почти все детство провел в больнице из-за туберкулеза позвоночника. То, что из всех нас выбрали для ареста самого неприспособленного, беспомощного человека, имевшего практически меньше всего отношения к чтениям, показывало, что КГБ постарается слепить дело против Маяковки из таких вот людей и на основании этого дела прикрыть чтения.

Словно сорвавшись с цепи, КГБ больше ни перед чем не останавливался. На площадь к моменту наших собраний пригоняли снегоочистительные машины и пускали их на толпу. Машины носились вокруг памятника, никого не подпуская к нему. Нас вызывали и грозили расправой.

Однажды поздно ночью, после окончания очередного чтения, я возвращался домой. Вдруг меня догнала машина. Несколько парней втолкнули меня внутрь и увезли. Ехали мы довольно долго, более получаса. Завезли в какой-то двор, где в подвальном помещении было что-то наподобие конторы. Нас и до этого часто задерживали, держали по многу часов, допрашивали, так что я не слишком удивился сначала. Однако кроме моих сопровождающих в помещении никого не было.

Меня провели в большую комнату без окон и без всякой мебели. Не успели мы войти, как шедший справа оперативник внезапно ударил меня в лицо. Тут же другой попытался ударить в солнечное сплетение и сбить с ног, но я был уже настороже и увернулся. Быстро отскочив в угол, я прижался к стенке спиной, а руками старался прикрыть лицо и солнечное сплетение.

Они били меня долго, часа четыре. Один, схватив за волосы, сильно дергал вниз, норовя коленом с размаха разбить лицо. Другой в это время со всей силы бил по спине, там, где почки. Я думал только о том, как бы не упасть, — тогда они ногами искалечили бы меня. Я уже плохо соображал, голова кружилась, трудно было дышать. Устав, они делали короткую передышку, при этом один из них наклонялся ко мне и гладил

по щеке с какой-то сладострастной улыбочкой. И снова начинали бить.

Было уже четыре часа утра, когда меня вытолкнули на улицу. "Больше не появляйся на Маяковке, а то вообще убьем", — сказали мне только. Транспорт еще не ходил, и я с трудом добрел до дому.

Наступал последний этап Маяка. Все более или менее случайные люди как-то отсеялись, исчезли. Но тем больше близости возникало между оставшимися. Все труднее и труднее становилось устраивать чтения, и даже моя разведка часто оказывалась бессильна. А если чтение все-таки удавалось, то еще сложнее, чем прежде, было благополучно и незаметно по одному увести с площади читавших. Многие из них не жили дома, прятались по знакомым. И все равно мы считали своим долгом отстоять Маяк.

Каждое выступление оставляло невыразимое ощущение свободы, праздника, и было что-то мистическое в этом чтении стихов ночному городу, редким огням в окнах, запоздавшим троллейбусам. Не могло это пройти бесследно, тем более теперь, когда переставало быть безобидной забавой. И даже сейчас, много лет спустя, я испытываю чувство особой, родственной близости к людям, с которыми вместе отстаивали мы Маяк до конца.

Утром 6 октября 1961 года, за три дня до XXII съезда, нас всех арестовали. Я проснулся внезапно — с таким чувством, будто кто-то пристально смотрит на меня. Действительно, у меня в ногах на постели сидел капитан КГБ Никифоров, тот самый, что уже вызывал меня весной. Как уж он вошел в квартиру — не знаю. Внизу у подъезда ждала машина, отвезшая нас на Малую Лубянку.

Кабинеты, коридоры, лестницы и всюду снующие взад-вперед люди с бумагами, папками, портфелями. В одном кабинете — перекрестный допрос, в другом — запугивают, намекают на последствия, в третьем — и не кагебисты вовсе, а отцы родные, закадычные приятели. Травят анекдоты, угощают чаем. Вновь крик, кулаком по столу: "Хватит запираться, мы все знаем!" Бить не бьют. Пыток нет. Наверное, это еще впереди. Переводят из кабинета одного начальника к другому — и всюду тьма народа.

Главное – терпение и выдержка. Что они знают? Чего хотят?

– Вот вам лист бумаги и ручка. Напишите все, что знаете.

Ишь ты, шустрый какой. Все, что я знаю, на этом листочке не уместится.

Постепенно из уговоров, криков и угроз выясняются две вещи. Первое – их интересует, что я знаю о готовящемся покушении на Хрущева. Второе – их интересует одна бумага, которую я написал и обсуждал с ребятами.

Действительно, незадолго до этого стали распространяться слухи, что кто-то из наших ребят якобы готовит покушение на Никиту. Это было бы чудовищной глупостью, просто провокацией, и мы переполошились. После долгих расспросов и дознаний удалось нам выяснить, что в одной группке ребят как-то вечером обсуждался вопрос о политическом терроре как средстве борьбы. Теоретически обсуждался, не более, и было, к тому же, это средство осуждено присутствующими как и бессмысленное, и вредное. Волновал всех вопрос: что делать, если появится новый Сталин? Оправдано или не оправдано его убить?

Большинство сошлось на том, что убийство Сталина не привело бы к изменениям. Партия выдвинула бы нового, благо их у нее много. Давно уже стало ясно, что при нашей системе случайная смерть фюрера не влечет за собой перемен в политике. Скорее наоборот – когда назревает необходимость таких перемен, сама собой происходит загадочная смерть или открытая казнь. Убийство же Хрущева ничего кроме ужесточения преследований дать не могло. При всей нашей к нему нелюбви, даже нам это было ясно.

Однако КГБ решил использовать этот разговор как предлог для ареста даже тех, кто при нем не присутствовал. Более того, усиленно стал распространять слухи о готовящемся покушении. Видимо, так им было легче добиться партийной санкции на арест и на прочие решительные меры по ликвидации чтений на Маяке.

Другой пункт также возник случайно и тоже не содержал в себе ничего преступного. Мои комсомольские знакомые не понимали, почему мы, маяковцы, не хотим действовать в рамках комсомола, не вступаем в него, не доверяем их "внутрипартийной демократии". Чтобы объяснить это, я, по их просьбе, написал странички две рассуждений, чем же комсомол неприемлем.

Основным пунктом моих возражений были их полная зависимость от партии, казенщина, директивное руководство и прочие обычные партийные атрибуты. Если бы комсомол смог обрести самостоятельность и независимость, позволял своим членам открытое обсуждение политических вопросов, выступал как общественная сила – тогда, считал я, наше сотрудничество стало бы возможным.

Мои знакомые в райкоме отпечатали эти рассуждения на своей райкомовской машинке и собирались широко обсуждать. Я же, со своей стороны, предложил их на обсуждение своим друзьям-маяковцам на одной из встреч у Юры Галанскова. Никто из нас не считал такое дело противозаконным, и, когда Эдик Кузнецов попросил у меня копию, чтобы внимательнее прочесть дома, я охотно ему дал.

Теперь оказалось, что при обыске у Эдика эти бумажки нашли и он показывал, что получил их от меня. Разумеется, я без колебаний подтвердил его слова. Откуда нам с Эдиком, Галанскову и прочим, при сем присутствовавшим, было знать, что эту вот несчастную бумажку КГБ окрестит солидно "Тезисами о развале комсомола" и объявит антисоветским документом? Мало ли какие бумажки обсуждали мы за последние месяцы!

Упорство КГБ в расспросах об обстоятельствах наших встреч и разговоров насторожило меня, и больше я никаких показаний не дал. Не сказал даже, кто печатал эти самые "Тезисы", чтоб не называть новых имен. Даже об очевидных фактах своего знакомства со многими из маяковцев стал отвечать уклончиво, ссылаясь на плохую память. Была у меня все-таки неплохая подготовка.

Весь день продержали нас на Лубянке, непрерывно допрашивая в разных кабинетах. К вечеру повезли на обыск. Естественно, эти самые "Тезисы" лежали у меня в ящике стола. Мне и в голову не приходило их прятать. Больше ничего существенного у меня не нашли. Забрали еще какие-то стихи да мои собственные рассказы. Обыск кончился поздно, часу в двенадцатом, но арестован я не был и остался дома.

Родители были сильно напуганы, и все происшедшее явно не улучшало и без того сложных отношений моих с отцом. Не могу сказать, чтобы мы враждовали. Просто существовала между

нами какая-то неприязнь. Он был по-своему человек честный и очень преданный своей теме — судьбе деревни. Он родился и вырос в селе на Тамбовщине и всю жизнь писал о деревне. Верил он в колхозную деревню, раскулачивание оправдывал (может, оттого, что сам в нем участвовал в молодости). Ленин был для него высшим авторитетом, и всё последующее обнищание и разорение дорогих его сердцу колхозов он приписывал сталинским извращениям. Впоследствии мы оказались, по существу, в близком положении: его практически перестали печатать, а в каждой принятой к печати статье половину вычеркивали.

Неприязнь наша была скорее личной. Он и вообще был человек тяжелый, деспотичный. Меня же не любил особенно, видимо, потому, что я оказался совсем не таким, каким он хотел бы меня видеть. Странно, что судьба жестоко мстила ему за эту неприязнь: вплоть до самой смерти, даже после того как он стал жить отдельно от нас, получал он регулярно выговоры и взыскания по партийной линии за то, что "неправильно" воспитал меня. Бесконечно его куда-то вызывали, обсуждали, наказывали всякий раз, как я попадал в тюрьму или советской пропаганде приходило в голову очередной раз обругать меня в печати. И так шестнадцать лет — с самого первого моего дела со школьным журналом.

Тут, однако, он неожиданно выказал достоинство и презрение к КГБ. В самый разгар обыска у нас с матерью в комнате он вдруг вошел к нам и спросил чекистов очень злобно и подозрительно:

— Вы что, у меня тоже будете рыться?

— Нет-нет, что вы, что вы, — засуетились чекисты и довольно скоро умотались. Он же хлопнул дверью и опять заперся у себя в комнате. Там он иногда мог просидеть неделю, ни с кем не разговаривая и лишь изредка выходя на кухню поесть.

Со следующего дня потянулись регулярные допросы в КГБ. Все мы, допрашиваемые в качестве свидетелей, — Галансков, Хаустов, я и еще человек двадцать — встречались после допросов, обсуждали ситуацию, советовались, как лучше отвечать. По существу, никто из нас ничего не добавил к показаниям первого дня, несмотря ни на какие ухищрения следователей.

Тут впервые узнал я о правовом положении свидетеля. Целую лекцию на эту тему прочитал нам Александр Сергеевич Есенин-Вольпин, незадолго до того освободившийся из Ленинградской спецбольницы. Он пришел как-то раз на Маяковку, послушал, посмотрел. При первом знакомстве он не произвел на меня впечатления: чудаковатый человек, в ободранной меховой шапке, только что из психбольницы да еще весь вечер толковал про уважение к законам. Лекция его, однако, принесла практическую пользу, и никто из нас не дал себя запугать и не наболтал лишнего.

А день открытия съезда мы им все-таки решили испортить. 9 октября Маяк дал последний бой – вечером мы провели чтения по всей Москве. Не только у памятника Маяковскому, но и у памятника Пушкину, у других памятников Москвы и даже у Библиотеки имени Ленина. Последнее место мы считали самым важным, а остальные – скорее отвлекающим маневром. Вечером из кремлевских ворот стали выходить подвыпившие в кулуарах делегаты XXII съезда. Видя толпу у Библиотеки, они подходили, слушали стихи, аплодировали, а когда нас попытались разогнать, даже вступились за нас. Один такой делегат, сильно под мухой, отвел нескольких из нас в сторону и горячо благодарил, уверяя, что мы делаем очень большое и нужное сейчас дело. Конечно, мы тут же стали жаловаться делегатам на притеснения, разгоны, избиения и прочие беззакония со стороны КГБ. Некоторые из них обещали похлопотать, чтобы нас не трогали. Не думаю, однако, чтобы они что-нибудь сделали, так как это оказалось последним нашим выступлением. Чтения были официально запрещены, и всякий, кто осмелился бы их продолжать, оказался бы за решеткой.

Вновь партийная печать обрушила на нас потоки клеветы. Обо мне было сказано, конечно же, что я ”недоучившийся студент” и ”свихнулся от благ, предоставленных отцом”. Откуда им было знать о наших реальных отношениях? Просто корреспондент углядел, что мой отец – член Союза писателей, а остальное дофантазировал. Это имело неожиданный эффект: отцу моему стало вдруг неловко за свою неприязнь ко мне, и он с некоторым смущением купил мне костюм – кажется, первый за мою жизнь. Как говорится, нет худа без добра.

Судьба наших арестованных ребят решилась через четыре месяца самым жестоким образом. Горбатый Илюша Бакштейн был осужден на пять лет, а Кузнецов и Осипов – на семь лет лагерей каждый. Конечно же, ни о каком этом фантастическом покушении речи больше не шло. Судили их за ”антисоветскую агитацию и пропаганду”, то есть за Маяковку, за чтения и диспуты, за сборники стихов. Московский суд еще пытался обвинять их в создании антисоветской организации, но и это потом отпало. Не смогли следователи правдоподобно придумать эту организацию. Даже названия не позаботились выдумать. Но мои так называемые ”Тезисы” инкриминировались Эдику как один из пунктов обвинения – ”хранение и распространение антисоветской литературы”.

Суд был, разумеется, закрытый. Даже на зачтение приговора пытались никого не пустить. Однако наш заядлый законник Алик Вольпин с раскрытым Кодексом в руках доказал охране, что приговор во всех случаях должен объявляться открыто. Алик был первым человеком в нашей жизни, всерьез говорившим о советских законах. Но мы всё посмеивались над ним.

– Ты, действительно, Алик, чокнутый, – говорили мы ему. – Ну, подумай, о чем ты говоришь? Какие же законы могут быть в этой стране? Кто о них думает?

– То-то и плохо, что никто не думает, – отвечал обычно Алик, нимало не смущаясь наших насмешек.

Однако на конвойных солдат Алик со своим Кодексом произвел неожиданное впечатление, и ребят пустили послушать приговор.

– Вот видите, – ликовал Вольпин, – мы сами виноваты, что не требуем выполнения законов.

Но все только плечами пожимали. Знали бы мы тогда, что таким вот нелепым образом, со смешного Алика Вольпина с кодексом в руках, словно волшебной палочкой растворившего двери суда, начинается наше гражданско-правовое движение, движение за права человека в Советском Союзе.

Кончался поэтический этап в медленном пробуждении нашего общества. Поэтов и чтецов всерьез увозили за их стихи в самый настоящий концлагерь. Не солдат, не заговорщиков, а поэтов.

Нет, не нам разряжать пистолеты,
Но для самых решительных дат
Создавала эпоха поэтов,
А они создавали солдат.

Эпоха-то оказалась такая, что и поэтов не смогла стерпеть. Им-то и пришлось быть солдатами.

Я не пошел на суд, хоть и был в списке вызванных свидетелей. Получалась какая-то постыдная для меня нелепость: Эдик, который лишь взял почитать злополучные "Тезисы", был подсудимым – я же, написавший их и давший почитать Эдику, оказался только свидетелем. В такой ситуации стыдно было оставаться на свободе да еще и прийти в суд. Однако меня вовсе не забыли, и переживал я напрасно. Как рассказали ребята, после приговора было оглашено частное определение суда, в котором указывалось, что против меня тоже следует возбудить дело.

Мы по-прежнему часто виделись, но на площадь уже не ходили. Каждый ждал расправы, и эти встречи не были веселыми, как раньше. Нескольких ребят упрятали уже в сумасшедшие дома, и оставалось только ждать своей очереди. Мне нестерпимо было это ожидание. Бродя вечерами по Москве, я пытался придумать, что же такое еще сделать. Все равно арест был неминуем, терять нечего.

Больше всего мучило меня бессилие. Ровным счетом ничего не мог я сделать этой мрази за все их расправы и издевательства, и это было особенно нестерпимо. Ну, хоть что-нибудь, хоть плевок! Одно только воспоминание о том, как меня били, не давало мне спать. А институт, а разогнанная Маяковка, горбатый Илюша в тюрьме... Со всех же сторон по-прежнему неслась наглая ложь, словно ничего не случилось. И это доводило меня до исступления.

Наконец, не придумав ничего лучшего, я организовал выставку картин двух своих знакомых художников-неконформистов на частной квартире. Выставка имела успех, приходило много народа. На какое-то время повеяло старыми временами, и получилась своего рода демонстрация против партийного руководства в искусстве. Однако и КГБ не дремал: трое из них пришли на выставку, долго молча разглядывали картины и так же молча ушли. Затем вызвали хозяина квартиры, пригрозили ли-

шить работы, отнять квартиру и чуть ли не в тюрьму посадить. Выставка продержалась больше десяти дней. Тут уж стал я ждать ареста со дня на день. КГБ ходил за мной по пятам, нагло, почти не скрываясь.

Меня вдруг охватила злоба: почему, собственно, должен я покорно ждать этого ареста, позволить им проглотить себя медленно, спокойно, с аппетитом, точно кролика? Не слишком ли жирно им будет? И, внезапно оторвавшись от слежки, когда они меньше всего ожидали этого, я улизнул из Москвы. Они остались караулить меня у какого-то сквозного подъезда, а я в это время уже катил в поезде. Стучали колеса, проносились мимо хилые рощицы да нищие деревеньки, и под утро, проснувшись на каком-нибудь разъезде, я с наслаждением слушал, как перекрикиваются в тишине паровозы, сцепляют составы.

Вот, тяжело топоча по рельсам медными пятками, прошел наш паровоз и загудел где-то впереди, точно зевнул. Дернулся вагон, качнулся, скрипнул, и снова покатили вперед, вперед, в Сибирь... Душная Москва, где каждое окно подозрительно глядит тебе в спину, осталась позади, в прошлом. И пусть теперь ищут меня чекисты на одной шестой земного шара.

В Новосибирске я через знакомых легко завербовался в геологическую экспедицию, и через неделю мы уже тряслись по таежному бездорожью на восток. Томск, Красноярск, Иркутск, Байкал, Чита... Десять тысяч километров на колесах. По вечерам у костра – чаек из закопченного чайника, песни, рассказы. Новые впечатления, новые лица, и никакой власти над тобой. Нет в тайге гражданина начальника кроме косолапого мишки. Лишь изредка, проезжая через поселки, вновь видишь нищету и безнадежность советской жизни. А дальше – опять тайга, непролазные дороги да комары, словно тучи пыли, не продохнуть.

Вдруг, от Иркутска до Байкала, почти сто километров прекрасного асфальтового шоссе, и все деревеньки вдоль него такие аккуратненькие, чистенькие, крашеные, точно пасхальные яички. В конце шоссе, на берегу озера, – два современных роскошных коттеджа, аллеи, поле для гольфа. Что за чудо? Зачем? Все объяснялось очень просто: должен был, оказывается, приехать сюда в 60-м году Эйзенхауэр вместе с Никитой. Но вот дело расстроилось, и стоят теперь эти коттеджи, словно памятник советско-американской дружбе, – осколок Америки посреди советской непролазной тайги.

Где-то уже в Забайкалье другое чудо — мраморная дорога. И тоже простое объяснение: рядом, оказывается, месторождение мрамора, а вывозить его нечем. Не пропадать же добру — хоть дорогу вымостить мраморной щебенкой, чтоб машины не буксовали. В другом месте дорожная щебенка опять привлекла внимание моих геологов. Вылезли, постучали молотками — удивляются: цинковая руда. Дальше, через два километра, свинцовая руда пошла. Оказалось, стоят рядом два комбината: один добывает свинец, другой — цинк. Но подчиняются они разным управлениям, находятся в разных районах, и поэтому один выбрасывает в отвалы ненужную ему цинковую руду, другой — свинцовую.

А дальше опять тайга да болота, даже трактора не проходят, вязнут. Редкие села — такие неприютные, что и останавливаться в них не хочется. Бревенчатые избы крыты досками. И все это под ветром и дождями приобретает какой-то серый, сиротливый оттенок. Сибиряки — народ угрюмый, потомки каторжников. Смотрят исподлобья, недоверчиво, отвечают сдержанно, неохотно.

Заночевали раз в селе у мужика. В избе хоть шаром покати — и шестеро детей по лавкам. Одни сапоги на всех, чтобы на двор выйти зимой. "Как же ты живешь?" — спрашиваем. "Так вот и живу". Переглянулись мы, оставили ему половину своих консервов — как-нибудь перебьемся охотой да рыбалкой.

Говорили, года за два до нас топографы с вертолетов обнаружили село, никому до того не известное. Жили там раскольники-староверы еще с начала века и с тех пор ни с кем не общались. Счастливые люди — не знали ни про революцию, ни про мировую войну, ни про колхозы. Богатое, многолюдное село, каких уже не встретишь. То-то им новостей порассказали. Ну и, конечно, сразу загнали в колхоз, и вся их зажиточная, привольная жизнь кончилась.

Чем дальше на восток я ехал, тем больше понимал — от КГБ-то спрятаться несложно. А вот поди спрячься от советской жизни. Везде было то же самое, та же жизнь, только посерее, чем в Москве.

Уже темнело, когда добрались мы до китайской границы. Странное это ощущение — граница. Здесь, на этой стороне, сте-

пи, сопки – наши; там, через Аргунь, – уже китайские. Граница проходила по Аргуни и оттого никаких видимых разделений не существовало: ни столбов, ни колючей проволоки. Практически граница не охранялась. Так, километрах в пяти-шести друг от друга, небольшие заставы с вечно пьяными офицерами и солдатами. На китайской стороне и того не было видно. На заставе предупредили нас, чтобы не разводили больших костров, не плавали на тот берег да не стреляли в ту сторону. На душе было как-то тревожно – никогда еще я не забирался так далеко от дома. И все здесь казалось уже каким-то не своим: чужие незнакомые звезды, слишком крупные цветы в степях и очертания гор на китайской стороне совсем какие-то не родные. И нет этой границы, и есть она. Только переплыть через Аргунь, всего-то метров 70-80, – и другой мир, другие порядки. Никто уже не будет за мной гнаться, ловить, тащить в тюрьму. Впрочем, так ли это? Так ли уж отличаются они от нас?

Как часто мы смеемся над этими иностранцами, что не понимают нашу страну, принимают за чистую монету всю нашу показуху с лозунгами и собраниями. Забавно читать их размышления о нашем фанатизме, об искреннем стремлении строить социализм. Да лучше ли мы сами, когда рассуждаем о Китае? Разве может это всерьез кого-то увлечь: коммуны, скачки́, массовые походы на воробьев и мух? Ну, на год, на три, ну, на пять лет от силы – но не на всю же жизнь! Быть может, это даже любопытно – годик-другой погонять воробьев, побегать за мухами, расклеивать дацзыбао, если потом можно назад, к нормальной, разумной жизни, к нормальным людям. Да ведь не пустят. В том-то вся и штука с социализмом, что начать можно, а кончить не дадут. Ты уже не себе принадлежишь, и о н и лучше знают, что для тебя благо, а что нет. И учи потом всю жизнь цитаты Мао Цзе-дуна...

Уже поздно, все легли спать. Костер мой все-таки располыхался, красные блики прыгают по китайскому берегу. Уже в Китае. Но задержать их некому: пограничники, верно, спят спьяну. Я один на самом краешке страны, только мошки да ночные бабочки от любопытства налетают из темноты на пламя и тут же падают, лопаясь с легким щелчком, словно дождь идет. Тихо плещется равнодушная вода о тот и об этот берег.

И выходило все-таки, что нет ее, этой границы.

Рано утром, чуть свет, когда мы завтракали, проехал по той стороне китаец верхом, прогнал небольшой табун лошадей. Поравнявшись с нами, он снял шапку и сказал по-русски:"Здрасити!" – "Здравствуйте", – ответили мы через реку. "Но-о-о, мать твою!" – заорал он на лошадей и погнал дальше.

Осенью возвратился я в Москву с тяжелым сердцем: я знал, что меня арестуют. Но что было делать? Не прятаться же всю жизнь. И так уж почти полгода протаскался я по Сибири. Бежать некуда – во всей этой огромной стране нет для меня места. И еще была догадка: может, их это устраивает? Может, они и не больно-то искали меня? В самом деле, какая им разница – в тюрьме я или где-то в Сибири прячусь? И в том, и в другом случае я им не мешаю – лишь бы с глаз долой.

Опять вечерами бродил я по Москве, по ее кривым переулкам, беседуя со старыми арбатскими особняками. Осенью, когда желтеют деревья и ветер несет по мостовым сморщенные листья, а изо всех дворов и с бульваров, где их сгребают и жгут, доносится горьковатый запах; зимой, когда иней обрисовывает каждый карниз, каждую решетку; или весной, когда карнизы обрастают сосульками, а все звуки становятся гулкими, точно под сводами собора, – эти особняки были единственными моими друзьями. Каждый из них имел свою неповторимую личность, свою историю. Они как бы хранили отпечаток иной, исчезнувшей жизни, и я знал буквально все об их прежних хозяевах. Облупившийся фронтон или форма окна, резьба на дверях, лепные орнаменты, стоптанные крылечки и садовые решетки рассказывали мне семейные тайны давно исчезнувших семейств – истории, которые только в безмятежном спокойствии прошлого века могли считаться трагедиями. И я снисходительно их выслушивал, усмехаясь наивности их драм:

– Счастливчики...

Сколько ни жди ареста, он всегда приходит неожиданно и всегда не вовремя. Арестовали меня только спустя семь месяцев после возвращения в Москву, то есть когда я уже и ждать перестал. Через одного своего приятеля познакомился я с женой американского корреспондента, был у нее в гостях и вдруг углядел на полке книгу Джиласа "Новый класс". Давно уже я слышал о ней, но прочесть не пришлось. Увидя мой алчный взгляд,

жена корреспондента стала показывать мне знаками, чтоб я вслух ничего не говорил – дескать, все прослушивается. Сама же достала книжку и протянула мне. Рассуждая вслух о самых посторонних вещах, она дала мне понять, что книжку нужно вернуть через день. Я просидел еще с полчаса, а затем ушел.

Глупо было читать ее впопыхах, перескакивая через страницы, чтобы вернуть в срок. Я решил быстренько сделать фотокопию, а потом, на досуге, почитать не торопясь. Так я и сделал: книгу переснял, молча вернул хозяйке и принялся проявлять пленки. Всю ночь впотьмах печатал снимки и только утром заснул. К вечеру нагрянул КГБ. Все тот же капитан Никифоров и еще четверо. Естественно, я ничего не успел спрятать: работа была не кончена, оставалось допечатать еще несколько страниц. Ничего другого они не искали – похоже, знали, за чем пришли. Как водится в таких случаях, они стали уверять мою мать, что сейчас же меня отпустят, только свозят побеседовать к начальнику. Сам я уже давно свыкся с мыслью об аресте, и больше всего меня волновало, как воспримет это мать. Потому я тоже старался ее всячески убедить, что тут же вернусь, и так торопился уйти, делал такой непринужденный вид, что, кажется, только больше напугал ее. Машина уже давно ждала нас внизу, и меня прямиком повезли на Лубянку, в одиночку.

Как сейчас помню, камера номер 102 – маленькая, под самой крышей, так что к окну потолок опускался до высоты моего роста. Помещалась в ней только койка, тумбочка и параша. Дверь такая узкая, что даже кормушки в ней нет, – чтобы подать пищу, отпирали. Прогулка у них была на крыше, на седьмом этаже, везли туда на лифте. Дворики наподобие глубоких колодцев: стенки обиты листовым железом, а наверху намотана колючая проволока. Окошко в камере было на уровне груди, и верхняя его часть чуть-чуть приоткрывалась. Увидеть через него ничего нельзя было. Слышно было только, как меняется внизу во дворе караул: "Объекты наблюдения – окна следственного изолятора и дверь номер два. Пост сдал. Пост принял."

Первую ночь, как ни странно, я крепко спал. Немного непривычно было спать без простыни, прямо под одеялом, – колко. Неловко было и спать при свете, и я – видимо, как все новички в свою первую тюремную ночь – постучал в дверь и наивно попросил погасить свет.

– Не положено, – ответили из-за двери.

На четвертый-пятый день повели меня к генералу Светличному, тогдашнему начальнику московского ГБ. Роскошный особняк, бывший дом графа Ростопчина – московского градоначальника времен войны с Наполеоном, соединен был с управлением КГБ специальным крытым переходом. Потолки высокие, лепные, паркетные полы, ковры всюду, высокие резные двери из кабинета в кабинет, снуют какие-то люди. После четырех дней в своей камере я почти ослеп от этого великолепия. Так и казалось, что из-за поворота выйдут сейчас, церемонно беседуя, дамы в кринолинах и господа в пудреных париках.

Генерал, небольшой человек с огромной головой, точно злой карлик из сказки, сидел за высоким столом. Еще двое – начальник следственного отдела полковник Иванов и мой следователь капитан Михайлов – сидели сбоку, все трое в штатском. Допрос продолжался недолго, и, поскольку я угрюмо отказывался отвечать на вопросы, генерал перешел прямо к делу. Приподняв над столом ордер на мой арест, он сказал внушительно:

– Не назовешь, у кого взял книгу и кто тебе помогал, – подпишу и будешь сидеть. Назовешь – сейчас же пойдешь домой.

Интересно, сколько людей, выйдя из этого золоченого кабинета, сделались дипломатами, писателями, академиками, выступают на международных форумах, учат своих детей нравственности и говорят о чувстве долга. Солидные уважаемые люди. Дамы в кринолинах и господа в пудреных париках.

Только этот злой карлик знает секрет их успеха. Достаточно поставить свою подпись, ну хотя бы крестик начертить или палец приложить – в лучших традициях средневековья. Ничего ужасного. И он запирает расписку в несгораемый шкаф.

Лишь много позже я выяснил, что они отлично знали, у кого я взял книгу. Их вообще не интересовали мои показания, а планировали они сделать из меня стукача – затем и арестовали. Всему виною был мой первый разговор в КГБ весной 61-го года, когда я, как меня учили, вел себя уклончиво, прикидывался советским патриотом и по наивности считал, что всех перехитрил. Тогда-то, видимо, в моем досье сделали соответствующую пометку, оттого и не посадили вместе с ребятами осенью, да и сейчас держать не рассчитывали.

Но, видимо, одного взгляда на меня было теперь достаточно, чтобы понять ошибку. Я настолько излучал ненависть, настолько явно жаждал их растерзать, что спрашивали больше для формальности. Не помню точно, что я тогда ответил генералу, – что-то очень обидное насчет их деятельности при Сталине. А за недостатком иных, более эффективных средств уничтожения изъяснялся я таким отборным русским языком, что он только головой покачал и подписал ордер. Помню, вернувшись в камеру, был я очень собой недоволен. Такой уникальный случай – живой генерал КГБ. Столько можно было ему наговорить – всю жизнь помнил бы. Дня три потом переживал я эту сцену заново и так вошел в роль, что, когда меня вызвал следователь на допрос, я ему выдал самый лучший вариант. И все-таки, вернувшись в камеру, был опять собой недоволен.

Примерно через месяц перевезли меня в Лефортово.

Кроме старого дела о Маяковке обвиняли меня в "хранении и изготовлении с целью распространения антисоветской литературы" – двух неполных фотокопий книги Джиласа. Наличие цели распространения вытекало из того факта, что я пытался сделать две копии, а не одну.

Я наотрез отказался с ними разговаривать и за все время подписал только один протокол – о своем отношении к коммунистической власти и к КГБ. Там же я написал, что не поручал им решать, какие книги мне читать, а какие – нет. И уж потом, сколько ни уговаривали меня следователи, сколько ни кричали, ни стучали кулаками об стол, – ничего не подписывал. Показывали какие-то фиктивные протоколы, якобы чьи-то показания против меня, обещали сгноить, заслать куда Макар телят не гонял – я молчал. Не били, правда, но, думаю, и это не помогло бы. Слишком я был на них зол.

"Ничего, – думал я. – Дайте только до суда дотянуть. Там я вам все выложу. Пожалеете, что связались".

На допросы меня почти перестали вызывать – смысла не было. "Понимаешь, – грустно говорил под конец следователь, – мне ведь неприятно, что дело не клеится, ну, так же, как, скажем, художнику неприятно, если у него картина не выходит".

Мне кажется, всю свою жизнь я провел в Лефортове. Засыпал – и только грезилось мне, что я на воле, дома. Просыпался –

вновь лефортовские стены. Все начинания и надежды, все оттепели и заморозки кончались в лефортовской камере и начинались в ней. Примерно каждые три года, точно взмахами маятника, забрасывало меня сюда: в 63-м, 67-м, 71-м, 73-м и вот теперь в 76-м. Вся история схватки медведя с колодой.

Сюда привозили меня с воли, только что выловленного, еще тепленького, полного впечатлений. Здесь каждый раз я подводил итоги, мучился по ночам, что опять ничего не успел, вспоминал детство, отсыпался после лихорадочной жизни на "свободе". Здесь видывал я самую последнюю ступень человеческой подлости и самую отчаянную честность. Здесь же впервые построил свой замок, заложив его фундамент. Сюда меня привезли в 73-м году из Владимира, отощавшего и одуревшего, надеясь заставить раскаяться, отречься.

Начальник тюрьмы полковник Петренко приходил ко мне по вечерам под хмельком, как старый приятель.

– Ну вот, скажите, – спрашивал он, – вы теперь все тюрьмы видели и лагеря, можете сравнить. Скажите им: как я кормлю, а?

И, услышав похвалу лефортовской кухне, расплывался в улыбке.

– Знаете, – говорил он, – мне хочется взять вас за руку и провести по всем камерам, чтобы вы это всем повторили. А то у меня сидят сейчас прокуроры, за взятки. Они вчера на воле шашлык по-карски ели и то морщились, ну, и теперь овсяную кашу есть не хотят – жалуются! Нет, не та стала Лефортовская тюрьма, не то время. Вот он, – тут он тыкал пальцем в грудь угрюмого корпусного, стоявшего рядом навытяжку, – он еще помнит, что здесь делалось в старое-то время. А теперь – не то!

Действительно, при Сталине было Лефортово пыточной тюрьмой. "Что, в Лефортово захотел?" – зловеще говорил следователь упрямому арестанту, и у того обрывалось сердце – что угодно, только не Лефортово! Здесь же, в подвалах, убили Ежова – и на время прекратились пытки. Но только на время.

Здесь всегда хотели от людей только одного – раскаяния. Оттого, верно, сами стены Лефортовской тюрьмы пропитаны покаянием. Кряхтят, ворочаются арестанты, не могут уснуть: все постыдное, что совершилось в их жизни, напоминает им тюрьма.

Я всегда каялся в Лефортове, только не в том, за что был арестован, не так, как хотели следователи, да и не перед ними. Все, в чем я мог упрекнуть себя, неизменно лезло в голову.

В тот первый раз, в 63-м году, вспоминал я почему-то зайца, которого убили мы в Сибири, в экспедиции. Дело было ночью, машина шла под уклон, с горы. Только что прошел дождь, и дорога размякла, расквасилась глина. Вдруг сбоку выскочил заяц, пробежал метров десять в свете фар и сел на дорогу. Сел, съежился и закрыл голову лапами, точно зажмурился от страху.

– Ага! Дави его, зайца! Дави! – закричали мы. – Будет на ужин зайчатина.

И через секунду стукнуло что-то снизу об машину. Съехав с горы, мы вернулись за зайцем. Вскоре он уже варился в ведре. Ребята смеялись надо мной, но я не мог его есть. Не знаю, почему, но я вдруг понял, что изменится теперь моя жизнь. Раньше мне все сходило с рук, больше этого не будет.

За этого-то зайца, выходило, и сидел я теперь в Лефортове, потому что вспоминался он мне чаще всего и никакие оправдания не помогали. Я не убивал его, да и склон был крутой, глинистый, после дождя, затормозить было нельзя. Но я хотел ему смерти, всего только секунду хотел, и этого было достаточно. Случалось мне потом убивать на охоте птиц, да и зайцев тоже – их я никогда не вспоминал.

Сам вид Лефортовской тюрьмы, ее К-образная форма, сетки вместо перекрытий между этажами, так что корпусной за своим столом в центре мог постоянно видеть всех надзирателей и все коридоры, таинственное цоканье языком, принятое надзирателями как условный сигнал, когда они ведут заключенного, – все это поразило меня в тот первый раз.

Режим тогда был не то что сейчас. Следственным не полагалось иметь ни карандаша, ни бумаги, не давали газет. Даже календаря в камере не было, и счет дням, чтобы не сбиться, приходилось вести очень своеобразно. Висели в камере на стене "Правила внутреннего распорядка в следственных изоляторах КГБ". Слово ПРАВИЛА было напечатано крупным шрифтом сверху, как раз под веревочкой, на которой они висели. И вот это слово служило календарем. В нем ровно семь букв, и если пове-

сить клочок бумаги на эту веревочку, а затем каждый день передвигать его так, чтобы он закрывал одну букву, то можно было отсчитывать дни недели: П – понедельник, Р – вторник, А – среда... Тяжелее всего было, что не разрешали спать днем. Поднимут в 6 часов утра, и весь день сиди на табуретке. Только начал задремывать – стучит в дверь надзиратель: "Не спать! Спать не положено!"

Теперь уже всего этого нет. Постепенно слабел режим. С 65-го года стали давать газету "Правда", в 67-м уже можно было прилечь днем на койку и календари были в каждой камере. Карандаши и тетради стали продавать зэкам свободно, в ларьке. А с 70-го года вообще лафа: каждый месяц – передача из дому, до пяти килограмм. Теперь в следственной тюрьме сидеть одно удовольствие, даже побриться дают два раза в неделю.

Раньше работал здесь брадобреем старшина по имени Яшка – никто его иначе не называл, хоть было ему уже за пятьдесят. Худой, вечно или под хмельком, или с похмелья, всегда с запасом анекдотов, Яшка влетал в камеру со своим неизменным чемоданом, быстро расставлял приборы, на ходу отшучиваясь, и так же стремительно начинал брить. Легко сказать – за день целую тюрьму побрить, успевай поворачивайся. Разговоры с ним обычно вертелись вокруг двух тем: выпивки (тут он был экспертом и сообщал последние новости с этого фронта) и Сталина. Когда-то в молодости был Яшка в его охране и даже имел от него именную благодарственную грамоту, а потому говорил о нем с благоговением и называл не иначе как Батька. В более поздние годы, когда разрешили выдавать зэкам на руки бритвенные приборы, Яшка уже нас не брил, только разносил станки, а потом собирал. И хоть из-за этого задерживался в камере меньше, все-таки не упускал случая поболтать.

При всей своей общительности был он, однако, очень осторожен и никогда не говорил лишнего. А если в камере был наседка, то он вообще держался сухо. По поведению Яшки почти безошибочно можно было сказать, кто твой сосед. Интересно, работает он еще или уже на пенсии? Надо посмотреть, как он поведет себя при моих соседях.

Тогда, в 63-м году, меня, естественно, тоже посадили в камеру с наседкой, неким Александром Синисом. Это был весьма

развязный молодой человек лет двадцати пяти, уже получивший свои восемь лет по валютному делу. О нем даже фельетон напечатали в газете, и теперь он этот фельетон всем показывал для убедительности. Подъезжал он ко мне со всех сторон, уговаривал колоться: все равно, дескать, они все знают, а расколешься — меньше дадут. Кое-что о наседках я уже слышал от Вольпина и других ребят, поэтому гнал ему какую-то туфту. Каждый раз, возвратясь с вызова, где его, видимо, ругали за плохую работу, он придумывал какой-нибудь новый трюк, чтобы вытянуть меня на откровенность. Наконец он сказал, что его должны увезти на Красную Пресню, в пересылку, и там дадут свидание с женой. Он долго распространялся, как там свободно на Пресне, какие порядки да как легко на свидании передать жене любую просьбу. Видя, что и это меня не заинтересовало, он прямо предложил мне написать записку ребятам на волю. Я дал ему какой-то несуществующий адрес, и с этим он выкатился.

Теперь-то мне все его трюки кажутся примитивными, почти детскими, но тогда я колебался. Может, просто у парня такой навязчивый характер — болеет за человечество, как за самого себя? И если я удержался, то скорее из боязни подслушивания. Да еще с детства был приучен определенные вещи никогда и никому не говорить. Иначе, кто знает, может, и поделился бы своими заботами с симпатичным соседом.

Думаю, наседки существуют с тех пор, как существуют тюрьмы. Сотни раз они описаны в литературе, и теоретически все о них знают. Но одно дело знать теоретически, другое — поверить, что вот этот парень, с которым ты делишь хлеб, шутишь и болтаешь, только притворяется другом. Да и трудно это — месяцами жить бок о бок с человеком и знать, что он враг, скрывать от него свои настроения, свои мысли. Ведь вас только двое, и общаться больше не с кем. Так или иначе, а следственных в Лефортове всегда содержат с наседками, и очень часто это оказывается эффективным.

Вопреки распространенному мнению, наседки — вовсе не штатные работники КГБ, а такие же заключенные. Получив большой срок, обычно по валютной или хозяйственной статьям, они должны уже ехать в лагерь. Но тут вызывает кум и начинает объяснять выгоды работы наседкой, обещает через полсрока обеспечить помилование или условное освобождение, всякие

поблажки и льготы. Редко кто из них отказывается – слишком очевидны выгоды. Тут с них берут формальную подписку о сотрудничестве, а для своих письменных сообщений и отчетов они получают агентурную кличку. Сажают такого агента в камеру к подследственному, предварительно сочинив ему легенду – версию его дела, которую он должен рассказывать соседу. Чаще всего эта легенда приспособлена так, чтобы в чем-то напоминать дело подследственного, хотя бы в общем виде, и таким образом подготовить сближение, вызвать доверие. Однако по инструкции об агентурной разработке запрещается давать наседке легенду политического.

Задача наседки вовсе не обязательно ограничивается выведыванием каких-то тайн. Он должен стараться склонить сокамерника к раскаянию, убедить его добровольно раскрыть все следствию. Должен он, кроме того, следить за настроением сокамерника, особенно когда тот возвращается с допроса, уловить, какой прием следователя произвел наибольшее впечатление, узнать, чего больше всего боится сокамерник, какие у него слабости, и так далее. Казалось бы, очень примитивно, грубо, а тем не менее весьма эффективно. На неопытного человека действует безотказно.

Начиная с 61-го года, КГБ стал вести очень много дел о хищениях, крупном взяточничестве, валютных операциях и т.д. По таким делам под следствие попадают директора заводов, фабрик, совхозов, государственные чиновники, руководители кооперативов, то есть публика совершенно не подготовленная, с абсолютно советской психологией. У всех у них, как правило, где-то запрятаны драгоценности: золото или облигации. Важнейшая задача КГБ – найти эти клады. И вот наседка начинает нашептывать своей жертве:

– Отдай! Что ты цепляешься за это золото? Расстреляют – в могилу не унесешь. Думаешь – *ты* им нужен со всеми твоими делами? Им золото нужно, камешки. Отдашь сам – отпустят или хоть дадут меньше...

Примерно на то же намекает и следователь. Ну, как тут не поверить? Действительно, власть грабительская, ей только и нужно от нас, что выжать побольше. И начинает казаться им, что можно сторговаться с советской властью.

Помню, в 67-м году привели мне в камеру человека, пожи-

лого уже, за шестьдесят, директора какой-то текстильной фабрики. Целыми днями он то сидел неподвижно на койке, уставясь в одну точку, то вскакивал, бил себя кулаками по голове, бегал по камере и вопил: "Идиот! Какой я идиот! Что я наделал!" Постепенно я выспросил у него, что случилось. Оказалось, просидел он девять месяцев в КГБ и девять месяцев молчал. Практически обвинения против него не было — так, пустяки, года на три. Уже и следствие шло к концу, но наседка уговорил его сдать свои зарытые ценности — дескать, меньше дадут. И старый дурак послушался: отдал золота и бриллиантов на три с половиной миллиона рублей. Тут же ему, во-первых, влепили еще статью: незаконное хранение валютных ценностей, а во-вторых, пришлось объяснять, откуда он их достал. В результате он не только сам получил 15 лет, но и еще девять человек посадил.

История очень типичная. Знаменитый в то время Ройфман, с которого начались "текстильные" процессы, тоже молчал, и даже наседки не могли его уговорить. Тогда его вызвали Семичастный, тогдашний начальник всего КГБ, и Маляров, зам. Генерального Прокурора,и под свое честное партийное слово обещали, что его не расстреляют, если он добровольно сдаст ценности. Ройфман поверил им, сдал и — был расстрелян.

Часто этот торг принимает анекдотические формы. Подпольным миллионерам жалко накопленных богатств, но жить-то хочется, и вот они принимаются сдавать ценности по частям, каждый раз уверяя, что это — все, последнее. А следствие и наседки, отлично понимая, что должно быть еще, давят и давят.

— Слушай, — уговаривают миллионера. — Подходят октябрьские праздники, годовщина власти. Сдай к празднику еще чуток — глядишь, пару лет сбросят.

Так и сдают в рассрочку: к Седьмому ноября, к Первому мая, к Дню Советской Конституции, а то и к Восьмому марта. Следователю — премиальные, наседкам — досрочное освобождение, а ему — пуля.

Миллионеры эти — большей частью публика неприятная, продажная, легко закладывают соучастников, а сидеть мне приходилось, в основном, с ними или с наседками. (Не полагается соединять политических под следствием, чтоб друг друга не учили.) Бывают, однако, и среди них занятные люди. В 63-м году сидел я некоторое время с Иосифом Львовичем Клемпер-

том, директором красильной фабрики в Москве. Дело у него было крупное – миллионы. О нем и фельетон был в газете: "Миллионер с Арбата". Он знал, что его расстреляют, но нисколько не унывал.

– Я свое пожил, – говорил он бодро, – так пожил, как никто из них не сможет! – И только об одном жалел: коньячку ему хотелось, особенно к вечеру.

Попался он весьма поучительным образом. Пока он крал, делал всякие сделки и махинации да набивал себе карман, никто его не трогал, все ему с рук сходило. Но вот как-то захотел он построить своим рабочим дом – до тех пор жили они в бараках. Стыдно стало: что же это у меня так плохо рабочие живут? Официально же государство на дом для рабочих денег не дает. Потыкался он, помыкался – бесполезно.

– Да что я, бедный что ли? – решил он. – Все равно деньги в земле лежат, девать некуда. – И выстроил дом целиком на свои деньги. Отгрохал домину хоть куда, как для правительства. – Нате, живите, поминайте Иосифа Львовича!

Не успели, однако, вселиться туда рабочие – инспекция, проверки: откуда деньги, из каких фондов? Так его и зацапали. Потом под следствием вскрыли и другие махинации.

Держался он твердо, запирался до последнего и никаких денег не сдал. Но вот уже после приговора и после того, как отклонили ходатайство о помиловании, сломался и он. Стал сдавать понемножку деньги, покупая себе этим каждый раз месяца по два жизни. Кончились деньги – стал вспоминать всякие нераскрытые эпизоды, давать показания на других людей и опять каждый раз покупал таким образом месяц-другой. Два года жизни откупил он в общей сложности, потом все-таки расстреляли. Ничего удивительного, что при таких торговых отношениях между расхитителями и КГБ уговоры наседок звучат убедительно.

Я же со временем настолько привык к наседкам, что стал их использовать для своих целей. Если разобраться, наседка больше зависит от тебя, чем от КГБ. Обыкновенно уже через два-три дня я мог точно сказать, наседка мой сокамерник или нет. И если да, я предъявлял ему свой ультиматум: или он работает на меня, или я его раскрою – и не видать ему досрочного освобождения как своих ушей. Не было случая, чтобы упрямились.

Наоборот, были такие, что сами, по своей воле, признавались и предлагали с их помощью надуть КГБ. Вот от них-то я и узнал порядок их вербовки и работы и обычно сразу же требовал назвать кличку и дату, когда они подписку дали. Это чтоб потом не могли отвертеться.

В результате такой операции я фактически менялся ролями со следователями. Я знал о них все, а они обо мне – ничего. Ведь по характеру вопросов, задаваемых наседкой, очень легко определить, куда следствие клонит и что знает. А дезинформируя их через наседку, можно завести следствие в такой тупик, что им впору в петлю лезть.

Какие только наседки мне за все эти годы ни попадались: и наглые, и робкие, и умные, и глупые. Бывали уж такие хитрецы, что никак бы не догадаться. А в 67-м сидел со мной некто Присовский – до того глупый парень, что даже легенду свою складно рассказать не мог, запутался. Оробел после этого и вообще умолк, вопросов не задает, сам ни о чем не заговаривает. Стало меня сомнение брать: может, он и не наседка – просто робкий малый. Тут как раз сняли Семичастного, и председателем КГБ стал Андропов. Прочли мы об этом в газете. Я и говорю:

– Надо же, интересно как. Я его дочку хорошо знал.

Примерно через неделю следователь мой спросил:

– Вы ведь, кажется, знали Таню Андропову? – Не утерпел. Он-то всего лишь мелкий чиновник, а тут – дочка самого хозяина. Вдруг что-нибудь выйдет: новая метла по-новому метет. А я и не знал ее вовсе, только слышал, что есть у Андропова дочка.

Другого, в 71-м году, мне даже жалко стало. Совсем не годился человек для этой роли, не за свое дело взялся. Мужик он был неглупый, да уж больно неопытный. Сидел в первый раз, и вся эта тюремная жизнь была ему в новинку. Попался в первый же день и на самую простую примочку.

По легенде был он следственный и говорил, что сидит уже два месяца. Но по всему видно – совершенно этой тюрьмы не знает. Я его спросил только, снимали ему уже отпечатки пальцев или нет. Говорит – снимали. Обычно их снимают в первую же неделю после ареста.

– А где, – говорю, – их теперь снимают? Все там же, где баня, в том корпусе?

— Ага, — кивает он. Сроду их там не снимали, и будь он действительно следственный, никак не забыл бы такого факта. Тут же я его и расколол.

Признался, что сидел до сих пор в Бутырках, получил уже семь лет по хозяйственной статье, но испугался ехать в лагерь. Уж больно здоровье плохое — побоялся, не выживет. Был он без ноги — потерял на войне. Работал начальником строительного управления. Звали его Иван Иванович Трофимов.

Когда я его прижал — покраснел, стал оправдываться, уверял, что ничего плохого говорить обо мне не собирался. Долго я его стыдил потом:

— Как же так получается, Иван Иваныч? На фронте воевал, ногу потерял — там ведь, небось, страшнее было. Не ожидал я, чтоб фронтовик и на такую мерзость согласился — на сокамерников доносить.

Он чуть не в слезы:

— Видишь, — говорит, — никогда бы не подумал, что могу на такое пойти. Здоровье проклятое, не выживу в лагере. А у меня дети. Ради них только и согласился. Старший парнишка в этом году в институт поступил. Грозили выгнать, если не соглашусь.

Действительно, видно было, что ему стыдно. Исполнял он все, что я от него требовал, — очень старательно, как школьник. Работал не за страх, а за совесть, а когда должны были уже нас разводить по разным камерам, взмолился:

— Выручи! Я боюсь отказаться, выгонят парня из института, да и меня заморят. Ты лучше знаешь, как сделать, чтобы меня в лагерь отправили, — не смогу я здесь!

Обычно я никогда не открывал, что разоблачил их агентов, — не выгодно мне было, чтоб считали меня подозрительным. Лучше пусть думают — простодушный, доверчивый. Да и вся работа, что мы с ним проделали, шла насмарку. Но тут пожалел старика: написал заявление Андропову и закрытую жалобу прокурору. Его сразу забрали, и через неделю я точно установил: нет его больше в Лефортове. Даст Бог, выживет в лагере.

Вскоре после него встретил я самого хитрого камерного агента в своей жизни. Мужик лет сорока, здоровенный, энергичный, в прошлом офицер, десантник. За какую-то драку его из армии выгнали, и он работал вольнонаемным на Колыме — добывал

золото. За это золото и сел. В отпуск ездил в Москву и продавал его, пока не попался. Под следствием сидел в Бутырках, дали ему пять лет. Должны бы больше, да он ухитрился доказать, что золото не краденое, не с государственного прииска, а сам, дескать, нашел самородок. Говорил, что уже был в лагере, как вдруг этапировали его в Москву: будто бы вскрылись новые эпизоды, и грозит ему теперь пятнадцать лет, а то и вышка. Мужик очень бывалый, и никак я его поймать не мог, никакие мои излюбленные приемы не действовали. Только Яшка-парикмахер при нем точно воды в рот набрал.

Я, было, по привычке ему: Ну, как, Яша, похмелился с утра?

А он губы поджал, смотрит в сторону: Кому Яша, а кому Яков Митрич – гражданин начальник...

Самый скверный признак...

Фамилия этого хитрого наседки была Грицай. С Украины родом, из города Галича. И с самого начала он себя так поставил, будто это он меня подозревает. А раз так, то, естественно, я уж не должен был настораживаться – по его расчетам. Игрой его я мог только восхищаться и так его и не поймал, хоть на сто процентов был уверен, что он наседка. Просидели мы с ним аж до самой моей отправки во Владимир. Когда он пришел, следствие уже фактически кончилось. Но была у КГБ надежда, что после суда я стану разговорчивей и неосторожней. Так часто бывает с людьми: дескать, терять уже нечего, все в прошлом. Да еще интересовало их, что я готовлю к суду. Я, конечно, виду не показывал, что разгадал его, – напротив, был с ним душа нараспашку, лучший друг, и таким образом многое через него все-таки сделал.

Очень его интересовало, почему я уверен, что все, происходящее в суде, станет известно за границей. Через кого – через родственников что ли?

– Да ты что, – смеялся я, – какие родственники? Они у меня глупые и не в курсе дела. Весь суд просидят,и дай Бог, если поймут, сколько мне лет дали. Бабы – что с них взять? А вот погляди, КГБ перемудрил и вызвал на суд свидетелями двух иностранных корреспондентов. – Сработало как по писаному: мать с сестрой пустили на суд, а этих двух свидетелей не пустили, хоть сами же и вызывали. И еще несколько таких вот штучек я ему все-таки протолкал.

Перед уходом из камеры, незадолго до моего отъезда во Владимир, он объявил, что дело его закрыли, не смогли ему пришить новых эпизодов, опять должны забрать его на этап. Действительно, через пару дней его забрали, но, выводя из дверей, повели не к выходу а вглубь тюрьмы, в другую камеру. Сплоховало начальство, да, видимо, считали и несущественным теперь: все равно я уезжал. А через год, когда привезли меня опять, по делу Якира, случайно узнал я продолжение его истории.

В это время шел большой процесс алмазников, больше сорока человек по делу, и вся тюрьма была ими забита, почти в каждой камере сидел кто-нибудь из них. На суде они встречались и могли перекинуться словцом в перерыве. Практически вся тюрьма оказалась связана. Я, разумеется, стал через них узнавать, где кто сидит из наших, и вдруг наткнулся на Грицая. Он все еще сидел – и все с той же легендой. Оказалось, что и алмазники почти все его знают, почти все с ним пересидели и были от него в восторге.

– Во мужик! – говорили они. – С такого дела соскочил. Верный вышак! Свидетелей всех запугал и улизнул. Теперь дело закрыли, опять в лагерь пойдет добивать свой пятерик.

Когда же я объяснил, что он наседка, долго не хотели верить – уж больно сильное на них произвел впечатление. Но никак не могло выйти по его легенде, чтобы он и в 71-м году оказался в Лефортове. Волей-неволей пришлось им со мной согласиться.

Дело алмазников было в то время самым крупным, и не удивительно, что Грицая сажали с ними. В тюрьме оказался весь московский алмазный завод: из 50 человек, работавших там, – 48 были арестованы за хищение алмазов. Да еще сколько покупщиков выловили. Оказывается, уже лет пять КГБ отлично знал об этом хищении, но никого не трогал. Интересовался КГБ, к кому эти камешки идут, кто покупает да куда прячет. И периодически выгребал эти запасы. Так бы, может, и по сей день стриг КГБ этих алмазных овечек – работа не пыльная. Но вот приехал на завод Косыгин, сфотографировался с передовиками производства, с мастерами, чем-то их наградил, тут-то КГБ и зацапал срочно – нужно же доказать свою полезность, пока-

зать, что без них и шагу ступить нельзя. Политический расчет, как обычно, возобладал над экономическим, и возникло гигантское "дело алмазников" – завод же остановился.

Методы и задачи КГБ мало изменились со сталинских времен, только если тогда им нужны были повсюду враги, заговорщики, чтобы запугивать народ, то теперь нужно засилье жуликов и расхитителей. Разница лишь в том, что расхитители действительно всюду и изобретать их не надо. Дух предпринимательства неистребим в человеке. Тот же Клемперт рассказывал мне, как он начал карьеру подпольного миллионера:

– Жалко, – говорил он, – добра. Все равно пропадает, никому не нужно. Начал я с того, что стал использовать для левой продукции отходы, которые все равно выбрасывали. Потом усовершенствовали оборудование, технологию, производительность повысилась, а прибыль стали делить между собой – с этого-то все и началось. Потом оказалось, что мы не одни такие, что весь хозяйственный мир работает так же.

Действительно, каких только причудливых дел не прошло в шестидесятые годы через Лефортово. Обычно я писал этим людям кассационные жалобы, и они давали мне прочесть свои приговоры – иногда объемом в целый том, аккуратно переплетенный,как книга. Десятки страниц занимало только утомительное перечисление изъятых у них ценностей: бесконечные кольца, браслеты, диадемы, золотые монеты царской чеканки, слитки, драгоценная посуда, картины, иконы – груды золота и бриллиантов. Целые предприятия работали, вместе с парткомами, профкомами и соцсоревнованиями, а доходы шли в карманы частных лиц – замминистров и начальников управлений. И, наоборот, числились на бумаге целые промышленные комплексы, значились в планах, получали государственные ассигнования – в действительности же рос на их месте среднерусский лесок или расстилались степи. Все контролеры и инспекторы получали регулярную зарплату от расхитителей, и процветали мифические предприятия. Даже ОБХСС был у них на зарплате. Куда там Чичикову с его убогими мертвыми душами! Даже мэр Москвы Бобровников сел в тюрьму за торговлю квартирами. А секретарь Рязанского обкома партии Ларионов застрелился, когда вскрылись его махинации.

Хрущев был недалек от истины, когда в одном из своих вы-

ступлений сказал: "Если бы у нас хоть на один день перестали воровать, коммунизм был бы давно построен". Не понимал он только, что без этого "воровства" советская экономическая система вообще бы не работала.

Без приписок и махинаций ни один план не был бы выполнен, а без этой, хоть нелегальной, частной инициативы вообще ничего бы не производилось в стране. Все эти колхозы и совхозы, которые стали образцово-показательными хозяйствами-миллионерами, выжили только потому, что ими руководили умные жулики. Чаще всего их и жуликами-то назвать трудно. С точки зрения общечеловеческой, эти миллионеры никакого преступления не совершили. Только советская юстиция считает преступным экономически разумное ведение хозяйства.

Помню, сидел со мной мужичок, все преступление которого сводилось к нормальному коммерческому посредничеству, и никому он вреда не причинил. Он приезжал на угольную шахту и предлагал за умеренную плату убрать с территории шахты горы шлака. Директор был счастлив: за эти горы шлака он уже получил не один выговор от начальства. Да и мешают. Затем мой мужичок ехал в колхозы и предлагал председателям дешевый шлак для коровников. Те тоже были счастливы. Тогда мой сокамерник брал колхозные машины, мужиков и ехал убирать шлак с шахты. Всем было хорошо, все стороны были в восторге, одним махом решалась масса хозяйственных проблем, и только мой предприимчивый сосед получил в результате шесть лет тюрьмы.

Тот же Иван Иваныч Трофимов, мой застенчивый наседка, рассказывал о своей работе начальником строительного управления, как о сущем кошмаре.

— Сначала они сами же толкают тебя на преступление, — рассказывал он, — а потом сажают. Что ни месяц, требуют из обкома партии сдать досрочно то один объект, то другой, при этом отлично зная, что ни фондов, ни строительных материалов у меня для этого нет. Изворачивайся, Иван Иваныч, как знаешь, — их дело приказать. Это еще что, а то для них лично, левым образом, требуется построить то гараж, то виллу или дорогу к дому. И письменных приказов никто, конечно, не посылает, а трубочку поднимет: "Иван Иваныч, сделай доброе дело, сам знаешь..." И все. Будто у Иван Иваныча свой завод или своя фирма. Как

быть? Не сделаешь – сразу найдут у тебя недостатки. Тут же Иван Иваныч оказывается и мошенником, и расхитителем. А рабочие? У меня по управлению только краски за день на 500 рублей крали – им же тоже нужно подработать, на зарплату не больно-то проживешь. А с кого спросят? С Иван Иваныча! Хочешь, не хочешь, а воруй...

Очень его возмущала система образования:

– Учат всякой чепухе, которая никогда потом не понадобится. Всякая высшая математика, сопротивление материалов. Нет чтоб сразу учить, как доставать эти материалы, как взятки давать да липовые наряды закрывать. А то приходят из институтов – инженеры называются, бегают с логарифмическими линейками, а как выбить цемент с завода, не знают.

Случайно попались ему в руки из тюремной библиотеки "Записки" Гвиччардини издательства „Academia" 30-х годов.

– Вот это был деловой человек, – восхищался он, – правильно жизнь понимал! Для делового человека прежде всего что нужно? Уметь правильно выбрать личного шофера, чтоб не болтливый был, преданный. Секретарши – тоже важный пункт. Чтоб все свои, чтоб болели за общие интересы.

Делал он все время какие-то пометки и выписывал чуть не полкниги.

– Освобожусь – напишу пособие для делового человека. Только не издадут, сволочи, – лицемеры. Все знают, что так, а вслух не скажешь.

Да, каких только великих махинаторов и комбинаторов не видела Лефортовская тюрьма! Погиб здесь в 60-е годы весь цвет экономической мысли. Один мой сокамерник, тот, что три с половиной миллиона государству подарил, с грустью говорил мне:

– Зря-то я взялся за эти дела. Тесть-покойник много раз говорил: "Миша, брось, зачем тебе эти мелочи? Я ворую – нам всем хватит, еще внукам останется!" Нет, не послушал. Жалко было – пропадает добро.

Тестя его, впрочем, тоже расстреляли – по другому делу.

Удивительное дело – увлеченные проблемой интеллектуальных свобод, не заметили мы, что в 60-70-е годы власть фактически пыталась уничтожить экономическую оппозицию в стране, зарождающийся подпольный капитализм. Тогда и наверху су-

ществовала оппозиция – так называемые экономисты, или менеджеры. Никакой особой теории у них не было, и все их предложения сводились к одной очень простой мысли: чтобы развивалась экономика, нужно платить людям деньги за их труд, настоящие деньги, не сковывать до такой степени хозяйственную инициативу аппарата управления. Даже с марксистской точки зрения – первична экономика, а не идеология.

К началу шестидесятых стало очевидно, что экономика страны находится в таком развале, что всерьез стали думать о возможности второго НЭПа. И уж по крайней мере была очевидна необходимость широких экономических реформ с введением большей материальной заинтересованности. Было проведено несколько любопытных экспериментов, о которых взахлеб писали газеты. Однако первые восторги от поразительных результатов этих экспериментов быстро прошли – слишком очевидно проступало в них превосходство капиталистического принципа ведения хозяйства над социалистическим. Было ясно, что проведение таких экономических экспериментов в масштабах страны хотя и даст стремительный экономический рост, выведет ее из полувекового застоя, но тотчас же породит все те "язвы" капитализма, которыми наша пропаганда пугает детей с малолетства. Моментально возникнут безработица, инфляция и "анархия производства" – то есть рыночное хозяйство, и государство не сможет жестко контролировать экономику. Самое же главное – это сделает абсолютно ненужным и невозможным партийное руководство хозяйством, а люди станут более независимыми – государство не сможет больше шантажировать их каждой копейкой.

Естественно, это породило скрытую, но отчаянную борьбу между "экономистами" и "идеологами". Основным аргументом "идеологов" была картина грядущего всеобщего воровства, хищений и бесконтрольной экономики: теряя контроль над экономикой, партия теряла контроль над всей жизнью страны. Планы "экономистов" фактически исключали руководящую роль партии, но сказать открыто они этого не могли. Шла глухая борьба между партийным и государственным аппаратом, и все это под флагом экономической реформы, необходимости которой не отрицал никто. Даже Брежнев в своем закрытом письме в ЦК в декабре 69-го года признавал отчаянное положение промышленности.

Вот в этой-то борьбе и понадобились все хозяйственные процессы – эквивалент террора 30-х годов. Известно, что только с ноября 1962 по июль 1963 года прошло более восьмидесяти хозяйственных процессов в десятках городов Советского Союза, и на них было вынесено 163 смертных приговора. Поразительно, что Запад со своими исследовательскими институтами, занятыми советологией, совершенно проглядел смысл происходящего. Смешно вспоминать протест лорда Рассела, который не усмотрел в этих приговорах ничего кроме антисемитизма. С таким же успехом можно увидеть только антисемитизм в преследованиях троцкистской оппозиции.

Одних уголовных репрессий, конечно, было бы недостаточно для того, чтобы обеспечить победу "идеологов", – решающую помощь им оказал Запад. В качестве альтернативы широким внутренним реформам "идеологи" выдвинули план "мирного наступления", разрядки. Они сделали ставку на получение широкой экономической помощи и увеличение торговли с Западом. Зачем нужны опасные реформы, если все можно получить в заграничной упаковке? Даже пшеницу можно сеять в Казахстане, а урожай собирать в Канаде. Все эксперименты были прекращены, а экспериментаторы, как правило, оказались в тюрьмах.

Символична в этом смысле судьба Ивана Никифоровича Худенко. Крупный финансовый работник Совета Министров СССР в ранге замминистра, Худенко в 1960 г. добровольно взялся провести экономический эксперимент в совхозах Казахстана. Предложения Худенко были очень просты: он предлагал систему полного хозрасчета и хозяйственной самостоятельности, а главное – реальную систему материального стимулирования. Оплачивались достигнутые результаты, а не затраченные усилия. Эксперимент имел фантастический успех. Занятость людей и машин в совхозах сокращалась в 10-12 раз, себестоимость зерна – в 4 раза. Прибыль на одного работающего возрастала в 7 раз, а зарплата – в 4 раза. С цифрами в руках Худенко доказал, что повсеместное введение его системы в сельском хозяйстве страны позволит в 4 раза увеличить объем производства – при том, что заняты в сельском хозяйстве будут пять миллионов человек вместо нынешних тридцати миллионов.

Об эксперименте Худенко восторженно писали газеты, сни-

мали фильмы, однако никто не спешил применять его систему в масштабах страны. Более того, в 1970 г. его совхоз "Акчи" был закрыт по распоряжению сверху. Совхоз закрыли в разгар сезона, не заплатив рабочим денег и не вернув сделанных ими капиталовложений. Худенко и его рабочие продолжали борьбу легальными средствами, обращаясь в суды. Перипетии этой борьбы отражали борьбу внутри советского руководства. Решения судов несколько раз отменялись и принимались новые. Некоторые органы прессы продолжали писать о ценности эксперимента. И, наконец, в августе 1973 г. Худенко и его заместитель были осуждены за "хищение государственной собственности" — к шести и четырем годам. Даже после приговора продолжались протесты крупных хозяйственных работников страны по этому делу. 12 ноября 1974 года Худенко умер в тюремной больнице.

И это далеко не единичный случай уголовного подавления новых экономических тенденций. То, что в 60-е годы было разрешено сверху, в 70-е сверху же расценивалось как уголовное преступление. В середине 60-х годов по всей стране возникли клубы "Факел" — добровольные сообщества технической интеллигенции, которые на договорных началах выполняли заказы на технические проекты, внедрение новой техники и рационализацию. Те же самые инженеры и научные сотрудники, которые днем в своих НИИ и КБ за зарплату не могли осуществить этих проектов, — в свободное от работы время, самостоятельно, без парткома и профкома, но за хорошую плату, делали это отлично, в рекордные сроки и принося государству многомиллионные прибыли. В семидесятые годы, в разгар разрядки и импорта западных капиталов и технологии, все до одного эти клубы были закрыты, а руководители их сели в тюрьму.

Но все эти процессы не прошли бы так гладко, не будь к ним психологической подготовки в виде процессов подпольных миллионеров. Нужно было прибрать экономическое руководство страны к рукам, запугать расправами, показать уродливую, хищническую сущность этого неизбежно нарождающегося капитализма. Почти как в тридцатые годы, нужно было сделать из них врагов, преступников и на них же свалить ответственность за все хозяйственные неудачи. Для народа это тоже

звучало убедительно: "Если б хоть один день не воровали, давно был бы коммунизм!" Вот кто враг – держи вора! И стоило Косыгину похвалить алмазный завод, как всех уже взяли.

Ведь одно время дошло до абсурда: обвинение во взяточничестве или хищении стало таким же средством террора, как в тридцатые – обвинение в контрреволюции. Никакое объективное правосудие по этим делам становилось невозможно. Помню, один старый уголовник рассказывал на этапе:

– Освободился я, приехал домой. Пошел в милицию – не прокалывают, сволочи. Сколько ни ходил к начальнику паспортного стола – бесполезно. Такая сука, уперся: не пропишу, и все. Ну, думаю, я тебя устряпаю, взвоешь! Пошел к соседке, говорю: "Тетя Маша, дай тридцатку". Она меня давно знала, еще пацаном. "Зачем тебе?" – говорит. "Да вот, понимаешь, начальник паспортного стола требует, сука такая. Не дашь, говорит, на лапу – не пропишу". Ну, она и дала мне тридцатку – два червонца и две по пятерке. Пошли с кирюхой, выпили пива. Я и ему: мол, сволочь, требует тридцатку, придется дать – вот у тети Маши взял. Пошли в милицию, я в паспортный стол, а он внизу остался. Начальник, как меня увидел, руками замахал: "Иди прочь! Сказал – не пропишу!" Пока мы с ним ругались, я тридцатку-то незаметно ему под бумаги на стол сунул. Вышел – говорю кирюхе: "Вот ведь гад какой – деньги взял, а проколоть опять отказался. Ну, я ему сейчас устрою!" Взял да и позвонил дежурному по городу: так, мол, и так, сотрудник ваш взятку взял, а прописывать не хочет. В момент прилетели оперативники, сделали у него шмон в кабинете – точно, нашли мою тридцатку, как я и описывал: две по червонцу и два пятерика. Тетя Маша тоже деньги опознала, и мой кирюха – в свидетели. Так и впаяли гаду шесть лет, чтоб сговорчивей был!

Ну, чем не Великий Террор?

Ведь и уничтожения так называемых ни в чем не повинных коммунистов в 37-м году не могло бы быть, если бы перед тем последовательно не уничтожали сначала "контрреволюционеров", потом членов социалистических партий, потом внутрипартийную оппозицию, все расширяя и расширяя понятие "врага народа". Точно так же в наше время расширялось и понятие экономического преступления.

Но вот задавили экономическую оппозицию, и к середине 70-х годов кончились процессы расхитителей, точно воровать в России перестали. Нет больше надобности. Даже полемику в "Литературной газете" допустили о проблемах экономики и права. Академики, Герои Социалистического Труда, директора предприятий, ведущие экономисты писали, что правовые нормы в хозяйстве настолько запутаны и противоречивы, что фактически любой из них каждодневно совершает преступления. И поскольку это уже потеряло политическое значение, даже Брежнев сказал свое слово: пообещал улучшить законодательство. На том полемика и кончилась.

Не кончилась только вечная экономическая война граждан с властями. Как только люди изобретают способ заработать сверх своей убогой зарплаты, так государство объявляет этот способ вне закона. Купил человек машину – казалось бы, кому какое дело? Нет, тут как тут полиция – откуда деньги взял? Да что там машина, в ресторан лишний раз сходил – уже следить начинают. Знают, бесы, что обычному советскому человеку на зарплату машины не купить, да и в ресторан не разбежишься.

Невелика Лефортовская тюрьма, а сколько народу в ней пересидело. Каждое лето в ней ремонт: красят стены. В 63-м были темно-зеленые, в 67-м – оливковые, в 71-м – серовато-зеленые, теперь вот вообще не поймешь, что за цвет. И если слой за слоем снимать эти напластования времени, точно, как археологи, раскопаете вы великое здание социализма, и появятся наружу окаменелые останки тех вредных существ, которых в данную эпоху требовалось устранить. Помню, когда в 63-м году увидел я ее впервые, поразило меня, что только два этажа из четырех заполнены, остальные – пустые. Всего-то каких-нибудь 80 камер действовало: сидели в них по двое, по трое, то есть никак не больше двухсот человек, да еще половина – наседки. Неужто так мало нужно КГБ теперь арестовывать, чтобы поддерживать страх в людях? Но, поразмыслив, понял, что, пожалуй, больше и не требуется. Представим себе, что Гитлер продержался у власти не тринадцать, а десятки лет. Зачем бы ему тогда газовые камеры? Кого сжигать? Хватило бы ему и одного Лефортова, если с умом действовать.

Конечно, тогда, в шестьдесят третьем, не мог я знать всех тонкостей работы этой машины. Моя тюремная биография только начиналась, да и пробыл я там недолго – отправили меня на психиатрическую экспертизу. Дело не клеилось, не вырисовывалась картина у моих художников, и даже наседка не помог. Что же им оставалось делать?

Самому теперь смешно вспоминать, как я обрадовался, когда узнал, что экспертиза признала меня невменяемым. О Ленинградской спецбольнице на Арсенальной я уже слышал порядком, в основном – от Алика Вольпина, и по всем рассказам выходило, что попасть туда значительно лучше, чем в концлагерь. Работать не гонят, кормят все-таки лучше, чем в лагерях, лечить – не лечат, карцеров нет, днем спать можно, свидания каждый месяц, и даже можно получать из дома книги. Алик рассказывал, что в его время сидели там почти сплошь политические, вполне нормальные люди. Со многими своими сосидельцами он познакомил меня еще в 61-м году, и все они рассказывали то же самое.

В сталинские времена попасть в психбольницу вместо лагерей считалось чуть ли не спасением, и некоторые врачи-психиатры сознательно спасали там людей. Во все времена, правда, требовалось там каяться, признавать вину и соглашаться с диагнозом. Требовалось признать, что совершил преступление под действием болезни, но благодаря пребыванию в больнице это состояние прошло. Без такого признания врачи не могли выписать, а суд – освободить: нечем было доказать, что больной действительно больше не опасен. Но в сталинские времена это обстоятельство мало кого смущало: на следствии из людей и не такие признания выбивали. Мало кого смущало и звание сумасшедшего. Напротив, в условиях террора это просто спасение – сумасшедшего, по крайней мере, не расстреляют. Один только Вольпин, который патологически не мог лгать, придумывал какую-то сложную логическую формулировку, позволявшую ему, формально что-то признавая, фактически ничего не признавать. Словом, какой-то логический компромисс, который его удовлетворял.

Упрямиться же откровенно считалось опасным: такого человека могли записать в хроники, то есть счесть хронически боль-

ным, и отправить в колонию для хроников, в Сычевку, откуда уже не выходили. Кроме этой Сычевки было по стране только три спецбольницы: в Ленинграде, Казани и Рыбинске. Последняя – для заболевших уже в лагере.

Как раз незадолго до моего ареста Хрущев где-то заявил, что у нас в СССР нет больше политзаключенных, нет недовольных строем, а те немногие, кто такое недовольство высказывает, – просто психически больные люди. Редко кто тогда серьезно отнесся к словам Хрущева – мало ли какую чепуху он болтал... Однако это оказалось не просто очередной шуткой премьера, а директивой, и означало поворот в карательной политике. Хрущеву, разоблачившему сталинские преступления, невозможно было вновь вернуться к временам террора, к показательным процессам и массовым арестам. Внутри страны, а особенно за границей это вызвало бы слишком резкую реакцию. Вместе с тем он панически боялся той самой оттепели, которая, по злой иронии истории, до сих пор носит его имя. Расшаталась партийная дисциплина, появились какие-то неомарксисты. Поди суди их показательным судом – крику не оберешься. Да и как организовать такие процессы, если не применять пыток? Возвращать же вновь сталинское время в его полном масштабе Хрущев и не мог, и не хотел. Все понимали, чем это кончится.

Было у Хрущева и еще одно важное соображение. Он всерьез собирался строить коммунизм, а это означало: полностью исчезнет церковь; вернется идеологическое единство, достигнутое Сталиным путем террора; само собой, без особых затрат, возникнет изобилие; исчезнет преступность и постепенно отомрет государство. Но если с церковью было сравнительно просто – закрыть и все, если изобилия он всерьез надеялся достигнуть химизацией, распространением кукурузы и технической помощью Запада, то с преступностью была загвоздка. Она не только не уменьшалась, но, напротив, росла. О единстве и говорить не приходилось: только что прошли восстания в Александрове, Муроме, Новочеркасске. Разболталась и интеллигенция. Как быть?

Строго следуя марксистско-ленинскому учению, вывел Хрущев, что при социалистическом строе не может быть антисоциалистического сознания у людей. Сознание определяется бытием, и логически не могло быть преступности в обществе кукурузно-

го изобилия. Не могло быть и какого-нибудь инакомыслия. Вывод напрашивался самый простой: где эти явления нельзя объяснить наследием прошлого или диверсией мирового империализма, там просто проявление психической болезни, а от этого, как известно, одним коммунистическим бытием не излечишь. По всем подсчетам получалось у Хрущева, что к 1980 году он, действительно, сможет показать последнего преступника. (Последнего сумасшедшего он показывать не обещал.)

Уже объясняли студентам-юристам на лекциях, что профессия их отмирающая, и набор на юридические факультеты сокращался. Скоро государству не понадобятся услуги юристов, а их обязанности перейдут частично к товарищеским судам, частично – к психиатрам. Кое-где по стране пошли закрывать тюрьмы – это наследие мрачных времен царизма, а специальные психиатрические больницы стали расти как на дрожжах. О церквях было принято специальное Постановление ЦК – сломать их в течение десяти лет. Интеллигенцию слегка приструнили Идеологическим пленумом. КГБ же, вместо сталинского тезиса об обострении классовой борьбы, получил новую идеологическую установку – об обострении психических заболеваний по мере построения коммунизма.

У КГБ были свои трудности. Во все времена, даже в самый разгар сталинского беззакония, требовали от них, чтобы арестованные признавали свою вину, раскаивались, идейно разоружались и осуждали свои заблуждения. Тогда это достигалось сравнительно легко: битьем, ночными допросами, пытками. Теперь же наступили времена послесталинского гуманизма: бить и пытать подследственных не разрешали. И если не удавалось запугать, уговорить или чем-то шантажировать подследственного, то выходило, что следователь не справился со своей работой, не смог идейно разоружить противника. Два-три таких неудачных дела, и можно было вылететь из КГБ за неспособность. Особенно же скверно, если не хотел каяться какой-нибудь известный человек, или неомарксист, или верующий. Ну, как его пускать на суд? Совсем некрасиво. Изменилось и количественное требование: если раньше нужно было хватать как можно больше контрреволюционеров, шпионов, диверсантов и прочих врагов народа, то теперь каждый такой случай рассматривался наверху как недостаток воспитательной работы среди масс, и

местное партийное руководство, а с ним вместе и КГБ, могло схлопотать выговор за нерадивость. Другое дело, если псих, – тут уж никто не виноват.

И если бы все шло по генеральному плану партии, то исчезла бы у нас преступность полностью, а вместо массового террора, шпиономании и других ошибок культа личности глядели бы мы друг на друга с опаской – псих или не псих? Десятки миллионов временно заболевших граждан, включая некоторых членов политбюро, после непродолжительного лечения вновь вливались бы в здоровые ряды строителей коммунизма. И, кто знает, может быть, настали бы такие времена, когда две трети какого-нибудь XXVII съезда нужно было бы слегка подлечить от вялотекущей шизофрении.

Пока что, однако, все были довольны: и КГБ, и партийное начальство, и Хрущев, и психиатры, и мы сами. Несколько десятков человек – почти все, кто был в это время арестован по политическим обвинениям, – оказались психами, и почти все радовались: не попадем в концлагерь. Было, правда, несколько исключений. Некто Ковальский, сам врач-психиатр из Мурманска, арестованный за антисоветскую пропаганду, как и большинство нас, – совсем не радовался. ''Дурачки, – говорил он, – чему вы радуетесь? Вы же не знаете, что такое психиатрическая больница''. И, может быть, чтобы показать нам это наглядно, а может, просто ради забавы, он начал доказывать нам, что мы действительно психи. Прежде всего – потому, что оказались в конфликте с обществом. Нормальный человек к обществу приспосабливается. Затем потому, что ради глупых идей рисковали свободой, пренебрегали интересами семьи и карьерой.

– Это, – объяснял он, – называется сверхценной идеей. Первейший признак паранойяльного развития личности.

– Ну, а ты, ты сам – тоже псих? – спрашивали мы.

– Конечно, псих, – радостно соглашался он, – только я уже это осознал и поэтому почти выздоровел, а вы еще нет, вас еще предстоит лечить.

Наши эксперты рассуждали прямо по этой схеме. Своего ведущего врача я видел раза два – не больше, и она говорила примерно то же. Затем вызвали меня на комиссию и там задавали всё те же вопросы: почему я оказался в конфликте с обществом, с принятыми у нас нормами жизни, почему мои убежде-

ния кажутся мне важнее всего – важнее свободы, учебы, спокойствия матери? Вот, например, ходил я на эту самую площадь Маяковского. Ведь я же знал, что это запрещено, ведь нас предупреждали. Почему же я продолжал ходить туда? Почему не стал учиться в университете?

На самом деле, ответить на эти вопросы не так просто. Если сказать, что в моем конфликте с обществом виновато общество, получается: все кругом меня неправы – один я прав. Ясное дело, я выходил сумасшедший. А что сказать насчет убеждений? Кто-то из ребят привел пример Ленина, который тоже был в конфликте с обществом и ради своих убеждений попал в ссылку. Но для психиатра это не объяснение, и все, что получишь в результате такого ответа, – запись в истории болезни: "Страдает манией величия, сравнивает себя с Лениным". Как ни крути, любой нормальный искренний ответ лишь доказывает твою болезнь. А уж если говоришь о преследованиях КГБ, мания преследования неминуема. И даже, когда меня под конец спросили, считаю ли я себя больным, мой отрицательный ответ тоже ничего не доказывал: какой же сумасшедший считает себя сумасшедшим?

Мы же еще больше облегчали задачу врачам, сами того не понимая, потому что вели самую веселую жизнь в своем политическом изоляторе на четвертом отделении Института Сербского. После стольких месяцев камерной жизни и полной лефортовской изоляции видеть сразу столько единомышленников, привезенных со всех концов страны, обмениваться новостями, анекдотами и шутками было просто праздником. Каждый рассказывал о своем деле, о друзьях, о планах, и многим даже в голову не приходило, что старухи-санитарки все это мотают на ус и докладывают врачам. Я, помнится, забавы ради пересказал ребятам книжку о хиромантии, которую прочел перед арестом, и только потом узнал, что это тоже оказалось симптомом моей болезни. Затем один из ребят, Серега Климов, объявил голодовку по каким-то своим причинам. Его не изолировали несколько дней, и он продолжал лежать в той же камере, где мы все ели за столом. Наконец мы возмутились и тоже объявили голодовку полным составом, потребовали его изолировать, чтобы он не мучился, глядя, как мы едим. И эта наша голодовка тоже оказалась симптомом болезни.

Впрочем, мы нисколько не боялись оказаться психами – напротив, были этому рады: пусть эти дураки считают нас психами – вернее, наоборот, пусть эти психи считают нас дураками. Мы вспоминали все книги о сумасшедших: Чехова, Гоголя, Акутагаву и, конечно же, "Бравого солдата Швейка". От души хохотали над врачами и над самими собой.

Только один из нас – Аркадий Синг – воспринял все это трагически. Он был индус по происхождению, но с детства жил в СССР, в Свердловске. Работал инженером. Лет двадцать не мог он получить квартиру и ютился с женой где-то в подвале. Наконец, совершенно потеряв терпение и надежду, он сделал плакат "антисоветского содержания" и с ним пошел к обкому партии. Вокруг него собралась большая толпа: кто сочувствовал, кто просто любопытствовал узнать, что выйдет. Толпа росла, и получилось уже что-то вроде демонстрации. Власти заволновались, вежливо пригласили Аркадия войти в обком, дружески побеседовали, обещали дать квартиру, а затем вывели через черный ход, посадили в машину – якобы чтоб не возбуждать толпу – и отвезли прямо в тюрьму КГБ.

И этот вот Синг, когда узнал, что его признали сумасшедшим, чуть действительно с ума не сошел. "Как же так? – рассуждал он. – Меня же смотрели врачи-специалисты. Они лучше знают. И если они установили, что я сумасшедший, значит, так оно и есть. Я просто сам этого заметить не могу." Он постоянно спрашивал нас, не замечаем ли мы за ним каких-нибудь странностей, надоедливо рассказывал, какие он обнаружил у себя симптомы, и так нервничал, что по всему телу у него пошла экзема.

Любопытно, что в это же время было на экспертизе несколько человек по хозяйственным делам и хищениям, но ни один из них больным признан не был.

К осени всю нашу веселую компанию политпсихов отвезли в Лефортово, и тут выяснилось первое неприятное обстоятельство: на суд никого из нас пускать не собирались, всех судили заочно. Рухнули мои надежды увидеть своих судей, высказать им все, что накипело. Оправдываться я не собирался – я собирался обвинять. И готовился сделать так, чтобы этот суд им дорого обошелся. Теперь же получилось, что они опять безнаказанно расправились со мной, и это бессилие было хуже всего.

Хотя формально, по закону, суд должен был проходить в полном объеме: с допросами свидетелей и рассмотрением доказательств, – фактически процедура занимала не больше часа. Зачитали обвинение, затем заключение экспертов и вынесли постановление о направлении на принудительное лечение бессрочно. Узнал я об этом только от матери, когда пустили ее на свидание в сентябре. Свидание было коротенькое, всего час, и то в присутствии надзирателя, все время прерывавшего разговор. Происходило оно в комнате, разделенной широким столом. С одной стороны стола – я, с другой – мать. Передавать что-нибудь или даже прикасаться друг к другу строго запрещалось. Мать была напугана всей этой обстановкой и еле-еле осмеливалась говорить. С трудом я успокоил ее как мог. Сам же буквально корчился от бессильной злости.

Итак, официально я уже считался больным, не ответственным за свои поступки, однако никто не спешил отправлять меня в больницу – все мы продолжали сидеть в Лефортове. Говорили, что нет еще наряда в больницу, да и в больнице нет свободных мест. Лишь к концу года, в декабре, отправили нас – кого в Ленинград, кого в Казань. Тяжелая это вещь в тюрьме – расставанье с теми, с кем успел сдружиться. Как знать, увидимся ли еще...

В Ленинград прикатили к вечеру и сразу погнали в баню. Там санитары первым делом остригли нам волосы, причем не только на голове, но и под мышками, и на лобке. И все это одной и той же машинкой. У Сереги Климова отросли пышные усы – состригли и их. Он было сопротивляться: "Хоть машинку-то смените!" Куда там – мало ли какая блажь сумасшедшему в голову взбредет. Скрутили его, дали слегка под ребра: не дури! Видим, дело плохо. Санитары – уголовники, которых вместо лагеря прислали сюда в обслугу, срок отбывать. Злые, как собаки, благо есть на ком безнаказанно сорвать зло. Обрядили нас в обычную арестантскую робу, отобрали все вещи, развели по камерам. Полагалось здесь всех вновь прибывающих помещать сначала на первый корпус, в наблюдательное отделение.

Когда-то, года до сорок восьмого, была здесь просто тюрьма. Корпуса старые, камеры сырые, холодные. Держат в каме-

рах по трое. Обычные камеры, как в Лефортове, с глазком и кормушкой, на окне решетка. Только туалета нет, и даже парашу не дают: не полагается психам иметь под руками тяжелых предметов. Чтобы оправиться, нужно стучать в дверь – просить надзирателя вывести в общий туалет в конце коридора. Ему же некогда, да и лень.

– Чего стучишь? – орет издали.

– В туалет!

– Подождешь! – Какое там "подождешь". Стучишь опять. – – Ты у меня сейчас достучишься! Все ребра переломаю.

– Да в туалет бы надо, начальник. Невтерпеж!

– Ссы на пол! – И так целый день. А слишком надоешь ему, науськает санитаров, и рад не будешь, что просился.

В камере, куда я попал, сидело еще двое. Утром один из них, только глаза продрал, начал выкрикивать лозунги: "Довольно большевистского рабству! Треба хлопцам воли и амнестию! Треба вильну незалежну самостийну Украинську державу организоваты! Треба хлопцам жупаны, шальвары, саблюки!" Целый день кричал, не затихая, до самого отбоя. Узнал я потом, что он просидел за украинский "буржуазный национализм" семнадцать лет во Владимирской тюрьме и сошел с ума. Били его каждый день немилосердно – надоедало надзирателям слушать его крики. Дверь отопрут, и человек шесть санитаров, точно псы, кидаются. Я было первый день полез заступаться, но получил такую затрещину по уху, что улетел под кровать – еле выполз потом. Помочь я ему ничем не мог, но и молча смотреть, как его избивают, был не в состоянии.

Другой наш сосед ни во что не вмешивался и целый день блаженно улыбался. Сидел он за убийство своих детей. Была у него мания – все глотать. Сразу же после убийства детей он отрезал себе уши и съел их. Уже в больнице проглотил партию шахмат, и даже ложку ему не давали, чтоб не съел.

Был момент – я думал, что уже не выйду живым из этой камеры. Каждый раз, когда врывались бить моего соседа, я, как дурак, опять лез их останавливать и, естественно, получал свою порцию. Невмоготу было смотреть, как его лупят, иногда даже ногами. По заведенному же здесь порядку медсестры вели журнал наблюдений за больными. Чтобы объяснить синяки, ссадины и прочие следы побоев, сестры записывали, что больной сам "воз-

будился” и бросился на санитаров. На другой день врач, видя в журнале такую запись, назначал больному уколы сульфазина или аминазина. Моего соседа, таким образом, еще вдобавок нещадно кололи. Он пытался сопротивляться уколам — его опять принимались бить. Получался замкнутый круг. Ни побои, ни уколы не могли, конечно, изменить его, и он продолжал выкрикивать свои бесконечные лозунги, только все тише и тише день ото дня, как бы затухая. Я же, со своим глупым заступничеством, рисковал тоже попасть на этот замкнутый круг и никогда уже не выбраться отсюда.

В психиатрической больнице фактическими хозяевами является младший обслуживающий персонал: санитары, сестры, надзиратели. Это своего рода клан, и если с ними не поладить — убьют, замучают. Врачи никогда не вмешиваются в эти дела и целиком полагаются на сообщения медсестер. Первые месяца два в психиатрической больнице самые важные. Устанавливается определенная репутация, которую потом трудно изменить. Сестры, ленясь наблюдать за больными, изо дня в день пишут затем примерно одно и то же, переписывая с прошлых записей, поэтому нужно суметь убедить их с самого начала, что ты здоровый, со всеми поладить. И если это удалось — потом легче.

Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы меня не убрали в другую камеру. Видимо, и санитарам надоело, что мешаю им каждый раз делать дело. Была и другая причина: я вдруг получил письмо от матери, и она писала, что на днях приедет ко мне на свидание. Отдавая мне письмо, медсестра неожиданно спросила с любезной улыбкой что-то о моей матери: кто она, где работает, кто отец и так далее. По всему было видно, что письмо она прочла. Обычно письма читают врачи и потом в открытом виде отдают для вручения больным. Я сразу понял, в чем дело. Давно уже заметил я, что для людей, живущих не в Москве, любой московский житель — чуть ли не член правительства. Им издали кажется, что все мы живем там рядышком и, если захотим, можем всего добиться. Еще когда я был в экспедиции в Сибири, стоило сказать местным жителям, что я из Москвы, как на меня начинали смотреть с некоторой опаской и непонятным уважением, точно на ревизора.

В новой камере сидели еще два убийцы. Один, толстый мужик лет под пятьдесят, убивший мать, страдал приступами хо-

хота. Начинал он с усмешки, коротких смешков безо всякой внешней причины, и, постепенно расходясь, не мог уже остановиться. Лицо багровело, глаза вылезали из орбит, он задыхался, захлебывался, и все его жирное тело тряслось от неудержимого хохота. В перерывах между приступами он молча лежал на койке, никогда ни с кем не разговаривал, не отвечал на вопросы и только смотрел на меня злыми слезящимися глазами. Затем вновь, словно углядев во мне что-то нестерпимо смешное, закатывался он хохотом, постепенно доходя чуть ли не до обморока. Другой мужик, по имени Костя, убил свою жену и пытался зарезаться сам. На левой груди у него был широкий красный шрам. Этот Костя извел меня рассказами о своей жене, о том, как она ему изменяла и как он за ней следил. Невозможно было понять, что в его рассказах правда, а что бред. Его рассказы были, пожалуй, хуже криков и хохота.

Крики же постоянно неслись со всех сторон. Тюрьма была построена как-то так неудачно, что было слышно, как бьют кого-то даже на других этажах. Где-то в камере напротив парень вскрикивал время от времени: "Первыми на Луне будут советские космонавты! Первыми на Луне будут советские космонавты!" Видно, сокамерники его дразнили, потому что с каждым разом он кричал все громче и громче, пока наконец не врывались санитары и не принимались его бить. Позднее я видел его. Действительно, в ответ на его надоедливое пророчество сокамерники тихо повторяли: "Американские...", чем приводили его в совершеннейшую ярость. Медсестры каждый раз записывали, что он возбудился, и его нещадно кололи аминазином. Под конец моего пребывания в этом отделении я встретился с ним на прогулке. Он мрачно бродил вдоль забора, и во всем его облике было столько разочарования, столько презрения к человечеству, что я невольно спросил:

— Так какие же космонавты будут первыми на Луне? — "Американские", — проворчал он с явной неохотой, не глядя на меня.

Раз в день нас выводили на прогулку — всех вместе со всех этажей первого корпуса. Жуткая толпа безумцев в разодранной одежде, в рваных шапках, бушлатах и бутсах, которые выдавались перед прогулкой, вываливалась на специальный двор, огороженный забором. Бóльшая часть заключенных были убийцы.

Политических – не больше 10%. Мои лефортовские приятели приуныли, и от того веселья, с которым мы узнали о признании нас психами, не осталось и следа. В сущности, Ленинградская спецбольница была обычной тюрьмой с камерным содержанием, ограничениями на переписку и пищу, с решетками, колючей проволокой, забором и вооруженной охраной. Охрана при побеге психически больного – теоретически – не должна стрелять. Но как ей отличить психа от уголовника из хозобслуги? Естественно, на всякий случай охрана будет стрелять, и такое уже случалось.

Кроме обычных тюремных тягот были еще и все тяготы психиатрической больницы: бессрочное заключение, принудительное лечение, побои и полное бесправие. И жаловаться было некому – любая жалоба оседала в твоей истории болезни, рассматривалась как доказательство твоего безумия. Никто из нас не был уверен, что мы выберемся отсюда живыми. Кое-кому из ребят уже попало больше меня, некоторых начали колоть, другим давали таблетки. Не так-то просто было теперь доказать, что ты здоров или хотя бы выздоравливаешь. Кому из врачей охота опровергать заключение коллег или брать на себя ответственность тебя выписать? Гораздо легче идти по проторенной дорожке. Известно было, что хоть формально заключение и бессрочное, но на практике убийц обычно содержат пять-шесть лет, нашего же брата – два-три года. Это при полной покорности, при отсутствии конфликтов и плохих записей в журнале наблюдений.

Примерно два раза в году приезжала из Москвы центральная комиссия, и ей показывали всех больных. Но выписать могли только тех, кого рекомендовала к выписке больница. Бывали случаи, когда и такой рекомендацией пренебрегали. Для выписки врачи откровенно требовали от заключенного признания своей болезни и осуждения своих действий. Это называлось у них "критикой", критическим отношением к своим болезненным проявлениям, и служило доказательством выздоровления.

Сидел здесь, например, уже с 56-го года Николай Николаевич Самсонов, геофизик, лауреат Сталинской премии. Его посадили за письмо в ЦК, где он требовал более последовательного разоблачения сталинских преступлений. Он категорически

отказывался проявлять эту самую "критику" и вот сидел уже восемь лет. Что только с ним ни делали: и кололи, и били, и сажали к буйным. Здоровье ему уже загубили окончательно: сердце, печень, желудок — все стало барахлить — и в основном из-за побочного действия психиатрических лекарств. Особенно навалились на него последний год — говорили, будто получены какие-то новые указания.

В качестве "лечения возбудившихся", а точнее сказать — наказания, применялось, главным образом, три средства. Первое — аминазин. От него обычно человек впадал в спячку, какое-то отупение и переставал соображать, что с ним происходит. Второе — сульфазин, или сера. Это средство вызывало сильнейшую боль и лихорадку, температура поднималась до 40-41° С и продолжалась два-три дня. Третье — укрутка. Это считалось самым тяжелым. За какую-нибудь провинность заключенного туго заматывали с ног до подмышек мокрой, скрученной жгутом простыней или парусиновыми полосами. Высыхая, материя сжималась и вызывала страшную боль, жжение во всем теле. Обычно от этого скоро теряли сознание, и на обязанности медсестер было следить за этим. Потерявшему сознание чуть-чуть ослабляли укрутку, давали вздохнуть и прийти в себя, а затем опять закручивали. Так могло повториться несколько раз.

Учитывая откровенный террор и произвол, царившие в больнице, наше полное бесправие и бесконтрольность санитаров, все мы буквально ходили по краю пропасти и каждую минуту могли сорваться. Двое ребят, сидя в одной камере, от скуки стали бороться. Неудачно повернувшись, один из них рассек бровь о батарею отопления и попросил у сестры йоду. Тут же в журнал наблюдений записали, что они возбудились, и оба получили уколы серы. Все время приходилось быть настороже, както налаживать хорошие отношения с обслугой и сестрами.

На самом последнем этаже первого корпуса, в пятом отделении, были "резинки" — камеры, обитые мягким материалом, чтобы буйнопомешанный не мог разбить голову о стенку. Держали там по одному в камере, голым, и, говорят, били немилосердно. Сравнительно недавно убили там какого-то психа — сломали ему хребет. Другой задохнулся в укрутке — не успели раскрутить. Виновных, конечно, не обнаружили, убитых "списали" — психи всегда виноваты.

Второй корпус считался лечебным, но лечили, в сущности, везде одинаково. Правда, там были еще специальные палаты для инсулиновых шоков. На седьмом отделении свирепствовал Валерьяныч – так звали фельдшера по имени Виктор Валерьянович. Это был настоящий садист и буквально болел, если за свою смену кого-нибудь не загнал в укрутку. Один из нашей братии, Толик Беляев, осужденный за анекдоты о Хрущеве, зачитался как-то допоздна и не заметил, что объявили отбой. За это Валерьяныч сделал ему укрутку и, конечно, записал, что Беляев возбудился.

Угроза расправы постоянно висела над каждым из нас. Чуть что, санитары и надзиратели кричали злобно: "Что! В укрутку захотел? Серы хочешь?" А раз назначенные уколы аминазина делали потом автоматически, часто забывая отменить. Закалывали до такой степени, что шприц не лез в ягодицы. Помню, как-то меня повели в кабинет физиотерапии на прогревание миндалин: от ленинградской сырости у меня обострился мой хронический тонзиллит и держалась температура. И вот, зайдя в большой кабинет, я вдруг увидел фантастическое зрелище: на десятке топчанов в ряд лежали ничком люди, подставив свои голые задницы под специальные лампы прогревания. Их настолько закололи аминазином, что шприцы не прокалывали мышцу и нужно было как-то размягчить, рассосать инфильтраты, чтобы снова приняться за "лечение".

В общем-то, такие, как Валерьяныч, встречались редко. Кругом царили безразличие, равнодушие, цинизм. Как хирурга не волнует вид крови, а служителя морга – вид трупов, так и здешним сестрам, санитарам, врачам была привычна жестокость. Само собой разумелось, что больной – не человек, не может и не должен иметь каких-то желаний или человеческих чувств, и некоторые врачи вполне откровенно называли больницу "наш маленький Освенцим".

Здоровый человек, попав в такое место, стремится как-то отличить себя от психически больных, выделиться, убедить окружающих и самого себя, что он-то другой. В любом отделении возникает такая группка здоровых, своего рода "клуб" нормальных людей посреди болота безумия. Обычно они относятся к своим сумасшедшим соседям с ненавистью не меньшей, чем Ва-

лерьяныч, и, чтобы утвердить свое превосходство, часто обращаются с больными жесточе санитаров. Может, это помогает им не сойти с ума – или просто нужно человеку знать, что он не самый последний.

Жестокие шутки и издевательства над больными становятся почти потребностью. На другом корпусе, в камере побольше, человек на десять, сидел молодой парень, лет девятнадцати, по фамилии Сапронович. У него был бзик, что он должен уничтожить весь западный мир, особенно Америку. Постоянно он нажимал воображаемые кнопки – с полной уверенностью, что посылает ракеты с атомными бомбами.

– Взорвать Америку! Уничтожить! Убить Кеннеди! – выкрикивал он, нажимая кнопки. Особенно почему-то ненавидел он Кеннеди.

– Сапронович! – кричали ему более здоровые. – Иди сюда! Вот настоящая кнопка, вот эту нажми! – И показывали ему на кнопку у двери, при помощи которой вызывали санитаров и надзирателей. И постепенно так приучили его к этой кнопке, что он целыми днями простаивал у дверей, нажимая ее. Санитарам надоедало прибегать на ложный сигнал, и они не раз били его, делали уколы, укрутки – ничего не помогало.

А осенью Кеннеди действительно убили. Мучители Сапроновича не могли пропустить такую великолепную возможность поиздеваться. Они принесли ему газету с сообщением об убийстве:

– Что, Сапронович, доигрался? Думал, это так, шуточки – кнопки нажимать? Смотри теперь – убийцу пока не нашли, разыскивают, но долго ты здесь не скроешься, найдут. Все же знают, как ты кнопки нажимал.

Сапронович был страшно испуган, буквально потрясен. Неделю он пролежал в постели, зарывшись с головой в одеяло. Даже есть не вставал – боялся выглянуть. Результат был совершенно неожиданный: Сапронович почти выздоровел и никаких кнопок уже не нажимал.

Иногда, наоборот, кто-нибудь из кружка "нормальных" вдруг срывался – начинал бредить, заговариваться, чудить и переставал быть человеком. То ли просто кончилось у него временное улучшение, то ли сходил с ума, но это было самым тяжелым моментом для остальных. Еще несколько дней назад с

ним можно было говорить, вместе надеяться на освобождение и посмеиваться над "психами", и вот он уже сам был неотличим от них. Терялась грань между нами и ими, между нормальными и ненормальными, и это было худшее из предательств. Потому-то со временем становишься ужасно подозрительным, долго незаметно присматриваешься к своим собеседникам – все ли у них нормально или это только внешняя упорядоченность, временное улучшение? Не скрывают ли они свое сумасшествие?

Высокий худой латыш долго занимал меня. Он подошел первый и очень вежливо, с легким прибалтийским акцентом стал расспрашивать, не интересуюсь ли я зоологией. Он слышал, что я учился в университете на биофаке, но вот какая у меня специализация – не знал. Больше всего его интересовали редкие, вымирающие животные, и он старался собрать о них сведения из книг и журналов. Целая папка вырезок и записей на эту тему лежала у него под подушкой. Аккуратно разложив их на койке, он долго рассказывал мне о краснoперой казарке и уссурийском тигре – и сам напоминал при этом какое-то редкое, исчезающее из природы животное, неведомую птицу.

Мы часто болтали с ним потом – и на отделении, и на прогулке, и я не мог заметить за ним ничего странного кроме этих его казарок. В конце концов, каждый из нас занимался чем-нибудь нелепым. Я, например, учил английский, и со стороны это, наверно, выглядело довольно странно. И все-таки не мог отделаться от какого-то беспокойства, говоря с ним. Весь его облик диковинной костлявой птицы, ураганом занесенной в чужие страны с далеких островов, был уж как-то слишком нелеп, особенно зимой на прогулке, где он, боясь простуды, накручивал на себя все, что можно, вплоть до одеяла. Никто не знал, за что он сидит, а спросить было неловко. Говорили, что он здесь провел уже лет семь, а до того лет десять отсидел в лагерях. Рассуждал он, однако, очень здраво, разумно, и ни разу не поймал я его на какой-нибудь несуразности.

Как-то поздно вечером, перед отбоем, зачитавшись своими английскими книжками, я совершенно забыл обо всей этой больнице с ее психами... Вдруг громкий спор, почти ссора, отвлек меня. Мой латыш, размахивая руками, как крыльями, громко и раздельно выговаривал:

– Вы совсем не понимаете: это есть проблема. В Латвии есть теперь меньше половины латышей. Больше половины приезжает из России. Рождаются дети от смешанных браков. Они уже не знают, кем себя считать. Мы забываем свой язык, свою культуру. Мы есть исчезающий народ. Скоро латышей совсем не останется. Я вас прошу закрыть окно. Мне нельзя простужаться. – И вдруг мне почудилось, что он, взмахнув крыльями, взмоет сейчас в ночное небо и полетит к своим красноперым казаркам, уссурийским тиграм и серым цаплям.

Бывало и так, что во всей камере не с кем даже в домино сыграть, не то что поговорить по душам. И уже сам не знаешь, кто сумасшедший: ты или они. Даже санитары начинают казаться ангелами. И о несчастном Синге, всерьез поверившем в свое сумасшествие, вспоминалось уже без смеха.

Кто знает, где проходит грань? Кто предупредит меня, что ЭТО уже началось? Все так же буду я просыпаться серыми ленинградскими утрами, бесцельно бродить по камере, часами слушать, как хриплым голосом воет в камере напротив какой-то псих, все так же раз в день с толпой оборванных безумцев буду выходить во двор и бродить вдоль забора... Что изменится? Цвет, звук, запах? Станет ли белее забор, тяжелее небо? А может быть, уже изменилось? Быть может, это я хрипло вою, и мне только кажется, что звук идет из камеры напротив? Сижу на кровати, раскачиваюсь и вою, схватившись за голову... Все, что делаем мы, всегда кажется нам логичным, оправданным. Как же заметить, у кого спросить?

Пытаясь отгородиться от всего происходящего, я сконцентрировался на английских книгах. Целый день, с подъема до отбоя, я продирался сквозь дебри фраз Диккенса или Купера, старался не глядеть по сторонам, ничего не слушать и жить воображаемой жизнью героя книги. И через месяц с ужасом заметил, что стал думать по-английски. Мне даже говорить по-русски трудно стало, и, когда приехала на свидание мать, я поймал себя на том, что, отвечая ей, перевожу с английского на русский. Вот оно, начинается! – цепенел я от страха. Думаю, каждый из нас больше всего боялся, что к моменту освобождения, если таковое наступит, будет уже все безразлично, никакой разницы между свободой и несвободой мы уже не осознáем.

В одной камере с нами сидел парень, в прошлом переводчик

Интуриста, с отчаянной фамилией Караулов. Внешне он был вполне упорядочен, и незнающий мог принять его за здорового. Но был у него пунктик: он боялся, что его съедят. То ли считал он, что у него мясо очень вкусное, то ли еще что – не знаю, но стоило кому-нибудь пристально посмотреть на него, как он начинал беспокойно ерзать и норовил отойти поближе к двери. Ну и, конечно, издевались над ним, как могли. К вечеру обычно кто-нибудь говорил громко, обращаясь через всю камеру к приятелям:

– Ребята, у вас соли не найдется?

– Да есть немножко, а зачем тебе? – подхватывали с готовностью приятели. Караулов же буквально цепенел весь, и только глаза отчаянно метались, ища выхода.

– А ножик есть? – не унимались мучители.

Тут Караулов не выдерживал, срывался с места и с диким животным криком кидался к двери, звать на помощь санитаров. Просидел он года три и под конец вроде бы вылечился, выписали его. Прошло много лет, и я случайно встретил его на улице Горького в Москве. Внешне он был вполне нормален, и мне стало любопытно, помнит ли он о своем страхе. После нескольких минут разговора я внезапно спросил его: "А что, Караулов, не боишься, что тебя сожрут?" И тут же глаза его беспокойно забегали. "Что ж, даже здесь, посреди Москвы?" – удивился я. "Кто их знает..." – пробормотал он и шарахнулся в толпу.

Случалось мне встречать отчаянных людей, готовых из-за пустяка рисковать жизнью, но ни одного,согласного рисковать рассудком. Думаю, любой предпочел бы смерть. Поэтому нужно уловить самое начало, пока ты можешь еще себя контролировать, чтобы вовремя поставить точку. Потом будет поздно, все станет безразлично.

Они отлично понимали, что все мы держим в запасе такой выход, и оттого ни стеклышка, ни железки нельзя было найти на прогулочном дворике. Даже спичек не полагалось нам иметь, чтоб не сжечься. Полотенце на ночь требовалось повесить на спинку койки, чтобы его видно было в глазок. Запрещалось спать, накрывшись с головой. Руки всю ночь должны быть поверх одеяла, а дежурные санитары непрерывно заглядывали в камеру. Но был один *способ*, которого они не знали, *способ*, который рассказывали друг другу шепотом. Хоть это право мы хотели сохранить за собой.

Бежать было чистым безумием, слишком плотно нас наблюдали, и я сделал все, чтобы отговорить его. Санитары, надзиратели, сестры, врачи — все они наблюдали за нами и друг за другом. Но остановить его было невозможно — на следующий день ему собирались начать лечение. Результат был безразличен, выхода не было. И тогда я рассказал ему про *способ* — на случай, если поймают.

Говорят, он промахнулся, когда прыгал с забора: рассчитывал попасть на проезжающий грузовик с досками, но промазал. Стрелок или не попал, или стрелял в воздух — сказать трудно. Слышно было только, как грохнули один за другим три выстрела. Забегали надзиратели, стали пересчитывать всех по камерам.

Его заперли на первом корпусе. Долго били, сделали укрутку, а потом месяц держали на уколах серы. Только месяца через два я случайно столкнулся с ним, когда меня вели на свидание, и с трудом узнал его: тощий, пожелтевший старик с лихорадочно блестящими ввалившимися глазами. Он не узнал меня, и я прошел мимо. Вряд ли он помнил, о чем мы говорили.

Человек ко всему привыкает и постепенно обрастает как бы толстой нечувствительной кожей. Нужно научиться ничего не видеть вокруг, не думать о доме, не ждать свободы. И так приспособиться к этой жизни, чтобы она проходила мимо, как бы не касаясь тебя. Все происходящее становится нереальным, как спектакль, и тут же забывается. Постепенно выработалось у меня это безразличие. Лишь к одному не мог привыкнуть. По вечерам отчетливо было слышно, как за забором жужжат по асфальту шины ленинградских троллейбусов, и от этого звука точно током меня било — все вокруг становилось отчетливым и реальным до боли. Нет, не всякая жизнь лучше смерти.

Мне не пришлось прибегнуть к *способу*, просто повезло: ни одного укола, ни одной таблетки не получил я за все время. Вскоре меня перевели на десятое отделение, самое лучшее, где даже на день отпирали камеры и можно было ходить по коридору, — единственное отделение, где не было террора санитаров. Заведующий отделением подполковник Калинин, старик лет под 80, не верил в беспричинную агрессивность больных.

– Я пятьдесят лет работаю психиатром, – говорил он санитарам, пытавшимся убедить его, что больной "возбудился" и напал на них, – однако ни разу не видел, чтобы больной сам бросился. Вы ему что-то сделали.

И он был совершенно прав: я тоже ни разу не видел, чтобы больной бросился без причины. Только причину не всегда легко угадать. Однажды я едва увернулся от здоровенного мужика: он бросился на меня, когда я проходил мимо его койки. Причина же была в том, что он считал своей территорией часть пола вокруг койки и всякого, кто на нее ступал, готов был уничтожить. Очень важно сразу выяснить причуды своих соседей, и тогда можно жить безопасно. Главное же – никогда их не бояться. Страх и враждебность они чувствуют, как звери.

Леонид Алексеевич Калинин был легендарной личностью. Он совершенно не признавал московской школы психиатров – и всех московских шизофреников, попадавших к нему, тут же переделывал в психопатов, алкоголиков или маляриков.

– Скажите, вас комарики не кусали? – вкрадчиво спрашивал он своим тихеньким старческим голоском какого-нибудь шестидесятилетнего дядьку, и тот, почесав в затылке, вынужден был признать, что такой случай, наверно, был. Этого признания было достаточно, чтобы определить у больного патологические последствия малярии.

– Водку пьете? – спрашивал он нежно здоровенного убийцу.

– Потребляю, – смущался тот.

– И много ли? – Сам он всю жизнь не пил, не курил и считал, что все зло на земле от водки да от табака.

– Случалось, малость выпивал по праздникам, с получки, – ерзал душегуб.

– Похмелялись? – сочувственно спрашивал Калинин.

– Приходилось...

Кто же сейчас не пьет, кто не похмеляется? Запирательство казалось нелепым, неправдоподобным, и тут же все они превращались в алкоголиков.

Наслышавшись о его причудах, я на первой же беседе, нагло глядя ему в глаза, заявил, что комариков не видел отроду – не живут они в столице нашей Родины. Алкоголя же и подавно не потреблял, даже пивом брезговал.

– Может, за город куда-нибудь ездили? – не унимался Калинин. – С товарищами, в турпоход? Знаете, их можно и не заметить, комариков-то...

Чувствовал он, что я ускользаю от него безвозвратно. Но я был неумолим, даже от турпохода отрекся. Знал бы он, какие тучи комаров осаждали нас в Сибири! Примерно месяц он присматривался ко мне, но и я уже был ученый: с сестрами и санитарами был в самых дружеских отношениях, с фельдшером играл по вечерам в шахматы, любезничал со старшей сестрой и всех надзирателей угощал сигаретами. Записи обо мне в журнале наблюдений, видимо, скорее напоминали рекомендацию в партию, чем отчет о поведении психбольного, потому что через месяц он вызвал меня вновь:

– Мне кажется, что вы попали к нам по ошибке. Я не нахожу у вас никакой болезни.

Я заверил его, что всегда придерживался этой точки зрения, но мне почему-то не верили, и буду только счастлив, если он развеет это недоразумение. Весьма довольные друг другом, мы расстались. Но напрасно я радовался: оказалось, что этот старый ишак, не найдя у меня болезни, вообразил, что я симулянт. Он всерьез обратился к руководству с просьбой об отмене всех моих диагнозов и возвращении назад, под следствие, к тем самым ребятам, у которых перед тем никак не ладилась картина. Он их рассчитывал осчастливить своим открытием! Легко понять, какой порыв творческого вдохновения он вызвал у моих голубых живописцев.

А я – рисковал застрять навечно между Москвой и Ленинградом. Борьба между московской и ленинградской школами психиатрии была тогда в самом разгаре. Ленинград напрочь не признавал ни авторитета Снежневского, ни его вялотекущую шизофрению. Мне же, как назло, в Институте Сербского поставили два диагноза под вопросом: и психопатическое развитие личности, и вялотекущую шизофрению. Невольно я оказался объектом их научного спора и, пока спор шел, должен был сидеть.

Не думаю, чтобы Снежневский создавал свою теорию вялотекущей шизофрении специально на потребу КГБ, но она необычайно подходила для нужд хрущевского коммунизма. Согласно теории, это общественно опасное заболевание могло развивать-

ся чрезвычайно медленно, никак не проявляясь и не ослабляя интеллекта больного, и определить его мог только сам Снежневский или его ученики. Естественно, КГБ старался, чтобы ученики Снежневского чаще попадали в число экспертов по политическим делам, и постепенно, к 70-м годам, Снежневский практически подчинил себе всю советскую психиатрию. В шестьдесят четвертом, однако, в Ленинграде его считали просто шарлатаном, и все его "шизофреники", попав в Ленинград, моментально выздоравливали.

Традиционно при возникновении спора о диагнозе решение могло быть достигнуто только в результате научной дискуссии всех заинтересованных сторон, а сколько это продлится, никто не знал. Одно только и было хорошо: меня не лечили.

На десятом отделении скопилось, естественно, больше всего политических – примерно 35-40 человек из пятидесяти пяти. Бóльшую часть из них составляли "побегушники" – ребята, пытавшиеся удрать из СССР. Какими только способами ни пытались они бежать из любимого отечества: и вплавь, на резиновых лодках, в аквалангах под водой, по воздуху на самодельных вертолетах, планерах и ракетах, пешком через границу, в трюмах пароходов и под товарными вагонами. Буквально не могу придумать такой способ, который не был бы уже испробован.

И все они, разумеется, были невменяемыми – потому что какой же нормальный человек захочет бежать теперь, когда наконец-то, после всех ошибок, стали вырисовываться контуры коммунизма? Некоторым удавалось благополучно пройти границу, но их выдавали назад. Одного – финны, другого – поляки, третьего – румыны. Со мной рядом спал парень по прозвищу Хохол – старый уголовник, полжизни просидевший по лагерям. На все расспросы следователя о причинах, толкнувших его бежать из страны, он говорил:

– Так какая вам разница, гражданин начальник? Я же ведь плохой, преступник, рецидивист. Чего ж вы меня держите, не пускаете? Я здесь хорошую жизнь порчу, так зачем я вам нужен? Пусть гады капиталисты со мной мучаются! – Конечно, от такого опасного бреда ему предстояло принудительно излечиться.

Другую многочисленную группу составляли люди, пытавшиеся пройти в посольство. Существует такая наивная вера у про-



1958 год

Школьные годы



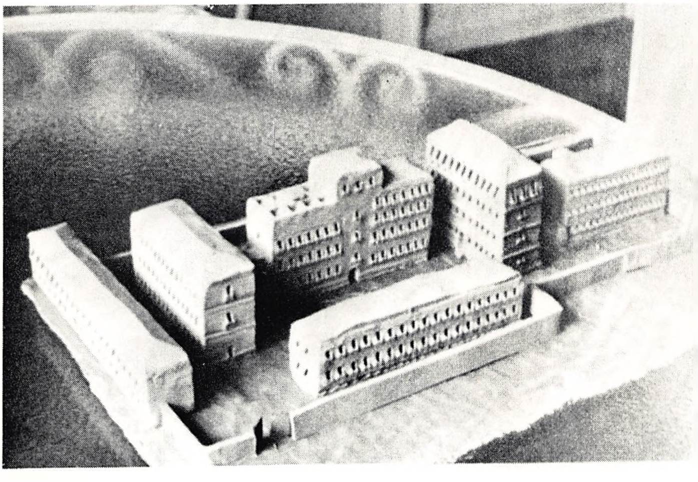
1959 год



Даниил Романович Лунц



Институт судебной психиатрии им. проф. Сербского в Москве



Владимирская тюрьма – модель, сделанная В. Буковским из пластилина



В. Буковский
в психиатрической
больнице № 13 в Москве
(декабрь 1965 г.)



Март 1970 г., после освобождения из лагеря



Александр Есенин-Вольпин



Американский корреспондент в Москве Роджер Леддингтон

стых советских людей, что из посольства как-нибудь тайно вывезут за границу – лишь бы войти. С ними было еще сложней: никакой закон входить в посольство не запрещает – как их судить?

Латыш по фамилии Пинтан много лет назад бежал из Латвии при вторжении советских войск. Все это время жил он в Австралии, работал грузчиком, растил семью. Наконец, дошли и до него в Австралию слухи о хрущевской "оттепели", и потянуло его домой, посмотреть, как живут землячки на родине. Приехал со всей семьей – пустили охотно. Но вот, когда он, не углядев оттепели, собрался назад, в Австралию, оказалось, что назад-то нельзя, не предусмотрено. Не позаботился он в свое время получить австралийское гражданство: жил как гражданин Латвии, со старым паспортом, благо в Австралии всем безразлично, какой у тебя паспорт. Здесь же это было далеко не безразлично: никакой независимой Латвии Советский Союз не признает. И объяснили гражданину Пинтану, что все эти годы он был гражданином СССР, сам того не зная. Никак не мог Пинтан усвоить эту нехитрую мысль: скандалил, пытался прорваться в свое любимое австралийское посольство, и оттого лечили его теперь аминазином.

Совсем молодой парнишка Воробьев вошел-таки в американское посольство. Для этого пришлось ему раскраситься под негра. Пробыл там часа два. Разъяснили ему, как водится, что нет прямого подземного хода из посольства насквозь на другую сторону земного шара. Для выезда из страны нужно разрешение советских властей. Пришлось ему идти обратно. Тут, как на грех, пошел дождь, и вдруг наш негр стал линять на глазах у милиционеров. Вся негритянская смуглость потекла с него струйками. Такое явление природы живо заинтересовало некоторых штатских, небрежно прогуливавшихся у входа в посольство, и они отправили его к врачам, на исследование. Советская судебная психиатрия справедливо заключила, что только сумасшедший может добровольно желать превратиться из белого в негра, а потом еще проситься в Америку, где, как всем известно из газет, и своих-то негров линчуют. Теперь эти расовые капризы истребляли в нем уколами, и он быстро шел на поправку.

Каких только чудаков не встретил я здесь! Французский

коммунист, румын по происхождению, Николай Георгиевич Присакару тяготился оковами капитализма. Душно ему было в родном Марселе: ни равенства, ни братства не осталось уже во Франции со времен взятия Бастилии. Оставалась у него в жизни одна только мечта, одна надежда: Советский Союз. С тем и приехал.

В Молдавии, на обувной фабрике, куда он устроился по специальности, поразила его заработная плата: на нее нельзя было приобрести даже пару той самой обуви, которую он изготовлял. Налицо был явный отдельный недостаток, который надлежало исправить в полном соответствии с единственно верным учением. Собрав рабочих, он попытался объяснить им текущие задачи пролетариата и предложил провести забастовку.

– Я уверен, что центральный комитет *нашей* партии поддержит нас! Это же в интересах рабочих, – убеждал он угрюмых мужичков. Наверно, мужички решили, что речь идет о французской компартии, иначе не могу объяснить их согласие бастовать.

Через несколько дней представители авангарда трудящихся в штатском уже везли его на экспертизу: от психического заболевания не застрахованы даже французские коммунисты. В Ленинградской спецбольнице вел он себя скромно, грустно глотал аминазин и терпеливо сносил всеобщие насмешки. Поначалу он еще пытался объяснить на ломаном русском языке, что у нас в Советском Союзе не совсем правильный коммунизм, не такой, как во Франции, а неудачу свою приписывал проискам Ватикана. Но уж больно бедный был у него словарный запас – твердо он знал по-русски всего три слова: "каша", которое произносил на французский манер "каша́", "мое" и "люблю". И когда раздатчики пищи выскребали из котла остатки и кричали: "Кому каши? Полмиски осталось!" – он срывался с места и быстрее всех летел с миской на амбразуру: "Каша́, мое, люблю!"

Кроме "побегушников" и пытавшихся пройти в посольства сидело еще с десяток человек за "антисоветскую пропаганду": за анекдоты, литературу, листовки. Да несколько человек за "шпионаж", то есть за контакты с иностранцами. Здесь же сидел Михаил Александрович Нарица, первый писатель, передавший свою рукопись для публикации за границу. Впоследствии это стало весьма распространенным психическим заболеванием в СССР, но тогда еще было новинкой, и мы посматривали

на М.А. с завистью – по крайней мере, есть за что сидеть человеку.

С утра ходили на работу в мастерские, и, хотя формально труд не был принудительным, желание работать рассматривалось как симптом выздоровления. Основная часть работала в швейке, а человек пять – в переплетной мастерской, куда устроился и я. Мне не нужно было доказывать свое выздоровление – я и так считался здоровым, а в переплетную ходил потому, что туда приносили в ремонт психиатрические книги и можно было украдкой их почитать. А кроме того через мастерские устанавливалась связь с другими корпусами, где тоже сидело много наших.

Перед обедом час прогулки, потом снова работа. В основном же все жили ожиданием центральной комиссии. Приезжала она из Москвы примерно раз в восемь месяцев, и все наши надежды были связаны с ней.

Анекдоты о сумасшедшем доме, как известно, начинаются с приезда туда комиссии. И действительно наша комиссия была анекдотической. Работала она всего два-три дня и за это время должна была обследовать тысячу больных – на каждого приходилось полторы-две минуты, не больше. Всем задавались два стереотипных вопроса: как относитесь к своей болезни, к своему делу (то есть проявляете ли "критику") и что собираетесь делать после освобождения. Выяснить состояние пациента на такой комиссии было невозможно – выписывали просто тех, кого рекомендовала больница.

Подавляющее большинство политпсихов с готовностью проявляло критику – упрямиться казалось бессмысленным, пример Самсонова был у всех перед глазами. Рассуждали примерно так: лучше выйду и еще чего-нибудь сделаю, еще раз попаду, чем так вот без толку всю жизнь просидеть в дурдоме. Перед кем отстаивать принципы – перед психиатрами? Только и добьешься, что уколов сульфазина. Особо упрямых, кроме того, через несколько лет отправляли в Сычевку – как хронических больных, не поддающихся лечению. Из Сычевки же в то время никто не выходил живым.

Это вот ложное раскаяние, признание своей болезни казалось всем настолько оправданным и разумным, что никто даже не стыдился его, не скрывал от сокамерников, а, вернувшись с ко-

миссии, охотно рассказывали во всех подробностях – даже в лицах изображали эту сцену. Один побегушник даже стихами написал председателю комиссии профессору Торубарову и вручил на комиссии:

Торубаров дорогой,
Отпусти меня домой,
Я в посольство ни ногой,
За границу – ни другой.
Торубаров дорогой,
Отпусти меня домой!

Но психиатрам уже мало казалось просто формального раскаяния – они хотели достоверности. Поэтому месяцев за пять до комиссии тем, кому подходило время выписываться, устраивали провокации. Сестры, надзиратели, врачи начинали их задирать, старались вывести из равновесия, оскорбить, и, если пациент не выдерживал, реагировал, как всякий нормальный человек, – тотчас же в его истории болезни фиксировалось, что у него "изменилось состояние", и ни о какой выписке в ближайшую комиссию речи быть не могло.

Провокации устраивали не только политическим – это было обычной практикой. Врач, предлагая выписать больного, брал на себя тем самым ответственность, и, если этот больной, освободившись, снова попадался, спрашивали с врача. Естественно, что врач хотел удостовериться, что его подопечный в условиях, близких к нормальным – то есть в провоцирующих, не повторит прежнего. Допустим, санитар дал тебе по уху или отнял еду, а ты в ответ "возбудился" – где гарантия, что ты вновь не попадешь? Там, на свободе, в повседневной жизни, тебя еще и не такое ждет. И если ты не обрел нужной степени покорности, не приучился подавлять свои реакции, то лучше посиди пока что здесь. Для жизни среди нормальных советских людей ты еще не годишься.

И приходилось быть постоянно начеку, в напряжении, не позволять себе забыться ни на секунду и контролировать каждый свой жест. И ни единому слову врачей или сестер нельзя было верить.

Результаты комиссии больным знать не полагалось. Выписанным же обычно врач с глазу на глаз давал понять, что их выпи-

сали. Этим-то и пользовались для провокаций. Больному после комиссии сообщали под секретом, что он якобы выписан и через два-три месяца, после суда, освободится. Суд был простой формальностью, так как обычно не отклонял решений комиссии. Вот тут-то и проявлялись в человеке все его склонности, которые он скрывал до комиссии, тут-то за ним и смотрели, провоцировали, задирали. Он ведь считал, что уже одной ногой на воле, дело в суде и врачи его остановить не могут. Бывали случаи – даже на вахту отводили, вроде совсем освобождаться. Человек прощался со всеми, собирал вещи и шел в полной уверенности, что идет на волю. Дорогой же, эти вот последние 50 метров, медсестра все пытается его спровоцировать, вызвать на откровенность, и уж у самых ворот вдруг поворачивают его обратно. Действительно, бывало, с ума сходили от этих провокаций.

Мне не пришлось каяться и бояться подвоха. Объявив меня симулянтом, Калинин требовал вернуть дело на следствие. КГБ переполошился, и на комиссии создалась совершенно нелепая ситуация. Члены комиссии доказывали, что я был прежде болен, Калинин же чуть не обвинял их в укрывательстве преступника от справедливой кары. И чем более естественно я себя вел, тем больше давал комиссии доказательств своей "болезни". Проявление критики, раскаяния, наоборот, только усилило бы позиции Калинина. Он проиграл, и я был выписан с диагнозом "психопатия паранойяльного круга в стадии компенсации".

Причудливая штука жизнь: признайся я ему насчет комариков – сидеть бы мне года три, пока он оспаривал бы мои диагнозы да делал бы из меня малярика. Решающую же роль, конечно, сыграл КГБ. В нашем отделении сидел еще один не кусанный комарами – простой убийца по фамилии Лавров. Бог его знает, действительно ли был он болен в момент убийства или симулировал – поди пойми через три года, но только наш дедушка Калинин объявил его симулянтом. Для Лаврова же это означало расстрел. Что только он ни делал: и вены пытался перегрызть, и на санитаров бросался, и даже ел свои испражнения – бесполезно. Калинин неизменно говорил ему своим тихеньким голоском:

– Вы вот, Лавров, экскременты кушаете, а напрасно – я вас все равно здоровым признаю... – Так и упек парня под расстрел.

Легко себе представить недоумение и негодование Калинина, когда ему не дали "разоблачить" меня. Он, видимо, всерьез считал поведение коллег заговором против власти и по инерции жил еще теми временами, когда политзаключенных спасали в сумасшедших домах от расстрелов и лагерей уничтожения, а долгом патриота было их разоблачать. Рассказывали мне потом знакомые психиатры, что в тридцатые годы Калинин был известным доносчиком, но вот не уловил новых веяний, не понял задач психиатрии в период развернутого строительства коммунизма ... – и вскоре его выгнали на пенсию.

26 февраля 1965 года я был выписан на попечение своей матери как подлечившийся параноик. Мне нечего было бояться провокаций, и к воротам я шел весело, беззаботно. Попрощался с ребятами и потопал: впереди была свобода. Ни санитаров, ни шприцев, ни решеток – живи да радуйся. Прощаясь, один из ребят сказал:

– Вот выйдешь за ворота и все забудешь, даже письма не напишешь. Так всегда бывает. Все уходят, обещают золотые горы, а потом хоть бы открытку прислали!

– А что? – подхватил другой. – Сейчас на работу, учиться, потом женишься – и все. На улице встретишь – не узнаешь...

Что ж, может быть, кому-то это и удается, может быть... Только я и через десять лет помню наш *способ*, которым так и не пришлось воспользоваться, помню и жужжание шин троллейбуса, уходящего по ночному Ленинграду.

Может ли быть ностальгия по сумасшедшему дому, тоска по тюрьме?

Вчера еще, задыхаясь в атмосфере безумия, пропитавшего все, точно смола корабельную палубу, ты мечтал лишь – Господи, только бы выбраться! Много ли тебе нужно? Почему ты вечно недоволен, вечно ищешь лучшего и отравляешь себе те простые, бесценные моменты радости, которые всегда под рукой – только пожелай... Зачем человеку богатства, роскошные дворцы и вечная погоня за удовольствиями, когда простой бублик, купленный за пятак на вокзале, который ты будешь не торопясь жевать, идя по улице, – драгоценней всего на свете.

Пьянея от уличной сутолоки, от обилия нормальных человеческих лиц и цветных одежд, ты сядешь в трамвай и погромыха-

ешь вдоль бульвара. Не нужно настороженно приглядываться к людям и внутренне напрягаться, когда к тебе обращаются с вопросом. А каждый новый перекресток, каждая улица полны жизни, как каждое слово – смысла. И на любой остановке ты можешь сойти, смешаться с толпой, балдея от цветов и звуков. Можешь даже на ходу спрыгнуть.

Главное – ничего не хотеть, не желать, не стремиться, и тогда вечерние теплые сумерки, огни в окнах и шарканье тысяч ног придут к тебе как неожиданный подарок. А запах полей, смолистый дурман хвои или журчанье воды... Тащись себе пыльными дорогами через опустелые деревеньки, ночуй в стогах и, просыпаясь от утреннего холода, вновь топай по полям, окутанным туманом. Не нужно только думать о завтрашнем дне, не нужно ж д а т ь, и тогда каждый луч солнца – удивление, каждое утро – открытие.

Но стоит оказаться за порогом тюрьмы – все летит к черту. И первый же человек, которого ты видишь, грязный дощатый забор напротив, покрытый обрывками афиш, облупленный трамвай, торопливые толпы людей и серые мертвые корпуса домов – все это не более чем декорация и абсолютно не имеет к тебе отношения.

Движение, лица, краски, звуки причиняют нестерпимую боль, и, пока трамвай со скрежетом лезет в гору, ты глядишь себе под ноги в замусоренный пол и ждешь. Каждый, кто придвинулся к тебе слишком близко, заставляет съеживаться все твои внутренности – скорей бы прошел мимо. Этот шумный мир не терпит невовлеченных – он толкает тебя, тянет, заставляет, требует, грозит и взывает к благоразумию.

Чего вы хотите от человека? Оставьте меня в покое, дайте побыть одному. Не шевелите меня. Я хочу присесть вот здесь, один, смотреть в пространство, ничего не видя. Мне нужно заползти куда-нибудь в нору, где темно и сыро, потому что моя старая кожа должна слинять и отрасти новая. Старая причиняет мне боль. Тише, не кричите, от ваших криков внутри все хохочет эхом – гулким эхом, как в пустом здании, и никакие слова не рождают отклика мыслей.

Но этот мир – он такой добрый, в нем столько жестокого желания спасти тебя. Он оборачивается лицами друзей и родных, их услужливой суетой, советами и надоедливой помощью. Тебя

перетаскивают с места на место за загривок, как собака своих щенков, и остается только глупо улыбаться – надо же быть благодарным. О чем говорить с ними, что ответить, чтоб не выглядеть совсем уж дураком... Они все стали такими умными и ждут от тебя глубокомысленных замечаний – тебе же сказать абсолютно нечего, пустота. Мы в разных измерениях, в разных ритмах. Мне так уютно было с моими моложавыми простыми идиотами. Зачем меня сюда вытолкали? И я понимаю теперь своего соседа по камере. Он застрелил жену, тещу, тестя и соседку. Оглядевшись по сторонам, он вдруг увидел кошку – застрелил и ее. Чтоб не смотрела вопросительно.

Какой там к черту бублик! В первый же день я напился до колокольного звона. И, высунув голову в окно вагона, навстречу ветру, гари и мелькающим в сумерках столбам, глядел вперед, на приближающееся зарево Москвы. Я не понимал еще, что́ сделаю и как, но твердо знал: не будет больше пощады ни им от меня, ни мне от них. Нет больше в этой войне запрещенных приемов.

Медленно, как после операции, когда проходит анестезия и возвращается способность чувствовать, а с нею – волна тупой нестерпимой боли, и эта боль смешивается в сознании с запахом бинтов, йода, карболки и белыми стенами больничной палаты, – возвращалась ко мне жизнь. Кто сказал: я мыслю, значит существую? Напротив: мне больно, значит жив.

Вновь я бродил по московским переулкам, беседовал с арбатскими особняками, но не было больше добрых призраков прошлого века с их наивными трагедиями – были у меня теперь свои призраки.

Забредал я в наш старый двор, где все еще стояли дома с надписью синей краской – Д.Н.С. По-прежнему сидели на солнышке древние бабки, копошились в пыли дети, сушилось белье – точно ничего не произошло в мире за это время. По-прежнему стояло на пригорке серое здание школы, но и оно не вызывало больше мучительных воспоминаний – все призраки совести остались в Лефортове.

Мы вновь шли с бабушкой вдоль реки, по набережной, через Красную площадь и в Александровский сад.

Кто царь-колокол поднимет,
Кто царь-пушку повернет,
Шапки кто, гордец, не снимет
У святых Кремля ворот...

Никто не ломил шапок, и толпы людей валили мимо, суетясь, пихаясь, словно муравьи – муравьи по дну кружки. Зачем, куда?

И я, затесавшись в их сутолоку, бежал, пихался, суетился, стараясь уловить их ритм, их смысл, точно щепка, которую несет водой. Куда, зачем? Казалось мне, что в каждом встречном я узнаю́ знакомого, призрачного выходца ОТТУДА и, молча обменявшись с ним быстрым, понимающим взглядом, спешу дальше, к устью этого потока, к его цели.

Ох, этот мир! Такой серьезный, такой озабоченный. Столько в нем таинственной многозначительности, что никогда не понять мне его, никогда не будет он мне больше родным. Я ненавижу его бесцельную деловитость. Я несу сквозь него свою тоску, но высокие современные здания из стекла и бетона самодовольно смеются надо мной:

– ПЕРВЫМИ НА ЛУНЕ БУДУТ СОВЕТСКИЕ КОСМОНАВТЫ!

Я бегу, как сумасшедший муравей поперек нехоженных муравьиных тропинок. Я хочу вырваться из города, в лес, но серое тяжелое здание вокзала кричит мне вслед:

– ССЫ НА ПОЛ!

И даже добродушный старый московский домик, весь потрескавшийся от времени, точно покрытый морщинами, глядит на меня сквозь очки окон и спрашивает вкрадчивым голоском, когда я доверчиво иду к нему:

– ВАС КОМАРИКИ НЕ КУСАЛИ?

Когда-то хотел я заниматься биологией. Любопытно было понять, какая пружина толкает вверх стебелек из семечка, разворачивает листья к свету, раскрашивает бабочек. Теперь же, глядя на зеленеющие бульвары, я вспоминал паренька, с которым мы виделись только на прогулке – он был на другом отделении. Я ни о чем его не спрашивал, не хотел знать, нормальный или нет, даже имени его не знал. И мы просто молча ходили вдоль забора. У него были пронзительно синие глаза – не голубые, а си-

ние. Однажды он с загадочной улыбкой поманил меня в угол, где из-под забора пробивалась трава, и там показал цветок – свой цветок, который он ото всех скрывал. Уродливый цветок с двумя чашечками, росшими из одной головки...

Я покупаю бублик за пять копеек и медленно жую его, но нет в нем ни вкуса, ни радости.

Устав, я забредал к кому-нибудь из старых друзей – чаще всего к Юре Титову. Мы были знакомы со времен Маяковки, и он был одним из тех художников, которым я устраивал выставку перед арестом. Пожалуй, только здесь я чувствовал себя свободно и мог часами смотреть, как он пишет свои картины. То ли комната, загроможденная книгами и иконами, знакомая мне до мелочей, то ли его медлительная манера говорить, неторопливые движения, запах краски, полумрак – но лишь здесь у меня было чувство, что время не движется. Не нужно за ним гнаться. Да и картины – огромные полотна с обуглившимся, горящим Богом, опустелой сожженной землей – действовали на меня успокаивающе. Чаще всего мы просто молчали. А напившись к ночи, смотрели, как корчится в огне Бог, чернеет мертвая земля. Не было больше пощады в мире.

Только слышно было за окном, как жужжат по асфальту шины уходящих троллейбусов.

Словно назло мне – Москва пахла пеленками, и, кажется, все мужское население катило по бульвару детские коляски. Переженились мои приятели, обзавелись детьми и исчезли. Изредка встретишь кого-нибудь – трусит домой с работы, глаз от земли не поднимет.

– Извини, старик, некогда. Жена, дети, работа...

Был человек и не стало. Осталась производительная человекоединица, так и не научившаяся ходить на двух конечностях, без дополнительной опоры в виде колясочки.

Часть ребят с Маяка, в основном – благодаря Юрке Галанскову, все еще собирала сборники стихов. Но и в этом уже не было жизни – отошло время. В воздухе было нечто новое, новые призраки населяли Москву. Всё чаще и чаще начинали поговаривать о реабилитации Сталина, и наши худшие опасения грозили сбыться. Вскоре после отстранения Хрущева пошли слухи о каких-то списках – не то две, не то пять тысяч человек, ко-

торых надлежало репрессировать в первую очередь. Указывали прямо на Шелепина как на кандидата в Сталины.

Какие уж там стихи!

Словно танковые колонны, двигались через город вереницы колясочек с младенцами. Их родители надеялись не попасть в те пять тысяч. И черной молнией неслись в Кремль лимузины — уточнять списки.

Отчего ленинградцы всегда заговорщики? Откуда у них эта подпольная психология? В Москве, как в большой гостиной, всегда найдешь, кого хочешь, всегда тут же познакомят — и просить не надо. Постоянно толпится народ в квартирах, галдеж стоит такой, что собственного голоса не слышно. Сидят за полночь по московским кухням и всё спорят, спорят. В Москве можно нагрянуть к знакомому в полночь с большой компанией, и никто не удивится. А если с бутылкой, так и обрадуются. И неизменно к утру спор возвращается к извечной теме — когда же это все началось? В 1914-м? В девятьсот пятом? Или уж с декабристов все пошло вкось? Иные идут еще дальше — возводят хулу на Петра: он-то и есть главный злодей, изнасиловал бедную самобытную Русь, и родила она ублюдка, нам на горе.

По крайней мере, одно его злодеяние очевидно — он построил Петербург, город заговоров. С недобрыми мыслями строил — видать, с похмелья, и оттого вечно расползается по городу петербургский туман, отравляет всех страстью к конспирации. Сидят по домам петербуржцы, копят потаенные мысли и всякое знакомство воспринимают как нелегальный союз.

Приезжая в Питер с Московского вокзала ранним летним утром, я бродил по его пустынным ослепительным проспектам, любовался роскошными фасадами. Каждый дом — вельможа, смотрит полупрезрительно, свысока. Но стоит забраться внутрь, в череду сумрачных, сырых дворов-колодцев, и понятно становится — вот она где коренится, потаенная петербургская психология. С ними и говорить-то можно только с глазу на глаз, шепотом, и никогда ни с кем не познакомят: "Что вы, что вы, живу одиноко — связей не поддерживаю..."

"Батенька", мой сокамерник по спецбольнице, с первого взгляда возбуждал подозрение простого советского человека — слишком он был похож на иностранного шпиона из советских

кинофильмов. Невысокий, полный, лысый, с настороженным взглядом за толстыми стеклами очков – вылитая копия агента мирового империализма. Даже школьники на улице останавливались и пристально смотрели ему вслед – не позвать ли милиционера. Моментально вспоминался им кинофильм про то, как бдительные пионеры поймали американского шпиона.

Пробираясь к нему домой по питерским дворам и черным лестницам, я неизменно ловил настороженные взгляды соседей: "Опять к нашему шпиону гости..."

Жил он с двумя древними тетушками и, хоть было ему уже под пятьдесят, не мог избавиться от их постоянной опеки.

– Боренька, ты опять не поел с утра как следует, – говорила одна.

– Надень теплый свитер, сегодня холодно, – вторила другая.

– Ну, тетя, ну, хватит. Это же невозможно,в конце концов, – гнусавил Батенька. – Я вас прошу, перестаньте, хватит.

При всем при том был он отчаянный заговорщик, отсидел уже три раза в спецбольнице и настолько привык к своей двойной жизни, что, кажется, сам с собой конспирировал. Каждый раз, освобождаясь, он неизменно восстанавливался в партии, устраивался на идеологическую работу: писал статьи для партийной прессы, преподавал – словом, "вкрадывался в доверие", "маскировался". Попав как-то со мной в обычную шумную московскую квартиру, он пришел в неописуемый ужас.

– Это завал, – шипел он мне в ухо, – нас всех засекли. Надо уходить немедленно. – И больше не мог я затянуть его в Москву.

Все подробности о списках и о предполагаемой реабилитации Сталина он уже знал из партийных источников и, конечно, не сидел сложа руки. Очередной заговор был у него в полном разгаре. В ленинградском тумане друзей не найдешь, а заговорщиков всегда пожалуйста.

Словно помолодев на двадцать лет, шнырял он по Ленинграду – бесконечные конспиративные встречи, явки, переговоры.

– Боренька, надень шапку, сегодня холодно. И не приходи поздно.

– Ну, тетя, хватит, перестаньте же наконец, – гнусавил он, закрывая за собой дверь.

Так же вот, наверно, уходили они в петербургский туман в

марте 1881 года, унося аккуратные сверточки. А через час у Летнего сада, там, где карета царя сворачивает вдоль Мойки, точно чугунным кулаком стукнуло по мостовой, сверкнуло пламя, столбом взвилось вверх, заржали раненые казачьи кони... И не важно, что разъяренные дворники били потом по всему городу подозрительных студентов, а новый царь принимал меры к поимке смутьянов — неудержимо начала раскачиваться с этого часа тяжкая колода нашей истории. Гадай теперь, когда началось — в пятом, в четырнадцатом или в семнадцатом... А поколение за поколением, ослепленные этим взрывом, ладили новые и новые бомбы и вновь уходили в петербургский туман.

Это ведь всегда так заманчиво, так просто и оправданно: разве не справедливо отплатить злодеям той же монетой? Ответить на красный террор — белым террором, а на белый — красным. Смотрите, они пытают нас, это звери, а не люди! Почему же нельзя пытать их? Глядите, они открыто воруют у нас — чего же мы ждем? Безнаказанность только поощряет их, развязывает им руки. И раз государство — все равно насилие, то почему ж не насиловать ради справедливости, ради их же спасения?

Что ж, может быть, для них, уходивших с аккуратными сверточками к Летнему саду, это казалось бесспорным. Я же родился в год, когда все человечество, желая того или нет, истребляло себе подобных ради того, какие будут на земле концлагеря — красные или коричневые. Не было у них иного выбора. Похоже было, что выход так до сих пор и не найден — как раз в это время американцы начали бомбить Северный Вьетнам.

Ясно мне было одно — освобождение не приходит к человеку извне. Оно должно прийти изнутри, и пока большинство из нас не освободилось от подпольной психологии, от жажды справедливости, по-прежнему будут сидеть по кухням наши потомки и спорить: когда же все это началось? — Точно муравьи на дне кружки.

Сергей Петрович Писарев был совершенной противоположностью Батеньке. Четырнадцатилетним мальчишкой в разгар первой мировой войны сбежал он из дому — воевать за царя и отечество. Поймали его уже на фронте и, чтоб опять не сбежал, этапировали домой вместе с арестантами. Дорогой, в Ростовской тюрьме, он встретился с арестованными большевиками и с тех

пор был коммунистом до мозга костей. Где он только ни сидел! В гражданскую – под расстрелом в контрразведке Деникина, в 37-м – в Лефортовской тюрьме, в 53-м – в Ленинградской спецбольнице, и ничто не могло поколебать его коммунистической веры. При всем при том он постоянно воевал со своей пролетарской властью.

В 35-м году, когда арестовали его друга, он добивался его освобождения, писал протесты и даже собирал подписи. Естественно, в 37-м сам оказался "врагом народа". Пытали его жестоко и на дыбе в Лефортове сломали позвоночник – он ничего не подписал.

Со сломанным хребтом бросили его, точно собаку, подыхать на нары Бутырской тюрьмы и забыли там. Целый год он пролежал, не в силах шевелиться, – сокамерники кормили его и носили на оправку. И целый год он писал жалобы, мелко-мелко, на клочках туалетной бумаги. Не о себе – о своем незаконно арестованном товарище. Сокамерники только смеялись:

– Кому пишешь? Дальше надзирателя твои жалобы не идут. Пожалей бумагу, и так не хватает.

А через год, в 1938-м, его вдруг неожиданно вызвали. Куда – неизвестно. С трудом дотащили его надзиратели до кабинета. Помощник Генерального Прокурора открыл свою папку и спросил:

– Вы писали? – И тут Писарев увидел все свои клочки, аккуратно подобранные, пронумерованные. – Ваш товарищ, – сказал прокурор, – был действительно честным коммунистом, безвинно арестованным бандой врагов-вредителей, прокравшихся в Органы. Теперь они разоблачены и понесут наказание. К сожалению, ваш товарищ не дожил до этого дня – он умер под следствием.

Оказалось, за этот год все переменилось: Ежов был расстрелян, а с ним вместе – и его приближенные оказались врагами. Новым начальником НКВД был назначен Берия, и пытки были приостановлены.

Освободившись таким чудесным образом, Писарев тут же потащился в ЦК и стал доказывать, что все, сидевшие с ним в камере Бутырской тюрьмы, – ни в чем не повинные люди, оговорившие себя под пытками. И ухитрился многих-таки освободить. Была тогда такая "бериевская оттепель", о которой мало кто помнит.

В войну Писарев был на фронте политкомиссаром. Как уж он ухитрился воевать со своим сломанным позвоночником – уму непостижимо, только доподлинно известно, что вытащил он на себе из окружения одного раненого.

А в пятьдесят третьем, в разгар дела "врачей-вредителей", он подал докладную записку Сталину, где утверждал, что это дело сфальсифицировано, а аппарат МГБ – "лжив сверху донизу". Видимо, его дерзость так поразила Сталина, что Писарева тут же загнали в Ленинградскую психбольницу. Но и там сидя, он писал свои бесконечные жалобы, тайком передавая их на свиданиях. После смерти Сталина добился Писарев не только полной реабилитации, но и опровержения диагноза. Более того, пользуясь своими связями в ЦК, он добился назначения специальной комиссии, которая обследовала Институт Сербского, Ленинградскую и Казанскую спецпсихбольницы и установила, что в них содержится много здоровых, невиновных людей, заключенных туда по политическим причинам. Многих тут же освободили – шла "хрущевская оттепель".

Разумеется, каждый раз, освободившись, Писарев восстанавливался в партии, но отнюдь не для камуфляжа, как Батенька, а потому что продолжал искренне верить в коммунистические доктрины. Считал себя последователем Ленина. Сталина же настолько ненавидел, что никогда не произносил его имени – называл не иначе как Джугашвили.

Разумеется, во всех несчастьях виноват у него был Сталин, который, по его словам, совершил в 30-е годы государственный переворот, уничтожив истинных ленинцев.

– Партия полностью переродилась, – говорил он медленно, часто переводя дыхание в своем специальном кресле с высокой спинкой. – В этих условиях мы все должны вступать в партию, чтобы оздоровить ее. Вот вы – честный человек. Ваше место в партии, чтобы изнутри бороться с перерожденцами.

Такая логика была мне непонятна. Я же не верю в коммунизм, в любой – ленинский или сталинский. Как же мне вступать в партию?

(Один наш приятель зло острил, отвечая на такие уговоры: "Это все равно, что мне предложили бы жениться на сифилитичке и родить с нею здоровых детей: и она не выздоровеет, и дети будут больные, и сам заражусь".)

Но мое неверие в коммунизм не смущало Писарева, и он принимался доказывать, что я фактически в него верю, только сам этого не осознаю. Ленин, по его словам, хотел именно того, чего хочу я, и он всячески уговаривал меня перечитать Ленина.

Жил он в крохотной комнатушке, забитой до отказа томами классиков марксизма и подшивками газеты "Правда" чуть ли не с первого выпуска. Реабилитировавшись очередной раз, он стал получать какую-то смехотворно маленькую пенсию, но даже ее всю тратил на книги. Питался же сгущенным молоком. Часто знакомые, зная его положение, тайком оставляли у него банки этого молока, засунув их куда-нибудь незаметно.

Иногда, на каком-нибудь особенно остром этапе своей беспрерывной борьбы с перерожденцами, он вынужден был скрываться и жил тогда у кого-нибудь из знакомых. Он тоже знал о списках, о предполагаемой реабилитации "Джугашвили" и, конечно, вел свою борьбу – писал бесконечные петиции всем партийным инстанциям.

Я слушал его с интересом, но принять эту позицию никак не мог. Не только внутрипартийная борьба за чистоту ленинизма была для меня неприемлема – даже апеллировать к властям я не мог, это было бы фактическим признанием их с моей стороны. Даже просто работать на государственном предприятии значило фактически поддерживать эту власть, построенную на насилии.

Все чаще и чаще я стал бывать у Алика Вольпина. После нашего знакомства примерно в сентябре 61-го года, еще до разгрома Маяка, а потом и во время допросов по делу маяковцев виделись мы довольно часто и даже работали одно время вместе, в НИИ. Там же вел он семинар по семантике, а я ходил его слушать. Когда я сидел, он бывал у моей матери. Это вообще было его правилом – навещать родственников арестованных, даже если он с ними и знаком не был. И, конечно же, первым делом разъяснял он всем законы.

Поражало меня, с какой серьезностью он рассуждал о правах в этом государстве узаконенного произвола. Как будто не очевидно было, что законы существуют у нас только на бумаге, для пропаганды и везде оборачиваются против тебя. Разве не говорили нам в КГБ вполне откровенно: "Был бы человек, а

статья найдется". *Закон что дышло* — и поворачивали это дышло всегда против нас. Решающим, стало быть, был не сам закон, а кто его будет поворачивать.

Всего десять лет назад вскрылось, что эти самые законы вполне уживались с убийством чуть ли не двадцати миллионов ни в чем не повинных людей. Сам автор нашей Конституции, Бухарин, едва успел ее закончить, как был расстрелян. Какой же смысл толковать о законах? Все равно что с людоедом толковать о человечности.

Да и сам Алик уже дважды попадал в тюремную психиатрическую больницу, и всего лишь за чтение своих стихов. Не на площади даже, а дома, своим друзьям. Неужели это его не убедило? Словом, казался он мне чем-то наподобие тех закоснелых марксистов, которых даже тюрьма уже просветить не может. Его вечно всклокоченный вид, совершенная непрактичность, неприспособленность к жизни, абсолютное безразличие к тому, как он выглядит, лишь дополняли картину, дорисовывали почти хрестоматийный образ чудака-ученого. Он и был ученым — математиком, логиком.

Удивительно подкупала в нем совершенно детская непосредственность, незащищенность, неожиданная в сорокалетнем человеке. Думаю, большинство его друзей — почти все прошедшие через сталинские лагеря — любили в нем именно эти качества. На рассуждения же о законности смотрели снисходительно, как на простительное чудачество, и только с улыбкой покачивали головами, когда он очередной раз разворачивал свои логические построения.

То ли постоянные занятия логикой наложили отпечаток, то ли, напротив, выбрал он этот предмет именно в силу особой близости своего мышления к формальной логике, только все его рассуждения строились строго по принципам логических схем. Любое утверждение, с его точки зрения, должно быть или истинным, или ложным. Относительности этих понятий он совершенно не признавал и очень сердился на обычную в разговорной речи неточность выражений, считая ее чуть ли не основной причиной человеческих несчастий. Собственно, все его рассуждения истекали из простого, по-детски наивного принципа "не хочу лгать". Именно мы сами, внося в свою жизнь ложь, двусмысленность и неопределенность, затем страдаем от них. Но по-

скольку истинность любого суждения всегда в реальной жизни условна, то все его рассуждения, особенно в споре, моментально обрастали бесконечными отступлениями, оговорками, сносками, исключениями, поправками, неизбежно приводили к проблеме соответствия самого слова тому, что оно обозначает, и кончались в таких дебрях семантики, что никто уже ровным счетом ничего понять не мог. Один только Алик, озаряя собеседников голубым взглядом, считал, что все предельно просто. Только не хватает людям терпения докопаться до истины.

Легко себе представить, что́ получалось от столкновения Алика с советской карательной машиной. Помню, уже несколько лет спустя вызвали Алика на допрос в КГБ по одному делу. Жена, зная по опыту, чем это может кончиться, заранее предупреждала следователя добром отказаться от этой затеи. Но тот не внял. Не знаю, чем начался допрос. Доподлинно известно лишь, что через два часа Алик уже чертил следователю на пустом бланке протокола какие-то схемы, круги и треугольники, пытаясь пояснить одну, самую простую из своих мыслей. Через четыре часа, когда они, пройдя краткий курс теории множеств, добрались наконец до проблемы денотата, взмыленный следователь в полуобморочном состоянии звонил жене Алика, умолял ее забрать мужа. Естественно, она отказала, справедливо считая, что следователь сам виноват, не послушавшись ее сразу.

– Теперь как знаете, так и выпутывайтесь, – ответила она.

Счастье еще, что в этот раз Алик был вызван как свидетель, а не как обвиняемый. Иначе следствие вполне логично перешло бы для него в психиатрическую экспертизу. Но ведь и психиатры – отнюдь не математики и не логики. ''Истинность'' и ''ложность'' отнюдь не являются предметами психиатрического исследования. Поэтому все следствия кончались для Алика одинаково – психиатрической больницей специального типа для особо опасных.

А что еще могло получиться? Представьте себе на минуту, что КГБ вдруг придет в голову арестовать компьютер. С одной стороны, компьютер невозможно запугать или запутать, склонить к компромиссу, ложному признанию или даже частичной лжи. С другой стороны, компьютер просто не поймет двусмысленного языка следственных вопросов, советских законов. Его логические схемы либо будут выдавать ответ типа ''истинно-

ложно", либо если попытаться получить развернутый ответ – последовательность рассуждений, то выскочит длинная перфолента с какими-то бесконечными единичками и нулями. Что прикажете с ней делать? Подколоть к протоколу? Ручаюсь, что дело кончится, как у Алика, – спецбольницей. Ведь сколько ни стучи кулаком по столу – ничего не произойдет, разве что лампочка перегорит.

Я отчаянно спорил с Аликом, иногда чуть ли не до утра. И не только потому, что в 19-20 лет нужно со всеми спорить, но просто весь ход его рассуждений, все отправные точки были для меня неприемлемы, а все, что он говорил, казалось не имеющим отношения к жизни. Но, возвращаясь под утро домой в совершенно горячечном состоянии, я вдруг обнаруживал с ужасом, что полностью усвоил очередное его построение. Дело в том, что не только советская психиатрия обогащалась от столкновения с Вольпиным, но и он, в свою очередь, обогащался от столкновения с ней и с советскими законами. Быть может, впервые за 50 лет эти законы оказались таким образом пропущенными через компьютер и прошли тест на "истинно-ложно". Я же получал уже готовый продукт.

Центральной в его рассуждениях была *позиция гражданина.* Она-то и давала до смешного простой выход из всех моих затруднений.

Затруднения эти начинались, когда от меня требовали быть советским человеком. Понятие это до того расплывчатое и демагогическое, что никогда точно не знаешь, какие обязанности оно налагает. Советский – это значит с энтузиазмом строящий коммунизм, единодушно одобряющий политику партии и правительства, гневно осуждающий мировой империализм. Да мало ли что завтра выдумает пропаганда? Официальная идеология создала какой-то мифический образ советского человека, и каждое новое ее изобретение становилось чем-то вроде директивы для всех.

С понятия "советский человек" и начиналось все беззаконие в стране. В него так же, как в понятие "социализм", каждый очередной правитель вкладывал, что хотел. И спорь с ними потом на партсобраниях, как Писарев, – критериев-то никаких нет. Высший судья в этом вопросе – ЦК партии. А всякое иное толкование – уже преступление.

— Вы же советский человек, — говорит с напором сотрудник КГБ, — а значит, должны нам помочь.

И что ты ему скажешь? Если не советский, то какой? Антисоветский? А это уже семь лет лагерей и пять ссылки. Советский же человек обязан сотрудничать с нашими доблестными органами — это ясно, как день. За что, к примеру, меня выгнали из университета? За то, что не соответствую "облику советского студента".

Между тем, доказывал Вольпин, никакой закон не обязывает нас быть "советскими людьми". Гражданами СССР — другое дело. Гражданами СССР все мы являемся в силу самого факта рождения на территории этой страны. Однако никакой *закон* не обязывает всех граждан СССР верить в коммунизм или строить его, сотрудничать с органами или соответствовать какому-то мифическому облику. Граждане СССР обязаны соблюдать писанные законы, а не идеологические установки.

Далее, понятие советской власти. Вы против советской власти или за? Я могу думать что угодно, но если я официально заявлю, что против, — это уже антисоветская пропаганда. Опять семь плюс пять. Что ж мне — лгать? Или сознательно нарушать законы? Однако этого и не требовалось. Согласно Конституции СССР, политическую основу советской власти составляет власть советов депутатов трудящихся, тот самый бутафорский орган, который на деле имеет меньше власти, чем рядовой милиционер. Ни о какой партии в этом разделе Конституции и помина нет.

— Возражаю ли я против власти некоего парламента, который называется Совет депутатов трудящихся? — рассуждал Вольпин. — Нет, не возражаю. Тем более что абсолютно нигде не сказано, что он должен быть однопартийным. Название, конечно, можно было бы придумать и получше.

Это рассуждение было чрезвычайно важным, так как на практике власти автоматически объявляли антисоветским все, что им не нравилось. Рассуждая же строго юридически, никто из нас не совершал преступления, пока не выступал прямо против власти советов депутатов трудящихся. А кому она мешает?

Создавая законы в основном для пропаганды, а не для исполнения, наши идеологи перемудрили. Им, в сущности, ничего не стоило написать вместо Конституции: "В СССР все запрещено,

кроме того, что специально разрешено решением ЦК КПСС". Но это, наверное, вызвало бы лишние трудности, несколько шокировало бы соседние государства. Сложнее стало бы распространять свой социализм за рубеж, легковерным людям. А потому они понаписали в законах много свобод и прав, которых просто не могли бы допустить, – справедливо считая, что не найдется таких отчаянных, чтобы потребовать от них соблюдения этих законов.

Поэтому идея Вольпина в переводе на человеческий язык с машинного сводилась к следующему:

Мы отвергаем этот режим не потому, что он называется социалистическим: что такое социализм, никакой закон не определяет, и, следовательно, граждане не обязаны знать, что́ это, – а потому, что он построен на произволе и беззаконии, пытается навязать силой свою идиотскую идеологию и заставляет всех лгать и лицемерить. Мы хотим жить в правовом государстве, где закон был бы незыблем и права всех граждан охранялись бы, где можно было бы не лгать – без риска лишиться свободы. Так давайте жить в таком государстве. Государство – это мы, люди. Какими будем мы, таким будет и государство. Данные нам законы при внимательном рассмотрении вполне позволяют такую интерпретацию. Давайте же – как добрые граждане нашей страны – соблюдать законы, как мы их понимаем, то есть как они написаны. Мы не обязаны подчиняться ничему кроме закона. Давайте защищать наш закон от посягательств властей. Мы – на стороне закона. Они – против. Конечно, в советских законах есть много абсолютно неприемлемого. Но разве граждане других, свободных стран довольны всеми своими законами? Когда закон гражданам не нравится, они законными средствами добиваются его пересмотра.

– Но ОНИ же не могут обойтись без произвола, – возражали Алику. – Если они будут строго соблюдать законы, они просто перестанут быть коммунистическим государством.

– На самом деле я тоже так думаю, – заговорщицким шепотом соглашался Алик. И все смеялись.

– Чудак ты, Алик, – говорили ему. – Ну, кто же будет слушать тебя с твоими законами? Как сажали, так и будут сажать. Какая разница?

– Ну, если кто-то нарушает законы, ущемляет мои законные

права, я как гражданин обязан протестовать. Мало ли какая банда преступников попирает законы – это не означает, что я перестаю быть гражданином. Я обязан бороться всеми законными средствами. Прежде всего – гласностью.

И опять все смеялись: Гласности захотел! Где ж ее взять, гласность? Газета "Правда" что ли поможет?

Но, отсмеявшись, приходилось согласиться, что, отвечая беззаконием на беззаконие, никогда не обретешь законности. Другого пути просто не было. Так же, как, отвечая насилием на насилие, можно только увеличить насилие, а отвечая ложью на ложь – никогда не получишь истины. Опять наш растрепанный компьютер был прав.

Идея Алика была гениальной и безумной одновременно. Гражданам, уставшим от террора и произвола, предлагалось просто не признавать их. Это можно было бы сравнить с гражданским неповиновением, если бы не двусмысленность законов, делавшая такое поведение образцом гражданской доблести.

Представьте, что вы попали в компанию бандитов и пытаетесь обращаться к ним, как к благовоспитанным, приличным людям. Идея фактически состояла в том, чтобы не признавать реальности, а – подобно шизофреникам – жить в своем воображаемом мире, в том мире, который мы желали бы видеть. Казалось бы, сумасшедшая затея.

Но в том-то и вся штука с коммунистами, что признать реальность созданной ими жизни, усвоить их представления – значит самим стать бандитами, доносчиками, палачами или молчаливыми соучастниками. Власть – это всего лишь согласие подчиняться, и каждый, кто отказывается подчиниться произволу, уменьшает его на одну двухсотпятидесятимиллионную долю, а каждый компромисс – усиливает его.

И разве реальная советская жизнь – не воображаемый шизофренический мир, населенный выдуманными советскими людьми, строящими мифический коммунизм? Разве все и так не живут двойной, а то и тройной жизнью? Гениальность идеи состояла в том, что она уничтожала эту раздвоенность, напрочь разбивала все внутренние самооправдания, которые делают нас соучастниками преступления. Она предполагала кусочек свободы в каждом человеке, осознание своей "правосубъектности", как выражался Вольпин. Иными словами, личную ответственность. Это-то и есть внутреннее освобождение.

Предположим, что такую точку зрения усвоит значительное число людей. Где тогда будет ЦК со своими идеологическими установками? Что будет делать КГБ со своей армией стукачей? Гражданину нечего скрывать, не в чем оправдываться – он лишь соблюдает законы. И чем более открыто он это делает – тем лучше.

– Ну, а что ты будешь делать, Алик, если завтра они изменят законы так, что не останется возможности их толковать по-твоему? – спросил я Алика.

– Тогда я, видимо, перестану быть гражданином этой страны.

Это было уже совсем непонятно простым смертным. Что ж, через границу бежать? Алик же пускался в длинные рассуждения о праве гражданина на выезд из своей страны и, конечно, на въезд в нее, ссылаясь при этом на какую-то Декларацию прав человека. Все только плечами пожимали: "Эк загнул!" Интересно, сколько из них, пожимавших тогда плечами, через семь-десять лет оказались в Вене, Риме, Тель-Авиве, Нью-Йорке? И только Вольпин, верный себе до конца, из окна вагона, уходящего на Вену, произнес речь о борьбе за свободу въезда...

А пока на московских кухнях велись эти юридически-семантические споры, события стучались в двери, неожиданным образом подтверждая правильность вольпинских рассуждений. Вскоре после освобождения из Ленинградской спецбольницы я познакомился с Валерием Яковлевичем Тарсисом.

Всего лишь несколько месяцев назад сняли Хрущева, к власти пришел триумвират Брежнева, Косыгина и Подгорного. По всему судя, готовилась реабилитация Сталина, в Кремле составлялись черные списки, а Валерий Яковлевич, окруженный иностранными корреспондентами, давал у себя в квартире посреди Москвы пресс-конференцию.

– Мистер Тарсис, – спрашивали его, – как вы относитесь к переменам в советском руководстве?

– Великий русский баснописец Крылов, – отвечал он, – сказал: "А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь".

Что это – галлюцинации?

Лишь пару месяцев назад я видел человека, восемь лет просидевшего только за то, что он написал критическое письмо в ЦК,

другой все еще сидел за анекдоты о Хрущеве, рассказанные приятелю на ухо. Третий за простое знакомство с иностранцами был обвинен в шпионаже. И если я действительно не сошел с ума и не бредил теперь, то не только сам Тарсис, но и все у него присутствующие, все их родственники и соседи должны были к вечеру оказаться на Лубянке. Дадут ли из квартиры-то выбраться?

Тарсис же чуть не каждый день устраивал такие пресс-конференции, и хоть бы что. Вот чудеса! Кто ж такой этот неуязвимый Тарсис?

– Все это гигантская провокация КГБ, – толковали подпольные мыслители. – Нас просто хотят заманить, выявить. Тарсис – это только приманка, ловушка. – И еще глубже зарывались в свои норы.

Экое изобретение – Тарсис! Нашли чем удивить бывалого советского человека. Слава Богу, пережили НЭП, троцкистский заговор, бухаринскую оппозицию, космополитов и врачей-вредителей. Научились кой-чему, не лыком шиты. Уж как-нибудь на Тарсиса не клюнем, ищите кого поглупее. Самое главное при социализме – выжить. Сберечь себя! И если какой-нибудь провокатор начнет вслух ругать власть – первым делом ему надо дать отпор, громко и внятно, чтоб все слышали. А затем скорее-скорее бежать в КГБ, чтоб никто не опередил. Знаете, как в том анекдоте:

Спрашивают заключенного: За что сидишь?

– Да вот, понимаешь, поленился. Был на вечеринке. Один чудак анекдот рассказал, про коммунизм. Ну, думаю, сегодня уже поздно, завтра пойду доносить. А назавтра выяснилось, что все пришли накануне – я последний оказался.

Возможно, и сам Тарсис лет двадцать назад рассуждал примерно так же. Учился в университете, вступил в партию, был на фронте, стал советским писателем. Но жизнь проходила, заканчивался шестой десяток, а просвета – никакого. В хрущевскую оттепель "выявил" себя Тарсис несколько больше, чем осмотрительные, солидные люди, и к 1960 году печатать его перестали полностью. Тут-то и стал он тайком переправлять свои рукописи за границу.

Этот, впоследствии традиционный, способ публикации начался тогда с Бориса Пастернака и стал казаться особенно заманчивым после присуждения ему Нобелевской премии. И, помалки-

вая или присоединяя свой голос к всенародному хору гневного осуждения, каждый подпольный писатель досадливо морщился:

– Эх, сдрейфил старик! Не хватило духу – отказался. Мне бы эту премию, я бы уж ни за что... Пусть хоть расстреляют. На миру и смерть красна.

Поэтому, когда в октябре 1962 г. первую книгу Тарсиса осторожные издатели опубликовали в Англии под псевдонимом, он этот псевдоним немедленно вскрыл и потребовал, чтобы впредь его печатали только под настоящей фамилией. Это-то его и спасло. (М.А. Нарица, рукопись которого в то же время опубликовали в Германии под псевдонимом Нарымов, открыться не успел и попал на три года в спецбольницу.)

Хрущев как раз был где-то за границей, и кто-то из приближенных принес ему книгу – в ней сам Хрущев был выведен под другим именем. Естественно, Хрущев рассвирепел и распорядился упрятать Тарсиса в сумасшедший дом. Дело было спешное – арестовывать, обвинять, посылать на экспертизу да отправлять в больницу специального типа было некогда, да и не с руки: разрастался скандал. И Тарсиса посадили в обыкновенную городскую психбольницу им. Кащенко. И хоть, по нынешним стандартам, скандал был относительно невелик, через три месяца его были вынуждены освободить. Сам Снежневский прилетел разъяренный с какого-то международного симпозиума, где осмелились спросить о Тарсисе, и выпустил его, всячески перед ним заискивая.

Пытаясь как-то замять это неловкое дело, вызвали Тарсиса в КГБ, к заместителю Семичастного генералу Перепелицыну.

– Валерий Яковлевич, – нежно мурлыкал генерал, – мы понимаем, какой вы крупный писатель, большой талант. Вы могли бы принести столько пользы нашему народу. Отчего бы вам не описать хорошие стороны нашей жизни? Ведь у нас так много хорошего, столько достижений.

Тарсис был неумолим.

Тогда генерал переменил тактику.

– Знаете, Валерий Яковлевич, – говорил он все так же нежно, – вы ведь обыкновенный смертный человек. Вас и машина может задавить случайно. Никто не застрахован... – и сочувственно качал головой.

– Что ж, – отвечал Тарсис, – мне вполне пойдет терновый венец. Учтите, никто вам не поверит, даже если меня действительно случайно задавит машина или кирпич упадет на голову. За границей все равно будут считать, что кровавые чекисты убили Тарсиса. Так что вы не только не убьете меня, но еще охранять будете – не дай Бог что случится.

И в 64-м году, незадолго до падения Хрущева, Тарсис опубликовал новую книгу под названием "Палата № 7", где описал все свои приключения в больнице им. Кащенко. Книга имела огромный успех и в короткий срок стала бестселлером. Тарсис же с тех пор жил совершенно так, как будто никакой советской власти вокруг не существует, давал интервью, пресс-конференции, почти открыто отправлял за границу новые рукописи, даже машину себе купил – на зависть всему писательскому дому, в котором продолжал жить.

И валом валил к нему народ, в особенности же корреспонденты и иностранные туристы, – посмотреть на восьмое чудо света. Буквально все, затаив дыхание, ждали: когда же этого Тарсиса арестуют, задавят машиной или распнут на кресте...

Бредовина какая-то! Зачем же нужно охранять границы, обыскивать на таможне, содержать цензуру, следить за иностранцами и держать армию агентов КГБ, если сидит посреди Москвы человек и говорит вслух все, что думает, дает интервью и публикует книги в Англии? А вечером все, что он сказал, можно услышать по Би-Би-Си! Где же железный занавес? Впервые появился в Советском Союзе человек, которого нельзя посадить.

И если люди постарше, поопытней обходили Тарсиса стороной, то молодежь от него не вылезала. Примерно в это же время, в начале 1965 года, появилась новая волна молодых поэтов, пытавшихся возродить Маяковку. Провели несколько выступлений на площади, вновь стали распространять в самиздате свои сборники, устраивать диспуты и т.п. Называли они себя странным словом СМОГ, что расшифровывали как "Смелость, мысль, образ, глубина" или еще "Самое молодое общество гениев". Не знаю, как насчет всего остального, но смелость у них была. Выступали они, где только было можно, и, конечно же, через Тарсиса почти все напечатались за границей. Число людей, безнаказанно опубликовавшихся за рубежом, составляло таким образом несколько десятков, и это было очень важно.

Разумеется, советская официальная литература их не признавала, не печатала, выступления их запрещали, но и посадить сразу такую кучу народа не решались. У них были свои обширные сферы знакомств, и вместе с тем кругом, который образовался со времен первой Маяковки, составляли мы значительную силу. Уже всерьез подумывали мы, не организовать ли явочным порядком русскую секцию ПЕН-Клуба и попросить о приеме в международный ПЕН, как произошло событие, имевшее чрезвычайные последствия: в сентябре арестовали двух писателей – Синявского и Даниэля.

Трудно было тогда сказать, что именно толкнуло власти на этот шаг – то ли хотели таким образом запугать остальных желающих напечататься за границей и прервать эту зарождающуюся традицию, то ли считали они, что вообще пришла пора приструнить разболтавшуюся интеллигенцию, надеялись взять реванш за неудачу с Тарсисом или просто увлеклись поисками таинственных неизвестных и не смогли удержаться, открыв их, – выглядело это, однако, так, будто начали реализовываться планы возрождения сталинизма, а Синявский и Даниэль – просто первые из предполагаемых пяти тысяч.

Думаю, то обстоятельство, что они печатались за рубежом под псевдонимами, а не под своими именами, сыграло не последнюю роль. Прежде всего потому, что по логике КГБ такое поведение является чуть ли не доказательством вины: раз скрывались, конспирировались – значит, сознавали, что совершают преступление. Для советского человека это могло прозвучать убедительно, да и не только для советского.

С пропагандистской точки зрения дело казалось выигрышным, имело привкус детективного романа. Этакие тайные враги, прокрались в писатели, замаскировались и вредили исподтишка. Тут пишут одно, там – другое! Дескать, им все равно, что писать, лишь бы деньги платили. Да мало ли чего можно навертеть вокруг этих псевдонимов.

А кроме того, такая недостаточно открытая, нерешительная позиция позволяла предполагать в арестованных недостаток мужества или прямо беспринципность, порождала надежду, что оба станут каяться и помогут КГБ создать большой пропагандистский открытый процесс-спектакль.

Конечно, рассчитывали в КГБ, что эта неясность с псевдонимами несколько замедлит и ослабит реакцию за рубежом – во всяком случае, сделает невозможными какие-либо протесты до суда. Словом, как и Нарице, псевдонимы сослужили Синявскому и Даниэлю весьма скверную службу. Подвела их подпольная психология.

Поначалу расчет КГБ оправдался, и первые реакции Запада на аресты были запоздалыми и нечеткими. Лишь через месяц смутно заговорили в зарубежной прессе о каких-то арестах не то трех, не то двух писателей, путали фамилии и псевдонимы, и все это выглядело не слишком достоверным.

Власти, конечно, с успехом вносили дополнительную путаницу и искусно успокаивали "прогрессивное общественное мнение", отрицая факты арестов, позволяя время от времени поездки за границу так называемых "спорных" поэтов, публикуя некоторые "спорные" статьи о литературе и т.д. Общее впечатление за рубежом было, что "новое руководство занимает терпимую позицию" по отношению к творческой интеллигенции.

Как и следовало ожидать, издатели и прочие осведомленные люди долгое время боялись вскрыть псевдонимы арестованных, считая, что повредят им. Последовали даже официальные опровержения некоторых издателей.

Довольно скоро, однако, литературные круги на Западе поняли, что эти аресты нацелены на всю "либеральную интеллигенцию", как они выражались, и являются для новых советских главарей своего рода пробным камнем. Некоторую остроту происходящему придало то, что в этом году Нобелевская премия по литературе была присуждена советскому партийному чиновнику Шолохову. Появилась возможность – казавшаяся всем очень остроумной – обращаться к нему с гуманистическими призывами. Он, естественно, выполняя свой партийный долг, наговорил каких-то глупостей при получении премии. Зашевелилось все мировое сообщество писателей, посыпались протесты, письма, обращения, телеграммы, и даже откровенно коммунистические органы печати вынуждены были реагировать. Словом, скандал разрастался настолько серьезный, что, если бы скрипучая советская машина умела останавливаться, она бы остановилась. Но эта система настолько не привыкла корректировать свои действия, настолько не способна вовремя признать ошибку,

обладает такой наглостью и тупым высокомерием, что только угроза полного разрыва с цивилизованным миром могла заставить ее образумиться в тот момент.

Разумеется, они не ожидали такой реакции и, если бы могли предвидеть ее заранее, вряд ли затеяли бы дело. Теперь же, ввязавшись в него, делали хорошую мину при плохой игре, полностью игнорируя общественное мнение.

Впоследствии мы часто поражались идиотскому упрямству наших властей, нежеланию видеть очевидные факты, что причиняло им катастрофический вред. Иногда кажется, что они прямо специально выбирают самое идиотское решение и уж потом ни за что не хотят от него отказаться.

Помню, в 1970-71 гг. произошел такого рода эпизод. Один из моих знакомых, Леня Ригерман, родившийся в США и привезенный в детстве в СССР, обратился к американскому консулу с просьбой выяснить его права на американское гражданство. Для обсуждения этого вопроса американский консул пригласил его прийти в консульство. Консул считал вопрос запутанным и был уверен, что потребуется много времени и усилий для того, чтобы Ригерман получил американское гражданство.

Власти наши ни под каким видом не позволяют советским гражданам входить в иностранные посольства, хоть это и не запрещено законом. Зная об этом, Ригерман предупредил консула, что вряд ли он к нему попадет. Консул не мог этому поверить: только что была подписана между СССР и США консульская конвенция, статья 12 которой прямо предусматривает право граждан одной страны посещать консульство другой для выяснения вопросов о гражданстве. На всякий случай, однако, он послал сотрудника консульства встретить Ригермана и проводить внутрь.

Разумеется, Ригермана взяли у входа и на глазах этого сотрудника отправили в отделение милиции. Там его обыскали, отняли все бумаги и долго вели "воспитательную" беседу – о положении на Ближнем Востоке.

Возмущенный консул обратился за разъяснениями в советский МИД, спрашивая, должен ли он считать данный эпизод за намерение советской стороны денонсировать консульскую конвенцию. В МИДе, лучезарно улыбаясь, его заверили, что

никаких таких намерений не имеется, напротив — советско-американская дружба крепнет день ото дня. А происшедшее объяснили досадным недоразумением.

Ободренный консул вновь пригласил Ригермана. На этот раз он сам вышел встречать Леню с консульской конвенцией в руках и пытался разъяснить ее охране внизу. Но и на этот раз Ригермана уволокли в машину на глазах у потрясенного консула. Опять его приволокли в милицию, обыскали и заставили прослушать новую беседу — о политике партии в области эмиграции.

Выйдя из милиции, Ригерман снова созвонился с консулом и снова пошел к нему. И снова был задержан. На сей раз, однако, он был осужден на семь суток за "злостное неповиновение законным требованиям представителей власти".

Каждый раз посольство США и Госдепартамент направляли советским властям протест против нарушения конвенции и каждый раз получали заверения, что советской стороной конвенция соблюдается неукоснительно. Наконец американское правительство, окончательно потеряв терпение, вне всей бюрократической процедуры объявило о предоставлении Ригерману и его матери американского гражданства.

Под Новый год он зашел ко мне, и я спросил, пустят ли его хоть теперь в посольство, получить документы и визы.

— Не знаю, — грустно ответил он. — Видимо, за мной пришлют посольскую машину с флагом.

В феврале 71-го года он уехал с матерью в Штаты.

Порою это саморазрушительное упрямство властей кажется просто невероятным, однако мы забываем, что террористическая власть и не может быть иной. Ее отличие от власти демократической в том и состоит, что она не является функцией общественного мнения. А в таком государстве человек не может иметь никаких прав — любое неотъемлемое право отдельного человека моментально отнимает у государства крупицу власти. Каждый человек обязан усвоить с детства как аксиому, что никогда, ни при каких обстоятельствах и никаким способом не сможет он повлиять на власть. Любое решение приходит только по инициативе сверху. Власть незыблема, непогрешима и непреклонна, а всему миру только одно и остается — приспосабливать-

ся к ней. Ее можно униженно просить о милости, но не требовать от нее положенного. Ей не нужны сознательные граждане, требующие законности, ей нужны рабы. Равным образом, ей не нужны партнеры – ей нужны сателлиты. Подобно параноику, одержимому своей фантастической идеей, она не может и не хочет признавать реальности – она реализует свой бред и всем навязывает свои критерии.

Мы никогда не избавимся от террора, никогда не обретем свободы и безопасности, пока не откажемся полностью признавать эти параноические реальности, пока не противопоставим им свои реальности, свои ценности.

Тысячи книг написаны на Западе, сотни различных доктрин созданы крупнейшими политиками, чтобы найти компромиссный выход. И все они пытаются избежать единственно верного решения – морального противостояния. Изнеженные западные демократии забыли свое прошлое, свою суть, а именно, что демократия – это не уютный дом, красивая машина или пособие по безработице, а прежде всего право бороться и воля к борьбе.

Все эти хитроумно-наивные теории лишь усиливают несвободу, разжигают аппетиты хищников, вводят двойные стандарты, подрывают моральные основы самих западных обществ, порождают бессмысленные иллюзии и надежды. Близорукая политика бесконечных уступок и компромиссов создала это чудовищное государство, вскормила его и вооружила. Затем, не придумав ничего лучшего, вскормила и вооружила Гитлера и поставила все человечество перед необходимостью воевать за то, какого цвета будут в мире концлагеря – красные или коричневые. Выбирайте теперь – рабство или смерть. Другого выхода ваши теоретики вам не оставили.

Нет, ни атомные бомбы, ни кровавые диктатуры, ни теории "сдерживания" или "конвергенции" не спасут демократии. Нам, родившимся и выросшим в атмосфере террора, известно только одно средство – позиция гражданина.

Есть качественная разница в поведении одного человека и человеческой толпы в крайней ситуации. Народ, нация, класс, партия или просто толпа – в экстремальной ситуации не могут пойти дальше определенной черты: инстинкт самосохранения оказывается сильнее. Они могут пожертвовать частью, надеясь спасти

остальное, могут распасться на группки и так искать спасения. Это-то их и губит.

Быть одному – огромная ответственность. Прижатый к стенке, человек осознает: ”Я – народ, я – нация, я – партия, я – класс, и ничего другого нет”. Он не может пожертвовать своей частью, не может разделиться, распасться и все-таки жить. Отступать ему больше некуда, и инстинкт самосохранения толкает его на крайность – он предпочитает физическую смерть духовной.

И – поразительная вещь – отстаивая свою целостность, он одновременно отстаивает свой народ, свой класс или партию. Именно такие люди завоевывают право на жизнь для своего сообщества, хоть, может быть, и не думают о нем.

– Почему именно я? – спрашивает себя каждый в толпе. – Я один ничего не сделаю.

И все они пропали.

– Если не я, то кто? – спрашивает себя человек, прижатый к стенке.

И спасает всех.

Так человек начинает строить свой замок.

Так вот и получилось, что в ноябре 65-го года несколько человек начали распространять среди своих знакомых машинописные листочки с ”Гражданским обращением” – текст сочинил, конечно, Алик Вольпин :

”Несколько месяцев тому назад органами КГБ были арестованы два гражданина: писатели А. Синявский и Ю. Даниэль. В данном случае есть основания опасаться нарушения закона о гласности судопроизводства. Общеизвестно, что при закрытых дверях возможны любые беззакония и что нарушение закона о гласности (ст. 111 Конституции и ст. 18 УПК РСФСР) уже само по себе является беззаконием. Невероятно, чтобы творчество писателей могло составить государственное преступление.

В прошлом беззакония властей стоили жизни и свободы миллионам советских граждан. Кровавое прошлое призывает нас к бдительности в настоящем. Легче пожертвовать одним днем покоя, чем годами терпеть последствия вовремя не остановленного произвола.

У граждан есть средства борьбы с судебным произволом.

Это "митинги гласности", во время которых собравшиеся скандируют один-единственный лозунг: "Тре-бу-ем глас-но-сти суда над ..." (следуют фамилии обвиняемых) или показывают соответствующий плакат. Какие-либо выкрики или лозунги, выходящие за пределы требования строгого соблюдения законности, безусловно являются при этом вредными, а возможно и провокационными, и должны пресекаться самими участниками митинга.

Во время митинга необходимо строго соблюдать порядок. По первому требованию властей разойтись – следует расходиться, сообщив властям о цели митинга.

Ты приглашаешься на митинг гласности 5 декабря с.г. в 6 часов вечера в сквере на площади Пушкина у памятника поэту.

Пригласи еще двух граждан посредством текста этого обращения."

Конечно, у этой затеи нашлось множество противников. Как обычно, говорилось, что это провокация КГБ, чтобы всех "выявить", и т.п. Большинство, однако, поддержало идею, и даже такой пессимист, как Юрка Титов, сказал:

– Вот, понимаешь, эти интеллектуалы наконец придумали что-то толковое.

Обращение расходилось по налаженным самиздатским каналам, по которым еще вчера шли стихи Мандельштама, Пастернака и литературные сборники. Эти "каналы доверия" оказались самым большим нашим достижением за десять лет, и благодаря им к декабрю практически все в Москве знали о готовящемся в День Конституции митинге.

Памятуя наш опыт выступлений на Маяковке, я был уверен, что скандировать лозунги – дело и ненадежное, и опасное. Пойди докажи потом, что́ ты кричал. Плакаты с лозунгами были бы лучше во всех отношениях, поэтому я договорился на всякий случай с несколькими ребятами, что они изготовят их.

Поначалу оживление было необычайное, только и разговоров по Москве, что об этой демонстрации. Но чем ближе к Дню Конституции, тем больше появлялось пессимизма и даже страха – никто не знал, чем эта затея кончится. Власть такая, она все может. Загонят всех в сумасшедшие дома или еще чего похуже. Все-таки как-никак предстояла первая свободная демонстрация в стране с 1927 года.

Второго декабря, только я успел отдать последнюю пачку обращений одному из смогистов в кинотеатре "Москва" на площади Маяковского, как при выходе на улицу меня окружила целая толпа агентов КГБ. Они почему-то считали, что я вооружен, и буквально тряслись от страха. Плотно сжав меня со всех сторон, так, чтобы я не успел даже рукой шевельнуть, посадили в уже ожидавшую "Волгу". С боков двое, впереди, рядом с шофером, начальник опергруппы.

– Руки вперед, на спинку сиденья. Не двигаться, не оглядываться.

– Закурить можно?

– Нельзя.

Привезли в ближайшее отделение милиции. Обыскали. Как назло, один экземпляр обращения оставил я себе, чтобы сделать еще копии. Больше ничего не нашли. Отвели в дежурную комнату милиции: "Посидите". Подозрительно было, что не повезли сразу на Лубянку или в Лефортово. Чего ждут? Приказа что ли?

Разговорился с милиционерами.

– КГБ забрал? Небось, ни за что, ни про что? – сочувственно спрашивали они. – Тоже горе-сыщики.

Ненависть милиции к КГБ – штука не новая, много раз нас выручала. Воспользовался я ею и теперь: вытащил свою маленькую записную книжечку с кой-какими адресами и уничтожил. Милиционеры мои даже усом не повели. Кто знает, чьи там адреса были – может, их сыновей...

– Куда меня?

Качают головами, явно не знают.

Минут через двадцать вызвали в кабинет. За столом – женщина в пальто. Перед ней бумаги какие-то и мой экземпляр обращения.

– Здравствуйте. Садитесь. Как себя чувствуете?

А, понятно – психиатр. Сразу можно определить по улыбочке: так понимающе-снисходительно улыбаются только психиатры. И взгляд – словно на букашку смотрит: "Ну, куда ползешь, глупая!.."

Будто стакан водки хватил – нахлынул на меня Ленинград с его толпой ободранных безумцев. "Наш маленький Освенцим". Даже запахло больницей.

Все, что я сейчас скажу, каждый мой жест она переврет и запишет в историю болезни. И это непоправимо. Спорить с психиатром бесполезно. Они никогда не слушают, ЧТО ты говоришь. Слушают, КАК ты говоришь. Горячиться нельзя – будет запись: ”Возбужден, болезненно заострен на эмоционально значимых для него темах”. Аминазин обеспечен. Будешь слишком подавлен, угрюм – запишет депрессию. Веселиться тоже нельзя – ”неадекватная реакция”. Безразличие – совсем скверно, запишет ”эмоциональную уплощенность”, ”вялость” – симптом шизофрении.

Не выглядеть настороженным, подозрительным, скрытным. Не рассуждать слишком уверенно, решительно (”переоценка своей личности”). Главное же – не тянуть, отвечать быстро, как можно более естественно. Все, что она сейчас запишет, никакими силами потом не опровергнешь. Она же первая меня видит – ей вера. Приоритет в психиатрии у того, кто первый видит больного. Через десять минут уже может быть улучшение. Ну, помоги мне Бог и сам Станиславский!

И я говорю таким сердечным, бодрым тоном, точно родной матери:

– Здравствуйте. Спасибо, на здоровье не жалуюсь.

Два-три рутинных вопроса: фамилия, адрес, год рождения – проверка на ориентированность. Как они все бездарно одинаковы. Сейчас спросит, какое число. А какое? Да, 2 декабря. Три дня до демонстрации. Нет, не спросила. Уф, кажется первый раунд за мной. Посадить все равно посадят. Только бы лишнего не написала, сука старая.

– Мы вас госпитализируем по распоряжению главного психиатра города Москвы.

– За что же? – изумляюсь я вполне натурально, будто сроду не был в психбольнице. – Никого вроде бы не трогаю. На людей не бросаюсь, не кусаюсь.

Но тут уж ее не проведешь.

– А вот это что? – говорит она, показывая на мой проклятый листочек, и во взгляде у нее опять превосходство. Дескать, знаю я вашего брата, психов. Бегает по городу с листовками в кармане и еще удивляется, что забрали. Нормальный человек этим не занимается. И возражать здесь бесполезно. Даже опасно. Психиатр должен быть всегда прав.

— Да я ее только что нашел. И прочесть-то не успел, — говорю я больше для проформы, чтоб не молчать, без всяких эмоций. Все это уже значения не имеет. Главное — ничего она мне не напишет. Последний раунд тоже за мной. А там, в больнице, все будет заново. Про этот листочек еще говорить и говорить.

Лишь дорогой, в психовозке, переводя дух после беседы, подумал я с тоской: "Эх, мало погулял. Всего девять месяцев. Сейчас бы действовать и действовать — самое время начинается".

Одно было хорошо: санитары попались веселые, и всю дорогу рассказывали мы друг дружке анекдоты про Ленина. Так и прикатили в психушку — городскую психиатрическую больницу № 13 в Люблино.

— Ну, вылезай, политический. Приехали.

Обычная городская больница — просто рай по сравнению со спецбольницей, и, хотя посадили меня в отделение для беспокойных больных, с запорами понадежней, с режимом пожестче, — уже через пару дней я там освоился. Лучшей рекомендацией мне было то, что меня забрали по приказу КГБ, — никто после этого не сомневался в моей нормальности. Врачи, фельдшера, санитары — все были молодые ребята моего возраста или чуть постарше, и мы моментально нашли общий язык, а иногда и общих знакомых.

После первой же беседы со своим врачом, доктором Аркусом, я был уверен, что не только "лечить" он меня не станет, но считает вполне здоровым и постарается сделать все от него зависящее, чтобы освободить. А это было вовсе не просто. Как и везде в СССР, посадить легко, выпустить же — целая проблема. Нужно согласие главврача, а то и целой комиссии. И это еще не все: свое мнение они могли лишь сообщить главному психиатру Москвы, и только он мог принять окончательное решение. Намерений же властей никто не знал — лишь подозревали, что они планируют вернуть меня в Ленинград как "недолечившегося" и "преждевременно выписанного".

Уже на следующий день друзья пронюхали, куда я делся, и пришли целой толпой. Разумеется, все разговоры вертелись вокруг предстоящей демонстрации и ее возможных последствий. Настроения заметно колебались. Случай со мной увеличивал опасения, что всех просто пересажают. Энтузиазм стремительно

падал – а вдруг никто не решится прийти? Я очень боялся, что эти настроения возьмут верх, поэтому, когда под конец Юрка Титов напрямик спросил – устраивать демонстрацию или не устраивать, я ответил, что, если теперь ничего не произойдет, это отразится на моей судьбе. Получится, как будто без меня все распалось, и я буду выглядеть главным зачинщиком. На самом деле, это не могло сказаться на мне – скорее наоборот, но уж очень я боялся, что восторжествует пессимизм, и хотел всех связать каким-нибудь моральным обязательством. Конечно, это было нечестно с моей стороны, и я, таким образом, толкал их на действие отчасти против их воли. В известной степени это, однако, решило дело.

Весь день пятого декабря я провел как на иголках. Подумывал даже, не попробовать ли бежать из больницы. Время тянулось бесконечно. Лишь назавтра пришли ребята и рассказали подробности.

К шести часам Пушкинская площадь представляла собой забавное зрелище. Основная масса любопытных плотной стеной стояла вокруг площади, даже на другой стороне улицы. У памятника же прогуливались группами и в одиночку, с видом случайных прохожих, участники демонстрации, работники КГБ и иностранные журналисты. Кто-то даже пришел с лыжами в руках, чтобы в случае чего иметь правдоподобное объяснение своего присутствия: дескать, ехал из-за города с лыжной прогулки, остановился случайно на площади посмотреть, чего толпа собралась. Алика Вольпина один из его друзей, безногий инвалид, привез прямо к площади на инвалидной машине – иначе его задержали бы по дороге.

Как я и ожидал, на выкрики никто не отваживался, и все как-то не знали, что делать дальше. Видя, однако, что ничего страшного не происходит, толпа постепенно осмелела, стягивалась к памятнику, и уже человек двести образовали плотную группу в центре. Положение спас Юрка Титов. Оказалось, что после нашего разговора в больнице он, никому не говоря ни слова, сделал дома бумажные плакаты с надписями: "Уважайте Конституцию", "Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем", "Свободу Буковскому и другим, задержанным за подготовку демонстрации". (Днем, перед самой демонстрацией, забрали в психбольницу еще двоих – Вишневскую и Гу-

банова.) Эти плакаты он принес под пальто на площадь и теперь, в самой гуще людей, принялся их вытаскивать, разворачивать и передавать другим. На какое-то мгновение плакаты развернулись над толпой, и тут же агенты КГБ и оперативники кинулись их вырывать, рвать и комкать. Тех же, кто держал эти плакаты, быстро уводили к машинам.

В общей сложности забрали человек двадцать. Тут, в наступившем замешательстве, на подножие памятника взобрался Галансков и крикнул:

– Граждане свободной России, подойдите ко мне...

Граждане свободной России в штатском тотчас же бросились к нему, сбили с ног и уволокли в машину.

В отделении милиции, куда собрали всех задержанных, хозяйничали оперативники КГБ, допрашивали, осматривали плакаты.

– Что это вы хотите сказать лозунгом "Уважайте Конституцию"? Против кого он направлен?

– Видимо, против тех, кто ее не уважает.

– А кто именно ее не уважает?

– Ну, например, те, кто разгоняет мирные демонстрации...

У Алика Вольпина отобрали плакат с требованием гласности суда над Синявским и Даниэлем. Однако оперативник, отнимавший на площади плакат, так удачно вырвал клок в середине, что теперь, когда сложили две оставшиеся половины, получалось "Требуем суда над Синявским и Даниэлем". Видно, слово "гласность" так возмутило оперативника, что он вцепился в него мертвой хваткой.

Всех задержанных продержали часа два и отпустили.

Позже я узнал, что даже разгон демонстрации прошел не так, как хотелось бы властям. Первоначально собирались они использовать для этих целей не КГБ, а комсомольцев из оперативных отрядов. Однако наткнулись на неожиданное сопротивление. На специальном собрании, где представители КГБ и партийных властей проводили с ними инструктаж, комсомольцы неожиданно взбунтовались. Подавляющее большинство были студенты и возмутились, что их собираются использовать как грубую полицейскую силу, не считаясь с их мнением.

– Дайте нам сначала прочесть, что эти писатели написали, а уж потом мы решим, как поступить, – заявили они.

Пришлось КГБ срочно менять планы, а кое-кого из непокорных, в том числе моего школьного приятеля Ивачкина, потом выгнали из комсомола.

По всему чувствовалось, что момент для протеста был выбран на редкость удачно. Расшевелились-таки сограждане. И, хоть участников демонстрации продолжали преследовать внесудебным порядком – выгонять из институтов, с работы, общественное мнение оказалось на стороне Синявского и Даниэля.

Наконец, советская пропаганда не выдержала этого двойного давления извне и изнутри, и в начале января появилась большая статья в "Известиях" – первая публикация в советской прессе об этом деле. Конечно, статья пыталась спекулировать на псевдонимах, изображала Синявского и Даниэля лицемерами, которые якобы в советской печати восхваляли советскую власть, а за рубежом, исподтишка, чернили. И непонятно было, что больше возмущает автора статьи – восхваление власти или ее очернение. Расчет был на антисоветскую настроенность людей в СССР – получалось, что если бы не эта двойственность, то и говорить не о чем. Статья даже называлась "Перевертыши". Но и в этом не смогла выдержать тон советская пропаганда – как всегда, не хватило тонкости. Истошный, базарный тон статьи, произвольное цитирование в отрыве от контекста, а главное – прямое предвосхищение решения суда, обвинение в антисоветской пропаганде и чуть ли не в измене – все это вызвало поток протестов как внутри страны, так и за рубежом.

Пришлось властям срочно инспирировать письма трудящихся, поддерживающие статью. По единому на все случаи жизни сценарию стали появляться возмущенные письма агрономов, доярок, сталеваров и оленеводов. Оставалось только провести митинги по заводам и колхозам, чтобы довершить картину всенародного осуждения. Не утерпела и "Литературная газета" – тоже разразилась гневной статьей. Словом, начинался обычный шабаш советской пропаганды, принцип которого очень прост: вопи как можно истошней, чтоб уже ничего другого слышно не было. Как в детском стишке:

Тот, кто громче скажет "гав",
Тот всегда и будет прав.

И все это, естественно, привело к обратным результатам: к моменту открытия суда над Синявским и Даниэлем скандал разросся до глобальных размеров. Тут, чтобы хоть как-то смазать впечатление, власти неожиданно выпустили за границу Тарсиса. Мы, дескать, судим только тех, кто "перевертыши", а которые открыто — тех даже за границу пускаем. Одновременно они весьма ловко избавлялись и от Тарсиса, с которым тоже не знали, что делать.

Все-таки нужно отдать должное изобретательности наших властей. Такие два события, как выезд Тарсиса и суд над Синявским и Даниэлем, неизбежно смазывали и опровергали друг друга, искажали газетно-ясную картину положения в СССР.

— Мистер Тарсис, почему вас выпустили в Англию, а Синявского с Даниэлем судят?

И что ему ответить? Дедушка Крылов ничего не сказал по этому поводу. Получалось — или Синявский с Даниэлем действительно преступники, или Тарсис просто сумасшедший. Где ж западному человеку понять, что все в нашем государстве подчинено нуждам пропаганды и дезинформации. Не крыловские времена.

Но и это уже не могло спасти их.

10 февраля 1966 начался суд — первый показательный процесс послесталинской эпохи, прообраз целой вереницы будущих процессов. Властям предстояло решить неразрешимую задачу: как законными средствами расправиться с людьми за их творчество и убеждения. Отступать было некуда — любое колебание, проявление мягкости навеки подчинило бы их общественному мнению.

Суд проходил, разумеется, при закрытых дверях, хоть и назывался открытым. В зал была пущена только специально подобранная публика по особым пропускам. Иностранным корреспондентам пропусков, конечно, не досталось. Зато советская пресса буквально бесновалась — чуть не каждый день во всех газетах статьи "Из зала суда". Хотите гласности? Нате, жрите ложками нашу советскую гласность. Хотите законности? Вот вам советская законность.

Но уже шли потоком протесты, петиции, открытые письма. Писали те, кто помнил Воркуту, Норильск и Караганду, Колыму и Джезказган, и те, кто не хотел потом приобрести воспоми-

нания о таких местах. Рискованно было "не знать", опасно становилось "бояться".

А из рук в руки переходили десятки тысяч тонких листочков папиросной бумаги с еле различимым машинописным текстом – последние слова Синявского и Даниэля. Впервые на показательном политическом процессе обвиняемые не каялись, не признавали своей вины, не просили пощады. И это была *наша гласность, наша победа.*

Тем временем мои собственные дела все больше и больше запутывались. Врачи 13-й городской психбольницы, молодые честные ребята, отказались признать меня больным и свое заключение послали главному психиатру Москвы Янушевскому. Они не могли просто освободить меня, поскольку я был госпитализирован по распоряжению городского психиатра – как "социально опасный больной". Но в своем заключении они прозрачно намекали, что, поскольку медицинских показаний не усматривается, они затрудняются содержать меня дальше в своей больнице. Не являясь местом лишения свободы, она, к сожалению, не оборудована надлежащим образом, и они не берутся гарантировать мою изоляцию. Иными словами, они давали понять, что я и убежать могу, а они со своей стороны как-то не могут найти достаточных оснований удерживать меня от этого.

Действительно, убежать мне ничего не стоило. Санитары, сестры, фельдшеры и врачи относились ко мне с такой симпатией и пониманием, что сами открыли бы двери – только попроси. Да еще и такси бы вызвали, чтоб до дома доехать. Но побег немедленно был бы истолкован властями как доказательство моей "социальной опасности". Ленинград мне был бы гарантирован. Что ж, опять в Сибирь бежать? И я решил воевать до конца. По крайней мере, хорошее заключение больницы, где меня наблюдали целый месяц, давало мне шанс доказать свою вменяемость.

Самое умное для властей было бы просто меня выпустить, но идиотское упрямство и уверенность во всесилии подвели их еще раз. Получалось, что за нашу дерзкую демонстрацию никто фактически не наказан (других ребят уже выпустили к тому времени). И, следуя своей традиции бить одного, чтоб другие боялись, власти решили не выпускать меня ни за что. Сгноить по сумасшедшим домам.

В середине января меня срочно перевезли в другую больницу – № 5, в селе Троицком, километрах в 70 от Москвы. Надеялись, что в другой больнице врачи окажутся сговорчивее. Было у властей и другое соображение: к этому времени мое дело просочилось в западную печать, и они опасались, как бы не начали ко мне наведываться иностранные корреспонденты. Новая же больница, знаменитая "Столбовая", находилась за пределами дозволенной для иностранцев зоны.

Эта больница, построенная еще в начале века, предназначалась для принудительного лечения за всякие мелкие преступления: воровство, проституцию, спекуляцию, бродяжничество и прочие "нетипичные" поступки советских людей. Содержалось здесь по меньшей мере тысяч 12-15 пациентов. Большинство – действительно больные, хроники. Многие сидели тут чуть не всю жизнь, особенно те, у кого нет родственников или кого родственники отказались брать.

Слепой, с непомерно большой головой, точно огромный эмбрион, Егор просидел здесь всю свою жизнь с рождения. Было ему уже лет сорок.

– Ну, как дела, Егор? – спрашивали его весело, предвкушая забавный ответ.

– Ничего идут дела, голова еще цела, – отвечал он скрипучим голосом, как автомат.

Доживающие свой век паралитики с высунутыми языками, ленивые, медлительные, как тюлени, идиоты, тощие шизофреники, эпилептики с припадками каждый час – и, конечно, в каждом отделении небольшое сообщество здоровых, абсолютно нормальных людей, в основном, московских воров: карманников, домушников, грабителей.

Отправили меня туда "сгноить", "изолировать", подтвердить мою невменяемость и заслать потом в Ленинград. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает.

Попутчиком моим в психовозке оказался пожилой, бывалый московский вор Санька Каширов. С минуту он испытующе смотрел на меня и вдруг тихо спросил:

– Лавешки есть?

– Есть немного, – ответил я так же тихо.

– Давай сюда, а то у тебя зашмонают. На сегодня хватит, а завтра крутанемся как-нибудь, – деловито говорил он, запихи-

вая мой червонец в спичечную коробку. – Я сапожник хороший, они меня там все знают. Без денег не будем.

Действительно, только привели нас к врачу в приемном отделении, она аж руками всплеснула:

– Саня! Опять к нам! Слушай, мне бы каблуки поправить. Туфли совсем новые, только купила. Ты надолго к нам? Ну, куда пойдешь – опять в 4б?

И тут только обратила внимание на меня. Но Саня, предвосхищая расспросы, сказал только:

– Этот со мной. Тоже в 4б.

И даже не глядя в мое дело, не читая всех грозных инструкций КГБ и предписаний главного психиатра, она направила меня в четвертое "б" отделение. Ни осмотра, ни расспросов, ни шмона. Вот что значит дружить с хорошим сапожником.

– Так я зайду к вечеру, после дежурства. Занесу туфли, а, Саня? – кричала она нам вслед.

– Ладно, – нехотя бросил Саня.

На отделении тоже, не успели нас завести, как сестры окружили моего Саню, словно долгожданного гостя, и наперебой принялись толковать ему про валенки, про туфли, шпильки и набойки. Саня был нарасхват. Хороший сапожник и вообще-то редкость теперь, а тут, за семьдесят километров от Москвы, и подавно. Не ездить же каждый раз в Москву туфли чинить да подшивать валенки ребятишкам.

Отделение было переполнено – человек двести. Спали на полу, на лавках и обеденных столах. Койки дожидались месяцами, в порядке живой очереди. В качестве наказания за какую-нибудь провинность врач мог лишить нарушителя койки как высшего блага, переводил на пол. Чтоб добраться до этой койки, давали санитарам взятки. Нам же сразу освободили две койки, рядышком, да еще с тумбочкой – прогнали каких-то психов спать на пол в столовую. Даже сестра-хозяйка расщедрилась, выдала нам новенькие байковые пижамы, теплые коричневые халаты, тапочки. Словом, устроили по-царски, как интуристов в "Национале".

Община здоровых, человек восемь, состояла исключительно из матерых воров, сидевших здесь далеко не первый раз. Пока шли в научном мире споры о вялотекущей шизофрении, велись исследования и писались труды, московские жулики быстро

разглядели ее выгоды. Чем лет пять париться по лагерям, валить лес да гнить по карцерам, куда как лучше отсидеть в дурдоме 6-8 месяцев. Судимость не засчитывается, прописка сохраняется, работать не нужно. Не жизнь, а малина. Все они когда-то побывали в лагерях и больше туда не рвались — пусть дураки лес пилят, работа дураков любит. Умному человеку достаточно было один раз попасть на экспертизу в больницу Кащенко, чтобы потом на всю жизнь обеспечить себе надежный диагноз. Некоторые из них сидели здесь уже по 10-12 раз (в лагере за то же самое пришлось бы отсидеть лет 50), освобождались, снова крали, опять садились и каждый раз словно домой возвращались в свое родное 4б отделение.

Отделение напоминало просто воровской притон. Упрашивать санитаров принести водки было не нужно — сами спрашивали, не сбегать ли. Лишь бы деньги были. Стакан — санитару, остальное себе. В первый же вечер мы с Санькой пустили в оборот мой червонец, и я с непривычки после двух стаканов водки совершенно осовел. Меня заботливо уложили санитары в постель, чтоб не заметил дежурный врач во время обхода, а сами побежали в магазин за новой порцией. И так у них шло каждый день. С утра — похмелялись, в обед — пили, к вечеру — напивались. Такая карусель.

Однажды пропились вдрызг. Ни копейки не осталось даже у санитаров. И в долг никто больше не дает. Как быть? Тут один карманник предложил санитарам:

— Отпустите меня на часок. Проедусь только на автобусе от больницы до станции и обратно, и будем с деньгами.

Сказано — сделано. Переодели его в нормальную одежду, а один санитар поехал с ним на всякий случай — отмазать, если попадется: дескать, сумасшедшего везу в больницу, не обращайте на него внимания. Действительно, через часок вернулись оба — с двадцатью пятью рублями. И опять пошел пир горой.

Мой попутчик, вор-сапожник Санька, жаловался мне как-то, что нигде не выходит у него бросить пьянку. При его сапожном ремесле трудно не пить. На воле, куда ни устроишься работать, всюду пьют как лошади. Разве удержишься! Думал хоть тут отдохнуть — и на тебе! И попался-то он спьяну за карманную кражу, очень этого стыдился — настоящей его специальностью были кражи квартирные.

Убежать отсюда ничего не стоило – вернее, стоило ровно тридцать рублей. Плати санитару – отопрет дверь да еще на автобус проводит. Раз даже безногий убежал, на костылях.

Конечно, врачи не могли не знать, что творится. Время от времени кто-нибудь попадался пьяный на глаза дежурному врачу, и тогда в качестве наказания его переводили на "буйное отделение", к врачу Позднякову, известному своим садизмом. У того было два излюбленных приема: "три на пять" и "галифе". "Три на пять" – это три укола сульфазина по 5 кубиков каждый, два в ягодицы и один под лопатку. После такой процедуры наказанный чувствовал себя словно на кресте распятым – ни рукой, ни ногой пошевелить нельзя от боли. И температура 41^0. "Галифе" называлась процедура накачивания физраствора в ляжки, от чего они раздувались действительно, как галифе. Боль адская, и ходить невозможно. Какой уж это имело психиатрический смысл – не знаю. Укруток Поздняков не делал – наверно, считал хлопотным.

Но даже угроза такого свирепого наказания не могла удержать моих жуликов от пьянства. Впрочем, они попадались редко. Никто из санитаров и сестер в этом заинтересован не был, и они всегда прятали пьяных.

В остальном же врачи старались делать вид, что ничего не знают. Все были связаны круговой порукой. Обслуживающий персонал крал из больницы все, что можно было унести, особенно казенные продукты. Практически все врачи, сестры и санитары кормились от этой больницы. Все село Троицкое жило ею. Продукты разворовывались настолько, что питаться казенной пищей было невозможно, – ее отдавали тем, у кого не было родственников. Сами же ели принесенное из дому, благо на передачи ограничений не было. Село Троицкое считало больницу своим подсобным хозяйством.

Днем обычно здоровые собирались в столовой, а психов выгоняли в коридор, чтоб не мешали. В столовой был телевизор. Там же играли в картишки и пили. На психов вообще почти не обращали внимания, разве что попадался какой-нибудь забавный сумасшедший, которого интересно было дразнить.

Я, конечно, сразу стал наводить справки, нельзя ли достать приемник. Оказалось, это очень просто сделать. В каком-то другом отделении был комбайн – телевизор с приемником, и сани-

тары быстренько договорились об обмене его на наш телевизор.

Каждое утро, когда мы усаживались завтракать в столовой, я ловил Би-Би-Си, и, пока идиоты глотали кашу, эпилептики бились в судорогах, а шизофреники неподвижно сидели над мисками, уставясь в пространство невидящим взглядом, мы слушали новости из Лондона. Письма и протесты по делу Синявского и Даниэля, стенограмма самого суда, интервью и заявления Тарсиса в Лондоне... Жулики мои только головами качали – ну, дела! Особенно же стали прислушиваться после того, как несколько раз промелькнуло и мое имя. Теперь мне даже не нужно было самому беспокоиться включить радио вовремя – санитары включали его, и все затихали.

Ну, чем не символическая картина нашего славного отечества! Огромный сумасшедший дом, где все разворовано до последней картофелины, где всем распоряжается горстка "здоровых", да и те – спившиеся жулики, предпочитающие прикидываться шизофрениками. Сидим и слушаем, что́ нам из Лондона расскажут о нашей жизни.

– Как дела, Егор?

– Ничего идут дела. Голова еще цела.

Мой врач, Бологов, не был человеком смелым или принципиальным. Просто после заключения предыдущей больницы о том, что я здоров, ему было легче подтвердить, чем опровергнуть это заключение. Недели три он присматривался ко мне, пару раз вызывал на беседу. Конечно, он знал, что я пью с санитарами, общаюсь с жуликами, и это было для него лучшим доказательством моей вменяемости – ни те, ни другие не стали бы со мной общаться при малейших признаках ненормальности. В сущности, никаких сомнений в моем здоровье у него не было с самого начала, а опыт 13-й больницы показывал, что подать такое заключение не опасно, не приведет к крушению карьеры. И он написал в заключении, что не считает меня больным. Еще раз власти имели возможность освободить меня без лишнего шума и опять ею не воспользовались, а вместо этого неожиданно, в середине февраля, перевезли меня в Институт Сербского.

Но теперь уже и Институт Сербского ничего поделать не мог: две больницы, одна за другой, признали меня здоровым. К тому же, благодаря выступлениям Тарсиса, мое дело стало при-

обретать широкую огласку за рубежом, и Институт Сербского предпочел "воздержаться". Была в моем деле одна юридическая сложность, которой они и воспользовались. Формально я не был арестованным, обвиняемым или хотя бы подозреваемым – против меня не было возбуждено уголовного дела. Поэтому, с юридической точки зрения, Институт судебной психиатрии не мог меня экспертировать. Не мог обсуждаться вопрос "вменяемости", поскольку я ни в чем не обвинялся. Таким образом, формально не отказываясь от экспертизы, Институт Сербского просто запросил в КГБ обвинительные материалы против меня для изучения и решения вопроса о вменяемости. В КГБ же, сколько ни крутились, представить ничего не могли – они не были готовы к такому повороту событий. Слишком понадеялись на свое всесилие и мое очевидное сумасшествие.

Спор, по существу, опять сводился к вопросу о диагнозе. В 1963 году у меня было два диагноза: психопатия и шизофрения под вопросом. Ленинградская больница шизофрению отвергла и выписала меня как психопата. Теперь две больницы отрицали наличие у меня шизофрении. К этому же склонялся и Институт Сербского, что позволяло ему фактически не оказаться в противоречии со своим прежним диагнозом: психопатию никто сейчас не оспаривал, она никого не интересовала. Шизофрению же они и тогда ставили под вопросом. Если бы, однако, удалось опровергнуть заключение Ленинградской больницы и вернуть мне диагноз "шизофрения", получилось бы, что ленинградцы неправильно меня выписали. Это дало бы основание вернуть меня в спецбольницу по старому делу, не возбуждая нового, – как больного, которого просто неверно лечили и оттого не вылечили до конца. Только так смог бы КГБ выпутаться из этого неприятного дела и оправдать свои незаконные действия.

Тут уж и моя мать забеспокоилась всерьез и, преодолев свою робость, стала писать во все концы жалобы. Из всех инстанций прокуратуры ей отвечали в безмятежном тоне, что все законно и оснований для жалоб нет. Собственно, для таких ответов и существует у нас в стране прокуратура.

Я думаю, именно тогда произошло у матери стремительное пробуждение – то самое, которое возникает у трудящихся при непосредственном столкновении с родной властью. По-видимо-

му, ни в какой коммунизм она не верила и до этого, как и большинство людей, но дело здесь не только в идеологии. Просто она, не отличаясь в этом от многих, переживших десятилетия советского террора, выработала в себе спасительную покорность и привычку не выделяться. Привычку даже себе самой не признаваться в своем действительном отношении к окружающему. С работы – домой, из дома – на работу. Главное – не оглядываться по сторонам, не смотреть недоуменно, а то вдруг вызовут и спросят: чего оглядываешься? Не нравится? И что тогда отвечать? Постепенно так втягивается человек в эту жизнь, что и сам не может разобраться, какие мысли у него припасены в голове для внешнего пользования, а какие – для внутреннего. И если долгое время заставлять себя всему радоваться, то понемногу привыкает человек считать это окружающее нормальным, а миллион раз повторенные пропагандой лозунги вдруг становятся частью твоего сознания.

Ко всему привыкает человек, свыкается с любой потерей, с любой нелепостью. Но есть в человеке какая-то пружинка, какой-то предел допустимой эластичности, после которого все летит к черту. Перестает человек верить в происходящее.

Одна моя знакомая, мужа которой уже много лет без всякой вины преследовали, сажали в концлагерь, не давали работать, получила повестку явиться в милицию.

– Не бери паспорт, – говорят ей друзья.

– Почему?

– Ну, возьмут и вычеркнут прописку. И останешься без крыши над головой, – объясняют ей.

– Как? – говорит она изумленно. – А где же справедливость?

Нечто подобное произошло и с моей матерью. Где же справедливость? Арестовывать не арестовывают, обвинять не обвиняют, болезни не находят, лечить не лечат, а держат в заключении вот уже скоро полгода. И еще пишут, что нет оснований жаловаться!

Постепенно свирепея от наглых ответов на жалобы, она добралась до самых высоких инстанций, стала добиваться приемов у начальников и буквально орать на них. Ну, в самом деле, где же пределы? Что черное – это белое, мы уже привыкли. Что красное – это зеленое, нас убедили. Что голубое – это фиолетовое, мы сами согласились, черт с ним! Но теперь еще и синее – это не синее, а желтое? Хватит!

Оказалось, однако, что не она одна впала в исступление от этой цветовой музыки. Мой старый знакомый, начальник московского КГБ генерал Светличный тоже бесновался. И действительно – где же логика? Что черное – это белое, доказали еще в 17-м. Что красное – это зеленое, стало очевидно еще в 37-м. Что голубое – это фиолетовое, все убедились при Хрущеве. И после всего этого не хотят понять, что синее – это желтое! Где же справедливость?

Случилось так, что именно к нему на прием попала моя мать. В роскошном особняке графа Ростопчина, с высокими лепными потолками, коврами и золочеными дверьми, где мерещились мне когда-то изящные дамы в кринолинах и господа в пудреных париках, состоялся этот разговор двух жаждущих справедливости.

– Все, больше он не выйдет! – рычал злой головастый карлик, исступленно топая ногами по графскому паркету. – Сгною по сумасшедшим домам! Хватит!

И это был единственный откровенный ответ за все время. Дальше опять шли бесконечные бумажки: "Все законно. Никаких оснований для жалоб нет".

Тем временем я продолжал сидеть в Институте Сербского и ждать, чем же кончится это странное дело. Даже сам профессор Лунц – всесильный Лунц, загнавший в сумасшедшие дома по приказу КГБ не одну тысячу здоровых людей, – был в недоумении и меня же спрашивал с любопытством:

– Ну, что же с вами дальше будет?

В его практике это тоже был первый случай, когда он ничем не мог услужить своим хозяевам, и создавшаяся ситуация забавляла его.

Даниил Романович Лунц любил побеседовать с начитанным больным о философии, о литературе, особенно если разговор происходил в присутствии коллег. Приятно было блеснуть эрудицией, цитируя на память таких авторов, о которых современный советский человек или вообще никогда не слышал, или, в лучшем случае, мог прочесть в "Философском словаре": "Буржуазный идеалист, реакционный мыслитель такого-то века. В своих трудах выражал интересы эксплуататорских классов". Для его молодых коллег такая эрудиция граничила с фантастикой, создавала ему непререкаемый авторитет.

Для него же это не составляло труда. Родившись в профессорской, высокоинтеллигентной семье, он воспитывался на этих книгах. Юность его припала на сумасшедшее время, когда любой малограмотный пролетарий, еле-еле осиливший "Коммунистический манифест", становился "красным профессором". Знания профессорского отпрыска никому не были нужны, и он от души презирал всех этих "кухаркиных детей", пришедших править государством и одержимых "сверхценными" идеями. Будто какой-то шутник открыл вдруг двери сумасшедших домов и пустил параноиков распоряжаться страной. И они, напялив маскарадные кожаные одежды, размахивали теперь маузерами под носом обывателей.

Однако он слишком хорошо понимал, как опасно противоречить параноику, да еще вооруженному. Поэтому, следуя лучшим традициям русской психиатрической школы, он умело "включился" в этот бред и выглядел таким ортодоксом, что даже его собственные родители опасались говорить при нем откровенно.

Чем дальше, тем больше крутели времена, исчезали буйные головы в водовороте событий, и глядишь — вчерашних "красных профессоров" уже гнали в Сибирь валить лес и строить дороги. Он же все рос да рос и уж совсем, видимо, стал считать себя неуязвимым, как вдруг в один миг оказался на краю пропасти. Шел 53-й год, и внезапно оказалось, что он всего лишь еврей, исчадие прокаженного племени врагов и вредителей, которое надлежало по высочайшему повелению переселить в края вечной мерзлоты. Видно, никогда потом не мог он уже забыть этих нескольких месяцев предсмертного страха, когда, отстраненный от работы, ошельмованный и про́клятый, дрожал он в своей квартире, ожидая неизбежного ночного стука в дверь.

Миновала опасность, вернулись должности и чины, стало даже возможно без риска блеснуть обширными философскими знаниями, но уже до конца жизни не мог он избавиться от какой-то подобострастной суетливости и потливой дрожи в руках, когда вызывали его т у д а. По роду работы вызывали его часто — запросто, как своего человека, подчеркивали доверие, уважение, и это доставляло даже какое-то тайное наслаждение, пробуждало неодолимое желание блеснуть, угадать с полуслова, а то и вовсе без слов, и уж сделать, та́к сделать — не подкопаешься.

Действительно, ценили его за тонкость, за интеллигентность. Мало ли как извивается генеральная линия партии: вчера ленинцы сажали сталинцев, завтра – наоборот, и каждый раз жди комиссий, расследований. При Лунце же можно было спать спокойно. Он никогда не халтурил – не то, что другие. Чего проще – подобрал "свою" комиссию и штампуй любой диагноз, ума не надо. И глядишь – вчерашний политкомиссар получил диагноз врожденного идиотизма, а безупречный в прошлом партийный работник – алкоголизм III-й степени. Так и жди беды. Лунц же умел так подобрать диагноз к особенностям человека, такие фактики раскопать, так психологически подготовить своего подопечного, что хоть международной комиссии показывай.

Конечно же, он не признавал теорию Снежневского, для которого все – шизофреники, в крайнем случае "вялотекущие", то есть такие, что шизофрению у них может обнаружить один Снежневский. В этой теории Лунц вполне справедливо усматривал угрозу своему положению "чистых дел мастера". Кому он нужен со своими тонкостями, если любой человек – шизофреник, стоит только показать его Снежневскому?

Разумеется, не знал я тогда всех этих подробностей, а только много раз по вечерам, рассуждая с ним о Бергсоне, Ницше или Фрейде в его кабинете, под литографией с изображением великого французского гуманиста Пинеля, освобождающего душевнобольных от цепей, я терялся в догадках: зачем он на меня время тратит? Ведь сам же говорит, что не назначен в этот раз быть моим экспертом, – не судебное у меня дело. От скуки что ли? Внешне, своими толстыми выпуклыми очками и непомерно широким ртом, напоминал он огромную жабу, особенно когда под конец наших философских бесед вдруг задумчиво квакал: "Интересно, что с вами дальше-то будет?" – Словно мы весь вечер только об этом и говорили. Про себя же думал, наверное: "Как это они рассчитывают без меня выкрутиться? Может, позовут еще?"

Весной, наконец, прислали по распоряжению ЦК "нейтральную" комиссию из четырех профессоров – решать мой запутанный вопрос. КГБ просто пошел по самому легкому пути и добился включения в эту комиссию двоих сторонников Снежневского – Морозова и Ротштейна. Лунц, хотя в комиссии не был,

на заседании присутствовал и свое мнение высказал. Меня вызвали всего минут на пять, и я, конечно, постарался не дать им никаких "симптомов". Но это их почти не интересовало – основной спор шел у них о вопросах теоретических, имевших ко мне только косвенное отношение.

Как и следовало ожидать, голоса разделились поровну. Два профессора находили у меня "вялотекущую шизофрению", два – не находили.

Опять была полная неясность в будущем. Снова Лунц с любопытством поглядывал на меня – что-то со мной дальше будет? Так досидел я до лета.

Не знаю, действительно, чем бы это все тогда кончилось, – может, так бы и сидел в Институте Сербского до сих пор. Скорее всего, конечно, прислали бы еще одну комиссию,уже целиком состоящую из сторонников "вялотекущей шизофрении", и сейчас то, что осталось бы от меня, находилось бы где-нибудь в Ленинграде или, с глаз подальше, в одной из открытых за это время провинциальных спецбольниц. Но дело успело приобрести слишком широкую огласку.

По поручению "Международной Амнистии" в Москву приехал английский юрист г-н Эллман и обратился к директору Института Сербского Морозову с просьбой принять его. Он также просил о встрече со мной. Не знаю, что думал во время этой беседы г-н Эллман, ход же рассуждений Морозова легко себе представить.

Он почему-то вовсе не удивился, что какой-то иностранец требует у него отчета, даже не счел это "вмешательством во внутренние дела".

– Буковский? – переспросил он, наморщив лоб. – Не помню. Надо посмотреть, есть ли у нас такой больной, – и принялся перебирать бумажки на столе. – Ах да, правда. У него нашли шизофрению, но лечение ему очень помогло. Мы его скоро выпишем.

Так внезапно прервался восьмимесячный научный спор о моем психическом состоянии. Ни справок, ни объяснений, ни извинений. Помилуйте, кто вас держал? Это вам просто померещилось.

И только еще месяца три после моего освобождения продолжали приходить матери из различных инстанций прокурату-

ры запоздалые ответы: "Оснований для жалоб не усмотрено. Следствие проводится с соблюдением всех правовых норм. Ваш сын изолирован в соответствии с законом".

И, глядя на привычно суетливую Москву, я не мог избавиться от ощущения нереальности. Воистину, мы рождены, чтоб Кафку сделать былью.

А через полгода я опять был в тюрьме, в своем родном Лефортове с его призраками совести и вечными ночными муками. Всего-то полгодика удалось мне продержаться на воле – шесть месяцев отчаянной гонки: скорее, скорее, успеть как можно больше, пока не взяли. И опять, перебирая в уме эти полгода, я досадовал на свою медлительность и неповоротливость.

После истории Тарсиса и дела Синявского и Даниэля Запад впервые заинтересовался реальным положением вещей у нас. Приоткрылся лишь самый краешек завесы, но даже это немногое вызвало шторм возмущения. Что же будет, если они увидят все?

Нельзя было дать заглохнуть этому интересу, утихнуть возмущению, позволить снова опуститься железному занавесу глухоты. Впервые мы воочию убедились в силе гласности, видели страх и растерянность властей. И пусть пока что возобладали высокомерие и упрямство – ущерб властям был нанесен колоссальный. Надолго ли хватит им этой саморазрушительной наглости?

Впервые и у нас, в нашем мертвом обществе, возникал зародыш общественного мнения. На наших глазах начиналось движение в защиту прав гражданина. И надо было спешить, не дать ему заглохнуть.

Однако и власти не оставили своих намерений возродить то, что принято называть сталинизмом. Видимо, стремясь отыграться за свою неудачу, а главное – припугнуть осмелевших граждан, они срочно готовили новые репрессии.

Наша декабрьская демонстрация застала их врасплох: Уголовный кодекс не предусматривал наказания за такие демонстрации. Прецедента не было с 27-го года, и никого из участников не могли придумать, как судить. Была, конечно, статья о массовых беспорядках, по которой судили участников восстаний, но применить ее к такой демонстрации было бы чересчур даже для на-

шей "закон-что-дышло" юстиции. Исправляя свою оплошность, власти специальным Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1966 ввели статью 190-3.

Вполне в духе советского лицемерия, статья даже не упоминала слово "демонстрация", а говорилось в ней об "организации или активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, или сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, или повлекших нарушение работы транспорта, государственных, общественных учреждений или предприятий". Поди докажи, что в СССР запрещены свободные демонстрации! Ложь, клевета! Запрещены только грубые групповые нарушения порядка. И в то же время любой советский человек, привычный к поворотам дышла закона, отлично понимал, куда целит эта статья. По ней не только демонстрации становились преступлением, но и забастовки ("нарушение работы государственных, общественных учреждений или предприятий"). За все за это полагалось три года заключения.

Одновременно, тем же указом, вводилась статья 190-1, предусматривающая три года лагерей за "систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно изготовление или распространение в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания".

Формально отличие этой новой статьи от ст. 70 – "агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно распространение, либо изготовление или хранение в тех же целях литературы такого же содержания" – заключалось в у м ы с л е. По 70-й обязателен умысел на подрыв или ослабление Советской власти; по 190-1 – умысла не требовалось, и круг возможных преследований расширялся. А внешне опять все было вполне благопристойно: запрещалась не свобода слова или печати, а только клевета – в каком же государстве дозволено клеветать?

Но и здесь привычный к произволу и лицемерию советский человек вполне справедливо усматривал реакцию на разраставшийся самиздат и на распустившиеся языки. Клеветой же бу-

дет объявлено все, что властям не нравится. Иди спорь с ними потом.

Законодательство СССР не признает такой категории, как политическое преступление ("политзаключенных у нас нет!"), и такие преступления, как измена, агитация, диверсия и т.п. отнесены в раздел "Особо опасные государственные преступления". Однако осужденные по этим статьям содержатся отдельно от уголовников, в специальных концлагерях. Осужденных же по новым статьям предполагали держать в обычных уголовных лагерях, и даже следствие по этим делам должна была вести прокуратура, а не КГБ. Всем этим еще раз подчеркивалось, что статьи не содержат в себе ничего "политического".

Все это типичное лицемерие существенно затрудняло кампанию протеста против новых статей. Получался замкнутый круг. Явно покушаясь на конституционные свободы, формально статьи Конституции не противоречили – прямо утверждать, что они антиконституционные, было сложно. Уже такое утверждение было бы расценено как клевета. Доказать, что сами намерения властей, вводивших эти статьи, антиконституционны, можно было только после того, как станет ясна практика их применения. И то у властей каждый раз останется возможность утверждать, что нельзя обобщать отдельные случаи.

Однако статьи эти обеспокоили всех настолько, что группа писателей, академиков и старых большевиков обратилась в Верховный Совет с просьбой не принимать эту поправку к Уголовному кодексу. В числе подписавших это письмо были даже такие известные люди, как композитор Шостакович, академики Астауров, Энгельгардт, Тамм, Леонтович, кинорежиссер Ромм, писатели Каверин и Войнович. Тогда же впервые появилась подпись А.Д. Сахарова.

Письмо было составлено в осторожных выражениях и указывало лишь, что эти новые статьи "противоречат ленинским принципам социалистической демократии", "допускают возможность субъективной оценки, произвольного квалифицирования высказываний" и могут быть "препятствием к осуществлению свобод, гарантированных Конституцией". Ответа никто из подписавших не получил, и в конце декабря 1966 Указ был утвержден Верховным Советом.

5 декабря, в годовщину первой демонстрации, опять прошел "митинг гласности" на Пушкинской площади. Несколько десятков человек, собравшись там к шести часам вечера, просто сняли шапки и молча простояли минут пять. Так решили собираться каждый год, чтобы почтить память жертв произвола. Власти реагировали нервно, пытались разгонять собравшихся, однако никто арестован не был.

Трудно сейчас вспомнить все, что мы делали тогда. Зарождалось то удивительное содружество, впоследствии названное "движением", где не было руководителей и руководимых, не распределялись роли, никого не втягивали и не агитировали. Но при полном отсутствии организационных форм деятельность этого содружества была поразительно слаженной. Со стороны не понять, как это происходит. КГБ по старинке все искал лидеров да заговоры, тайники и конспиративные квартиры и каждый раз, арестовав очередного "лидера", с удивлением обнаруживал, что движение от этого не ослабло, а часто и усилилось.

Так же вот и исследователи мозга долгое время считали, что мозг содержит специальные командные центры, иерархическую структуру управления, — но всякий раз, удалив очередной "центр", с удивлением констатировали, что совершенно другой "центр" вдруг "берет на себя" его функции и ничего по существу не меняется. Со стороны кажется, что клетки мозга заняты совершенно лишней, нелепой работой, дублируя друг друга в осуществлении одной и той же функции. Гораздо рациональней кажутся специализация, подчинение, приказы и директивы. Вроде бы больше порядку. Но нет, не приемлем такой принцип для живого организма. И каждый из нас, подобно нервной клетке, участвовал в этом удивительном оркестре без дирижера, понуждаемый лишь чувством собственного достоинства и личной ответственности за происходящее.

Мы не играли в политику, не сочиняли программ "освобождения народа", не создавали союзов "меча и орала". Нашим единственным оружием была гласность. Не пропаганда, а *гласность*, чтобы никто не мог сказать потом — "я не знал". Остальное — дело совести каждого. И победы мы не ждали — не могло быть ни малейшей надежды на победу. Но каждый хотел иметь право сказать своим потомкам: "Я сделал все, что мог. Я был

гражданином, добивался законности и никогда не шел против своей совести". Шла не политическая борьба, а борьба *живого* против *мертвого, естественного* с *искусственным.*

Никто не "поручал" Гинзбургу собирать материалы процесса Синявского и Даниэля (так наз. "Белую книгу"), а Галанскову – литературный сборник "Феникс-66", никто не заставлял Лашкову все это печатать, а нас с Витькой Хаустовым – устраивать демонстрацию, когда их арестовали.

Удивительно здорово это описано у Метерлинка в "Жизни пчел", когда вся сложная жизнь улья внешне кажется подчиненной какому-то уставу. Но нет в ней приказов или регламентов, и каждая пчела, повинуясь внутреннему импульсу, то летит за медом, то строит соты, то охраняет вход. Постороннему наблюдателю кажется, что всем управляет матка, но убей ее – и пчелы тут же выкормят новую, не оставляя своей работы. Вот одна из пчел сообщила о новых полях, богатых нектаром, и тут же десятки ее соседок летят за нектаром. Как они определили, кому лететь, а кому оставаться?

Аресты следовали один за другим, по нарастающей. Сначала был взят Радзиевский, потом, 17 января, – Лашкова и Галансков, 19-го – Добровольский, еще через несколько дней – Гинзбург, и это не случайно. Расчет был запугать, чтоб каждый думал – не я ли следующий? Чтоб сидели по углам, запершись на все замки, и шептали молитвенно: Господи, пронеси!

Может, именно от этого неудержимо захотелось вдруг выйти вперед и крикнуть:

– Вот он я! Берите – я следующий. Вас никто не боится.

Но это было не главное. Главное – когда забирают твоих друзей, а ты ничего не можешь сделать. Словно рассудок теряешь от сознания своего бессилия. Насколько же легче было всем этим революционерам: у них в такие минуты был выход – стрелять или бомбы бросать. Скверно оставаться на воле, когда твои друзья в тюрьме.

И еще было горькое чувство, обида за ребят. Небось, когда арестовали известных писателей, весь мир взбаламутился. Теперь этого ждать не приходилось. Кого волнуют аресты какой-то машинистки да подсобных рабочих? Луи Арагону можно не возмутиться.

Ну, так мы вас заставим говорить!

Всего два дня оставалось на организацию демонстрации, и распространять обращение, как в прошлый раз, было некогда. Мы с Витькой просто обошли своих знакомых – человек тридцать. Решили, что больше нам и не нужно. Зато лозунги изготовили добротно, на материи. И даже прибили к ним палки. В день демонстрации, 22 января, собралось у меня на квартире десятка два ребят. Еще две группы должны были ехать из других мест.

Разговоров было мало – все делалось молча. Каждый понимал, что так легко, как в прошлый раз, мы уже не отделаемся. Кому-то предстоит идти в тюрьму. Мы с Хаустовым брали все на себя как организаторы, но кто мог предсказать – возможно, заберут всех. Статья была новая, никто еще не сидел по ней.

Говорил, пожалуй, один Алик Вольпин. Он был на этот раз против демонстрации. Особенно против лозунгов. В этот раз мы требовали не гласности суда, а просто свободы арестованным ребятам. Да еще был лозунг: "Требуем пересмотра антиконституционного указа и ст. 70 УК". Конечно же, Алик возражал против слова "антиконституционный" – текст введенных новым указом статей формально Конституции не противоречил.

– Ну, что ж, – сказал я, – вот и посмотрим, с какими намерениями этот указ принят. Проведем юридический эксперимент. Если он не антиконституционный – нас и не арестуют.

Еще раз прочли текст статьи 190-3. Все было ясно: общественный порядок не нарушать, представителям власти не сопротивляться, если потребуют отдать лозунги – отдать немедленно, будут забирать – идти спокойно. Работу транспорта или учреждений нарушить мы никак не могли: Пушкинская площадь в этом смысле идеальное место. Решили ничего не выкрикивать – хватит и лозунгов. Вольпин пытался еще что-то писать, какие-то инструкции на случай ареста, но это уже было никому не нужно.

– Ладно, все и так ясно, – сказал Андрей.

– Не суетись, старик, – сказала Юлька.

Собственно, инструктаж этот был мне нужен для суда. Все присутствующие засвидетельствовали бы, что у нас не было *намерения* нарушить статью 190-3, и возникал еще один юридический аргумент – отсутствие умысла.

К шести часам поехали на площадь – из трех разных мест. От меня троллейбусом минут десять. Ехали молча. В каждом чувствовалась угрюмая решимость, словно у летчика, который идет на таран. За нами, в некотором отдалении, – гебешники. Весь день они не отходили ни на шаг.

Мороз был лютый – градусов под тридцать, и оттого свет фонарей, памятник Пушкину и огни в окнах казались отчетливей и резче – декоративней. Прохожих мало.

Лозунги привезли под пальто, три штуки – и больше всего боялись, что не успеем развернуть. Но никто не мешал нам. Вокруг было пусто, словно все вымерзло.

Мы с Андреем взяли один, Витька Хаустов с Вадимом Делоне – второй, Борис с Юлькой Вишневской – третий. И вся толпа, человек сорок, моментально переместилась вперед, лицом к нам, растянувшись полукольцом.

– Повыше, не видно, – сказал кто-то негромко.

И мы подняли на вытянутые руки три белых полотнища с синими буквами, отчетливо видные в морозном воздухе.

Высокая, закутанная с ног до головы фигура приблизилась к толпе и стала с краю.

– Ага, стукач... – сказала Юлька злорадно.

– Да нет, это Боря Ефимов...

И на секунду мне стало страшно – вдруг ничего не будет? Расчет строился на том, что лозунги отнимут, а нас заберут. Не везти же их назад, домой. Я вообще не предполагал домой возвращаться.

Но тут, наконец, словно вызванные моими страхами, вынырнули справа из темноты и бегом, с криками бросились к нам человек пять. Ни формы, ни повязок. Морды красные от мороза.

– Всякую гадость развесили!

– Глаз выбью, гад!..

... Представители власти, с законными требованиями...

Один рванул за середину наш с Андреем лозунг, и мы тотчас же отпустили палки. А слева, там, где были Витька с Вадимом, слышался треск рвущейся материи и какая-то возня. Вадим отпустил свой конец, Витька же продолжал держать, и "представитель власти" никак не мог отодрать материю от палки. Этот лозунг мы делали с Витькой сами и прибили добросовестно, про-

фессионально. Витька работал обойщиком мебели, и у него были какие-то специальные гвозди. Маленькие, граненые, с широкими шляпками. Прибивая материю, он держал их во рту и очень ловко вколачивал двумя ударами молотка.

Наконец, трое повалили его и стали крутить руки.

— Витька, не сопротивляйся, — крикнул я, — спокойно, не сопротивляйся!

Он затих, и его быстро утащили с площади.

Толпа смешалась, все заговорили, задвигались, и только тут я увидел, что еще один парень стоит с лозунгом под мышкой и держит за руки Бориса с Юлькой. Ребята стояли спокойные, готовые идти, куда им прикажут, но парень остался один и был в нерешительности. Молодой, младше меня. Он был смущен, растерян, и чувствовалось, что ему страшно неловко. Он ждал, что мы его оттесним от своих и тогда он уйдет со спокойной совестью. Его же, наоборот, приняли за своего, и кто-то из толпы советовал:

— Спрячь лозунг под пальто, а то сейчас вернутся...

— Уходи, уходи, пока никого нет.

Секунду он колебался, потом бросил ребят и быстро, не оглядываясь, зашагал прочь.

Все было кончено. Вдруг стало холодно и неуютно.

— Пошли, — сказал я. — Мы свое сделали. Пошли, согреемся где-нибудь.

И человек десять, вместе со мной, медленно потянулись к троллейбусной остановке. Толпа разбилась на кучки, все оживленно обсуждали происшедшее.

— Что случилось, что тут было? — спрашивали случайные прохожие.

Уже гораздо позже, без меня, вернулись оперативники и забрали Вадика Делоне и Женьку Кушева, которому вдруг пришло в голову крикнуть: "Долой диктатуру! Свободу Добровольскому!" Делоне выпустили, а Кушева увезли в Лефортово. Илью Габая задержали два милиционера по приказу КГБ, но и его выпустили, записав фамилию.

Тысячи раз потом повторялись эти подробности свидетелями, следователями, прокурорами, судьями, адвокатами, искажались умышленно, перевирались случайно, пока, наконец, не осели дубовыми фразами приговоров, процеженные через судебную процедуру.

Власти, видимо, сами не знали, что с нами делать. Вадика арестовали только через три дня, меня и Габая – через четыре. И вновь потянулись дни в Лефортове, допросы, наседки. Подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой, подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой...

– Соберитесь в баню.

– Как, опять баня? Неужели неделя прошла?

Политическое следствие в СССР – процедура совершенно особая, ни в какие кодексы не укладывающаяся. Не случайно самый лучший следователь КГБ профессионально не способен вести обычное уголовное дело и даже пустяшную карманную кражу не сможет раскрыть как следует. В уголовной практике дело возникает при совершении преступления. Допустим, произошло убийство – это и есть основание для возбуждения дела. Так это и называется – дело об убийстве гражданина такого-то. Следствие изучает обстоятельства убийства, личность убитого, его связи и взаимоотношения с окружающими, перебирает возможных убийц, исследует их отношения с убитым. Наконец, если повезет, убийцу находят, собирают доказательства его причастности к преступлению, отпечатки пальцев, следы крови и т.п. Если доказательств недостаточно – его оставляют в покое, ищут другого возможного убийцу. Не нашли – дело об убийстве так и остается нераскрытым. Но всё в таком деле на своем месте: свидетели – только свидетели, подозреваемый в убийстве подозревается только в убийстве, следователь – просто следователь, адвокат – просто адвокат.

В политическом следствии дело заводится на *человека,* ибо, по мнению КГБ и партийного начальства, его *пора сажать.* Скопились какие-то доносы о его высказываниях, намерениях, контактах, влиянии на окружающих, о том, что он кому-то мешает или, наоборот, отказывается помочь, слишком много знает и болтает об этом или, напротив, ничего знать не хочет. Словом, пора сажать человека, созрел. А еще чаще – созрел для посадки целый круг людей, надо их приструнить: кого-то посадить, кого-то взять на крюк. Поэтому из такого круга сначала выбирают человека или наиболее уязвимого, способного сломаться, склонного к компромиссам, или, наоборот, такого, что его арест произведет на весь круг наибольшее впечатление. Или даже то-

го, кто действовал меньше других, чтобы навалить на всех ответственность: "Вот, вам ничего, а он (или она) сидит...", "Втянули человека в ваши дела, теперь он за вас расплачивается". Или берут *вокруг* кого-то очень активного, надеясь внушить подозрения, что он-то, остающийся на свободе, сотрудничает с КГБ.

Есть, конечно, случаи исключительные, когда арест форсируется неожиданным происшествием, вроде нашей демонстрации, но само следствие и в этих случаях идет по обычным законам, сформулированным известной фразой: "Был бы человек, а статья найдется". Кстати, о статье. Если человека арестовывают по уголовному делу, его же не обвиняют в убийстве вообще, воровстве вообще или мошенничестве как таковом, но в убийстве кого-то, воровстве чего-то или конкретных случаях мошенничества. По политической статье обвинение запросто дается по формулировке статьи, а факты подбираются во время следствия: что́ удастся подтвердить показаниями, признанием, материалами обысков, то́ потом и войдет в обвинительное заключение. А то еще бывает, арестовывают или обыскивают перед арестом под самым неожиданным предлогом: подготовка к покушению на Генерального секретаря ЦК КПСС или неуплата алиментов брошенной семье, попытка убежать за границу или подготовка к ограблению банка. Просто берут самый красочный из доносов на этого голубчика и представляют в партийные инстанции (без них ни один арест не происходит):

– Видите, что за человек! До чего докатился! Давно пора сажать. И пропаганду разводит, и взятки берет, и с женой подрался. Вот и возьмем его пока за драку с женой, а там видно будет.

И начинается дело о гражданине Н. Ведет его не один следователь, а целая бригада, и день за днем, час за часом перебирают они всю жизнь гражданина Н – не может же быть, чтобы этот гражданин никогда ничего "такого" не совершил, нет у нас таких чистеньких. Ну, если не хотел убить Генерального секретаря, так ругал его спьяну, или Америку хвалил, или взятку дал, или продал что-нибудь "налево". Как у Кафки: вина должна сама себя обнаружить. Ведут наше дело о демонстрации, арестовано пять человек, на площади было от силы пятьдесят, а обыски проводят у ста и забирают, естественно, весь самиздат. Тут и средство запугивания, и надежда что-то "выловить".

А пуще всего бригада следователей интересуется интимной жизнью гражданина Н: с кем спал, где, когда и каким способом? Кто не без греха? – сознайтесь. И уж если такой грех обнаружен, то сразу убито несколько зайцев. Во-первых, у гражданина Н жена, и он вовсе не хочет, чтобы она узнала все его грехи. Во-вторых, у той гражданки, с которой был грех, есть муж, который этим обстоятельством весьма заинтересуется. Он – готовый союзник следствия, такое вспомнит о гражданине Н, что только руками разведешь. В-третьих, сама эта гражданка чего только не подпишет, чтобы муж не узнал лишнего. Да мало ли тут комбинаций возникает! Успевай записывай. И, наконец, весьма отчетливо проступает аморальный облик гражданина Н, его, так сказать, подлинное лицо, а это очень пригодится для суда и для газет.

Ведь политическое следствие не преступление распутывает, а прежде всего собирает компрометирующий материал. Оно обязано выяснить, почему гражданин Н, внешне вполне советский, выросший в советской семье, воспитанный советской школой, вдруг оказался таким несоветским. Это надо установить и сообщить наверх, партийным органам, для обобщения и принятия мер.

Человек, по партийным понятиям, ни до чего не может додуматься просто так, сам. Тут должно быть чье-то "влияние": или буржуазной пропаганды (выяснить, как проникла!),или какого-нибудь антисоветски настроенного типа (выявить и взять на заметку!). В крайнем случае, следствию приходится констатировать недостаток воспитательной работы с гражданином Н. Это уже совсем скверно, и кто-то из партийных товарищей у него на службе или в институте получит выговор. До этого предпочитают не доводить и настаивают: "Ну, подумайте, видимо, кто-нибудь на вас влиял?.. Кто?"

Конечно же, к концу следствия, под тяжестью улик, гражданину Н полагается раскаяться, осознать свои ошибки или хотя бы посожалеть о содеянном. Иначе скверно приходится уже самим следователям: политическое следствие – это, в первую очередь, воспитание заблудшего, а следователь – воспитатель и политический наставник.

Главное оружие следователя – юридическая неграмотность советского человека. С самого дня ареста и до конца следствия гражданин Н полностью изолирован от внешнего мира, адвока-

та увидит только, когда дело уже окончено. Кодексов ему не дают, да и что он поймет в кодексах? Вот и разберись: о чем говорить, о чем не говорить, на что он имеет право, а на что – нет?

Человек, арестованный в первый раз, обычно твердо уверен, что его будут пытать или, как минимум, бить. Следователь его в этом не разубеждает. Напротив.

– Ну, что ж, – цедит он зловеще, – не хотите добром признаваться, вам же хуже. Потом пожалеете.

Что "хуже" – не объясняется.

Как правило, решает человек, что лучше всего подтверждать уже известное следствию. Какая разница? Все равно знают. Лишь бы новых фактов не сообщать, новых людей не впутывать. Тем более что, когда ты не отвечаешь, тебе начинают твердить: "Вы неискренни". Вот на известных фактах и можно подтвердить свою "искренность", в то же время вроде бы не расколовшись. И это самая распространенная ошибка. Подтверждать в своих показаниях то, что "известно" следствию, – все равно что менять для них советские рубли на доллары по официальному курсу. Их "знание", приобретенное от агентов, через прослушивание телефонных разговоров, а то и просто по предположениям, – в протокол не запишешь, суду не предъявишь. Подтверждая сомнительное "известное", человек делает его юридическим фактом, доказательством.

Даже когда зачитываются показания какого-нибудь "раскаявшегося", подтверждать их ни в коем случае нельзя. Показания одного человека (тем более обвиняемого, который не несет ответственности за дачу ложных показаний) – это одно дело, он еще может их изменить, в крайнем случае – на суде от них откажется. Показания двоих – значительно хуже, и тому же "раскаявшемуся" отказаться от своих прежних покаянных показаний труднее будет.

Самые незначительные факты, детали, подробности, вроде бы и к делу не относящиеся, и то опасно подтверждать (или рассказывать) – их предъявят кому-нибудь вместе с вашей подписью под протоколом и скажут:

– Вот видите, он во всем сознался. Такие мелочи – и то рассказал.

А тут еще следователь, ведя протокол, непременно исказит все, что вы говорите. Вместо "встреча" напишет "сборище",

вместо ”взгляды” – ”антисоветские взгляды”, вместо ”давал почитать” – ”распространял”. И отказаться подписывать неловко – работал человек все-таки, писал.

Удивительно – как трудно советскому человеку научиться говорить ”нет”, ”не хочу отвечать”, ”не буду рассказывать”. Предпочитают говорить в сослагательном наклонении: ”вроде бы”, ”как будто бы”, ”может быть”. Следователь же записывает ”да” и еще от себя добавляет целую фразу – развернутое ”да”.

А тут еще наседка в камере, да следователь намекает, что родственникам худо придется – жене, детям.

И когда, наконец, закрывают дело и можно встретиться с адвокатом, то уже поздно. Чего только не наговаривают на себя люди по незнанию! И на себя, и на других...

Второе оружие следствия – это свидетели. И к ним относится все сказанное выше – с той только разницей, что свидетелю еще труднее. Свидетель в политическом деле – это уже не свидетель, а подозреваемый. Сегодня свидетель – завтра в тюрьме, и основное свойство свидетеля – нежелание превратиться в обвиняемого. По некоторым делам даже и не поймешь, почему один оказался свидетелем, а другой – обвиняемым. ”Виноваты” они одинаково, просто следствию так удобнее.

Свидетелю сразу же объявляют: за отказ от показаний – одна статья, за ложные показания – другая.

– Так говорил вам гражданин Н или не говорил, что в нашей стране нет демократии?

Кто ж этого не говорит! Отпираться неправдоподобно. Ложные показания пришьют.

– Не помню, знаете. Может быть...

– Полноте, – успокаивает следователь, – мы же знаем. Вот, например, в четверг, у вас дома, за столом. Вы еще анекдот рассказали, про Надежду Константиновну Крупскую. Ведь так дело было?

– Вроде бы, – тянет свидетель, – я плохо помню.

Особенно плохо он помнит про то, как сам рассказывал анекдот. И следователь вписывает в протокол: ”Да, в четверг у меня дома гражданин Н вел антисоветские разговоры, утверждая, что в СССР нет демократии”. Гнуснейшая клевета на наш самый демократический в мире строй – статья 70 обеспечена. Какой адвокат вам теперь поможет?

Впрочем, адвокат – помощник только по уголовным делам. В политических делах, как правило, адвокат – помощник КГБ, ими же и назначенный, или, официально говоря, "допущенный". И если следствию, наседкам, свидетелям и юридической безграмотности объединенными усилиями не удалось довести гражданина Н до раскаяния – за дело принимается адвокат. Он не только откроет кодекс, но и на случаях из своей практики покажет, что чистосердечное раскаяние есть смягчающее обстоятельство:

– Раскайтесь, ну, хоть формально, и дадут поменьше. Не семь лет, а пять. Иначе вас и защищать невозможно.

Вот потому-то и не бывает в КГБ "нераскрытых дел". А уж если приходится признать, что зря арестовали гражданина Н, зря держали в Лефортове, – это просто грандиозный скандал. Кого-то в чинах понизят, кого-то на пенсию, кого-то на Чукотку старшим следователем по особо важным делам переведут, у белых медведей антисоветчину искоренять.

Позвольте, как же это – "пришлось выпустить"? Что же, все-таки существуют законность, беспристрастный суд, нелицеприятные судьи? И оправдывают политических?

Успокойтесь, товарищи, не торопитесь. Чтоб суд оправдал обвиняемого по политической статье, этого у нас не бывало. Разве что условный срок дадут, если очень живописно кается. Наши ведь советские суды выполняют, в первую очередь, задачу воспитания масс. А какое же это воспитание, если и дураку видно, что судят гражданина Н совсем уж, даже по нашим меркам, ни за что, ни про что? И никакой даже сомнительной истории с деньгами или "морального разложения". Как же это может быть морально чист враг пролетарской власти? Да еще и никакого влияния буржуазной пропаганды не обнаружили.

И выпускают-то, не доведя дела до суда, тоже не "оправдав", а лучше всего "помиловав" (не осужденного, не представшего даже перед судом – помиловав!) или, в крайнем случае, "за недоказанностью вины": гуляй, милый, пока не накопим на тебя матерьяльчик, никуда не денешься. Так по нашему делу выпустили Илью Габая, чтобы через два года арестовать наверняка, без всяких там недоказанностей.

Моя позиция на следствии была простой и ясной:

– Я гражданин этой страны и действовал в рамках ее Кон-

ституции. Да, я организатор и активный участник демонстрации. Это мое конституционное право, и я им воспользовался. Я приглашал знакомых принять участие в демонстрации, делал лозунги, принес их на площадь и один лозунг держал. Кого именно приглашал, с кем делал лозунги и кто был на площади, говорить отказываюсь, так как к моему обвинению это отношения не имеет. Я отвечаю только за свои действия. Перед выходом на площадь я инструктировал своих знакомых. Я прочел текст статьи 190-3 вслух и предупредил всех собравшихся, чтобы не нарушали общественный порядок, повиновались требованиям властей, не сопротивлялись, не нарушали работу транспорта и учреждений. Во время демонстрации никто из нас этих требований не нарушил. А вот те, кто нас задерживал и срывал лозунги, действительно грубо нарушили общественный порядок. Я требую их отыскать и привлечь к уголовной ответственности. – И я писал сотни жалоб во все концы, требуя – как добрый гражданин – немедленно наказать нарушителей порядка.

На десятый день мне предъявили обвинение по ст. 190-3. В нем говорилось, что я, "узнав об аресте своих друзей Лашковой, Добровольского, Галанскова и др., с целью их освобождения, в нарушение установленного законом порядка обращения по данному вопросу в соответствующие органы, встал на путь незаконного выражения своих требований и несогласия со ст. 70 и ст.ст. 190-1, 190-3 УК РСФСР, явился одним из организаторов действий, грубо нарушивших общественный порядок на Пушкинской площади в Москве 22 января 1967 г., принял активное участие в этих действиях."

– Понятно ли вам обвинение? – спрашивает следователь.

– Нет, не понятно.

Тут мы меняемся с ним ролями, и теперь ему надо давать объяснения. А что он может объяснить? Советская власть не приучена объясняться, она может только требовать.

– Мне не понятно, откуда взялась "цель освобождения" арестованных, что это за "установленный законом порядок обращения", как я мог его нарушить, если вообще к нему не прибегал, почему способ выражения моих требований незаконен – он ведь вполне конституционный, а главное, в чем же выразилось "грубое нарушение общественного порядка"?

Приходили прокуроры, начальники отделов, какие-то люди в штатском, пытались что-то объяснять, размахивали руками, морщили лбы, но дело дальше не двигалось. Как объяснишь, что требовать освобождения греческих политзаключенных можно, а советских – нельзя? Где, в каком законе сказано, что первомайская демонстрация на Красной площади – не нарушение общественного порядка, а наша, на Пушкинской, – нарушение? И никто из них не мог преодолеть статью Конституции, где черным по белому напечатано, что гражданам СССР гарантируется свобода уличных шествий и демонстраций.

Я же давил их законом, прижимал статьями, глушил параграфами – признайтесь честно и правдиво, скажите на весь мир, что нет в СССР свободы демонстраций, что у вас все запрещено, что́ вам не нравится. И уже они впадали в неопределенное, сослагательное – "может быть", "вроде бы", "как будто".

– Ну, вы же – советский человек...

– Нет, я гражданин СССР.

– Каковы ваши взгляды?

– А какое это имеет отношение к моему делу? Надеюсь, меня держат в тюрьме не за взгляды?

– Вы признаете себя виновным?

– Как я могу ответить на этот вопрос, если мне не понятно обвинение? Объясните.

По закону они обязаны объяснить. Не можете? И вот уже летит целый ворох жалоб – не хотят объяснить обвинение бедному заключенному! Полгода сижу – не знаю, за что! А сверху ответы: "Разъяснить обвиняемому". Зациклило машину. Так бывает иногда с компьютерами: лампочки мигают, что-то щелкает, машина гудит, а решения никакого. Позиция гражданина оказалась неуязвимой.

Поначалу, конечно, не давали мне кодексов. Пришел начальник тюрьмы полковник Петренко, с мохнатыми седыми бровями из-под папахи.

– Не положено.

Ну, написал кучу жалоб, пригрозил голодовкой. Двух дней не прошло, как тот же полковник Петренко распинался чуть не со слезой в голосе:

– Нету у нас кодексов, всю библиотеку перерыли. Вот у меня собственный, с дарственной надписью Семичастного, что же я, его отдам что ли?

Забрал я у него и дареный кодекс с автографом тогдашнего председателя КГБ, и комментированный УПК, и еще кучу всякой юридической литературы. Вот только Конституцию они никак найти не могли. Но я был неумолим, и на четвертый день, запыхавшись, прибежал зам.начальника тюрьмы подполковник Степанов.

– Вот, кОнституцию принес, – говорил он, напирая на "о". – ТОлькО РСФСР, СССР нету. Ну, да Они ОдинакОвые. Сам пОкупал. Три кОпейки стОит, пОтОм сОчтемся.

А с Петренкой мы после этого стали лучшими друзьями. Он приходил в камеру, нарочито строго насупив мохнатые брови под папахой, и, глядя задумчиво на пустые полки, спрашивал:

– Почему продуктов не видно?

– Съели всё, кончились продукты.

– Когда передача полагается?

– Не скоро еще, через месяц.

– Пишите заявление. Разрешу внеочередную.

И уходил.

Он сам когда-то был следователем и теперь, читая мои бесконечные жалобы, ясно видел, что следствие зашло в тупик. Судить не за что.

А я тем временем запоем читал кодексы, словно детективный роман, знал их наизусть, как таблицу умножения, и с удивлением обнаруживал, сколько же у меня, оказывается, прав. И уж пользовался этими правами в полную меру.

Я откровенно издевался над следователями, заваливал их грудами жалоб, заставлял по десять раз переписывать протоколы. Попробуй откажись – не подпишу, и вся твоя работа насмарку.

Было лето, жара стояла адская, и следователи потели, тоскуя по лесной прохладе.

– Владимир Константинович! Ну, может, хватит? Сколько раз можно переписывать?!

Пиши, бес! Пиши, что я тебе продиктую. Своими руками мастери себе петлю. Это тебе не наивных, запуганных кроликов загонять в капкан. Сколько душ загубил, сколько жизней испоганил – всё с тебя получу. И он писал, исходя по́том.

Примерно с середины лета, окончательно зайдя в тупик, они начали следствие по ст. 70. Но начали по-воровски, осторож-

но, не предъявляя мне нового обвинения. Куда там! Закон есть закон. Предъяви обвинение — потом и спрашивай. И опять груда жалоб: Незаконное следствие! Преступники! Требую суда!

Ребята мои, Кушев и Делоне (Хаустова к этому времени уже осудили отдельно от нас, три года дали), каялись, писали слезные послания следователям. Для них все было ужасно: тюрьма, решетки, надзиратели. Полгода без родных, и впереди — неизвестность. Для меня же все происходящее было праздником, и никогда потом я не испытывал большего удовольствия. Я чувствовал себя, словно танк, ворвавшийся в расположение интендантской роты, где-нибудь в глубоком тылу. Все врассыпную — дави, кого хочешь. Больше трех лет не дадут — а удовольствия сколько!

Из дела же лезли и лезли новые беды для КГБ. Вдруг из показаний двух милиционеров выяснилось, что они задержали Габая по прямому приказу полковника КГБ Абрамова, который распоряжался на площади разгоном демонстрации. Вот он, нарушитель порядка! Держи вора! Ходатайствую о вызове на допрос полковника Абрамова!

Наконец, дело застопорилось полностью — говорить стало совершенно не о чем. И следователь мой вызывал меня просто так, поболтать. За всей этой баталией мы и не заметили, как подружились, и ему стало теперь скучно провести день, не поспоривши со мной о чем-нибудь. Он сам жил в провинции, где-то в Ярославле, и, разумеется, как все провинциалы, стыдился своей неосведомленности.

— Ну, расскажи какую-нибудь книжку. Вот у тебя по старому делу в 63 году Джилас шел. Что это за штуковина?

— Неужели даже вам не дают почитать? Тоже не доверяют?

— Где там... Только то и прочтешь, что на обыске отнимешь. А у нас в Ярославле и отнять нечего. Темнота...

Слушал он с напряженным вниманием, как на лекции в Планетарии "Есть ли жизнь на Марсе?". Впитывал, как губка. И я рассказывал все, что помнил из прочитанных в самиздате книг, — пусть везет в свой Ярославль, расскажет знакомым. Чай, тоже люди — истосковались по новостям.

Чем-то он мне даже нравился — высокий, лобастый, с открытым лицом. Неприятно ему было наше дело и та роль, которую ему приходилось в нем играть. Прощались мы даже трогательно.

В войну он был артиллеристом и теперь рассказал мне, как ребята из их дивизиона заняли какую-то высотку и отстреливались до последнего. Все погибли, но не сдались.

– Так немцы, – рассказывал он, – похоронили их с почестями. Генерал приехал, сам присутствовал на похоронах, снял фуражку и приказал произвести салют. Правильно, надо уважать достойного противника. Вот и я, вроде того... – Тут он замялся, сделал движение протянуть мне руку, но не решился: вдруг я не отвечу тем же?

Рассказывали мне потом, что вскоре он ушел из КГБ. Не знаю, верно ли это, но мужик он был, по-моему, неплохой.Только работа у него была скверная.

Следствие прекратил зам. Генерального Прокурора Маляров. Сжалился над чекистами, не продлил срока следствия, а на одной из моих жалоб написал наискось: "Следствие прекратить, дело направить в суд". Приближались Великие Праздники – 50-летие советской власти, и такой позорный суд был не лучшим подарком любимому ЦК от пламенных чекистов.

И вот перед самым судом они сделали отчаянную попытку избежать скандала – через адвокатов, которые защищали моих подельников, предложили мне подать ходатайство о направлении меня на психиатрическую экспертизу.

– Главное – переждать праздники, – уверяли они, – а там будет амнистия,и вас просто выпустят. И волки сыты, и овцы целы.

Это-то меня и не устраивало. Фактически я держал КГБ за горло, и было бы непростительной глупостью дать им теперь ускользнуть, не выпустить меня на суд. И вообще экая безумная идея – самому обращаться с просьбой об экспертизе! Все равно, что в петлю лезть. Да и амнистии никакие на психов не распространяются.

– Ну, если вам себя не жалко, подумайте о Делоне и Кушеве. Молодые ребята – зачем вы им жизнь портите? Много им, конечно, не дадут, а все-таки судимость будет...

Но я категорически отказался, и они ушли разочарованные. Мой адвокат, Дина Исаковна Каминская, в этих торгах не участвовала – сказала только: "Решайте сами", – и молча слушала наш разговор. Оттого, наверно, я вдруг и поверил, что произошло чудо: у меня честный адвокат.

Обычно по политическим делам родственники или сам подсудимый могут выбрать только такого адвоката, у которого есть "допуск к секретному делопроизводству". А поскольку этот "допуск" оформляет КГБ, то, естественно, его получают только их доверенные люди. До суда эти "защитники" обрабатывают своего подзащитного, уговаривают каяться, давать нужные показания, даже пытаются выведать интересующие КГБ сведения. На суде они прежде всего заявляют, что,как честные советские люди, осуждают взгляды своего подзащитного, ужасаются глубине его падения и лишь осмеливаются смиренно просить Высокий Суд о смягчении наказания, учитывая молодость (или, наоборот, преклонный возраст), неопытность, первую судимость, слабое здоровье, трудное детство, малолетних детей, раскаяние и готовность честным трудом искупить свою вину и вред, нанесенный обществу. Бывали такие курьезные случаи, когда адвокат настолько увлекался ролью возмущенного советского человека, что даже судья вынужден был его останавливать:

— Товарищ адвокат, вы защищаете или обвиняете?

Естественно, я ждал такого же адвоката и готовился вообще отказаться от защитника, благо законом такой вариант предусмотрен. Каминскую я встретил настороженно. Выбрала ее мать — ну, хорошо, а что мать понимает в этих делах? Не помогла и ссылка на дружбу с Каллистратовой: ни про суд над Витькой Хаустовым, ни про то, как мужественно и блестяще защищала его Каллистратова, я, сидя в лефортовской камере, не знал. И вот потом только, при этом разговоре об экспертизе, лед моего недоверия проломился.

Такое уж, видно, время было, такая атмосфера в стране, что и среди адвокатов с "допуском" нашлись честные люди, готовые защищать гражданско-правовую позицию, повинуясь тому же импульсу, что и мы. И вскоре на весь мир прогремели имена наших отважных адвокатов Каллистратовой, Каминской, Золотухина, Залесского, Арии, Монахова и других. Впервые защитники требовали оправдания на политических процессах, квалифицированно доказывая отсутствие вины, и это имело эффект разорвавшейся бомбы. Пусть позиция защиты не могла повлиять на решение суда, исход которого определяется заранее в высоких партийных инстанциях! Но разве в этом мы ждали победы?

Между тем, к моменту нашего суда невооруженным глазом было видно, насколько провалилось дело против нас. Габай был освобожден после пяти месяцев бесплодного следствия. Еще какое-то время пытались "пришить" ему уголовное дело, но и из этого ничего не вышло. Из ребят, по поводу ареста которых мы устраивали демонстрацию, был освобожден Радзиевский. Получалось совсем смешно: нас собирались судить за "незаконное" требование свободы арестованным, а одного из них уже освободили – сам КГБ, выходит, выполнил наше требование. Над остальными суда еще не было, и кто мог, предвосхищая решение суда, утверждать, что не освободят и остальных? Семь месяцев тянулось следствие по нашему делу и было закончено по распоряжению прокурора. Обвинить нас по ст. 70 так и не смогли.

Никто из допрошенных свидетелей, включая оперативников и милицию, не видел в наших действиях нарушения общественного порядка. Те, кто разгонял демонстрацию, признавались, что действовали по наущению КГБ. Участники демонстрации единодушно свидетельствовали, что я инструктировал их не нарушать порядка и подчиняться требованиям властей. Более того, уже на площади я призывал Хаустова не сопротивляться, и это было отмечено во всех показаниях. Оставалось только довершить на суде разгром КГБ, поэтому я готовился провести процесс активно, не дать им дохну́ть и в последнем слове постараться максимально разоблачить КГБ.

Можно было предполагать, что на суд никого не пустят, как это было на процессе Синявского и Даниэля. Но стали же каким-то образом их последние слова достоянием гласности, и я надеялся, что мои друзья тоже найдут способ записать мое выступление. Даже если нет – я все равно решил вести себя так, будто выступаю перед всей страной. Просто для морального удовлетворения. Я хотел, чтобы суд выглядел тем, что он есть, – вопиющим беззаконием, а узнают об этом или нет – безразлично.

Кроме разоблачения КГБ, кроме доказательства несостоятельности суда над нами мне предстояло еще изложить цели нашей демонстрации, показать антиконституционность политических статей УК и все это в строгом соответствии с моей гражданской позицией. Саму эту позицию я намеревался впервые

публично высказать и, пользуясь интересом к суду и напряженностью момента, привлечь к ней таким образом внимание. Словом, я готовил речь этак часа на полтора, что, конечно, было ошибкой – кто же запомнит ее, такую длинную?

Зная ход суда над Синявским и Даниэлем, я мог предвидеть, что судья и прокурор постараются не дать мне говорить, будут обрывать свидетелей и вообще постараются взять все в свои руки. Поэтому я очень тщательно изучил процессуальный кодекс и продумал все юридические ходы, посредством которых я смогу вести процесс, как мне нужно. В особенности я ожидал стычек с судьей и разработал целую программу действий. По опыту общения со следователями и прокурорами я знал, как плохо советские юристы знают процессуальное право, и был уверен, что ссылка на какую-нибудь редкую, забытую статью приведет судью в замешательство: неудобно же ему будет посреди процесса лезть в кодекс, демонстрируя свою некомпетентность.

В кодексе я вычитал, например, что имею право делать замечания на действия судьи и требовать занести мои замечания в протокол. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь с принятия кодекса этим правом пользовался, – конечно, судья эту статью не помнит. Нельзя такой прием применять до бесконечности – он перестанет производить впечатление, и я решил, что воспользуюсь им 5-6 раз, а затем внезапно, посреди процесса, заявлю ходатайство об отводе судьи: обобщу все свои замечания и объявлю, что действия судьи доказывают его пристрастность и заинтересованность. Процедура отвода судьи обещала быть забавной. По закону, судья не может принимать участие в разрешении такого ходатайства – это ведь ему выражено недоверие. Заседатели вдвоем, без судьи, должны пойти в совещательную комнату и там одни придумывать формулировку – решение должно быть мотивированным. Заседатели же обычно люди, совершенно неграмотные юридически, безынициативные и покорные, – заранее можно было предвидеть, какую чушь они понапишут в своем определении, оставшись без диктовки судьи. А судья тем временем обязан покинуть свое председательское место и сойти в зал. Словом, процедура достаточно унизительная, чтобы сбить спесь с любого самого наглого судьи.

И еще много таких, сроду не слыханных трюков я себе заготовил заранее. Применять мне их, однако, не пришлось, и все прошло более гладко, чем я ожидал.

Судить нас должны были втроем: Делоне, Кушева и меня. (Хаустова судили задолго до нас, так было удобней властям: его еще кое-как можно было обвинить в "сопротивлении представителям власти". Дали три года. А нас кроме самого факта демонстрации обвинить было вовсе не в чем, поэтому оттягивали суд, как могли. Всё надеялись хоть что-то найти!)

30 августа с утра нас привезли в Московский городской суд, на Каланчевку, и посадили в подвал, в специальные камеры. К десяти часам конвойные провели нас в зал, на скамью подсудимых.

Я ужасно нервничал и боялся, что не сумею провести процесс, как мне хотелось бы, растеряюсь, нечетко сформулирую свое выступление. Ведь я ждал этого суда как праздника: хоть раз в жизни есть возможность громко высказать свое мнение.

Но стоило попасть в этот зал, с его типичным для присутственных мест невыразимо пошлым запахом, нелепой окраской стен, казенными стульями и грязными потолками, как все напряжение спало. Никакой торжественности, праздничности, трагичности – обычная казенщина, канцелярская скука и безразличие. Особенно насмешило меня, что на высокой судейской трибуне прямо под массивным гербом Советского Союза какой-то шутник нацарапал крупно то самое слово из трех букв, которое украшает все заборы, общественные уборные и школьные парты. Под этим-то знаком зодиака и проходил весь наш суд.

Судья, женщина лет 45, вовсе не злобная и не наглая – скорее даже приветливая, – отправляла правосудие с тем же привычным автоматизмом, с каким священник служит обедню. Для нее это был просто очередной рабочий день. Заседатели откровенно дремали, подперши головы руками, конвойные зевали, а в зале сидели чекисты в штатском, изображая публику.

Тысячи наголо стриженных людей серой чередой прошли через этот зал, перед глазами этих судей, заседателей и конвойных, получили свои унылые приговоры – кто 5, кто 15, кто 10, кто расстрел – и исчезли. Хорошо было поэтам древности сочинять свои оды об узниках в живописных лохмотьях, гремящих цепями, о мрачных темницах и кровавых палачах. Теперь и казнят-то не на плахе, где можно было хоть, оборотившись к народу и в пояс поклонившись на все стороны, взвопить:

– Люди добрые! Вот вам крест святой, ни в чем я не виноват! – и подставить шею палачу: – На, руби, нехристь!

Теперь это, наверное, как товар со склада отпустить:

– Распишитесь здесь, тут и вон там. Встаньте к стенке. Готово. Следующий. – Зевнет и посмотрит на часы – скоро ли обеденный перерыв?

Какие там оды или баллады – так, слово из трех букв. Самая подходящая поэма.

И глядя на этот убогий суд – не то что речей произносить, вообще рта раскрывать мне не захотелось. Ну, разве не противно делать вид, что принимаешь всю эту комедию за чистую монету?

– Граждане судьи... Гражданин прокурор... Граждане свидетели...

У них готовый приговор в кармане, только подпись поставить осталось. Монотонные вопросы, монотонные ответы – все известное, подготовленное заранее: "Обвинение непонятно. Виновным себя не признаю". Скука смертная.

Спас меня прокурор. Больно уж подлая была у него морда, и когда он с пакостной ухмылочкой стал говорить, что за семь месяцев в тюрьме можно бы, дескать, и переменить свои взгляды, – мною овладела вдруг тихая ярость. Экая гнусная душонка, протокольная харя. Всех по себе меряет. Тебе бы, небось, и одного дня в тюрьме хватило, чтоб мать родную продать! Ну, ты у меня взмокнешь сейчас.

Дальше все пошло как по писаному. Судья пыталась перебить меня несколько раз, но я был готов к этому и запустил в нее припасенной статьей. Она, действительно, слегка опешила и потом все три дня процесса почти не перебивала меня, так, только для формальности, чтобы выговор от начальства не получить. Отвода заявлять не пришлось.

Потом пошел допрос свидетелей – тех самых "представителей власти", которые у нас вырывали лозунги, и мы с адвокатами навалились на них – только пух полетел. Как ни инструктировал их КГБ, выглядели они бледно. Все "дружинники" признались, что повязок у них не было. Никаких "нарушений общественного порядка" они описать не могли, а некоторые проговорились даже, что их заранее предупредили о готовящейся демонстрации и послали разгонять ее. Выглядело все это смешно.

– Так почему же вы вмешались? – спрашивали адвокаты. –

Только из-за того, что увидели, как подняли лозунги?

– Да.

– А что было на этих лозунгах?

– Какие-то фамилии...

Содержания они не видели. Да и не могли видеть – бросились они на нас сбоку.

Милиционеров даже побоялись вызвать в суд – уж больно неприятные для КГБ показания дали они на следствии.

На второй день пошли допросы наших друзей, участников демонстрации. Все держались отлично, и мои ребята приободрились. Все-таки легче, когда видишь знакомые лица. Самое поразительное было то, что свидетелей после допросов не удаляли из зала. Они оставались сидеть и, естественно, старались все запомнить.

На третий день были прения сторон. Прокурора так прижали в угол, что он вынужден был заявить: нарушение общественного порядка состояло в самом факте демонстрации. Тут уж взвыли адвокаты – а как же Конституция?!

Окончательно запутавшись, прокурор заявил:

– нельзя требовать освобождения лиц, арестованных КГБ. Это подрывает авторитет органов;

– нельзя требовать пересмотра законов;

– можно выражать несогласие с действиями властей только "в установленном порядке" (что это за порядок, он так и не объяснил). Иной способ и будет нарушением общественного порядка.

С юридической точки зрения все сказанное им было совершеннейшей чушью, и выглядел он жалко. Каминская не оставила камня на камне от этой нелепой аргументации, и даже остальные адвокаты просили оправдания для своих подзащитных.

Мои ребята настолько повеселели, что в последнем слове хоть и выразили сожаление о случившемся, однако вины не признали. Я говорил долго – слишком долго для такого суда. Но сказал все, что хотел. Тряс под носом у прокурора трехкопеечной Конституцией, метал громы и молнии и под конец обещал им после освобождения устроить новую демонстрацию.

Должно быть, я говорил очень резко, потому что, оглядываясь время от времени на зал, я с удивлением замечал испуганные

лица друзей и совсем посеревшее лицо матери – точно на их глазах происходила катастрофа. Лишь один Алик Вольпин удовлетворенно кивал головой, будто ничего не происходило.

Как и следовало ожидать, формулировки приговора ничем не отличались от обвинительного заключения – словно и не было трех дней этого нелепого суда. Мне выписали запланированные три года, а ребят отпустили из зала – дали по году условно. На прощанье мы обнялись. Я знал, что им будет труднее, чем мне. Свобода иногда тяжелее тюрьмы, и после раскаяния, которое они демонстрировали в суде, им предстояло каяться еще и еще, да только уже всерьез. Дай Бог, чтоб они нашли в себе силы пережить это и остаться людьми.

Возвращался я в тюрьму уже один. На пути от здания суда к воронку (в закрытом внутреннем дворе) кто-то из друзей сверху, из окна, бросил мне на голову целую охапку васильков, даже конвойных засыпало. Так и приехал в камеру с васильками.

– Что это? – насупил брови Петренко. – Цветы? Ну-ну... – И больше ничего не сказал, отвернулся, хоть цветы в тюрьме и "не положены".

А через два месяца объявили амнистию к 50-летию советской власти, и в Указе Президиума Верховного Совета было сказано, что эта амнистия не распространяется на осужденных "за организацию или активное участие в групповых действиях, грубо нарушивших общественный порядок". Целых три лишних строчки в указе, а сидело нас тогда по этой статье только двое на всю страну: Хаустов и я.

И еще было странное последствие – внезапно ушел в отставку мой давнишний приятель, начальник Московского КГБ генерал Светличный, злой головастый карлик. И в роскошном особняке графа Ростопчина только дамы в кринолинах перешептывались с господами в пудреных париках, глядя ему вслед с полупрезрительной усмешкой.

Я уже был в лагере, когда в январе 68-го прошел суд над Галансковым, Гинзбургом, Лашковой и Добровольским – еще одна отчаянная попытка властей запугать интеллигенцию, навязать ей свои представления. И если наш суд официальная пропаганда предпочла обойти молчанием – так, маленькая заметочка в "Вечерней Москве", то "процесс четырех" проходил под оглуши-

тельный вой советской прессы. Вновь, как и по делу Синявского и Даниэля, была инспирирована кампания всенародного осуждения – гневные письма "трудящихся": доярок, ткачей, оленеводов и красноармейцев.

Власти опять пытались представить дело так, будто судят не за убеждения, а за "заговоры", "тайные связи с подрывными центрами" и "клевету". Но это – на экспорт. Своим же откровенно грозили – видите, что с вами будет!

Еще раз, как на суде Синявского и Даниэля, столкнулись две точки зрения, два понимания, два способа жить: потаенный, подпольный, раздвоенный – и открытый, апеллирующий к закону, активно отстаивающий гражданские права. Этот процесс с необычайной ясностью продемонстрировал союз подпольной психологии и официального произвола: одно без другого существовать не могло. Не случайно именно в этой психологии искало и находило опору обвинение. Что такое "антисоветская литература"? Что такое сама советская власть? Что можно читать, а чего нельзя? Где грань между "критикой" и "преступлением", конституционным правом и "подрывом советской власти"? Словом, все то, о чем я пытался говорить на суде, снова неизбежно оказалось в центре внимания.

Этот процесс чем-то напоминал театр абсурда. Те же статьи закона, термины и выражения, но совершенно разные понятия стояли за ними у разных людей.

Обвинение, суд, пропаганда навязывали свои, *идеологические* установки. Обвиняемые, их защитники, свидетели – *правовые,* и те из участников процесса, кто не был готов отстаивать гражданско-правовую позицию, неизбежно оказывался на стороне обвинения.

В зависимости от этого разные люди, прочитавшие одну и ту же книгу, признавали ее антисоветской или нет, а люди, которым инкриминировались одни и те же действия, – признавали свою вину или не признавали ее.

Суд проходил настолько нагло беззаконно, что вызвал бурю негодования. Наученные нашим процессом, власти не позволяли свидетелям оставаться в зале, выталкивали их силой. Не давали говорить подсудимым, защите не позволяли задавать вопросы. Свидетелей обрывали, как только они начинали давать

слишком уж неугодные властям показания. Судья и прокурор старались перещеголять один другого в открытом издевательстве над законом.

Что мы считаем основой — идеологию или право? — вот какой вопрос ставили наши процессы, и от его решения зависела не судьба подсудимых, а вся наша дальнейшая жизнь.

Судьба подсудимых была предрешена — идеологическое государство не могло позволить навязать себе правовую точку зрения. И Юре Галанскову, который все пять дней процесса, серый от язвенных болей, перемогая мучения, отбивался от травли суда и прокурора, — предстояло умереть в лагере, не дожив своего семилетнего срока.

Но будущее решали мы сами, и вслед бесчеловечному приговору поднималась невиданная до тех пор волна протестов.

"Мы обращаемся к мировой общественности и в первую очередь — к советской. Мы обращаемся ко всем, в ком жива совесть и достаточно смелости.

Требуйте публичного осуждения этого позорного процесса и наказания виновных.

Требуйте освобождения подсудимых из-под стражи.

Требуйте повторного разбирательства с соблюдением всех правовых норм и в присутствии международных наблюдателей.

Граждане нашей страны! Этот процесс — пятно на чести нашего государства и на совести каждого из нас. Вы сами избрали этот суд и этих судей — требуйте лишения их полномочий, которыми они злоупотребили. Сегодня в опасности не только судьба подсудимых — процесс над ними ничуть не лучше знаменитых процессов тридцатых годов, обернувшихся для нас всех таким позором и такой кровью, что мы от этого до сих пор не можем очнуться", — писали в своем обращении к мировой общественности Л. Богораз и П. Литвинов.

Непрерывным потоком шли письма протеста: письмо новосибирцев, письмо украинцев, письмо свидетелей, письма 79-ти, 13-ти, 224-х, 121-го, 25-ти, восьми, 46-ти, 139-ти... Писали целыми семьями, писали в одиночку. Матрос из Одессы, председатель колхоза из Латвии, священник из Пскова, инженер из Москвы... Писатели, ученые, рабочие, студенты со всех концов страны.

Их выгоняли с работы, из институтов, лишали званий, травили в газетах и на собраниях. Кое-кто каялся, другие станови-

лись только настойчивей и непримиримей, и число таких все росло. Посмотрите подписи под этими первыми письмами, и вы увидите фамилии людей, в том же году или через несколько лет ставших подсудимыми. Новые аресты, новые суды – новые протесты. Репрессии становились привычным фактом жизни, а суды, повторяя по всей стране наши первые процессы, превратились в ритуал: толпа у входа в суд, которую не пускают на "открытый процесс", – как сказал Илья Габай, "у закрытых дверей открытого суда", стайка иностранных корреспондентов (если в Москве), крикливые газетные статьи, речи адвокатов, последние слова подсудимых и неизменно жестокие приговоры. Затем опять протесты, протесты, протесты... Только Ленинград все еще не мог до конца выйти из подполья: в 65-м году, в разгар дела Синявского и Даниэля, там судили подпольных марксистов ("Колокол"), в 67-68-м, во время московских процессов и демонстраций, – подпольных социал-христиан (ВСХСОН).

Удивительно, как много – при первом натиске гласности – в нашем самом безмятежном в мире государстве обнаружилось вдруг проблем: правовых, национальных, социальных, религиозных. Оказалось, что каждый день происходит столько событий – преследований, арестов и расправ, что понадобилось выпускать в самиздате раз в два месяца информационный журнал – "Хронику текущих событий". Да и вообще самиздат перестал уже быть делом чисто литературным: открытые письма, статьи, памфлеты, трактаты, исследования, монографии. И, конечно, стенограммы судов. Чем больше свирепела власть, тем больше разрасталось и крепло движение – пойди пойми теперь, кто медведь, а кто колода и что из всего этого выйдет.

До чего обидно было именно теперь, в самую горячую пору, отсиживаться в лагере! Одно только успокаивало меня, что среди прочих документов самиздата распространялась по стране и запись нашего суда, составленная Павлом Литвиновым. Все-таки было за что сидеть три года – не в глухой колодец упало все высказанное.

– Ну, что, землячок, иди, сыграем? Свитерок у тебя хороший...

Помотавшись по этапам да по пересылкам, я уже знал немного уголовный мир, его порядки и обычаи. Играть с ними бес-

смысленно – карты меченые, а уж трюков всяких они знают бессчетное множество. Есть такие специалисты, что вынут тебе любую карту на заказ с закрытыми глазами. Они живут картами: целый день их крутят в руках, тасуют, перебирают, чтобы не потерять сноровку, и уж если выберут жертву – разденут донага. Но и отказаться теперь значило бы проявить слабость. Не те будут отношения, а мне с ними жить почти три года.

– Давай, – говорю я, – только в преферанс. Народу достаточно, запишем пульку – на всю ночь хватит.

Тут уж он смутился. Преферанс – игра не воровская. Сразу видно, что он никогда в нее не играл. Но и отказаться ему позорно – какой же он вор, если играть отказывается?

– Землячок, ты хоть объясни, что за игра такая, как в нее играть?

Я объяснил. Сели неохотно – куда им деваться? Естественно, через часок ободрал я их как липку. Преферанс – игра сложная, почти шахматы, долго надо учиться, чтобы понять. Пытались они по ходу дела мухлевать – я даже бровью не повел. Мухлюй не мухлюй, а если игру не знаешь – не выиграешь. Тем более в преферанс.

– Ну, вот, – говорю я. – Вещи свои заберите, они мне не нужны. А теперь давайте я вас по-настоящему научу, как играть.

И так увлеклись – всю ночь просидели. Лучшие друзья стали.

В старые времена, особенно сразу после войны, уголовники относились к политическим крайне враждебно, грабили их, даже убивали. И в начале 50-х годов нередки были случаи, что политические восставали против власти воров в лагере. Трудно сказать, что изменилось: то ли уголовники, то ли политические, а скорее всего другая атмосфера теперь в стране, – но только вражды этой больше нет. Напротив, к политическим проявляют необычайное уважение, и если сам ведешь себя с ними честно и твердо, арестантской этики не нарушаешь, то всегда и помогут, и выручат.

Но уж зато вопросами замучают! Как-то само собой разумеется: раз политический – значит, "грамотный", должен все знать. И внезапно оказываешься ходячей энциклопедией для всего лагеря. Приходится решать бесконечные споры о том, сколько на свете было генералиссимусов, сколько километров от Тулы до Тамбова и что южнее – Нью Йорк или Киев? У них почему-то

утвердилось мнение, что было всего три генералиссимуса – Суворов, Сталин и Франко. Но слушают внимательно, с почтением, и никогда не спорят. Что сказал – закон. Разумеется, все ходили ко мне писать жалобы – я ведь был единственный политический на весь лагерь.

Всегда меня удивляло, как быстро они распознают людей, угадывают их слабости и сразу могут предсказать, кто кем станет в лагере. С одной стороны – фантастическое чутье, хитрость, с другой – поразительная наивность, доверчивость и жестокость, как у детей.

Тем же этапом из Москвы пришел со мной молодой парнишка, лет двадцати двух. Ничем не примечательный парень, но сразу, неизвестно почему, возбудил их неприязнь. Еще на Воронежской пересылке, куда мы с ним вместе попали и где я обыграл в преферанс воров, они каким-то образом проведали, что он прячет сигареты. А с куревом в камере было плохо. Не говоря ни слова, они отобрали у него сигареты и положили на стол для всеобщего пользования. Чуть позже уловил я краем уха из их разговоров, что они собираются его изнасиловать. Пользуясь своим влиянием, я, естественно, отговорил их. Они были очень недовольны моим вмешательством.

– Чего ты за него впрягся? – ворчали они. – Он, козел тухлый, в лагере к куму бегать будет. Видишь, сигареты зажилить хотел.

– Какое это имеет значение? – недоумевал я.

– Как какое значение? Вот ты пришел – всю свою хаванину разделил, не прятал ведь?

Действительно, получилось так, что у меня одного оказались продукты – мать ухитрилась перед этапом передать мне лишнюю передачу. Неделю, наверно, вся камера жила этими продуктами. Но понять связь между сигаретами и кумом я все равно не мог.

Однако они оказались правы, и парнишка этот очень скоро стал в лагере доносчиком, даже на меня стучал периодически приезжавшему в лагерь оперативнику КГБ, хотя отлично знал, из какой беды я его выручил.

В лагере ничего не скроешь, и скоро об этом знали все. Но никто не упрекнул меня, не сказал: "Вот видишь, мы были правы". Подходили, очень тактично сочувствовали, о прежнем

же — ни слова. Да я, если бы и знал о том, что дальше будет, все равно отговорил бы их тогда от расправы. Но их верное чутье поразило меня.

Мир "блатных", или "воров", чрезвычайно интересен как образчик чисто народного правотворчества. Конечно, настоящих "воров в законе" теперь практически не осталось, но их "идеология" страшно живуча, до сих пор пронизывает почти все слои населения, особенно популярна среди молодежи и, по-видимому, никогда не умрет. Даже надзиратели живут теми же понятиями. В "блатной идеологии" сконцентрировались молодеческие, удальские порывы и представления о настоящей, независимой жизни. Естественно, что героические, незаурядные натуры, особенно молодые, оказываются привлечены ею.

Истоки этой идеологии, думаю, можно проследить в былинах и преданиях о богатырях, витязях и справедливых разбойничьих атаманах. Я мало разницы вижу между идеологией какого-нибудь князя со дружиною, опустошающего окрестности и налагающего дань на покоренных, и идеологией нынешнего "пахана" со своей шайкой. Они ведь тоже не считают свое дело зазорным. Напротив, основная идея воров весьма сходна с представлениями о справедливости у какого-нибудь былинного витязя и состоит в том, что они — лучшие люди, а все остальное население — их данники, "мужики". Они и не крадут вовсе, а берут "положенное" — это буквальное их выражение. В отношениях между собой они редкостно честны, и кража у своего, как и вообще кража в лагере, — худшее из преступлений.

Я мало, впрочем, знаю историю вопроса. Известно лишь, что в 30-40-е, еще даже в 50-е годы "воровское движение" в стране было необыкновенно сильно. Первая и основная их идея — непризнание государства, полная от него независимость. Настоящий "вор в законе" ни под каким видом не должен был работать — ни при каком принуждении. У него не должно быть дома: вне тюрьмы он обитает на разных "малинах", или, как теперь говорят, "блатхатах", у каких-нибудь своих блатных подружек. Жить они должны кражами, причем каждый настоящий вор уважал свою узкую "специальность", не мог ее сменить. Собранная ими таким образом дань никогда не должна была делиться поровну на всех — она поступала атаману-"пахану", и он уже распределял ее, как считал нужным, "по справедливо-

сти". Любопытно, что паханы никогда не выбирались. Они признавались в силу своего воровского авторитета (точь-в-точь как Политбюро). В воровском мире существует сложная иерархия, и она тоже устанавливается не путем выборов, а путем "признания" авторитета. И в соответствии с этой иерархией происходит распределение, определяется, что кому "положено".

Неписаных законов существует масса, и только самым авторитетным ворам дозволено толковать эти законы – быть судьями в спорах. Воровские суды, "правилки", – тоже весьма древний и своеобразный пример народного правотворчества. Я много раз наблюдал их в лагере – пользуясь известным доверием, я даже присутствовал на них, конечно, не как участник. В основу их положено исковое производство, если можно так выразиться. Не может быть суда над вором, созванного всем сообществом, – может быть только персональный иск потерпевшего, обвинение перед наиболее авторитетным собратом или даже всем собранием. Тяжба почти никогда не разрешается примирением – одна из сторон оказывается виноватой, и выигравшая сторона должна лично получать с потерпевшей (вознаграждение может быть любым – от убийства или изнасилования до простого избиения или получения материальной компенсации). И только если проигравшая сторона отказывается подчиниться решению, тогда судья сам, своей властью приводит его в исполнение. До этого никто вмешиваться не может.

Воровской закон защищает только тех, кто его соблюдает. Серьезно нарушивший его оказывается вне закона (что тоже решается правилкой), и после этого любой вор может поступать с ним, как угодно, не опасаясь последствий. Человек, хоть когда-либо бывший в связи с властями (например, носивший повязку или донесший на собрата), уже никогда не будет "в законе" и даже присутствовать на воровской сходке не имеет права. На него нельзя даже ссылаться как на свидетеля. Существует и клятва – "божба". Слово вора – закон. Сказал – значит, сделал. Бывает и просто воровская сходка, решающая важные для всех вопросы. Словом, целая система законов.

В предании вор, разбойник – всегда молодец-удалец, красавец парень, ловкий и неуловимый, жестокий, но справедливый, пользующийся всеобщим уважением. Существует масса песен и рассказов, где вор выступает романтическим героем. По тра-

диции воры живут "семьей" и почитают друг друга "братьями".

Соответственно своему дворянскому положению, в лагерях или в тюрьме они должны быть хозяевами. Тюрьма для вора — дом родной. Он должен там жить с роскошью, иметь слуг-шестерок, педераста в качестве подруги, а все не воры обязаны платить ему дань добровольно. Отнимать силой или красть в тюрьме вор не имеет права — ему должны сами приносить. Он может выиграть в карты и обмануть, "выдурить". Но в то же время он должен помогать собрату, попавшему в беду, проявлять щедрость и великодушие. Ну, а те, кого обыгрывают или обманывают (всякие полублатные), идут уже отнимать или красть. Своих "мужиков", которые ему дань платят, вор должен защищать, не давать в обиду другим ворам и устанавливать между ними справедливость. Вор, по традиции, не должен допустить, чтоб его освободили из тюрьмы, — он должен убежать. Работать он, конечно, не имел права, а числился в бригаде, которая за него отрабатывала проценты.

В таком виде "воровское движение" просуществовало до 50-х годов. Оно долго расширялось и укреплялось, потому что власти видели в нем опору и использовали, натравливая на политических, с которыми воров тогда держали в одних лагерях. Но к началу пятидесятых профессиональная преступность настолько разрослась, что власти решили с ней покончить. Был выдвинут лозунг: "Преступный мир сам себя изживет".

Властям удалось спровоцировать вражду, создав новую воровскую масть — "сук" или, как они сами себя называли, "польских воров". Разница была не велика. Суками оказались те воры, которых властям удалось заставить работать, всякими жестокими мерами поставив их на грань гибели. После этого в некоторых лагерях их сделали "начальством" — бригадирами, мастерами и т.п., и уже они стали силком гнать других на работу. Вспыхнула знаменитая "сучья война", когда вор и сука не могли сосуществовать в одном лагере или камере — один другого должен был убить. Начальство же насильно загоняло в сучий лагерь воров, а в воровской — сук, и начиналась настоящая бойня. Словом, к нашему времени настоящих "воров в законе" практически не осталось — всего, может, несколько десятков доживает свой век по тюрьмам (кое-кого из них я еще встречал во Владимире).

Но идеология их не умерла и с некоторыми изменениями процветает до сих пор (ввиду более жестких условий жизни на воле и режима в лагерях, им можно работать, жить дома, не бежать из тюрем и т.д.). Некоторый облегченный вариант их кодекса чести, своего рода трущобная психология, продолжает существовать. Более того, их основные принципы и критерии настолько распространены, что эту идеологию можно считать куда более популярной, чем коммунистическая. По сути дела, она мало отличается от реальной идеологии партийного руководства, и эти два мира удивительно похожи.

Рассадниками воровской идеологии являются, в основном, "малолетки" – колонии для малолетних преступников. Режим содержания в них, судя по рассказам, исключительно свиреп – все построено на побоях, на стравливании подростков между собой, искусственном возвышении одних над другими и коллективной ответственности: за проступок одного наказывают всех, озлобляя их таким образом друг против друга. Естественно, наиболее сильные и упорные берут верх, и все привыкают жить по законам силы, а героический ореол изустных преданий о воровском братстве придает этой жизни оправданность и смысл. Выходя на волю, они разносят эту мифологию повсеместно, рекрутируя ей новых поклонников. А воспитанные в этом духе, они уж не избавятся от него скоро. И мир, создаваемый ими в лагерях, исключительно жесток, разбит на касты, на уровни привилегий, изобилует жесткими правилами, незнание которых может очень дорого стоить новичку.

Ну, вот он и лагерь. Поселок Бор, километров сорок от Воронежа. Жилая зона – девять бараков: шесть для жилья, столовая, школа и баня. Теснота страшная. Барак разделен на четыре секции, каждая на 60-80 человек. Спят в два, а то и в три яруса, друг над другом. Утром повернуться негде. Всего в лагере было около двух тысяч человек. И жилая зона, и рабочая окружены несколькими рядами колючей проволоки, вспаханной запреткой, вышками с вооруженной охраной.

Зона разукрашена производственными призывами, диаграммами выполнения планов, а главное – стендами и плакатами "воспитательного" характера. Сбоку на бараке – огромный щит. Сразу и не поймешь, что нарисовал на нем самодеятельный

художник – лагерный "придурок". Приглядевшись, угадываешь изображение плачущей женщины, горестно оперевшейся щекой на руку, и снизу подпись: "СЫНОК! ЗАСЛУЖИ ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ!" Дальше изображено целое семейство – маленькие дети с матерью: "СЕМЬЯ ЖДЕТ ТЕБЯ".

А на всех заборах и свободных стенах – изречения великих людей: "ЧЕЛОВЕК ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО. Горький", "В ЧЕЛОВЕКЕ ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕКРАСНО – И ЛИЦО, И ОДЕЖДА, И ДУША, И ТЕЛО. Чехов".

Прямо на столовой: "КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ ЕСТ". И, действительно, тех, кто не работает, – сажают в карцер, где кормят через день хлебом и водой.

А на воротах, ведущих на волю: "НА СВОБОДУ С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ". Это уже кум сети расставил. Агитирует добровольно признаваться в нераскрытых преступлениях. Сам скажешь – меньше дадут. Конечно, дураков нет признаваться, но те, что похитрее, сговариваются с кумом. За дополнительную посылку из дому признаются в каком-нибудь незначительном преступлении, за которое им уже ничего не добавишь. Фотографии этих хитрецов висят тут же у ворот, под заголовком: "ОНИ ЯВИЛИСЬ С ПОВИННОЙ". Им – посылка, куму – благодарность.

Такая сделка вполне устраивает власти. Это начинается еще под следствием: следователи сами уговаривают арестованных взять на себя какое-нибудь нераскрытое дело, чтобы списать его:

– Возьми на себя еще пару краж. Какая тебе разница? У тебя их четыре, будет шесть.

Взамен обещает какую-нибудь поблажку, а то и просто водки приносит. Не согласишься добром – начнут выколачивать признание силой. Следствие в милиции – штука свирепая. С них требуют стопроцентного раскрытия преступлений, а как еще этого добиться?

А у каждого барака – тоже стенд с фотографиями: "ДОСКА ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА". Только в отличие от обычного завода глядят с этих фотографий не ударницы коммунистического труда в косыночках, а стриженые уголовные рожи.

"ЗАПОМНИ САМ, СКАЖИ ДРУГОМУ, ЧТО ЧЕСТНЫЙ ТРУД – ДОРОГА К ДОМУ", – написано аршинными буквами, как и в любом другом лагере. И огромная красная доска в

центре зоны: "МЫ, ОСУЖДЕННЫЕ, КАК И ВЕСЬ СОВЕТСКИЙ НАРОД, ОБЯЗУЕМСЯ ..." – выполнить, перевыполнить, догнать, перегнать. И опять-таки у каждого барака, под стеклом, – своя стенгазета, выполненная стараниями "вставших на путь исправления":

"Осужденные Иванов и Петров хорошо трудятся, перевыполняют норму. Они встали на путь исправления и являются членами секции внутреннего порядка. А осужденные Сидоров и Федоров уклоняются от работы, не выполняют норму и нарушают режим содержания. За это они водворены в ШИЗО на 10 суток". Тут же и карикатура – Сидоров и Федоров за решеткой.

Впрочем, "исправившиеся" по-настоящему никогда не работают. Начальство устраивает их на такую работу, где проценты идут безо всяких усилий. Так уж устроена работа в лагере, что на одной должности можно ничего не делать, а 150% обеспечены. На другой же весь день вкалывай – дай Бог, 70%.

Первое, что мне бросилось в глаза, когда привезли в лагерь, – обилие людей с красными нарукавными повязками, нашивками, треугольниками, ромбами и т.п. Их половина, если не больше. (Когда я попал в 73-м году в политический лагерь, там повязочников не было. Даже "полицаи", т.е. осужденные за сотрудничество с немцами, а теперь сотрудничавшие с лагерным начальством и входившие в какой-то там совет коллектива, – предпочитали скрывать это, темнили и повязки надевать не решались.)

Это СВП – Секция Внутреннего Порядка. Как говорят в лагере, "Сука Выпрашивает Половинку". "Твердо встали на путь исправления", "активно участвуют в общественной жизни" – все это напишет начальство в ходатайстве об их досрочном освобождении через половину или две трети срока (в зависимости от статьи). А на самом деле – сотрудничают с администрацией, наводят угодные ей порядки, доносят на солагерников, и все это оформлено как самодеятельная организация заключенных, своего рода "самоуправление". На деле, однако, ни о каком самоуправлении и речи нет. Есть просто подручные начальства, работающие за досрочное освобождение. И, конечно, им все дозволено. Он тебя ударит – ничего. Ты его ударишь – статья 77-1: "терроризирование заключенных, вставших на путь исправления" (от 8 до 15 лет или расстрел). Естест-

венно, именно они, "вставшие на путь исправления", и терроризируют лагерное население с благословения начальства.

Террор нарастает, доходит до такой точки, когда это уже становится нестерпимо. Тогда происходит лагерное восстание, вспыхивает бунт. Кого-то из "исправившихся" убивают, кого-то калечат, дубасят кольями, кромсают ножами, а они, спасаясь, выпрыгивают на запретку, под охрану пулеметов, или бегут на вахту, искать спасения у своих хозяев. Иногда восставшие поджигают бараки и прочие лагерные сооружения (лагерная традиция запрещает поджигать только столовую и санчасть). Какое-то время лагерь стоит в осаде, с усиленными караулами на вышках, а затем дополнительно вызванные солдаты входят в зону и подавляют бунт. Начинается следствие, выявляют "зачинщиков" и основных виновников, судят их показательным судом, обычно здесь же в лагере, и приговаривают к расстрелу (или добавляют срока до 15 лет). Некоторое время в лагере спокойно – "вставшие на путь исправления" наглеть не решаются: слишком свежи еще в памяти картины бунта. Но проходит несколько лет, состав меняется, забывается прошлое, и все начинается сначала. В 60-е годы такие бунты были явлением частым.

Основная цель лагерей – экономическая выгода, поэтому начальство больше всего заботится о выполнении плана. От этого зависит их личная карьера, премиальные и прочие блага. Одновременно законодательство и господствующая идеология считают каторжный труд "основным средством перевоспитания". Все в лагерной жизни зависит от работы и подчинено ее интересам.

За забором – производство, рабочая зона, мебельный комбинат.

Нет ничего паскуднее лагерного развода, когда темным зимним утром, разбуженный хриплым фабричным гудком, с остатками какого-то смутного сна в голове, ты бежишь сначала в вонючую столовую, из дверей которой валит пар как из бани, а потом, наскоро проглотив какую-то бурду с клейкими рыбьими костями, так же бегом несешься к воротам, на ходу запахивая бушлат. И там, съежившись от холода, ждешь, пока надзиратель в овчинном полушубке и в валенках пересчитывает по пятеркам серую массу сгорбившихся зэков. И приехал-то я в ла-

герь в конце 67-го, к самым трескучим морозам, и освобождался в 70-м, больше ползимы просидев. И все три зимы, как нарочно, были на редкость суровые.

– Четвертая бригада. Первая пятерка, вторая пятерка, третья, четвертая, пятая. Проходи!

– Семнадцатая бригада. Первая пятерка, вторая, третья...

Руки засунуты в рукава бушлата, опущенные уши шапки завязаны под подбородком, и вся серая масса покачивается вразнобой, переминаясь с ноги на ногу, стараясь сберечь тепло.

А впереди через ворота смутными силуэтами вырисовываются коробки цехов, труба котельной, да где-то тошнотворно верещит электропила – какой-то пахарь уже дорвался до своего станка. И только одна мысль сверлит тебе сонные мозги: куда, в какой цех шмыгнуть, где спрятаться, чтобы бригадир не отыскал тебя до обеда?

Но вот бригадир обнаружил тебя где-нибудь под теплыми трубами отопления, и оба вы с ним, хрипло матерясь, ненавидя друг друга и еще что-то общее, тащитесь в свой цех. Закоченелыми пальцами крутишь какие-то гайки, настраиваешь проклятый станок, и все не ладится, все из рук валится. Проходит час, другой. Монотонный гул мотора, ритмичные однообразные движения – в пальцы возвращается привычная ловкость, груда готовых деталей растет и растет.

– Эй, устанешь! – кричит тебе сосед сквозь шум цеха. – Пошли покурим!

– Погоди, сейчас кончу. Немного осталось.

И вдруг с отвращением замечаешь удовлетворение от своей ловкости, хорошо сделанной работы и желание непременно закончить ее. Так, наверно, чувствует себя изнасилованная женщина – кричит, бьется, царапается, потом затихает и внезапно, с омерзением и стыдом, чувствует физиологическое удовольствие.

Простит ли, забудет ли хоть один зэк это окоченелое "невмоготу", это нестерпимое отвращение к станкам, цехам, нормам, бригадирам и самому себе? На всю жизнь возненавидишь само слово-то "работа".

Мебельный комбинат – это еще не самый тяжелый труд, разве что у грузчиков, в сушилке, да на лесоскладе. Дело не в тяжести, а в унизительности.

Я видел людей, которые ломали себе руки-ноги, только чтобы на несколько дней избавиться от работы. Самому это сделать трудно, и в лагере был специалист-костолом – высокий худой парень, работавший на лесоскладе. Ногу или руку он клал поперек двух бревен и бил посередке чурбаком, засунутым в валенок. Он мог сделать по заказу открытый или закрытый перелом.

Другие рубили себе топором пальцы, глотали гвозди, делали ожоги на руках. Если раздобыть сахарной пудры и некоторое время вдыхать ее, то можно получить настоящий туберкулез. И бесчисленное множество способов существовало, чтобы поднять температуру. Самое верное – внутривенный укол рыбьего жира (шприцы всегда были у наркоманов). Температура подскакивала выше 40^0 .

Все это называлось "мастырки" и, конечно, строго каралось. Санчасть, как правило, отказывалась лечить разоблаченных "мастырщиков", и начальство сажало их в карцер. Там, без всякой медицинской помощи, они, как собаки, залечивали свои раны. Резали себе вены, глотали ложки – только чтобы вызвать врача.

"Мастырку" распознать не всегда легко, и санчасть предпочитала всех заболевших подозревать в симуляции. Иной раз и температуру смерить не допросишься, и таблетку не выпросишь.

– Иди, иди! Работать нужно! – это всем по привычке, без разбора. Только "вставшие на путь исправления" были в лучшем положении. Бывали случаи – умирали зэки от отсутствия лечения. Один мужик, лет под 50, все ходил, просил таблетку валидола – какое там! Ясное дело, симулянт. Так и умер на пороге санчасти.

Грязища всюду жуткая – чесотка не переводится. Этого санчасть побаивалась: все-таки эпидемическое заболевание. И поначалу чесоточных пытались изолировать в больнице. Но скоро это стало невозможно – слишком много развелось чесоточных. Кто не мог действительно заболеть, накалывали иголкой смоляной клей с производства под кожу в паху и между пальцами – не отличишь!

Да и попасть в эту санчасть было нелегко. Размещалась она в рабочей зоне, там, где фабрика. Выходит, чтобы добрести до нее, нужно было выйти на работу. Ну, а раз на работу вышел – значит, не умираешь. Можешь трудиться. Словом, все сущест-

вовало для выполнения плана. А для чего же еще и существуют заключенные?

Уголовный лагерь – все равно что поперечный разрез общества, вся страна в миниатюре, а в лагерной жизни, как в капле воды, отражаются и правосознание, и социальное положение народа. Люди в наших уголовных лагерях – в большинстве своем не какие-то выродки или профессиональные преступники. По нашим самым аккуратным подсчетам, число заключенных не бывает меньше 2,5 млн. – это 1% населения, каждый сотый. Обычно же и больше. Если учесть, что средний срок заключения – примерно 5 лет, а рецидивная преступность никак не выше 20-25%, получается, что чуть ли не треть страны прошла через лагеря.

Такой высокий процент преступности искусственно поддерживается государством – прежде всего, из экономических соображений.

Заключенный – это дешевая (почти бесплатная) рабочая сила, которую легко перемещать по усмотрению властей из одной отрасли хозяйства в другую, посылать на самые тяжелые и невыгодные работы, в неосвоенные районы с тяжелым климатом, куда свободную рабочую силу можно заманить лишь очень высокими заработками. Не случайно в Воронежской области, когда я там был, насчитывалось всего десять лагерей (одно управление). В Пермской же области, куда северней и ближе к Уралу, где я был в 1973-74 гг., – около 50 лагерей (5 управлений). Примерно по столько же в Кировской, Тюменской, Свердловской областях и Коми АССР.

Так создавались все великие стройки коммунизма: плотины, каналы, дороги, полярные города. Труд принудительный, преимущественно ручной, мало механизированный (при отсталости нашей технологии это вполне рентабельно). Средний заработок заключенного – 60-80 рублей в месяц (для вольных на подобных работах – 140 рублей). Из этого заработка 50% удерживается в пользу государства, а половина оставшегося – на оплату казенного питания, одежды и содержания. Таким образом, реальный заработок заключенного – 15-20 руб. в месяц. Из этих денег он может потратить от 3 до 7 руб. в месяц на ларек, в зависимости от режима. Стимулирование труда – отри-

цательное, т.е. не мерами поощрения, а, в основном, различными наказаниями за уклонение от работы или невыполнение норм. К тому же, эти миллионы людей изъяты из сферы нормального потребления, что при постоянном дефиците товаров очень удобно для регулирования спроса. А товары (главным образом, плохие продукты), не имеющие спроса у населения, сбываются заключенным, которым выбирать не приходится. Квартир заключенным не нужно – бараки они себе сами построят.

Словом, если бы вдруг объявить всеобщую амнистию, это вызвало бы экономическую катастрофу. Поэтому со времен смерти Сталина амнистий практически не было. Объявлялись указы, по которым почти никто не уходил – все самые массовые статьи были в них оговорены. А вместо амнистии в хрущевские времена было изобретено досрочное освобождение (а в последние годы – и условное осуждение) с принудительной отправкой "на стройки народного хозяйства" или, как говорится, "на химию". Эта категория заключенных количественному учету вообще не поддается. Туда отправляют обычно малосрочников (до 3 лет) и определяют на самые тяжелые, низкооплачиваемые работы. Если до истечения своего условного срока "химик" допускает какое-нибудь нарушение – его отправляют в лагерь отбывать весь срок (отбытое "на химии" не засчитывается). Очень удобная форма освобождения.

Трудно сказать, дает ли Госплан прямые указания Министерству внутренних дел, сколько преступников должно быть поймано ежемесячно, чтобы не ослабло народное хозяйство. При нашем централизованном планировании это вполне допустимо. Думаю, однако, что дело происходит немного иначе. Откуда-то сверху, из самых высоких партийных инстанций спускается вдруг указание: усилить борьбу, скажем, с хулиганством. Не то что бы хулиганов стало больше обычного. Просто почему-то на данном этапе построения коммунизма именно это становится особенно недопустимым. И начинается всенародная кампания по борьбе с хулиганством. Президиум Верховного Совета издает специальный указ, в помощь несправляющейся милиции мобилизуется общественность, судам даются руководящие указания, повсюду лозунги: "НИКАКОЙ ПОЩАДЫ ХУЛИГАНАМ", "ПУСТЬ ГОРИТ ЗЕМЛЯ ПОД НОГАМИ ХУЛИГАНОВ". Каж-

дая область, каждый район должны посадить больше хулиганов, чем до "усиления борьбы". Иначе как отчитаться наверх о проделанной работе?

А наверху, куда стекается вся эта отчетность, вдруг с негодованием обнаруживают, что в результате кампании число хулиганов по стране резко возросло. Экий упорный этот хулиган! Не хочет сдаваться! И вновь указ – о дальнейшем усилении борьбы с хулиганством. Вновь указание милиции, установка местным органам власти, разъяснение судам – и понятие хулиганства начинает растягиваться как резиновое. Выругался человек в сердцах – хулиганство. Поругался муж с женой – хулиганство. Два школьника подрались – хулиганство. Срока чудовищные – до пяти лет! А как еще доказать усердие, показать усиление борьбы?

Неудержимо растет статистика хулиганства, переполнены тюрьмы, изнемогают суды, а молодых задорных хулиганов эшелонами гонят строить Братскую ГЭС или БАМ. Не дай Бог попасть под какую-нибудь очередную кампанию – обязательно отправят на отдаленные стройки коммунизма, потому что все эти кампании роковым образом всегда совпадают с кампаниями призыва добровольцев на очередные грандиозные стройки.

По принципу обратной связи, эта кампания нарастала бы до бесконечности – нельзя же ее остановить, пока преступность растет. И никогда не поступает директива "Ослабить борьбу", а просто избирается вдруг новое правонарушение, и высокие партийные инстанции указывают: "Усилить борьбу – например – с расхитителями социалистической собственности!" И все облегченно вздыхают: хулиганов можно, наконец, оставить в покое. Число их стремительно падает, и наверху констатируют победу над хулиганством. Пока наберет силу новая кампания, число заключенных немножко снизится, потом снова резко растет.

Примерно так же в сталинское время проходили чистки и кампании борьбы с врагами народа. Просто теперь неудобно иметь миллионы политзаключенных. Гораздо спокойнее сажать хулиганов или расхитителей.

Так что люди, попадающие в уголовные лагеря, – это чаще всего самые обыкновенные советские люди, и вполне оправдано судить по ним о состоянии общества в целом.

Хочешь жить – умей вертеться. Подкупай надзирателей, мухлюй что-нибудь, кради сам, имей хорошие отношения с теми, кто поближе к пище. Иначе ноги протянешь.

Начальство крадет из лагеря все, что может. Взяточничество повальное – за взятку и свидание дадут, и освободят досрочно. Заказывают себе у нас на комбинате мебель целыми гарнитурами и вывозят как отходы пиломатериалов. Дрова на отопление ни один не покупает, так же как и стройматериалы. И даже продукты крадут. По пути от базы до миски заключенного продукты тают. Что получше, начальство заберет еще до лагеря. На кухне разворуют повара да придурки – те, что "на пути к исправлению". И не только для себя, но и для своих дружков. Тоже раздатчик своим отложит побольше. А простому зэку, который честно поверил, что честный труд – дорога к дому, остается какая-то бурда.

Почти все время заключенного уходит на добычу пищи. Это ось лагерной жизни, фактор, определяющий отношения между людьми. Ты – мне, я – тебе. Через надзирателей, вольнонаемных, шоферов приезжающих за мебелью машин можно было купить все: водку, чай, наркотики.

И если учесть, что через такую мясорубку проходят миллионы людей, то невольно возникает вопрос: чего же хочет власть от своего народа? Какими она стремится сделать своих граждан?

Судя по установленным критериям "исправления", образцом советского человека является тот, кто готов гнуться, куда нагнут. Доносить, исполнять полицейские функции, говорить, что велят, и при этом сиять от радости.

Разве в лагерях приучают к честной жизни? Напротив, честный человек умрет там с голоду. Приучают воровать, только не попадаться. Вот типичный эпизод. Дежурный офицер уговаривается с зэком, чтобы тот украл для него электродрель из цехового инструмента. Обещает принести десять пачек чая (по лагерным ценам это десять рублей). Заключенный выполняет свою часть уговора – крадет дрель и незаметно для мастера выносит к вахте. Тот – проносит ее через КПП домой, а чай не приносит. Скандал: зэк требует чай и в конце концов раскрывает все дело начальству. И что же? Офицеру поставлено на вид "за недозволенный способ приобретения инструмента". Заключенному – 15 суток карцера "за воровство".

Идет сознательное и планомерное развращение народа.

И так 60 лет – наиболее честный элемент в народе истребляется физически, а развращенность поощряется. В сущности, то же самое происходит и на воле. Заработки нищенские, и все крадут с производства, что могут. Что же – власти этого не знают? Знают. И это им даже выгодно. Тот, кто крадет, не чувствует себя вправе *требовать.* А если и осмелится, так очень легко посадить его за воровство. Все виноваты.

Я много раз пытался объяснить эту нехитрую истину своим солагерникам, но никогда не имел успеха. Все они настроены крайне враждебно к существующей власти, и слово "коммунист" – худшее ругательство, за такое оскорбление кидаются в драку. Ко мне – как к открытому противнику власти – относились с огромным уважением, но понять не могли, как это они, обкрадывая государство, нанося ему ущерб, тем не менее являются его основной опорой. Были и такие, что всерьез считали себя борцами против режима.

Один так даже обижался, что я не признаю его за своего. Он обокрал избирательный участок накануне выборов и очень этим гордился. В том-то и вся штука, что, пока люди не научатся требовать то, что им принадлежит по праву, никакая революция их не освободит. А когда научатся – революции уже не потребуется. Нет, не верю я в революции, не верю в насильственное спасение.

Легко представить себе, что произошло бы в этой стране в случае революции: всеобщее воровство, разруха, резня и в каждом районе – своя банда, свой "пахан". А пассивное, терроризируемое большинство охотно подчинилось бы любой твердой власти, т.е. новой диктатуре.

Произвол в лагере творился чудовищный. Работать заставляли практически без выходных – дай Бог, один день в месяц давался на отдых. Почти каждую субботу перед строем зачитывался приказ об объявлении воскресенья рабочим днем в связи с невыполнением плана. Техника безопасности существовала только на бумаге, и кроме сознательных мастырщиков еще многие оставались без рук из-за этого. На моем станке за несколько месяцев покалечилось три человека, и никто не хотел идти на нем работать.

Меня туда послали в наказание, чтобы приморить. Пользуясь своей репутацией "грамотного", я довольно скоро стал учить всех писать жалобы. Сначала это восприняли недоверчиво – "ворон ворону глаз не выклюет". Но совершенно неожиданно я выиграл очень важное для всех дело, а именно: право получения свиданий.

По закону нам полагалось два длительных (до трех суток) свидания в год, но начальство рассматривало это не как право, а как поощрение. Практически свидания получали только "вставшие на путь исправления". Остальным отвечали, что они плохо себя ведут и свидания не заслужили. Собрав десятка два таких фактов, я начал писать во все концы, сначала, конечно, без результата. Однако мне удалось уговорить человек 200 написать такие же жалобы, и это вдруг сработало: приехал полковник из главного управления, распорядился свидания дать – но получили только те, кто жаловался. Тут ко мне выстроилась очередь, и я не успевал писать всем – стал просто пускать по рукам образец.

Другой раз парня избили на вахте надзиратели в присутствии пьяного офицера. По счастью, оказалось несколько свидетелей этого происшествия, да и сам парень исхитрился незаметно перепачкать кровью постановление, по которому его тащили в карцер. Это дело заняло месяца два, но все-таки офицера наказали – объявили выговор. Другого парня в наказание за то, что не стриг волосы – тайно растил, ожидая свидания с женой, постригли перед строем издевательски: выстригли полосу посередине. Я посоветовал ему не стричь остальное и оставаться в таком виде хотя бы месяц. Действительно, недели через три приехал по его жалобе какой-то чин из управления и, убедившись в обоснованности жалобы, тоже наказал виновного. Да мало ли удивительных дел прошло через мои руки, пока, наконец, начальство сообразило, откуда ветер дует.

Станок, на который меня загнали работать в наказание за жалобы, стоял в холодном, неотапливавшемся цеху. Зимой даже подойти к нему было страшно – так и веяло от него холодом, а руки, если притронуться, тут же прилипали на морозе, и оторвать их уже можно было только с кожей. Открытые, ничем не защищенные ножи вращались при работе с бешеной скоростью прямо рядом с руками, и если доска попадалась тресну-

тая или с сучком, то правая рука сразу же соскальзывала под ножи. Вдобавок, нормы были искусственно завышены, и хоть целый день вкалывай – не сделаешь.

Расчет был у начальства простой: откажусь работать – начнут морить по карцерам за отказ, стану работать – за невыполнение нормы. Проработав таким образом месяц и увидев, что выхода нет, я объявил голодовку. Начальство решило мою голодовку игнорировать, и я проголодал 26 дней. Каждый день от меня требовали, чтобы я шел на работу: мы, дескать, не знаем, голодаешь ты или нет. Я, естественно, отказывался. На 17-й день меня посадили в карцер за отказ от работы.

Холода стояли жуткие – был ноябрь. В карцере практически не топили, и стена камеры была покрыта льдом. Было нас в камере одиннадцать человек. Так друг друга и грели, сжавшись в кучу. Только ночью можно было слегка согреться – на ночь давали деревянные щиты и телогрейки. Еле-еле умещались мы на щите, лежа на боку, а поворачивались уж все разом, по команде. Хорошо еще, удавалось доставать махорку. У уголовников это дело поставлено надежно. Если твой друг сидит в карцере – как хочешь, а исхитрись передать ему покурить, иногда и поесть.

Надо отдать им должное, люди они отчаянные. Карцер стоял в запретке, окутанный колючей проволокой и сигнализацией, но каждый вечер перед отбоем кто-нибудь лез из зоны, незаметно рвал проволоку, пробирался к окну и в щель между решетками передавал курево. Если попадался, тут же сажали его самого, и лез следующий. Позже, выйдя из карцера, я тоже принимал участие в этих рейдах, и дело это, должен сказать, очень опасное. Стрелок с вышки может подумать, что ты пытаешься бежать из лагеря, и открыть стрельбу. А сделать все незаметно – ужасно трудно: запретка освещена прожекторами, кругом всякие сигнальные провода, тоненькие, как паутина, и колючая проволока цепляется за одежду.

Иногда, правда, удавалось подкупить охранника или раздатчика пищи, и тогда было легче. А без махорки было бы совсем худо, особенно мне с такой длительной голодовкой. Как назло, организм у меня был крепкий, и я даже сознания не потерял ни разу, чтоб врача можно было вызвать.

На двадцать шестой день кончился мой карцерный срок (давали мне восемь суток), вышел я на порог, но от свежего возду-

ха, видно, закружилась голова, в глазах потемнело, и я сполз по стенке на пол в коридоре.

Долго спорило начальство, что со мной делать. Врач наотрез отказывалась взять меня в больницу — я же не больной, а голодовщик, все равно что членовредитель. Но и дежурный по лагерю офицер не хотел брать меня в зону – вдруг сдохну? Так стояли они надо мной и спорили. Я уже вполне пришел в себя, мог бы подняться, но решил ни за что не вставать. Лежал на пороге и думал: "Пусть себе спорят. Хуже мне уже не будет". А что мне было делать, сколько еще голодать? Наконец, дежурный офицер взял верх в споре, и меня отнесли в санчасть.

Этот офицер вообще был ко мне как-то расположен – удивляло его, как это я осмелился воевать с властью. По вечерам, в свое дежурство, обычно под хмельком, он находил меня где-нибудь в зоне и приставал с уговорами:

– Слушай, Буковский, что ты с ними связался? Нашел с кем воевать! Они же тебя просто убьют. Что придумал – против власти идти. Застрелят из-за угла и все. Это же бандиты.

И дальше принимался рассказывать, как был на фронте и какие видел зверства.

Говорил он все это безо всякой задней мысли, вовсе не с тем, чтоб напугать меня или "перевоспитать", а просто по доброте душевной. Да и от удивления тоже. Я был первый политзаключенный, какого он видел, и это ему было в диковинку.

Видимо, то же удивление испытывало все наше начальство, как и мои солагерники. Кражи, разбой, убийства — все это было привычно для них. Еще если бы за деньги, но чтобы так вот просто, ни за что, ни про что, — это им понять было трудно. Наверно, потому на старую работу больше не гнали – черт его знает, этого политического, возьмет да и сдохнет еще с голода. Пришел в санчасть зам. начальника лагеря, и мы с ним долго торговались, на какую работу я пойду, а на какую – нет. Сторговались на одной работе, в теплом цеху, офанеровщиком кромки крышек стола. Работа была для "исправившихся" – четыре часа от силы, и норма сделана. Жалко ему было, но уступил.

С тех пор оставили они меня в покое, хоть жалобы я писать продолжал по-прежнему. Под конец срока только приезжали из управления уговаривать меня:

– Брось, не пиши ты им больше жалоб. Что они тебе? Ты – политический, они – уголовники. Да и освобождаться уже скоро.

К тому времени у меня был здоровый уголовный коллектив постоянных жалобщиков – человек тридцать. Они же мне находили каждый еще человек по десять, а то и больше, и в общей сложности ежедневно из лагеря уходило жалоб по 400. Постепенно мои ребятки так втянулись в это дело, что научились о законах спорить не хуже Вольпина. Писали почти без моей помощи. Добились мы со временем и выходных дней, как положено, только уже не жалобами, а забастовками. Просто перестали ходить в эти дни на работу и все. Сначала сажали нас за это по карцерам, судить грозились за саботаж, но потом смирились. Если и приходилось работать в воскресенье, то стали давать отгулы в конце месяца.

Только КГБ не унимался. Все эти истории с жалобами их интересовали мало, а норовили они поймать меня на каком-нибудь неосторожном высказывании и добавить срок. Все время подсылали ко мне своих агентов. Большинство их сами мне признавались в этом и предлагали свою помощь, но были и такие, что изо всех сил работали на своих хозяев. Примерно раз в месяц приезжал некий Николай Иванович, куратор от КГБ, и вызывал свою агентуру на вахту, якобы к цензору насчет писем. В лагере – все равно что на коммунальной кухне, как ни прячься – все видно, и эту его агентуру каждый знал.

– Опять твой приехал, из КГБ, – сообщали мне доверительно. – Вызывал таких-то и таких-то.

Однажды я уже думал, что все пропало. Не выбраться. Вскрылось вдруг, что в лагере готовится очередной бунт против произвола "вставших на путь исправления". Сделали повальный обыск в бараках и на производстве, нашли кучу самодельных ножей, металлических прутьев и прочей утвари. Человек 50 блатных забрали в тюрьму, на следствие. Никто не знал, кого объявят зачинщиком. Тут-то КГБ и постарался: нашел двух подонков, которые по их приказу стали давать показания на меня как на главного организатора. Я же ничего не знал, и мне в голову даже не приходило, что меня могут заподозрить в такой глупости.

Дело было к вечеру, я сидел в бараке, читал, как вдруг меня вызвали на вахту. Не подозревая ничего худого, я пошел, а по дороге встретил несколько группок блатных, толковавших о ходе следствия.

– Что, и тебя к следователю? – спросили они.

– Не знаю. Сказали – на вахту. Да нет, наверно, еще за чем-нибудь.

Однако вызывал меня, действительно, следователь. У него уже сидели оба эти подонка и теперь, нагло глядя мне в лицо, стали давать против меня показания. Чего только они не врали! Будто я приходил в их барак, и они слышали, как я объяснял весь план бунта каким-то людям, теперь уже находившимся в тюрьме, под следствием по этому делу. Получалось у них, что я самый главный идейный вдохновитель и организатор заговора. И как я ни доказывал, что никогда не был в том самом бараке, не знал тех людей, да и этих двоих впервые вижу, – ничего не помогало. Их двое – я один. А двух свидетелей больше чем достаточно, чтобы упечь человека под расстрел. Ну, в крайнем случае, на 15 лет особого режима.

Вышел я от следователя как убитый. Все, крышка. Ясно было, что это работа КГБ. Не могли в Москве расправиться – здесь добить решили. Пятнадцать лет – вся жизнь к черту, ни за что, ни про что.

По дороге в барак опять встретил блатных.

– Ну, что? Следователь?

Я рассказал все как было. Объяснил свою догадку насчет КГБ.

– Постой, а какие эти двое? А, из шестого барака...

– Да ты не горюй, что-нибудь придумаем.

Что они могут придумать? Будто обухом по голове была для меня вся эта история. В каком-то полузабытьи пошел я в барак и лег на нары. Гул голосов, шарканье ног по полу – все словно сквозь туман. Что я им сделал, этим подонкам? Никогда не видал даже. Это было последнее, что мелькнуло в голове, и я провалился куда-то, как в погреб.

Проснулся только утром, с головной болью, будто с похмелья. Машинально оделся, пошел на поверку, в столовую, на работу – ничего кругом не вижу, как в сумерках. Только в голове словно сверчок свиристит.

К вечеру, возвращаясь с работы, опять повстречал вчерашних ребят, что расспрашивали меня после следователя.

– А, привет! Чего невеселый? Видал, как твои свидетели с утра на вахту ломанулись – отказываться от показаний? Как лоси!

Оказалось, ночью поймали их блатные где-то на производстве, в ночную смену. Что уж там с ними делали, не знаю. Что можно сделать с человеком, чтобы он чуть свет побежал сломя голову отказываться ото всех своих показаний?

Так эта история и кончилась для меня ничем. Пронесло стороной. Через полгода был суд в зоне. Осудили каких-то четверых ребят: одного – к 14 годам, двоих – к 12, четвертого – к 10 особого.

А года через полтора, когда один из моих лжесвидетелей уже освободился, пришло известие, что его убили. Так часто бывало: освободится какой-нибудь шибко "исправившийся", и через некоторое время приезжает вдруг следователь узнавать, с кем он враждовал да кто ему мстить собирался. Что ж тут узнаешь, если он пол-лагеря продал? Обычно на вечерней поверке объявляли: кто знал такого-то, завтра с утра зайти в оперчасть. Чаще всего дорогой из лагеря и убивали – сбрасывали под поезд или резали. А если здорово насолил кому, то и дома находили.

Второй должен был освобождаться со мной в один день. Надо же быть такому совпадению. И чем ближе к этой дате, тем тоскливее он на меня поглядывал издали. Не ждал он свободы, не радовался ее приближению. Ладно, не гляди, не трону. Хватит с тебя и этих переживаний.

Русского человека трудно удивить пьянством – спокон веку на Руси было "веселие пити" и жить без того не могли. Но то, что происходит сейчас, даже пьянством не назовешь – какой-то повальный алкоголизм. Водка дорожает, и нормальным стало употребление тройного одеколона, денатурата, всяких лосьонов и туалетной воды. Более того, все стали знатоками химии и не только ухитряются из почти любых продуктов гнать самогонку, но, добавляя всякие реагенты, помешивая, взбалтывая или подогревая, умудряются получить спирт из тормозной жидкости, клея БФ, политуры, лаков, желудочных капель, зубного порошка и т.п. Рассказывали мне даже, что солдаты на Дальнем Во-

стоке придумали способ пьянеть от сапожного гуталина: мажут его на хлеб и ставят на солнце. Когда хлеб пропитается, гуталин счищают, а хлеб едят. Что уж за жидкость вытягивается таким образом из гуталина, понять трудно. Известно только, что пьянеют, поев этого хлеба.

Алкоголизм распространяется в геометрической прогрессии, и государство справедливо видит в нем угрозу: экономический ущерб от него огромен. Для алкоголиков построены тысячи резерваций, где режим почти что равен лагерному – принудительный труд, наказание голодом и прочие атрибуты "воспитания" – да плюс принудительное лечение. Естественно, в этих "профилакториях" любыми средствами добывается спиртное – и подкупом охраны, и "химией". В сущности, разве что из кирпича нельзя выгнать самогонку.

Но все это бледнеет по сравнению с лагерным пьянством. 2000 человеческих душ, зажатых колючей проволокой на клочке земли в 0,5 кв.км, жаждут забалдеть. Конечно, лак, политура, краска крадутся со складов неудержимо. Но это – роскошь. Пьют ацетон. Болеют потом, но пьют. Пьют неразбавленную краску, глотают любые таблетки.

– Нам что водка, что пулемет. Лишь бы с ног валило!

Один чудак умудрился выпить жидкость от мозолей. Язык и гортань у него от этого облезли, он сдирал с них кожу целыми кусками, но был счастлив.

Кто курит "дурь" или колет наркотики, изредка добываемые через охрану, – по лагерным понятиям даже наркоманом не считается. Наркоман – кто уже не может жить без иглы. За неимением настоящих наркотиков выжигают какие-то желудочные капли – жуткое черное вещество – и полученную жидкость колют в вены. И это еще счастливчики. С отчаяния колют просто воду или даже воздух. Никогда бы не поверил, если бы не видел своими глазами, что человек, вогнавший в вену кубик воздуха, останется жив.

Самое любопытное, что с лагерной точки зрения все это отнюдь не предосудительно. Напротив, колоть и глотать всю эту дрянь считается молодечеством, особым шиком. Бывало, и умирал кто-нибудь от такого шика, и тогда о нем говорили уважительно: "Умер на игле".

Но, конечно, самым распространенным возбуждающим средством в лагере является чифир. Нелегальная торговля чаем в лагерях приобрела фантастические размеры и составляла существенную долю доходов надзирателей. Обычная цена – рубль за пачку (государственная цена – 38 коп.). 10 пачек – 10 рублей, шесть двадцать чистого дохода за один пронос. Иногда и больше, в зависимости от ситуации. Во Владимирской тюрьме цена была 3 рубля за пачку – 26 руб. 20 коп. прибыли за раз. Какой надзиратель устоит?

Власти отчаянно боролись с торговлей чаем лет тридцать. Пойманных на этом надзирателей выгоняли с работы, штрафовали, судить пытались, а заключенных, пойманных с чаем, сажали в карцера, в ПКТ, переводили в тюрьмы – все напрасно. Те же конвойные солдаты с собаками и автоматами, которые так торжественно ведут колонну зэков, – посадив их в воронок, вагон или камеру, первым делом спрашивают:

– Чай нужен? – И начинается торговля: за деньги, хорошую одежду и прочие услуги.

Украсть ли инструмент, сделать ли по заказу хорошую мебель начальнику – чай, водка, наркотики. Хороший начальник лагеря, "хозяин", знает: если нужно ему перевыполнить план, срочно отремонтировать сломанное оборудование – словом, какое-то героическое усилие от зэков, – никакое принуждение, расправы и карцера не помогут. Есть только одно средство – чай.

А где торговля – там особые отношения, зависимость, шантаж. Ведь если попадутся, зэку – карцер, надзирателю – тюрьма. Принес чаю – значит, и письмо отправит. По письму родня зэка пришлет денег на нужный адрес: половина – надзирателю, половина – зэку. И идет эта карусель в масштабах всей страны.

Зэки варят чай в тайге на лесоповале – на костерочке, в бараке – на самодельном кипятильнике, воткнув его в провода, а то и просто на патроне от лампочки, засунув его в банку с водой. Надзиратели чифирят солидно у себя, в тепло натопленной надзорной комнате. И чай тот же. Сами принесли зэкам, сами же во время обыска и отняли – "не положено".

Да и вообще-то нет разницы между уголовными и надзирателями. Только что форма, а переодень их – и не отличишь. Жаргон тот же, манеры, понятия, психология – все то же. Это один уголовный мир, все связано неразрывной цепью.

— Старшой, пусти на минутку вон к тем фуцманам, — просит конвойного в вагонзаке какой-нибудь урка, — из крытки иду, совсем отощал, а у них там кешера богатые.

И тот пускает урку пограбить новичков в соседний отсек, знает, что и ему перепадет часть добычи.

У нас в лагере на мебельной фабрике существовало целое подпольное производство. Четверо заключенных, работавших на разных станках, тайком делали всякие дефицитные поделки: точили шахматы, палки для штор и т.п., а два надзирателя все это выносили и продавали на черном рынке. Зэкам — чай, водка, еда; надзирателям — деньги.

Не только надзиратели, но и вольнонаемные — мастера на фабрике, медсестры, учителя лагерной школы — заняты в этих торговых операциях.

Лагерная школа — явление довольно забавное. По советским законам, среднее образование обязательно, и те из заключенных, кто его не имеет, независимо от возраста принуждаются к ученью в свободное от работы время. Средства принуждения обычные — карцер, лишение посылки или свидания. Конечно, обучение в такой школе — скорее условность, исполнение повинности, чем приобретение знаний. Особенно для людей пожилых, которые, устав от работы, просто дремлют на занятиях.

Молодые ребята ходят в школу развлечься, поглядеть на учителей — в основном, женщин. Онанируют прямо на уроке, сидя за партой, практически на глазах у учительницы. Других женщин в лагере не увидишь, и каждый мечтает завести роман с учительницами, чаще всего — женами офицеров. До сожительства, по лагерным условиям, дойти не может, зато счастливчики получают сразу все удовольствия. Любвеобильные офицерские жены и чая принесут тайком, и водки, и письмо всегда отправят. Им тоже скучно в тесном офицерском поселке, расположенном обычно рядом с лагерем, вдали от больших населенных пунктов. Развлечений никаких, даже кино нет. Все один и тот же круг знакомых — сослуживцев мужа, к которым и в гости-то идти неохота, надоели друг другу до смерти. Одна надежда — завести роман в лагере, с зэком помоложе. Разумеется, избраннику завидует весь лагерь, и он ходит гоголем — первый парень на

деревне. А мужья, не скрываясь, ревнуют, жестоко преследуют "соперников", гноят их по карцерам, даже физической расправой не брезгуют.

Наш замполит, капитан Сазонов, – типичный замполит, тупой, обрюзгший, с красной бычьей шеей и глазами навыкате, – был особенно ревнив. Наверно, считал, что жена замполита – все равно что жена Цезаря и должна быть вне подозрений. Сам провожал ее из школы и в школу каждый день. Заглядывал в класс по нескольку раз за урок, а в перерывах между занятиями важно прогуливался по коридору. А она – молоденькая, хрупкая, изящная, совсем ему не пара, и странно было увидеть их шествующими под руку через весь лагерь. Казалось, он чувствовал своей спиной похотливые взгляды двух тысяч изголодавшихся зэков и злобно посматривал по сторонам. Буквально все лагерное население высыпало из бараков поглядеть на нее, отпустить им вслед, сплюнув, сальную шуточку. Как ты им запретишь глядеть? Весь лагерь в карцер не загонишь, хоть ты и замполит.

Разумеется, жена Сазонова была предметом вожделений всего лагеря. В ее класс записалось 60 учеников, самые молодые и отчаянные. Не хватало помещений, прекратили прием, и даже драки случались между претендентами. Один молодой парень достал на фабрике дрель, залез под пол школы и, просверлив дырку в полу класса, наслаждался открывшимся видом. Другой придумал класть зеркальце на носок ботинка и выдвигал ногу в проход, когда она ходила по классу. Она, конечно, знала, какое возбуждение вызывает у лагеря, стеснялась, поминутно краснела, однако никого не выделяла особо. Приз оставался не завоеванным, пока на сцене не появился молодой, румяный, дерзкий вор по кличке Фома. Весь лагерь, затаив дыхание, следил за их романом, сотни добровольцев наблюдали за передвижениями Сазонова и сообщали влюбленным о приближении опасности. Все ждали – что будет?

Ну, нашлись "доброжелатели", сообщили об этом и Сазонову. Он вызвал Фому к себе в кабинет, долго молча глядел на него своими белесыми глазами, но в карцер не посадил, как все ожидали, а сказал только:

– Чтобы духу твоего в школе больше не было!

И стал с тех пор еще внимательнее следить за женой.

— Фома! — кричали зэки каждый раз, как видели их идущими под руку. — Твою невесту уводят!

— Да ладно... — криво усмехался Фома. У Сазонова же шея наливалась кровью, раздувалась, словно клобук у кобры.

Наконец, застукал их Сазонов. В перерыве между занятиями они мирно беседовали, сидя рядышком над раскрытым учебником математики. Как уж его проглядели добровольные стражи — не знаю.

— Сгною! Приморю! Три месяца ПКТ!

Все три месяца по вечерам приходил Сазонов в ПКТ посмотреть на своего обидчика. Отпирал первую дверь, оставляя закрытой вторую, решетчатую, и глядел в полумрак камеры.

— Смотри, Фома, сгною. Живым не выйдешь.

— Все равно я твою Аду вы..., освобожусь и вы..., — бодро отвечал Фома, хотя вид у него был уже не такой молодецкий. Исчез румянец, пожелтело, осунулось лицо, и только голос звучал дерзко. Тем только и жив был, что ночью пробирались дружки под окно и передавали ему поесть, сколько успевали.

Спасся он тем, что сроку оставалось мало — освободился. И долго еще жили легенды в лагере о дерзком Фоме. Лагерная молва утверждала, что он-таки вы...л жену Сазонова. Даже очевидцы находились.

А так, кроме учительниц не было больше женщин в лагере. Процветал гомосексуализм, и пассивные гомосексуалисты имели женские прозвища — Машка, Любка, Катька. Уголовная традиция в этом смысле на удивление нелогична: быть активным гомосексуалистом — молодечество, пассивным — позор. С ними рядом не полагалось есть за столом, и они обычно садились в столовой в углу, отдельно. Да и посуда у них была специальная, чтобы, не дай Бог, не перепутать, — сбоку на краю миски пробита дырочка. Даже брать у них из рук ничего не полагалось.

Большая часть этих отверженных становилась ими отнюдь не добровольно. Чаще всего, проигравшись в карты, они вынуждены были расплачиваться натурой, а уж потом любой, кому не лень, принуждал их к совокуплению — лагерный закон их не охраняет. Сколько хороших ребят так-то вот искалечили — сосчитать трудно. В зоне их было процентов 10.

Да что там гомосексуалисты! Забрела однажды в лагерь коза. Как уж она прошла через вахту – неизвестно. Должно быть, за въезжавшим грузовиком. Затащили ее зэки куда-то в подвал на фабрике и коллективно использовали. Потом надели на рог пайку хлеба в качестве платы и выгнали к воротам. Хозяева козы, здоровый красномордый мужик, сам бывший зэк, поселившийся после освобождения рядом с лагерем, и его жена, – увидели свою кормилицу в таком непристойном виде, когда солдаты выпустили ее за ворота. Хохот, мат, крики. Зэки повылезли на крыши цехов, охранники высыпали с вахты...

– Иван! – кричит мужику жена сквозь слезы. – Зарежь козу! Видишь, зэки над ней насмеялись.

– Молчи, дура! – отвечает Иван. – Ишь, чего придумала – резать. Я тебя десять лет е.., не режу.

Вызов к куму – это всегда плохо. За хорошим не позовут. Или в карцер посадит, или грозить, запугивать примется. А то и вовсе новое дело мотать собирается, новый срок.

– У вас есть родственники за границей? – спросил меня кум, вызвав к себе в кабинет.

Не понять, куда клонит. Зачем ему мои родственники?

– Нет, нету. Друзья есть.

– Друзья? Это те что ли, с которыми вы занимались антисоветской деятельностью?

Не хватало еще, чтобы лагерный кум вел со мною политические беседы. Что ему от меня надо?

– Я не обвиняюсь в антисоветской деятельности.

Оказалось, однако, что причиной вызова была посылка, пришедшая вдруг на мое имя из Америки. Отправитель – какая-то Анна Дэнис из Калифорнии. Имя совершенно мне не знакомое.

– Скажите, вы отказываетесь взять посылку?

Ничего себе формулировка вопроса. А почему я должен отказываться? И потом: что в посылке?

– Посылку мы вам пока не будем показывать. Сначала ответьте, вы отказываетесь или нет?

– Нет, не отказываюсь.

– Ах, вот как! Ну, что же, вручить посылку я вам обязан, но буду вынужден объявить всем в лагере, что вы платный агент

империализма. Кроме того, мы не можем отдать ее сейчас вам на руки – в ней присланы вещи вольного образца. Будет лежать до конца срока на складе. И засчитывается как очередная. Значит, больше в эти полгода вам посылок не положено.

Так пришла ко мне первая весточка из свободного мира – теплая одежда от не знакомой мне Анны Дэнис. Ну что ж, пускай я буду агентом империализма, пусть эти вещи лежат на складе безо всякой пользы, но я никогда не обижу отказом человека, символически выразившего мне симпатию. И лагерный кум записал в карточку: ''Посылка с вещами неположенного образца от Анны Денисовны из Калифорнии''.

Впрочем, строго говоря, это не было первой весточкой свободного мира. У меня ведь был радиоприемник, прекраснейший приемник, какого не купишь ни в одном магазине Москвы.

Петр Яковлевич был на три года младше меня, но все в лагере звали его не иначе, как по имени-отчеству. До ареста в своем родном Воронеже он был известен как ''золотой'' карманник, о воровских его подвигах ходили легенды. С поразительной точностью мог он сказать, войдя в автобус или просто в толпе на улице, у кого есть деньги, сколько примерно и где они спрятаны. И случая не было, чтоб не смог их вытащить. Попался он первый раз, получил четыре года.

Внешне, однако, он совсем не был похож на карманного вора – необычайно серьезный, солидный, в очках с толстой оправой, он напоминал скорее разночинца прошлого века – не то Добролюбова, не то Писарева. Встретившись где-нибудь на свободе, я принял бы его за молодого научного работника, поглощенного своими исследованиями. Был он нетороплив, рассудителен, и уж если говорил что-то – это было окончательно, весомо, не с бухты-барахты. Кроме своей основной, карманной профессии он еще был прекрасный радиотехник и после освобождения собирался целиком перейти на эту вторую специальность.

– А как же карман? – изумлялись жулики. – Завязал что ли?

– Все, этим я больше не занимаюсь, – солидно отвечал Петр Яковлевич. – Этими делами можно пробавляться до первого ареста. Потом уже бессмысленно – менты тебя знают, следят,

стараются любое дело пришить и через пару недель опять посадят. Бесполезно.

Его-то я и попросил сделать мне такой коротковолновый приемник. Все необходимые детали удалось заказать одному вольняшке, "гонцу", носившему в зону чай. Дело устроилось в две недели. Я очень спешил, подгонял Петра Яковлевича, и он недовольно морщился. Спешить было не в его характере. Делать так уж делать. Основательно.

И, действительно, приемник вышел на славу. Все ловил: и Би-Би-Си, и "Голос Америки", и "Свободу", и "Немецкую волну", и даже радио Монте-Карло. Только Москву не принимал. Как уж Петр Яковлевич ухитрился исключить Москву, понять не могу.

Приемник стоял в школе, в одной из комнат для хранения школьного оборудования, замаскированный под какой-то физический прибор на случай обыска. Завхоз школы, заключенный, проводил меня незаметно в эту комнату по вечерам, и там начиналась для меня совершенно иная жизнь. Я вновь был со своими друзьями, переживал их аресты, был вместе с ними на Красной площади, протестуя против оккупации Чехословакии, писал с ними письма протеста.

68-й год был кульминацией. Казалось, еще немного – и власти отступят, откажутся от саморазрушительного упрямства. Слишком оно становилось опасно: подобно цепной реакции, репрессии втягивали в движение все больше и больше людей. Целые народы грозили прийти в движение, и это ставило под угрозу уже само существование последней колониальной империи. Вопрос о том, являемся ли мы гражданами или подданными, оказался решающим и для национальных проблем.

Гражданин обладает своими правами от рождения. Подданный наделен ими с высочайшего соизволения. Но ведь быть украинцем, русским или евреем – это тоже природное право. Государство внутри граждан – и только оно – определяет, каким будет государство внешнее.

Советские власти не имели выхода. Как бы глупо, опасно и даже самоубийственно ни было их упрямство, признать суверенитет этих внутренних государств в человеке означало бы конец социалистической системы, а признать суверенитет отдельных наций – конец империи. Слишком хорошо понимали власти,

что невозможен социализм с человеческим лицом. Послав танки в Прагу, они фактически посылали танки в Киев и Вильнюс, на Кавказ и в Среднюю Азию. Более того – в Москву.

Войска Варшавского блока были посланы разрушить мой замок и были наголову разгромлены семью людьми на Красной площади. На Лобном месте, где в старину казнили разбойников, состоялась публичная казнь социализма, и мне чуть не до слез жалко было, что не удалось принять в этом участие. Зато порадовался, что там был Вадик Делоне. Все-таки устоял парень после нашего суда, осилил себя.

Вечерами, перед отбоем, когда я, прослушав очередную передачу, возвращался опять в свой лагерь и брел вдоль освещенных прожекторами рядов колючей проволоки, меня не покидало удивительное чувство свободы, легкости и силы.

Трусливо молчали премьер-министры и президенты, предпочитая обедать в теплой дружественной обстановке с Брежневыми и Гусаками, позорно молчала ООН, несмотря на потоки обращений моих друзей, – предпочитала толковать о Родезии.

– Задавят их, – рассудительно говорил Петр Яковлевич, поправляя очки. – Куда им против такой силы? Лучше бы сидели тихо, не рыпались.

– Вот видишь, – говорил, встречая меня, пьяненький капитан. – Разве можно идти против власти? Они тебя просто убьют, помяни мое слово. Пристрелят и все.

А по заводам и фабрикам, как водится, шли собрания трудящихся, единодушно одобряющие ввод войск в Чехословакию. Газеты печатали письма доярок, оленеводов, учителей и сталеваров, писателей и академиков. И все – от Президента США и Генерального секретаря ООН до последнего надзирателя в лагере – преклоняли головы перед грубой силой.

Нет, не я был в концлагере, а они, сами выбрав несвободу.

Освобождался я из карцера. После истории с посылкой замполит Сазонов люто меня возненавидел. За весь свой срок я ни разу не был на политзанятиях, и все уже привыкли к этому, вроде бы как к должному. Знал об этом и Сазонов, но только месяца за три до моего освобождения вознамерился вдруг заставить меня посещать их. Вернее, просто решил использовать это как предлог для наказаний.

Я, разумеется, уперся: с какой стати я должен ходить в вашу церковь, если не верю в вашего Бога? Да и по закону политзанятия не являются обязательными.

И пошли карцера один за другим, аж в глазах зарябило.

– Хоть напоследок тебя приморю, – пообещал Сазонов. Он верно рассчитал, что времени осталось мало и я никак не успею ему досадить.

Под самый конец дал он мне 15 суток, хоть сроку всего оставалось семь дней, – больно озлобился. Так и остался я должен хозяину восемь суток. Ладно, следующий раз досижу.

С трудом уговорил дежурного офицера, чтоб разрешил хоть на часок подняться в зону перед освобождением – помыться после карцера да попрощаться с ребятами.

Самое худшее наказание – выгнать на волю прямо из карцера. Грязища в карцерах такая, что одежду можно было только выбросить – отстирать невозможно. Допроситься же из карцера в баню почти никогда не удавалось. Даже голодовки объявляли, чтобы в баню попасть. Начальству было уж больно хлопотно водить через всю зону, да и разбегались на обратном пути по баракам – лови их потом.

Одно время приспособились жулики – пронесли тайком в карцер спичечную коробочку вшей, собрали у самого вшивого в зоне, старого бродяги. У того вши не переводились, хоть в кипятке его держи постоянно.

Коробочку эту потом растягивали, как могли, чтоб хватило месяца на два. Раз в неделю поднимали крик:

– Врача давай, начальник! В баню не допросишься! Вшей вот развели. Завшивели все. – И совали начальнику под нос парочку крупных неопровержимых вшей.

Часа два криков, мата, угроз, и приходилось начальству вести всех в баню – боялись сыпного тифа или еще какой заразы, которую вши переносят. Но и недели хватало, чтобы превратиться в негра по карцерной грязи.

Жулики мои заварили на прощанье крепкого чаю, и почти каждый, отведя в сторонку, говорил, смущаясь:

– Ну, в общем, сам знаешь... Если чего нужно будет, меня в городе каждый знает. Только спроси – всегда найдешь. Ну, в бегах если будешь или оружие вам, политикам, понадобится. Или там, в квартиру какую залезть нужно. Короче, сделаем.

А некоторые даже осторожно намекали, что и зарезать могут, кого надо. Не проблема.

С такими напутствиями я и вышел за ворота. Все-таки не удалось мне их убедить, что преступность на руку советской власти. Учиться, правда, некоторых уговорил, да и то весьма своеобразно. Доказывал я им, что даже преступление совершить грамотный человек может лучше, чище.

– Вот кончи институт, а потом уж воруй, если тебе так хочется. Никогда не попадешься.

Этому они верили – грамотность казалась им чем-то вроде черной магии. И книжки заставлял я их читать. Особенно популярен стал у них Достоевский.

Что говорить, привык я к ним. Даже грустно было расставаться. Особенно с ребятами помоложе. Кто знает, сколько из них никогда не выберется из лагерей? Молодые ребята, горячие как огонь. Чуть что – за нож хватаются. Вовремя не удержишь, и вот уже новый срок. Жалко. Многие из них, по-моему, очень способные ребята. Человек пять я даже английскому языку обучил – просто от скуки, пока сидели по карцерам.

Может, кому это покажется странным: преступники, воры, убийцы, опустившиеся бродяги, наркоманы и пьяницы – и вдруг грустно расставаться. Солидные люди покачают головами, советская пресса взахлеб примется цитировать. Какая находка для партийной пропаганды! Но это наш народ, и другого у нас нет. Таким вы сделали его за 60 лет.

Я спал с ними на одних нарах, под одним бушлатом, делил кусок хлеба, вместе подыхал по карцерам. И я полз по запретке на брюхе, рвал колючую проволоку, обдирая руки, ждал каждое мгновение пулю в спину, только чтобы передать им пачку махорки. Так же, как и они мне. И я не жалею об этом. А что вы знаете о своем народе? Какое к нему имеете отношение? Какое имеете право говорить от его лица?

Я не читал им нравоучений, не проводил политзанятий, не создавал подпольных партий и не учил доносить на товарищей, чтобы "исправиться". Я учил их писать жалобы, надеясь, что, привыкнув обращаться к защите закона, они начнут уважать его. И не моя вина, что этого не случилось. Это ваша вина. Вспомните, что́ отвечали вы им на жалобы, вспомните, как в лютую морозную зиму поливали из брандспойтов восставший БУР

и как обыскивали людей на снегу, раздев донага. Вспомните тех, кто сдох на пороге вашей санчасти, и тех, кто рубил себе топором пальцы, – вспомните, когда озверевшие от крови толпы будут врываться в ваши кабинеты, волочь вас на улицы и втаптывать в мостовые. Когда по разбитым, пахнущим гарью улицам ветер будет гнать тонны бумаги – все, что останется от вашей империи. И не будет вам ни закона, ни правого суда.

Так будет, потому что вы не признаете *суверенитета человеческой совести.* Только никому от этого уже не станет легче. Вы не оставляете им выхода.

Что еще сделает с ними жизнь, даже загадывать страшно. Встречал я потом на этапах, по пересылкам старых зэков, всю жизнь просидевших по тюрьмам. По 30-40 лет. Особенно запомнился мне Леха Тарасов. Встретил я его на экспертизе в Институте Сербского в 71-м. Только вошел в камеру, бросился мне в глаза человек лет под 60, беззубый и тощий, как скелет. Все лицо исколото. На лбу: "ЛЕНИН ЛЮДОЕД". На одной щеке "СМЕРТЬ ЦК", на другой – "РАБ КПСС".

Был он моложе, чем мне показалось. В войну, в 44-м году, шестнадцатилетним мальчишкой попал в тюрьму за кражу и с тех пор не выходил. В колонии для малолетних вспыхнул мятеж, и он с приятелями зарезал 11 повязочников. Так получил первый лагерный срок. Потом на Колыме за попытку к побегу – второй. Давно выветрилась у него воровская романтика, а впереди все оставался неизменный четвертак. В 53-м за убийство кума получил он расстрел, но заменили опять на четвертной – из него 15 лет крытки.

День в день просидел он все пятнадцать лет во Владимирской тюрьме. Ни зубов, ни волос, ни здоровья не осталось. Глотал ложки, пришивал себе к телу пуговицы, резал вены – только чтобы на недельку попасть в больницу. Потом стал делать себе на лице антисоветские наколки. Это был скорейший путь в больницу – наколки вырезали сразу, без наркоза, по живому. Но каждый раз аккуратно добавляли срок. Потом вышел тайный указ: за антисоветские наколки расстрел – как за "дезорганизацию работы исправительно-трудовых учреждений". Слишком много развелось "рабов КПСС". Он был тогда уже в лагере, но за какую-то провинность опять присудили ему три года во Владимире. Этого он уже вынести не мог – возненави-

дел он Владимир за те 15 лет, каждый камешек там знал. И дорогой на этапе сделал себе новые наколки.

– Не дадут расстрел – брошусь на конвой. Сколько успею, столько и прихвачу с собой на тот свет.

Его расстреляли в 1972 году. Бросаться на конвой не пришлось.

Мотаясь по пересыльным тюрьмам, слышал я иногда, как под вечер из какого-нибудь окна кричит мальчишеский голос:

– Тюрьма, тюрьма! Дай кличку!

Это вновь обращенный жулик просит у тюрьмы крещения на всю жизнь. Тогда я вспоминаю Леху Тарасова. Его кличка была "Колючий".

В тот год я решил больше не попадать в тюрьму. Хватит. Скоро тридцать, а я так и не жил. Ни одного дня не жил по-человечески. Ни профессии, ни семьи, и, когда знакомят с кем-нибудь посторонним, тоскливо ждешь вопроса:

– Скажите, а вы – кто?

Обычно я врал. Говорил, что геолог. Все время езжу по экспедициям. Так легче было объяснить, почему я не видел фильма, который все видели, не успел прочесть модную книжку, не знаю каких-то бытовых деталей, происшествий.

– Одичал, знаете, по экспедициям. Все время в тайге.

Освобождаться – наверно, все равно что эмигрировать в чужую страну. Все дико, ново, и ты совсем беспомощный, как малый ребенок. Только бывших зэков угадываешь в толпе, как земляков на чужбине, – по каким-то неуловимым признакам, походке, жесту, иногда знакомому словечку.

Нет, не хочу больше. Этой лагерной тоски и бесконечных разговоров, этих шальных этапов, этой брани и махорки. Хватит.

Идут по улицам люди с живыми, не помертвелыми лицами. Идут к себе домой, к своим семьям. Живут ведь как-то. Худо-бедно, а живут. Хоть в лес могут съездить по воскресеньям. И ты невольно начинаешь ненавидеть их за это. От зависти.

Когда-то в детстве моем к нашим соседям приезжал дальний родственник из Сибири – офицер МВД. Какой-то лагерный начальничек. Он тоже не мог видеть людей, идущих по улице. Напивался. Мрачно чистил сапоги на кухне и говорил злобно, ни к кому не обращаясь:

— Ходят тут, веселые, смеются... Ко мне бы их. У меня бы посмеялись...

И я боялся, что со временем тоже стану ненавидеть всех, кто не сидел, кто не знает того, что знаю я. Боялся пить, потому что спьяну вскипала вдруг во мне тоска и злоба. Все-таки шесть лет почти отбухал. Хватит.

Мать тяжело болела, и в день моего освобождения ей сделали операцию. В больницу не пускали – карантин из-за вирусного гриппа. Только записку мне передали. Просила она как-нибудь достать боржому – его, как обычно, в продаже не было. И еще просила наменять денег рублями, чтобы платить нянечкам. За то, чтоб подали утку, сменили простыни, помогли встать или принесли что-нибудь, – каждый раз рубль. Иначе и не шевельнутся, хоть надорвись. Зарплата маленькая, надо же как-то подрабатывать.

Ах, вот как! Это мне понятно. Вот и у меня профессия оказалась. Шесть лет обучал меня этой науке гражданин начальничек. Зачем магазин, прилавки, очереди? Где тут черный ход? Мне только глянуть на грузчика, он свой брат, туземец с островов. И вот я уже с боржомом. Какой карантин? Сестре трешку в зубы, и я уже молодой практикант, иду в белом халате через какие-то подвалы, морги, лаборатории – вверх по лестнице. Вокруг – коллеги-медики, как и я.

Мать улыбалась через силу, бодрилась, и я вдруг отчетливо понял, что мог ее уже не застать. В следующий раз точно не застану. А больше у меня никого и нет, чтобы спешить увидеться.

Нет, следующего раза уже не будет. Хватит. В сущности, какая разница – что здесь, что там? Одна жизнь, одни законы. Как-нибудь проживу. Это у меня последний шанс жить. Нет больше времени.

В феврале мы поехали с ней в санаторий под Москвой – ей нужен был отдых и воздух. Погода стояла отличная, весенняя, и мы подолгу бродили в лесу, по санному следу, часто отдыхая. Пока она грелась на солнышке, я вылепил из снега Фавна – пожилого, обрюзгшего дядьку, с натугой поднимавшегося с колен, цепляясь руками за ветви елей. Лицо вышло усталым, будто ему жить надоело, надоели и лес, и солнце, и вечный снег, из которого он был сделан.

Не спеша доходили мы до "заячьей полянки" – лесной лужайки, где снег был сплошь изрыт заячьими следами, и шли назад, обедать. Наверно, зайцы плясали здесь по ночам, при лунном свете.

В столовой на нас поглядывали с любопытством – странная пара. И в их взглядах я ловил проклятый вопрос:

– А вы – кто? Вы скульптор, да?

Но, к счастью, никто не заговаривал.

Санаторий принадлежал ЦК комсомола (мать случайно достала туда путевки через работу), и оттого большая часть отдыхающих были старые партийцы, комсомольцы 20-х годов. Проходя через террасу, можно было слышать, как они, сидя в шезлонгах на солнышке, толкуют о своей молодости.

– А в 22-м году я была в ЧОНе, имела уже пять лет партийного стажа. А вы?

Серые, обрюзгшие партийные бабки и дедки. Никак не уймутся – все им тачанки снятся.

Я вылепил белоснежный череп и осторожно положил его в лапы елки, на уровне головы, как раз у поворота санной дороги, где они бродили днем, тяжело переваливаясь, словно утки. Они вздрагивали, пугались очень натурально, будто каждый раз забывая о черепе.

– Какая мрачная фантазия. Какой вы жестокий, – сказала одна, встретившись с нами на дороге. Я ничего не ответил. У нее зато светлая была фантазия в 22-м году.

Иногда проезжал мужичок на санях, провозил дрова в санаторий, и мы всегда с ним здоровались. У него было приветливое лицо и светлая, ласковая улыбка. Тихая улыбка...

– Ты ведь не собираешься больше в тюрьму, правда? – спрашивала осторожно мать. И, помолчав, добавляла: – Лучше уезжай отсюда, за границу. Здесь они тебе житья не дадут.

Странно после долгого отсутствия возвращаться в прежний круг знакомых, встречать там вдруг новых людей, новые лица и разговоры о не известных тебе событиях. А на свой неосторожный вопрос о ком-то из давних друзей услышать вдруг неловкое молчание.

Москва привыкла к арестам, обыскам, судам и допросам – они стали темой шуток и светских сплетен, как другие говорят

о свадьбах, крестинах и новых нарядах. Появилась новая форма общения — ходить друг к другу на обыски.

Постоянно встречаясь со своими знакомыми, легко обнаружить, когда в их квартире происходит что-то подозрительное: к телефону никто не подходит, а свет в окнах горит. Или просто сговорились встретиться, а они пропали, не идут почему-то. И тут же звонки по всей Москве — обыск у таких-то! Скорее в такси, и со всех концов уже летят гости. Точно, обыск. Всех впускают, а выпускать не положено. Набивается полная квартира, шум, смех. Повернуться негде. Кто-то приехал с бутылкой вина, кто-то с арбузом. Все угощаются, посмеиваясь над чекистами. Попутно пропадают в карманах гостей какие-то бумаги, лишний самиздат, неосторожно сохраненные письма и прочие вещественные доказательства — разве уследишь за такой толпой!

Взмокшие чекисты пытаются выгнать собравшихся — куда там! Все ученые — по закону выгнать во время обыска нельзя. Терпите. На столе УПК для всеобщего обозрения.

— Потише, граждане!

— А где сказано, что во время обыска нельзя шуметь? Покажите такую статью!

Только понятые из домоуправления с ужасом глядят на этих нечестивцев.

Традицией стало справлять дни рождения заключенных. Появился неизменный "тост номер два" — за тех, кто не с нами. И арест — что ж, арест дело привычное. Сколько их было, этих арестов.

Эх, раз, еще раз, еще много, много раз,
Еще Пашку, и Наташку, и Ларису Богораз...

Тут же и собираются подписи под протестом. В приличных домах завели даже специальный столик для самиздата. "Хроника текущих событий" — три года, Авторханов — семь.

— Что изволите к чаю?

— Юлиус, ты шуршишь и размножаешься...

Ну, а если разговор серьезный — пожалте, русско-русский разговорник. Лист бумаги и карандаш. Не забудьте, пожалуйста, потом сжечь за собой свою беседу.

Хлопот много. Едут через Москву со всей страны родственники в Мордовию и Владимир, на свидания к зэкам. Всем нужно переночевать, купить продуктов. Встретить-проводить. Обратно, из Мордовии, с новостями. Карцера, ШИЗО, ПКТ и режимы – обычная тема разговоров в московских квартирах, как в лагере.

То украинцы, то литовцы, а то нашествие на Москву крымских татар или месхов. Татары на очередную демонстрацию едут чуть не целыми поездами. Их ловят дорогой, возвращают назад. А тех, кто все-таки прорвался, вылавливают уже по Москве.

За время моего отсутствия удивительно выросли национальные движения. Они очень разнообразны, внешне имеют даже разные цели. Месхи и крымские татары, депортированные насильно в сталинские времена из родных мест в Среднюю Азию, добиваются права вернуться в свои края. Евреи – права выезда в Израиль, а поволжские и прибалтийские немцы – в Германию. Украинцы, прибалты, кавказцы – национальной независимости, отделения, права на национальную культуру. И тем не менее всех их объединяет нечто общее – пробудившееся национальное самосознание. Еще пять лет назад одних рассуждений о национальной независимости или праве на отделение было достаточно, чтобы получить свои 15 лет за "измену родине". Как измена продолжает рассматриваться и выезд за рубеж. Но уже граждане, решившие подчиняться своей совести, а не партийному билету, начинают навязывать свои реальности государству.

Это не политическая борьба, не подвижничество и не героизм. Это как "клуб здоровых" в сумасшедшем доме. Только и остается, что быть нормальным человеком.

– Так какие же космонавты будут первыми на Луне?

Нет здесь ни правых, ни левых, ни центральных. Всех уравнял советский концлагерь. По-прежнему, как в пчелином улье, нет руководителей и руководимых, влекущих и влекомых, уставов и организаций – только легче, много легче, чем пять лет назад. Больше народа, больше гласности, да и народ двинулся посолидней – профессора, академики, писатели – не чета нам, мальчишкам начала 60-х годов. Права осуществляются явочным порядком, и вчерашнее "нельзя" – сегодня уже обыденно.

Как трудно было раньше обеспечить эту самую гласность. Иностранные корреспонденты в Москве, отчасти запуганные воз-

можным выдворением, потерей выгодной работы, отчасти задобренные и сбитые с толку, с большим трудом соглашались сообщать в свои газеты о расправах. Гораздо проще и выгодней было им перепечатывать сообщения ТАСС и советских газет. Сложности остались и теперь – власти высылали всякого, кто сближался с нами. Но уже значительно больше было осмеливающихся. Рос интерес в мире к нашим проблемам, и если раньше высланный корреспондент считался в своей газете неудачником, неумелым работником, то теперь выдворение воспринималось как норма, а то и как честь.

– Не в Сибирь все-таки высылают – на Запад, – шутили корреспонденты.

Можно ли говорить об отсутствии свободы информации в стране, где десятки миллионов людей слушают западное радио, где существует самиздат, регулярно уходящий за границу, и все, сказанное сегодня, – завтра становится достоянием гласности? Конечно, нам за эту гласность дорогой ценой приходилось платить, но это уже другое дело.

Появилась даже своеобразная радиоигра. Люди приезжали из далеких уголков в Москву, чтобы сообщить нам о своих бедах, а потом спешили обратно – послушать о них по Би-Би-Си, "Свободе", "Немецкой волне" и, изумленно разводя руками, говорить соседям:

– Во черти! И откуда они все знают в своем Лондоне (или Мюнхене, Кельне)?

Это устрашало сильнее жалобы Брежневу. Какие-то бабки уговаривали меня, поймав в подъезде, помочь им добиться ремонта крыши.

– Пусть-ка их по Бибисям раскритикують, сразу зашевелются. А то три года не допросимся!

Казалось, никто уже не может остановить этого процесса, и вполне реальными выглядели прогнозы Амальрика на 1984 год.

Но не дремали и власти. Дело даже не в том, что сотни людей оказались за решеткой, лишились работы и средств. Это метод традиционный, он скорее увеличивал число участников движения, вынуждая протестовать ближайших друзей, родственников, сослуживцев. Для сильно нуждавшихся и для семей политзаключенных собирались пожертвования, работал своего рода Красный Крест. Кандидаты наук, инженеры устраивались дворни-

ками, грузчиками, подсобными рабочими. А в лагерях, как бы ни было худо, тоже нарастала кампания борьбы – голодовки, письма протеста. В конце концов, из лагерей выходили, когда кончался срок. Нет, не это было самое страшное.

Процессы 68-69 гг. были настолько разоблачительны, получили такой колоссальный резонанс в мире, что власти не могли больше позволить себе этой роскоши. Они пытались увозить из Москвы судить куда-нибудь поглуше, где нет иностранной прессы и толпы сочувствующих. Стали лишать наших адвокатов "допуска" или вообще выгоняли из адвокатуры, наконец, впервые стали давать по ст. 190 ссылку, хоть такая мера статьей не предусмотрена, – словом, делали все, чтобы заглушить гласность. Ничего не помогало. Тут-то и появился вновь на сцене мой старый знакомый, Даниил Романович Лунц – чистых дел мастер. Вспомнили, наконец, про него – дождался.

В сущности, участники движения с их четко выраженной правозащитной позицией и непризнанием советской реальности были необычайно уязвимы для психиатрических преследований.

Я легко представлял себе, как Лунц, потирая ручки, квакает своим большим ртом:

– Скажите, а почему вы не признаете себя виновным?

И все юридические разработки, ссылки на статьи, конституционные свободы, отсутствие умысла – то есть вся гражданско-правовая позиция, убийственная для следствия, моментально оборачивается против вас. Она дает неопровержимую симптоматику.

Вы не признаете себя виновным – следовательно, не понимаете преступности своих действий; следовательно, не можете отвечать за них.

Вы толкуете о Конституции, о законах – но какой же нормальный человек всерьез принимает советские законы? Вы живете в нереальном, выдуманном мире, неадекватно реагируете на окружающую жизнь.

И конфликт между вами и обществом вы относите за счет общества? Что же, общество целиком не право? Типичная логика сумасшедшего.

У вас не было умысла? Выходит, стало быть, вы не способны понять, к чему ведут ваши действия. Даже и того не понимали, что вас обязательно арестуют.

— Ну, хорошо, — дальше квакает Лунц, — если вы считаете, что вы правы, почему же тогда вы отказываетесь давать показания на следствии?

И опять крыть нечем — мнительность, недоверчивость налицо.

— Зачем же вы всё это делали? Чего вы рассчитывали достичь?

Никто из нас не ждал практических результатов, не в том был смысл наших действий, и с точки зрения здравого смысла такое поведение было безумным.

Как и раньше, удобно с марксистами — у них явный бред реформаторства, сверхценная идея спасти человечество. Еще проще с верующими. С ними тоже всегда было просто, как и с поэтами, — очевидная шизофрения.

Теоретическая "научная" база уже давно была готова, еще в хрущевские времена. В условиях социализма — утверждали ведущие психиатры страны — нет социальных причин преступности и, значит, любое противоправное деяние — уже психическая аномалия. При социализме нет противоречия между установками общества и совестью человека. Бытие определяет сознание — выходит, не может быть сознания несоциалистического. Не то, что при капитализме.

Но за эти годы психиатрический метод получил детальную разработку. Прежде всего старый, испытанный диагноз — *параноияльное развитие личности.*

"Наиболее часто идеи "борьбы за правду и справедливость" формируются у личностей паранойяльной структуры."

"Сутяжно-паранойяльные состояния возникают после психотравмирующих обстоятельств, затрагивающих интересы испытуемых, и несут на себе печать ущемленности правовых положений личности".

"Характерной чертой сверхценных идей является убежденность в своей правоте, охваченность отстаиванием "попранных" прав, значимость переживаний для личности больного. Судебное заседание они используют как трибуну для речей и обращений".

(Это проф. Печерникова и Косачев из Института Сербского.)

Ну и, конечно, жалобы на преследования со стороны КГБ, на обыски, слежку, прослушивание телефонов, перлюстрацию, увольнение с работы — это чистая мания преследования. Чем бо-

лее открытой, гласной является ваша позиция, тем очевиднее ваше безумие.

Но было и новое. К концу 60-х школа Снежневского прочно захватила командные посты в психиатрии. Концепции *вялотекущей шизофрении,* той самой мистической болезни, при которой нет симптомов, не ослабляется интеллект, не изменяется внешнее поведение, – стала теперь общепризнанной, обязательной.

"Инакомыслие может быть обусловлено болезнью мозга, – писал профессор Тимофеев, – когда патологический процесс развивается очень медленно, мягко (вялотекущая шизофрения), а другие его признаки до поры до времени (иногда до совершения криминального поступка) остаются незаметными".

"Поскольку именно этому возрасту (20-29 лет – В.Б.) свойственны повышенная конфликтность, стремление к самоутверждению, неприятие традиций, мнений, норм и т.д., это является предпосылкой создания мифа о том, что некоторые молодые люди, которые в действительности больны шизофренией, напрасно помещаются в психиатрические больницы, что они содержатся там якобы потому, что "думают не так, как все" ".

В свое время еще Лунц, в одной из наших бесед в 66-м году, говорил вполне откровенно:

– Напрасно ваши друзья за границей поднимают шум из-за наших диагнозов. При паранойяльном развитии личности по крайней мере лечить не обязательно. А чего вы добьетесь? Чем больше будет протестов, тем скорее все перейдет к Снежневскому – он же мировая величина, признан за границей. А шизофрения – это шизофрения. Ее нужно лечить и весьма интенсивно. Мы вот боремся с влиянием школы Снежневского, как можем, а вы нам мешаете.

И действительно – течь шизофрения могла вяло, лечить же ее принимались шустро. Во имя спасения больного. Почти всем стали давать мучительный галоперидол в лошадиных дозах.

Но дело здесь было не в протестах. Слишком уж удобна была концепция Снежневского для властей. И в 70-м году уже сам Лунц вовсю ставил диагноз "вялотекущая шизофрения".

Это была смертельная угроза для движения. В короткий срок десятки людей были объявлены невменяемыми – как правило, самые упорные и последовательные. То, что не могли сде-

лать войска Варшавского пакта, тюрьмы и лагеря, допросы, обыски, лишение работы, шантаж и запугивания, – стало реальным благодаря психиатрии. Не каждый был готов лишиться рассудка, пожизненно сидеть в сумасшедшем доме, подвергаясь варварскому лечению. В то же время властям удавалось таким путем избежать разоблачительных судов – невменяемых судят заочно, при закрытых дверях, и существо дела фактически не рассматривается. И бороться за освобождение невменяемых становилось почти невозможно. Даже у самого объективного, но не знакомого с таким "больным" человека всегда остается сомнение в его психической полноценности. Кто знает? Сойти с ума может всякий. Власти же на все вопросы и ходатайства с прискорбием разводили руками:

– Больной человек. При чем тут мы? Обращайтесь к врачам.

И подразумевается – все они больные, эти "инакомыслящие".

А следователи в КГБ откровенно грозили тем, кто не давал показаний, не хотел каяться:

– В психушку захотел?

Иногда одной только угрозы послать на экспертизу оказывалось достаточно, чтобы добиться от заключенного компромиссного поведения.

Выгоды психиатрического метода преследования были настолько очевидны, что нельзя было надеяться заставить власти отказаться от него простыми петициями или протестами. Предстояла долгая упорная борьба и, конечно, тюрьма в качестве награды – та самая тюрьма, куда я больше не хотел попадать. Дело же казалось совершенно безнадежным – кто, не зная человека, решится утверждать, что он психически здоров? Да еще вопреки мнению экспертов-психиатров. На широкую поддержку рассчитывать не приходилось.

Но уж больно нестерпимо было видеть, как на твоих глазах уничтожают все достигнутое такой невероятной ценой. Невыносимо быть в стороне, когда твоих друзей загоняют в сумасшедшие дома. Слишком я хорошо знал, что это такое – "психиатрическая больница специального типа", психиатрическая тюрьма.

К тридцати годам начинаешь понимать, что самое главное твое достояние – это друзья. Нет у тебя других ценностей. И не будет. В конце концов, разве от тебя зависит, как сложится

жизнь? Кто-то живет долго и спокойно, кто-то — мало и бестолково. А что касается безнадежности, то разве у нас когда-нибудь была надежда? Сделать все, что зависит от тебя самого, — больше надеяться не на что.

Я бродил по Москве, выбирая глухие арбатские переулки, где снег еще не стаял и в весеннем воздухе гулко разносились звуки. Дворники скребками счищали лед с тротуаров, сгребали звонкие ледышки к обочине. Был март.

Еще не насытившись после серого лагерного однообразия, я впитывал цвета, звуки, движение городской сутолоки, подолгу глядел на какой-нибудь карниз или причудливую узорчатую решетку особняка. Волосы еще не отросли как следует, и я старался реже снимать шапку, а пальцы были по-прежнему желтые от махорки. Хорошо, когда будущее таит в себе хоть капельку неизвестного, — жить легче. Я же знал все заранее — зеленые лефортовские стены, этапы, бесконечные споры о генералиссимусах и паскудный лагерный развод, когда, наглотавшись бурды из клейких рыбных костей, ждешь у ворот, переминаясь с ноги на ногу, пока вертухай в тулупе не пересчитает всех по пятеркам.

Что ж, будем считать, что мне просто не повезло. Не будет у меня семьи, не будет профессии, и, когда под старость незнакомые люди станут спрашивать, кто я такой, чем занимаюсь, буду врать, что геолог.

— Одичал, знаете, по экспедициям. Всё в тайге да тайге.

В тот год мне все-таки очень не хотелось возвращаться в тюрьму.

В мае я дал первое интервью корреспонденту Ассошиэйтед Пресс Холгеру Дженсену. Рассказывал о тюрьмах, о лагерях. Основной упор делал на описание психушек — из-за этого-то я, собственно, и полез в драку. Затем, чуть позже, — большое телеинтервью с нашим другом Биллом Коулом, корреспондентом CBS в Москве, — уже только о психушках.

Это была целая операция. Человек двадцать корреспондентов и русских поехало за город в лес с детьми и женами — на пикник. КГБ держался в стороне, наблюдал издали — в основном, беспокоясь только не пропустить момент нашего отъезда. Поэтому нам с Биллом было сравнительно легко устроиться так, что-

бы чекисты не видели, что он снимает наше интервью. Собственно говоря, снять оказалось не трудно, вот переправить потом фильм через границу – гораздо труднее. Билл сделал еще два интервью – с Амальриком и Якиром, а я отдал ему магнитофонную пленку с записью выступления Гинзбурга, пришедшую из мордовского лагеря. Словом, целый обоз. До Америки он шел месяца три.

После моих интервью произошло еще одно событие, привлекшее внимание к вопросу о психиатрических преследованиях, – насильственно госпитализировали известного ученого Жореса Медведева. Всполошился весь академический мир – репрессии подбирались к ним вплотную. Самые крупные ученые страны возглавили кампанию за его освобождение.

Ни сам Жорес Медведев, ни его брат Рой Медведев не считали в тот момент, что шумная кампания вредит делу – помогает "ястребам" советского руководства и мешает "голубям". Наоборот, попавши в беду, они отлично понимали, что только широкая гласность спасет их. Рой Медведев каждый день выпускал информационный бюллетень о положении дел. Пользуясь своими связями в мире солидных людей, он уговорил написать или подписать письма в защиту брата даже тех, кто обычно не участвовал в наших протестах. Событие имело значительный резонанс во всем мире, и, хотя власти сдались довольно быстро – через 19 дней, – наши заявления о психиатрическом методе преследования нашли новое подтверждение. Появлялась надежда, что достаточно энергичная кампания может заставить власти вообще отказаться от использования психиатрии в репрессивных целях.

Хорошо Жоресу Медведеву – он был достаточно известен в ученом мире. Но как быть с рабочим Борисовым или каменщиком Гершуни, студентками Новодворской и Иоффе, художником-оформителем Виктором Кузнецовым? Из-за них академики не пойдут скандалить в ЦК, а мировое содружество ученых не пригрозит научным бойкотом. По нашим данным, сотни малоизвестных людей содержались в психиатрических тюрьмах по политическим причинам. Кто будет воевать за них?

Я пришел к выводу, что необходимо собрать обширную документацию, свидетельские показания, заключения экспертиз – ведь именно этого боятся власти, именно это опровергает миф о "клевете".

Основной аргумент властей сводился к тому, что неспециалисты не могут оспаривать заключение специалистов. Такая попытка и будет расцениваться властями как клевета. Что ж, попытаемся найти честных специалистов.

Документацию собирали, как говорится, всем миром — каждый вносил свою лепту. Конечно, самая существенная часть пришла от наших адвокатов, которые защищали "невменяемых" и имели допуск к их делам. Только так можно было получить подлинные заключения экспертов. Другую часть документации составляли свидетельства бывших "невменяемых" — это позволяло изучить историю вопроса. Потом письма и свидетельства нынешних заключенных психиатрических тюрем и их родственников о режиме в этих тюрьмах. Судя по таким свидетельствам, мало что изменилось с тех пор, как я сам там был. Разве что "лечить" стали более интенсивно, более мучительно. Собирались сведения и о вновь открывающихся спецбольницах, их фотографии, фамилии врачей, ответственных за психиатрические злоупотребления.

Самым известным к тому времени было дело генерала Григоренко. Его тюремный дневник 69-го года, с подробным описанием следствия и экспертизы, уже публиковался в западной печати. Но мало кто знал, что первая экспертиза в Ташкенте, во главе с профессором Детенгофом, не только признала его полностью вменяемым, но и настоятельно не рекомендовала проводить повторные экспертизы в дальнейшем.

"Сомнений в психическом здоровье Григоренко при его амбулаторном обследовании не возникло. Стационарное обследование в настоящее время не расширит представления о нем, а наоборот, учитывая возраст, резко отрицательное отношение его к пребыванию в психиатрических стационарах, повышенную его ранимость, — осложнит экспертизу", — писали ташкентские эксперты.

Но именно после этого КГБ в срочном порядке отправил его в Москву, в Институт Сербского, на повторную экспертизу, где Лунцу ничего не стоило оформить эту "ранимость" и "отрицательное отношение к пребыванию в психиатрических стационарах" как паранойю с "наличием идей реформаторства".

Я сам хорошо знал Петра Григорьевича Григоренко, знал близко всю его семью, и должен сказать, что редко встречал в

своей жизни человека, более осторожного в суждениях, более самокритичного и скромного. Но ведь мои "честные специалисты" – если я их найду – не будут знать его лично. Оставалось полагаться на достаточную очевидность самих заключений.

Явное противоречие мнений различных экспертов было и в деле Горбаневской. Почти десять лет она находилась под диспансерным наблюдением психиатров в связи с невротическим состоянием в молодости. Перед самым арестом комиссия гражданских врачей-психиатров еще раз освидетельствовала ее и сняла с диспансерного учета. "На основании изучения истории болезни, катамнестического анализа более 10 лет и осмотра – данных за шизофрению нет. В настоящее время в направлении в психиатрическую больницу не нуждается", – такое заключение было вынесено 19 ноября 1969 г., а 6 апреля 1970 г. Лунц и компания находят у нее шизофрению. Ту самую "вялотекущую", которую сам Лунц не признавал, – это было мне известно. Была в заключении Института Сербского и явная, сознательная, легко доказуемая ложь. Обосновывая свой диагноз, эксперты Института Сербского ссылались на "недоброжелательное отношение к матери и равнодушие к судьбе детей" – симптом эмоциональной уплощенности. Между тем, именно в период следствия и экспертизы она писала детям и матери письма, полные заботы и беспокойства, которых эксперты предпочли не заметить. Некоторые письма удалось достать и приложить к заключению.

Совершенно анекдотически звучало заключение рижской экспертизы по делу Яхимовича. Председатель крупного колхоза в Латвии, убежденный коммунист, он в 1968 г. написал открытое письмо в ЦК, озабоченный тем, что наши московские процессы того времени наносят серьезный ущерб делу коммунизма во всем мире. Он был исключен из партии, снят с работы, едва устроился истопником, но не прекратил своих протестов. С тех же коммунистических позиций он осудил оккупацию Чехословакии и вскоре был арестован.

Вся описательная часть экспертного заключения состояла из хвалебных эпитетов. Если бы не заглавие – можно подумать, что читаешь характеристику человека, представленного к правительственной награде.

"Заявляет, что никогда и ни при каких условиях не изменит идее борьбы за коммунистический строй, за социализм... На ос-

новании вышеизложенного комиссия приходит к заключению, что Яхимович обнаруживает паранойяльное развитие у психопатической личности. Состояние больного должно быть приравнено к психическому заболеванию, а поэтому в отношении инкриминируемых ему деяний Яхимовича И.А. следует считать невменяемым. Нуждается в прохождении принудительного лечения в больнице специального типа".

Словом, почти швейковская история. Со стороны рижских врачей это, видимо, был акт пассивного сопротивления: "Выводы сделаем какие приказано, а уж опишем как есть". Даже суд вынужден был направить Яхимовича на повторную экспертизу в Институт Сербского: слишком уж саморазоблачительно. Лунц завершил дело – оформил все как надо.

Всего удалось нам собрать только шесть документированных "историй болезни", но каждая из них была очевидна даже для неспециалиста. Других же материалов: воспоминаний, свидетельств, данных о спецбольницах – набрался чуть не целый чемодан.

Начались поиски "честных специалистов", и тут мы натолкнулись на непреодолимые препятствия. Крупные психиатры, профессора и заведующие клиниками, в частных беседах соглашались, что наши материалы не оставляют сомнений в преступности действий властей. Они даже подсказывали некоторые идеи, ходы, объясняли возможную механику отношений между КГБ и психиатрами, соглашались анонимно написать свои заключения по указанным делам, но категорически отказывались выступить открыто.

– Среди нас нет академика Сахарова, – говорили они. – Ему, чтобы заниматься своей наукой, хватит бумаги и карандаша. А нам нужны клиники. Если нас лишат клиники – мы больше не психиатры, а за открытое выступление, ясно же, всех погонят с работы. Как минимум.

И это был конец. Находились, конечно, молодые психиатры, без чинов и званий, готовые выступить открыто, но это не имело смысла. Что значит их мнение по сравнению с мнением маститых профессоров, академиков? Тем более мнение, составленное заочно, по бумагам и рассказам. Их просто посадят, как и меня. Я не хотел от них такой жертвы. (Молодой киевский психиатр С. Глузман все-таки составил свое экспертное заключение по

делу Григоренко и в 1972 г. получил 7 лет лагерей и 3 года ссылки.)

Оставалось последнее – западные психиатры. Это внушало мало надежд – поди прошиби все идеологические наросты, предубеждения, доктрины. Я мало верил в успех, но все-таки послал документацию западным психиатрам – скорее с надеждой лишний раз привлечь внимание прессы. Правда, приехавший от "Эмнести Интернейшнл", Дэвид Маркхэм, с которым мы обсуждали эти вопросы, уверял меня, что, по крайней мере, некоторые знакомые ему психиатры в Англии готовы изучить документацию и высказаться. Что ж, дай-то Бог! К концу 1971 г. намечался всемирный психиатрический конгресс. Возникала перспектива добиваться обсуждения нашей проблемы на конгрессе, и поддержка каждого психиатра была на вес золота. Хоть бы припугнуть советские власти возможностью такого обсуждения. Ведь даже просто постановка нашего вопроса на международном уровне уже значила бы много. А там – чем черт не шутит? Быть может, честных людей в мире больше, чем я думаю.

В своем обращении к западным психиатрам я старался быть предельно сдержанным. Я не хотел ни от кого требовать политических действий, вовлекать кого-то в политику, а просил лишь профессиональной помощи, мнения специалистов. Сознательно ограничивая вопрос шестью делами, я спрашивал: содержат ли в себе указанные заключения достаточные, научно обоснованные данные не только для вывода о психических заболеваниях, указанных в этих заключениях, но и для вывода о необходимости строгой изоляции этих людей от общества?

А сама эта мысль о сборе документации возникла у меня невольно, почти случайно, еще в начале лета, в кабинете московского прокурора. Власти нервно реагировали на первое же интервью о психушках, которое я дал Холгеру Дженсену. Вызвал прокурор, пытался запугать, грозил тюрьмой. Будто я и без него не знал, что не позже как через год сяду. Наш телеобоз тогда еще только плыл в Америку.

Разговор был глупый – обычное препирательство. Он утверждал, что все сказанное мной в интервью – клевета, я же предлагал представить ему доказательства, собрать свидетелей. В чем

именно состоит клевета, он указать не мог, доказательств и свидетелей, предложенных мною, ему было не нужно.

– Вы же знаете, что мы всегда докажем вашу вину.

Как они "доказывают", я знал. Значит, надо собирать доказательства самому.

Тогда же впервые возник у меня с властями разговор об эмиграции.

– Зачем вы, с вашими взглядами, живете здесь? Уезжайте в Америку.

Тысячи людей на моих глазах просили, требовали, умоляли, чтобы их выпустили из СССР. Им отказывали, выгоняли с работы, объявляли изменниками. А тут вдруг так просто, словно в Черемушки переехать:

– Уезжайте в Америку!

Вот лицемер! Впрочем, даже если бы это действительно было легко, – я никуда ехать не собирался.

Одновременно начались гонения и на Холгера Дженсена. Его тоже вызвали в прокуратуру и заявили, что он неправильно водит машину: резко затормозив, он якобы напугал гражданина Иванова, и тот лежит в больнице. Следующие две недели кто-то регулярно прокалывал шины его автомобиля, так что мы не могли с ним ездить по своим делам. Автомобили иностранных корреспондентов обычно стоят во дворах специальных домов, где они все живут. И двор, и дома охраняет милиция – посторонний человек даже войти не может. Кто же это прокалывает шины?

Как-то рано утром, выглянув в окно, Холгер увидел милиционера, который, осторожно оглядываясь по сторонам, шел из своей будки к машинам. Дойдя до автомобиля Холгера, он вынул перочинный ножик и несколько раз аккуратно пырнул задние шины. Потом зашел спереди и пырнул передние.

Через месяц Холгера лишили водительских прав "за неосторожную езду". И тут же, как по команде, забеспокоились в Вашингтоне:

– Зачем нам нужен корреспондент в Москве без автомобиля?

И запретили ему передавать какие-либо статьи из Москвы – как будто для этого нужен автомобиль. Вашингтонским "гражданам-начальникам" тоже не нравилось наше интервью – оно

ухудшало отношения между СССР и США. Что ж, это не было для меня потрясением – я никогда и не идеализировал тот мир. Вполне понятно, что за десятилетия вокруг СССР, как вокруг застарелого нарыва, наросло столько болячек и паразитической ткани, столько создано трусливых теорий, доктрин и самооправданий, что давно уже не существует четкой грани "мы – они", "наши – ваши". И для того, чтобы выпустить гной, нужно пробить много слоев так называемого "здорового тела".

Весь год КГБ не отставал от меня ни на шаг. Просто закрепили за мной опергруппу – машину с четырьмя людьми. Каждые шесть часов группа менялась, приходила другая смена. Они не скрывались. Напротив, в задачу, видимо, входило демонстрировать свое присутствие. Если я шел пешком – двое шли впритык сзади, остальные медленно ехали в машине следом. У них были карманные рации, и время от времени кто-нибудь из них говорил в рукав, связывался с машиной. Я стал нарочно так выбирать дорогу, чтобы машина не могла ехать следом: против движения, или на перекрестках, где нет поворота, или на красный свет. И – начиналась паника, как на тонущем корабле. Да мало ли какие я знал трюки – проходные дворы, сквозные подъезды, пожарные лестницы.

– Побегай, побегай! Ноги переломай! – шипели они мне в затылок. Со стороны это выглядело комично.

Особенно трудно им было в метро. Туда они шли за мной втроем. Я ходил очень быстро, почти бежал по переходам и эскалаторам. В вагоне не давал им присесть – держал в напряженном ожидании, выскакивал в последний момент, когда двери уже закрывались.

– Смотри, добегаешься. Столкнем под поезд...

Особенно им было скверно, если у выхода из метро меня ждал кто-нибудь из ребят с машиной.

Каждый раз, когда мне удавалось удрать, они получали выговор от начальства. Два-три таких выговора – и их могли выгнать с работы. Возможно, еще и от этого они вели себя так нагло.

Как-то осенью я возвращался домой и в проходном дворе на Кропоткинской один из них нагнал меня. Держался он развязно, вызывающе, матерился, рассчитывая, видимо, показать, что ему море по колено. Грозился убить ночью, в подъезде, пристре-

лить, когда я поздно возвращаюсь домой. Напирал на то, что он – не как другие, он не допустит, чтобы у него из-за меня были неприятности.

– Думаешь, мне что-нибудь за это будет? Наоборот, спасибо скажут. Да что ночью! Сейчас вот прикончу, и никто даже не оглянется. Только попробуй еще раз удрать от нас, как вчера.

В доказательство своих слов он вытащил из внутреннего кармана пальто пистолет. Матерился он, однако, слабовато, любительски – не было у него лагерной выучки, и я, чтобы поддержать беседу, выдал ему для начала некоторую конструкцию, этак со средний нью-йоркский небоскреб. Сам же лихорадочно искал какой-нибудь способ проучить этого молокососа. Отнять пистолет мне бы сил не хватило – парень он был тренированный, крепкий. От драки я ничего бы не выиграл. И поэтому, постепенно переходя на самый скверный и подлый лагерный лай, от которого даже наш лагерный конь Яшка, возивший продукты в столовую, прижав уши, на дыбы вставал, я выманил его на улицу и медленно двинулся к дому. Расчет был простой – встретить кого-нибудь из знакомых, получить свидетеля. Этот осел шел рядом, все еще надеясь произвести на меня впечатление, а его команда медленно ехала на машине сзади. И ровно в этот момент мать вышла из дома в магазин. От неожиданности оба они пожали друг другу руки, когда я их "представил".

– Вот, мама, запомни этого человека, – сказал я. – Если со мной что-нибудь случится, будешь знать, кто виноват. Он грозится меня убить. А это сзади их машина. Запомни номер.

Я сам не ожидал, что мать так разъярится. Даже испугался, как бы она его не побила.

– Что вы себе позволяете! – кричала она на всю улицу. – Вас поставили следить?

– Следить, – уныло отвечал чекист.

– Вот и следите. А что с ним делать, решит начальство. Не вашего ума дело. Этого еще не хватало, чтобы всякий подонок решал, кого убить, а кого нет.

– А что же он финты кидает, – вяло оправдывался чекист, – пусть ходит, как все люди.

Вокруг начала собираться толпа любопытных. Чекисты в машине сидели злые, как собаки: выговор им был обеспечен. Мать кричала дальше, что пойдет в прокуратуру, будет жаловаться в

ЦК, но дела так не оставит. Мое присутствие больше не требовалось, и я пошел своей дорогой, оставил их еще потолковать друг с другом. Больше я эту опергруппу не видел, не назначили их ко мне.

С некоторыми другими группами отношения сложились лучше, и зимой, в сильные морозы, когда я выбегал из дома за хлебом в булочную на углу, кто-нибудь из чекистов занимал мне очередь в кассу, другой вставал к прилавку, чтобы быстрее с этим разделаться и опять вернуться в теплую машину. Иногда к вечеру, когда кончались сигареты, а табачные киоски уже не работали, мы стреляли друг у друга закурить.

– Ну, ты скоро домой-то?

– Сейчас, погодите. Еще в два-три места заскочить надо. Часам к двум ночи управлюсь.

По сути дела, мы все к ним так привыкли, что не обращали внимания на их присутствие. Делали свои дела, встречались с иностранными корреспондентами, собирали информацию для "Хроники", отправляли за границу самиздат почти у них на глазах. А что нам было скрывать? О новых арестах, обысках и судах я сообщал корреспондентам по телефону, прямо из дому. Да и мне звонили, как в справочное бюро. Конечно, отправка за границу – дело более секретное, не терпит посторонних глаз. Для этого были свои каналы, которые, сколько ни наблюдай, не уловишь. Момент максимального риска сравнительно короткий, и пока КГБ сообразит, в чем дело, пока отдаст приказ, пока этот приказ выполнят – уже и следа не осталось.

Иностранцев, приезжавших от разных общественных западных организаций, я принимал прямо у себя дома. Дом у меня был большой, и, глядя снаружи, не сразу поймешь, к кому пришел человек. Да и не ожидал КГБ такой наглости, чтобы у них под самым носом передавались за границу самиздатские бумаги. Они по старинке искали каких-то явочных квартир, паролей, тайников – мы же все делали открыто.

Холгера отозвали к концу года и отправили корреспондентом во Вьетнам. Еще раньше советские власти выгнали Билла Коула – "за деятельность, не совместимую со статусом корреспондента". Наша бомба, наконец, взорвалась.

Мне жаль было расставаться с ними, как с друзьями в концлагере, – я знал, что больше никогда их не увижу. Билл хмурился, но держался бодро, считал, что все идет о'кей.

– Я не хотел здесь оставаться, – говорил он, – порядочного человека отсюда должны выгнать.

Холгер переживал более открыто. Он любил русскую культуру, изучил русский язык и надеялся прожить здесь хотя бы лет пять. Он был заядлый охотник и рыболов. Когда он только еще приехал, к нему подсылали каких-то "коллег" из АПН, и те устраивали ему королевскую охоту в заповеднике, за пределами разрешенной для иностранцев зоны. Осторожно намекали, что при хорошем поведении еще и не то возможно. Все кончилось, как только он сблизился с нами. И теперь вот он уезжал навсегда. По обычаю АП, он сам должен был подыскать себе замену.

– Ладно, я им найду замену. Я найду тебе такого парня, который их не испугается.

Он привез с собой молодого паренька, года на три младше меня, Роджера Леддингтона. Действительно, Роджер оказался не из пугливых: ему ломали вдрызг машину, били стекла, отрывали дверцы, подбрасывали записки с угрозами. Однажды он даже подрался с чекистами, когда пытались не впустить его ко мне, остановили внизу, в подъезде. Вдвоем с ним мы отрывались по ночам от погони благодаря американской технике: советские машины не могут поворачивать на большой скорости – им надо сбрасывать газ.

Наступило такое время, когда днем уже нельзя было встречаться с корреспондентами – чекисты устраивали провокации, драки. Однажды я договорился с другим корреспондентом АП, Джимом Пайпертом, о встрече на Калининском проспекте, в самом центре Москвы. Договорились на полпервого ночи, но я пришел минут за пять – оглядеться по сторонам. Сразу бросилась в глаза группа людей, с безразличным видом расхаживавших вокруг нашего места встречи. "Что ж, – подумал, – пусть следят, дело не новое". Джим подъехал с другой стороны улицы, оставил там машину и пошел ко мне через дорогу. Но стоило ему приблизиться, как эти самые безразличные люди бросились на нас и, весьма неумело изображая хулиганов, принялись избивать.

– Что ты тут шляешься, падло!

Одного из них я узнал: он уже следил за мной когда-то. Я боялся только, что сейчас подъедет заранее инструктированная милиция, нас заберут и "пришьют" дело за хулиганство. Доказывай потом, что они напали на нас, а не наоборот. Поэтому, чтобы иметь хоть какое-то формальное доказательство, я начал громко кричать, звать на помощь. Кажется, Джим сообразил, в чем дело, и тоже принялся кричать. Подошли какие-то люди, вылезли таксисты из машин на стоянке у ресторана. Никто из них и пальцем не шевельнул – просто глазели. Но и это уже было облегчением – все-таки свидетели. Подтвердят, что мы звали на помощь.

Кое-как нам удалось вырваться и добежать до машины, но там они снова нас нагнали. Джим никак не мог попасть ключом в замок дверцы. Тут уже началось настоящее побоище, и я понял, что нужно обороняться всерьез.

– Иван Николаевич, сзади заходите!

Хороши хулиганы – по имени-отчеству друг друга называют. Но было уже не до размышлений. Двое крутили мне руки. Кто-то, навалившись сзади, душил меня и гнул голову книзу, кто-то бил с размаху ногами и руками. С другой стороны, у машины, кряхтел Джим, отбиваясь от наседавших чекистов, и все никак не мог попасть ключом в замок. Невысокий мужичок в каракулевой шапке набегал спереди, и я ясно понял, что сейчас он с размаху ударит меня ногой в согнутую голову, только брызги из глаз. В последний момент я рванулся и, предупреждая удар, сам въехал ему ногой в наплывавшую морду. Он рухнул. Возникло замешательство, чекисты бросились к нему – видимо, своему начальнику. Этой паузы нам хватило: Джим открыл, наконец, дверцу, мы ввалились в машину и рванулись с места. Из машины мы увидели, что в двадцати шагах, на углу под фонарем, стоял милиционер и спокойно покуривал.

Власти стремились пресечь нам все контакты с внешним миром. Какое-то время практически только у меня и оставалась еще связь, поэтому все проблемы обрушились мне на голову: обыски, аресты, суды, психушки, лагеря, татары, евреи, месхи, украинцы, литовцы... Роджер приезжал глубокой ночью, а то и под утро, забирал всю информацию, что стеклась ко мне за день, и уносился к себе в оффис, писать сообщения. Изредка

удавалось прорваться кому-то еще, но в основном — все тот же неизменный Роджер. Бодрый и веселый. Ему уже не хватало времени писать самому, и он успевал только передавать другим добытый самиздат. Уговаривал других хотя бы не побояться дать сообщение.

Под конец я уже почти не выходил из дому: все время, 24 часа в сутки, было расписано — кто когда должен прийти, что принести, что забрать. Мы понимали друг друга с полувзгляда, даже писать почти не приходилось. Все совершалось словно по волшебству. Никто не приказывал, не разрабатывал планов, не разделял ролей. Каждый знал, что он может сделать лучше, где он полезней, чего от него ждут. И, соприкасаясь с этим клубком энергии, совершенно посторонние люди вдруг получали такой заряд, такой импульс, что много лет потом продолжали жить нашим ритмом. Из Англии приезжал Дэвид Маркхэм, из Германии — Ирина Герстенмайер, из Голландии — Хенк Вользак, из Франции — Дина Верни. Эти люди пробыли с нами разное время — кто несколько часов, кто несколько дней. Это были очень разные люди, но все они уже не могли потом оставаться безучастными. Да и я сам, много лет спустя, в тюрьме, по малейшим намекам с воли чувствовал, что происходит, что нужно, чего от меня ждут. Все мы потом, видимо, чувствовали одну и ту же ностальгию.

Это был кошмарный год, к концу которого вызванная ленинградским самолетным процессом волна человеческого негодования захлестнула, наконец, Кремль. Оказавшись перед реальной угрозой полной изоляции, власти были вынуждены отступить и разрешить эмиграцию. В первый раз они признали за нами человеческое право — право покинуть навсегда свою страну. Прорвало 53-летний гнойник, потому что впервые мир нашел в себе силы потребовать от кремлевских ублюдков, что признано всем миром как человеческое право, — потребовать без всяких скидок и оговорок. Рассказывайте теперь про тайную дипломатию!

Никогда не забуду я трагедии исхода, когда пожилые, солидные люди, обросшие чинами и регалиями, вдруг теряли свою солидность и точно полувековая шелуха сваливалась с них. Куда девалась вся их советскость, все громкие слова, сказанные на собраниях? Они бегали на проводы отъезжающих, пели давно

забытые песни того народа, принадлежность к которому тщательно скрывали всю жизнь. Они бросали насиженные места, нажитое добро и с трудом приобретенные выгодные знакомства. Откуда взялась смелость? Они осаждали приемные высоких инстанций, устраивали там коллективные голодовки и ТРЕБОВАЛИ — может быть, впервые в жизни. А угрюмые советские чиновники выполняли требования — тоже, наверно, в первый раз — и мысленно перебирали свою родословную: кто знает?

Они заваливали нас петициями, документами, просьбами. Их выпускали так быстро, что они не успевали обзавестись ни связями, ни каналами, и мы охотно предоставляли свои. Их проблема давно была нашей проблемой — одной из наших проблем. У нас их оставалось еще очень много, этих проблем, и, когда некоторые из отъезжавших друзей говорили, что в беседах с ними власти просили передать мне предложение уехать, я мог только плечами пожать. У меня оставалась еще и собственная проблема — та, из-за которой я был согласен еще раз попасть в тюрьму.

А жить оставалось уже совсем мало — считанные дни. Только одно было неясно — возьмут меня до партийного съезда или после. Скорее все-таки до. Вновь был март, полный гулких звуков, текло с крыш, хрустели под ногами колотые льдышки, но не было времени бродить по арбатским переулкам. В осажденной, предсъездовской Москве ни дня, ни ночи больше не существовало. Каждый документ, каждое сообщение, посланное в эти дни, могло оказаться последним, а столько еще всего не окончено! Шел последний бой, когда уже ничего и никого не жалко, словно все внутри выгорело. Впереди ждала немота. И когда меня, наконец, взяли, я почувствовал невероятное облегчение, точно гора с плеч. Долго, блаженно отсыпался в Лефортове — наверное, целую неделю. Господи, как хорошо все-таки, когда ничто больше от тебя не зависит!

Еще я радовался, что успел купить своим собаку — маленького пушистого щенка кавказской овчарки. Со временем он у них будет огромный и лохматый.

— Погоди, погоди, я тебе сейчас всю смету посчитаю. Кирпич 40 рублей за тысячу, цемент самый лучший — 30 рублей за пятьдесят килограммов. Сколько у тебя кубометров кладки? Да

ведь еще и земляные работы учесть надо. Ну, это, положим, экскаваторщику дать тридцатку, все сделает в лучшем виде. Нет, так не пойдет, слишком дорого. Лучше всего купить материалы налево – дешевле выйдет. Особенно у военностроительной части. У них учета никакого, торгуют направо-налево.

Тут уж я запротестовал. Налево мне никак нельзя – КГБ сразу прицепится. При моем положении нужно, чтобы все было законно, комар носа не подточил.

Мой сокамерник, Иван Иваныч Трофимов, бывший начальник СМУ, а ныне камерный наседка, тоскует по своей строительной профессии. Не хватает ему деловой активности: совещаний, обсуждения смет и проектов. С утра он сам не свой: то скрипит протезом по камере взад и вперед, то принимается объяснять мне про какие-то железобетонные балки. Вчера углядел, что я черчу свой замок: лесенки, башенки, переходы, – попросил полюбоваться и полночи считал что-то на клочке бумаги. Составлял смету. Теперь он разбирается в замке не хуже меня, высчитывает нагрузку на опорные конструкции, и по утрам мы спорим, какой марки цемент я должен доставать.

– Эх, за пять месяцев все бы построил, даже, может, и скорее, – тосковал он.

Бо́льшую часть времени я читал. В Лефортове удивительная библиотека: все книги, что конфисковывались у "врагов народа" за полвека, видно, стеклись сюда. По всей стране "чистили" библиотеки, жгли "вредные" книги – здесь же все сохранилось, как в оазисе. Никому не приходило в голову чистить библиотеку тюрьмы КГБ – кто хочет быть святее Римского Папы? Дореволюционные академические издания Пушкина и Гоголя, А.К. Толстого и Лермонтова. Гамсун и Метерлинк, Марсель Пруст и Замятин. Спросите лучше, чего здесь нет.

Книги сохранились прекрасно, только почти все страницы в штампах. "Внутренняя тюрьма ГУГБ НКВД" – довоенный штамп. "Следственный изолятор КГБ при СМ СССР" – современный штамп. И крупно, столбиком, во всю страницу:

ВСЯКАЯ ПОРЧА КНИГ И ПОМЕТКИ В ТЕКСТЕ КАРАНДАШОМ, СПИЧКОЙ, НОГТЕМ И Т.П. ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫДАЧИ КНИГ.

Линия моя на следствии была предельно проста: я полностью отказался в нем участвовать. Не подписывал никаких протоко-

лов, постановлений – и только писал жалобы, чтобы чем-то занять следователей. Их у меня было три. Вызывали редко. Отношения сразу сложились плохие: вместо допросов только переругивались, чтобы скоротать время. Особенно не нравился мне средний следователь, капитан Коркач. У него была удивительно подлая рожа и на редкость гнусные повадки, о чем я со всей откровенностью сообщал ему каждый раз. Следователи тоже не считали нужным скрывать свои чувства и были предельно циничны. Это ведь только с новичками пробуют разные приемы, пытаются уговаривать, льстить, запугивать и агитировать за советскую власть. Со мной уже можно было не тратить сил.

С самого начала я сделал письменное заявление, в котором не признавал КГБ правомочным вести следствие по моему делу. Месяца за три до моего ареста газета "Правда" выступила с большой статьей "Нищета антикоммунизма", где утверждалось, что я занимаюсь антисоветской деятельностью. То же самое заявил и Цвигун, заместитель Андропова, в журнале "Политическое самообразование" в феврале 1971. Получалось, что вопрос о моей виновности не только до суда, но еще и до ареста предрешен партийными органами и руководством КГБ. Строго юридически, после этого ни один работник КГБ и ни один член партии уже не имел права вести мое дело, о чем я и писал в бесконечных жалобах.

Еще того лучше обстояло дело с прокурором, который осуществлял надзор над следствием. Это был тот самый прокурор, который вызывал меня в свое время на беседу. Выйдя от него, я сразу тогда записал наш разговор и отдал Холгеру, а тот, в свою очередь, переслал мою запись в газету "Франкфуртер Рундшау", где ее опубликовали. И эта публикация мне теперь тоже инкриминировалась, как все остальные интервью. Получалось, что прокурора должны бы допросить по моему делу как свидетеля, а уж свидетель не может быть одновременно и прокурором.

Словом, целая юридическая карусель. Мне она нужна была просто как предлог, чтобы писать жалобы.

– Ничего! Все, что мне нужно, я на суде скажу, – говорил я следователям. И им это очень не нравилось.

Еще я требовал расследовать тот случай, когда чекистский филер угрожал мне оружием. Ссылался на мать, как на свиде-

теля, указывал номер машины. Короче говоря, занимался обструкцией следствия, и вся эта писанина отнимала у меня часа два-три в день. Остальное время читал, рисовал замок и слушал рассуждения Ивана Ивановича о строительных проблемах.

А по ночам мне снилась погоня, и мы с Роджером уносились от чекистов по сонным московским улицам на сверкающем американском автомобиле. Иногда я один убегал по бесконечным проходным дворам, чердакам и тоннелям метро, но что бы я ни делал – чекисты неизменно были за спиной. Я только чуть-чуть опережал их.

Обычно я все-таки успевал проскочить в большую, ярко освещенную комнату и там по-английски пытался объяснить что-то очень важное собравшимся людям. Они вежливо, сочувственно кивали головами и восклицали время от времени:

– Аха!.. – будто только сейчас до них дошел смысл сказанного.

Но по их лицам я видел, что они ничего не поняли. Я начинал все сначала, и они опять говорили:

– Аха!.. – но между нами была словно стеклянная стена.

К августу следствие совсем застряло. Кроме вырезок из западных газет с моими интервью да копии фильма Коула, у них ничего не было. Стали тянуть в свидетели даже своих агентов, но и это помогало слабо. Наконец, Иван Иванович сообщил мне новость, которой я давно ожидал: меня собираются отправить на экспертизу в Институт Сербского и признать невменяемым. Это сказал ему мой следователь, вовсе не предполагая, что я о том узнаю.

Арест прервал меня на середине работы, лишил возможности собирать новые улики, окончательно добить психиатрический метод, и теперь, по иронии судьбы, мне самому предстояло стать уликой – может быть, самой яркой и драматической из всех собранных. Незадолго перед арестом наша психиатрическая документация была предъявлена на пресс-конференции в Париже. Телеинтервью с Биллом Коулом демонстрировалось в шести странах мира. Обращение к западным психиатрам было опубликовано в лондонском "Таймсе", а Всемирный психиатрический конгресс намечался на осень. Так пусть же они теперь попытаются признать меня сумасшедшим – на глазах у всего мира. Посмотрим, так ли уж они всесильны.

Вновь я сидел в кабинете Лунца, под изображением гуманиста Пинеля, снимающего цепи с душевнобольных, и, как пять лет назад, мы беседовали о Бергсоне, Ницше, Фрейде. Только теперь под конец разговора Лунц уже не спрашивал, что же со мной будет дальше.

Первый месяц в Институте Сербского прошел спокойно: видимо, Лунцу еще не успели дать руководящих указаний. Раза два заходил закрепленный за мной молодой врач, но разговоры были самые общие. Просто болтали, смеялись. Лунц не появлялся. В середине сентября истекал срок экспертизы. Срочно собрали комиссию, решившую этот срок продлить "ввиду неясности клинической картины".

Я просто физически ощутил перемену. На обходе некоторые врачи отводили глаза и проходили мимо. Другие вдруг стали смотреть на меня с тем непередаваемым "психиатрическим" выражением – полупрезрительным превосходством, с каким мы обычно смотрим на муравья. Мой врач больше не шутил и не смеялся.

– Что же это вы, опять к нам? А я-то думал, что мы больше не встретимся, – добродушно квакал Лунц своим широким ртом, но за этим добродушием таился вопрос о причине постоянного конфликта с обществом. – В вашем возрасте, знаете ли, пора бы и остепениться, семьей обзавестись. Не женились еще? Что же так?

– Да вот, не успел...

– Не успели? Так заняты были? – И я шкурой чувствовал, как он записывает в тетрадь: "Равнодушен к своей личной жизни. Охваченность сверхценными идеями была такова, что "не успел" завести семью..."

Я прочел столько экспертных заключений Лунца о моих друзьях, что мог теперь за него составить себе заключение.

Нет, Лунц никогда не халтурил, никогда не выбирал легкого пути. Не станет он писать, как, например, писали Борисову ленинградские эксперты:

"Психическое состояние и поведение характеризуются... нарушением ориентировки и неправильным осмыслением окружающего. Так, госпиталь принимает за концлагерь, врачей за садистов..."

Или – как написал профессор Наджаров Кузнецову в доказательство диагноза "шизофрения":

"Утверждает, что никакого морального кодекса строителей коммунизма нет, а заслуга его создания принадлежит Библии".

Нет, Лунц слишком уважает себя и свою репутацию чистых дел мастера. Медленно, как паук, будет он опутывать паутиной свою жертву. Из каждой щербинки характера или излома судьбы сплетет такой доброкачественный симптом, что ни одна комиссия потом не придерется.

– Доктор, а почему у тебя такой большой рот?

– А чтобы лучше тебя схавать, Красная Шапочка!

Пикантность положения заключалась в том, что нам с ним предстояло говорить о психиатрических злоупотреблениях: я ведь обвинялся в клевете на советскую психиатрию. Тут Лунц рассчитывал найти бездну симптомов. Во-первых, переоценка собственной личности – неспециалист берется опровергать специалистов; во-вторых, мнительность, враждебность к психиатрам – очень типично для параноика; ну, а мое интервью с описанием спецбольницы – это, конечно же, искаженные впечатления психически больного. Словом, безграничное поле деятельности.

Он нарочно стал подчеркивать мое невежество, полную некомпетентность в психиатрии, надеясь задеть меня и вызвать эмоциональную реакцию. Но я был готов к этому.

– Позвольте, но я ведь и обратился к специалистам – к западным психиатрам. Послал им ваши заключения, другие документы.

Как ни странно, это было для него новостью – какие именно документы и заключения посланы, он не знал. Мы долго спорили об отдельных делах, но я был осторожен, не горячился, никаких утверждений не делал. Только на деле Горбаневской я прижал его к стенке. Приоритет в психиатрии имеют те врачи, которые наблюдали больного раньше, в период обострения, и дольше других. Врачи, наблюдавшие Горбаневскую десять лет, не нашли у нее шизофрении. Лунц – нашел. Главное же, Лунц никогда раньше не признавал вялотекущую шизофрению.

– Так вы все-таки считаете, что можете судить лучше специалистов? – защищался он.

– Ну, что вы. Вот я к вам, специалисту, и обращаюсь за разъяснениями.

– А кстати, почему вы действительно обратились к западным психиатрам, а не к советским?

– Я обращался. Они сказали, что среди них нет академика Сахарова. В частных беседах многие, однако, вас ругали и оспаривали ваши заключения.

– И что же они говорили? – живо заинтересовался Лунц.

– Что вы плохой клиницист, никогда не наблюдали динамики болезни и ваша диагностика – сплошное гадание.

– Ах, вот как! – обиделся Лунц. – И кто же это говорил?

Я только рассмеялся в ответ. Он был уязвлен. Как бы я ни оскорблял его, ничто не могло его так задеть, как мнение коллег, с которыми он много лет сидел на одних конференциях и симпозиумах. Ему, видимо, уже приходилось перед кем-то оправдываться, потому что он тотчас извлек какой-то свой психиатрический "самиздат" и начал обиженно доказывать, что на психиатров клевещут давно. Еще в XIX веке кто-то из отцов русской психиатрии публично осуждал инсинуации против психиатров, в то время как никогда, абсолютно никогда психиатры не злоупотребляли своей профессией.

– А как же Чаадаев? – изумился я.

– Вот видите, – ухватился он, – вы опять беретесь судить о том, чего не знаете. Чаадаева никогда не смотрел психиатр. Его смотрел просто придворный врач. Психиатров тогда еще не было.

И правда, повезло Чаадаеву. Не было тогда психиатров, спецбольниц, сульфозина, галоперидола, укрутки. Не было у Николая I своего придворного Лунца. Но мы-то с вами теперь понимаем, что была у Чаадаева самая настоящая шизофрения. Вялотекущая.

Я знал, что живым меня в этот раз из спецбольницы не выпустят – слишком обозлилась на меня вся эта банда. В лучшем случае – идиотом, лет через десять, пугать добрых людей. Ну, да я этого дожидаться не стану.

Держали меня отдельно, в специальном изоляторе внизу. Не хотели держать со всеми подэкспертными, чтобы потом не рассказывали. А кроме того боялись, что я ухитрюсь как-нибудь связаться с волей: слишком часто я здесь бывал, знал всех сестер, нянечек, надзирателей, и они ко мне хорошо относились.

А чтобы не скучал, посадили со мной такого же смертника – Андрюшу Козлова. Молодой паренек, лет 22-х, рабочий с како-

го-то крупного ленинградского завода. Однажды в заводском общежитии заспорил он с приятелями, что попадет из мелкокалиберного ружья в мишень на расстоянии ста метров. Ружье у них было, и он из окна попал в фонарь, действительно метрах в ста, висевший на территории завода, – общежитие находилось рядом, через забор.

– Я еще и дальше могу попасть, – похвастался Андрюша. – Вон туда, где дорожка к управлению. В директора могу попасть, когда он утром приезжает на работу.

Директор их был крупная шишка – депутат Верховного Совета и даже член ЦК, кажется.

А через несколько дней их всех арестовали. И как ни пытался Андрюша доказать потом, что не собирался убивать директора – просто пошутил, похвастался своей меткостью, – ничего не помогало. В фонаре нашлись следы пули, ружье забрали при обыске – все улики налицо. Подготовка к террористическому акту. А еще раскопали следователи, что когда-то он писал жалобу в Москву на этого директора, денег ему за сверхурочные не доплатили. Стало быть, мотив личной вражды.

– Эх, черт! – не стерпел Андрюша с досадой. – Знать бы такое дело, действительно убил бы его давным-давно! Все равно теперь сидеть.

А следователь посмотрел на него – тяжело и странно, словно увидел в нем что-то особенное, и сказал только:

– Больше ты его никогда не увидишь.

Не понял Андрюша, что бы это значило. Расстреляют что ли?

Я не стал ему объяснять – самому было тошно. Так, травил всякие байки о лагерях, о побегах, развлекал чем мог. Каким-то чудом достали мы с ним карту мира. Мелкая, правда, была карта, но все-таки путешествовать можно.

Конечно, сначала поехали в Италию, в Венецию, покататься на гондолах. Потом в Неаполь, через Рим. Погода все время была прекрасная, об этом мы позаботились. В тратториях у дороги пили дешевое вино, закусывали овечьим сыром и луком. Толковали с бронзовыми крестьянами про урожай винограда. В Риме я показывал ему всякие памятники: Колизей, Термы, собор Святого Петра, но он быстро устал.

Поспорили – ехать в Испанию или нет? Все-таки там Франко. Андрюша не хотел: черт его знает, Франко, – возьмет да поса-

дит. Мы ведь из России, да и языка не знаем. Доказывай потом.

Поэтому поехали в Грецию, оттуда в Израиль. Надо же поглядеть – столько разговоров. И дальше – в Индию, в Сингапур (название больно красивое), в Гонконг, в Японию, где все улицы увешаны иероглифами, словно гирляндами цветов. Закончили в Калифорнии.

Иногда его охватывало беспокойство: что же все-таки имел в виду следователь?

– Черт бы его взял, этого директора! На что он мне нужен? Если б знать такое дело, я давно его мог ухлопать! – и он настороженно глядел на меня: может, и я не верю?

– Ну да, рассказывай теперь, – говорил я с напускным недоверием. – Кто тебе поверит?

И он облегченно смеялся. У меня получалось очень похоже на его следователя.

А по ночам мне все снилась ярко освещенная комната, и я пытался объяснить по-английски про наш *способ,* тот, что был в Ленинградской спецбольнице в 60-е годы. Они сочувственно кивали головами и восклицали:

– Аха!.. – как будто только сейчас до них дошло. Но я видел, что они ничего не понимают.

Андрюше про наш *способ* я так и не сказал – язык не повернулся.

До сих пор я не знаю толком, что произошло тогда, в начале октября 1971. Конечно, мои друзья писали протесты – но ведь их пишут всегда, и они никогда не помогают. Рассказывают какие-то смутные легенды про блюдечко, разбитое в Париже мадам Брежневой, и заступничество мадам Помпиду – я в это не верю. Говорят о всеобщем возмущении на Западе – но и в это я верю мало. В лучшем случае могли сказать свое вечное:

– Аха! ..

Словом, я просто не знаю.

Вдруг бегом прибежал мой врач и буквально поволок меня наверх, в большую комнату, где обычно происходили комиссии. Еще не открыв дверь, я услышал обрывки какого-то спора или ссоры:

– Вы представляете себе, что это будет! Вы думали об этом? Вы понимаете, что вы делаете?!

За столом сидели только двое: сгорбившийся, посеревший Лунц с трясущимися щеками и такой же, весь трясущийся, серый от страха Морозов, директор Института Сербского.

Почти не глядя на меня, словно продолжая начатый разговор, Морозов спросил со злостью:

– Чем это вы были так заняты, что жениться не успели?

Я даже не сразу понял, что обращаются ко мне.

– Ну, учился, в институт собирался поступать, готовился, потом подрабатывал переводами с английского, работал секретарем у писателя Максимова, а потом вот и собирался жениться – любовь, знаете, иногда дело долгое... в общем, не всегда быстро получается... Ну, не успел как-то, знаете...

Я врал напропалую, сам удивляясь своему нахальству. Просто инстинктом угадывал, что хочет услышать от меня Морозов.

– Вот видите! – резко сказал он, оборотясь к Лунцу. И снова мне:

– А вы что же, не понимали, что вас арестуют?

– Как не понимал? Я еще в первом интервью, в мае 70-го, говорил, что арестуют максимум через год.

Мое дело лежало у них на столе, в растерзанном виде. Но они даже не заглянули туда.

– Вот видите! – опять сказал Морозов Лунцу.

Но это не выглядело так, будто начальник отчитывает подчиненного. Скорее они были два заговорщика, застигнутые на месте преступления, и поэтому переругивались, нисколько не стесняясь моего присутствия.

Вдруг, как бы спохватившись, Морозов сделал жест рукой в мою сторону, словно крошки со стола стряхнул, – опять врач поволок меня по лестницам вниз, в изолятор.

– Что же это вы? Как подвели Даниила Романовича! – сказал он дорогой, но я не понял, в чем была моя вина.

– Только не думайте – это была не комиссия, – сказал он уже внизу, – а то снова передадите на волю какой-нибудь вздор.

И я опять его не понял. Он почему-то все приписывал моим проискам.

В начале ноября состоялась, наконец, комиссия, причем эксперты Института Сербского не были включены в нее. Они только присутствовали, а членами были назначены профессора Мелехов,

Лукомский и Жариков, никогда раньше судебной психиатрией не занимавшиеся. Вряд ли они поняли, что происходит, потому что все врачи Института Сербского из кожи лезли вон, чтобы доказать мою вменяемость, – у них, дескать, никогда и сомнений не было.

Это началось сразу же после разговора с Морозовым. Те, кто раньше отводил глаза, теперь сияли улыбкой. Другие смотрели с нескрываемой ненавистью, но все-таки как на человека. Меня перевели наверх к другим подэкспертным – кончилась блокада.

Перед самой комиссией мой врач пришел ко мне и откровенно просил инструктировать его, как лучше объяснить разные сложные моменты моей запутанной биографии, чтобы я выглядел совсем здоровым. Он был еще молодой врач, и предстоящая комиссия, где он должен был докладывать мое дело, казалась ему своего рода экзаменом. Предстояло все-таки выступать перед крупнейшими психиатрами страны.

Это была, пожалуй, самая забавная комиссия в моей жизни. Игра фактически велась в одни ворота. Не поймешь, кто кого обманывал. Все собравшиеся желали одного и того же, и получалось, что врачи Института Сербского защищают меня перед комиссией. Куда девались все их доктрины, симптомы и критерии! А когда члены комиссии робко спросили, зачем мне понадобилось рисковать свободой ради незнакомых людей (извечный вопрос о причинах конфликта с обществом), весь хор экспертов Института Сербского взвыл:

– Так это же его друзья! Он их всех знает!

Как будто для них это когда-нибудь было достаточным объяснением.

Лунц сидел где-то с краешку, постаревший, грустный, и не принимал никакого участия в дебатах.

По существу, и дебатов-то никаких бы не было – спорить не о чем, если бы не профессор Жариков. Единственный представитель школы Снежневского в комиссии, он стремился доказать, что и в 1963-м, и в 1965-м у меня были проявления шизофрении – вялотекущей, конечно. Институт Сербского стоял насмерть за паранойяльную психопатию. Ни те, ни другие не оспаривали теперь мою вменяемость, но вот природа заболевания, нозологические корни...

Шел бой двух мафий за ключевые посты, за руководство клиниками, за диссертации, большие оклады, титулы, личные машины и персональные пенсии. Обычно высшими судьями в этом споре были партийные власти – они распределяли лимитированные блага жизни, и тот, кто лучше, научнее оформлял их волю, тот и оказывался наверху. А уж там что прикажут: признать вменяемым или наоборот – не все ли равно?

Все они панически боялись Мелехова, приехавшего сюда с явным намерением их разгромить. Но громить оказалось нечего, и он был несколько обескуражен. Он не мог понять, почему я не оспариваю свой диагноз 1963 года, с такой готовностью проявляю "критику" по отношению к былому "заболеванию" и почему, наконец, так странно ведет себя Институт Сербского, точно от признания меня вменяемым зависит их собственная судьба. Боюсь, он подумал обо мне плохо и вообще пожалел, что впутался в эту историю. Под конец, однако, он, видимо, стал о чем-то догадываться, потому что, прощаясь, встал и демонстративно пожал мне руку. Другим экспертам пришлось сделать то же самое.

Черт! Знать бы мне этого Мелехова до ареста – может, и нашелся бы академик Сахаров среди психиатров...

А сразу после комиссии, когда профессора уехали, меня вдруг вызвал Лунц.

– Обычно у нас не принято сообщать подэкспертным результаты комиссии. Но чтобы не было кривотолков, я сделаю для вас исключение. – Они все еще думали, что у меня есть тайная связь с волей – боялись "кривотолков"! – А кстати, что вы сами думаете? – не утерпел он.

– Думаю, что *мы* проиграли, – ответил я.

Но он, кажется, не понял двусмысленности, потому что, рассеянно глядя в окно, проквакал в пространство:

– Он думает, что он проиграл... М-да... Вы признаны полностью вменяемым, ответственным за свои поступки.

– Ну, а как решился вопрос с эпизодом 1963 года? Нозологические корни?

– Установили, что это была вспышка шизофренической природы, не имевшая дальнейшего развития.

– Но ведь так не может быть, Даниил Романович! Вы же сами знаете, одно из двух: если шизофрения – должно быть развитие, иначе – это не шизофрения. Так не бывает.

– Да, – согласился Лунц, разводя руками, – так не бывает. Компромиссное решение.

Больше я его никогда не видел.

Между тем для следствия это было катастрофой. Слишком твердо рассчитывали в КГБ на мою невменяемость. Решая мою судьбу и исходя из каких-то своих политических соображений, партийные командиры не интересовались, как придется выкручиваться следователям. Бедные кагебисты – они уже не думали меня увидеть, тем более не предполагали, что придется готовить дело к суду. Исправлять положение было уже поздно – в конце ноября истекал срок следствия. Около трех недель оставалось в распоряжении КГБ, чтобы слепить дело.

На следствии, как в шахматах, очень важно уметь создать противнику цейтнот – завести его в тупик по ложному следу или заблокировать жалобами. Тут же они сами себе устроили цейтнот – понадеялись спихнуть меня в психушку.

Впрочем, они не слишком ломали голову: просто сшили все бумажки, которые накопились за это время.

– Ничего, и так сойдет. Даже лучше получилось, чем мы думали, – сумрачно ухмылялся капитан Коркач. Этих ребят трудно было смутить. Но был у меня в запасе план, неожиданный даже для них.

Последние годы власти лишили "допусков" к нашим делам почти всех честных адвокатов. Достаточно было адвокату на политическом процессе потребовать оправдания своего подзащитного, как он тут же вычеркивался из списка "допущенных". Ситуация была угрожающей: практически некому становилось нас защищать. Мы часто обсуждали эту проблему, но найти решения не могли. Ни один закон "допусков" не предусматривает, и власти, как всегда в таких случаях, придумали какую-то секретную инструкцию, которой никто в глаза не видел. Просто юридические консультации не оформляют договора адвокату на ведение политического дела, если нет у него этого мифического "допуска". Даже протестовать невозможно – формально нужен хоть какой-нибудь документ, где бы этот "допуск" упоминался.

Дело осложнялось еще тем, что заключенные и их родственники, наткнувшись на непреодолимые препятствия, обычно уступают, нанимают другого адвоката, из числа предложенных,

– остаться совсем без адвоката кажется им рискованным. Да и какая, в сущности, разница – дадут тебе семь лет с честным адвокатом или с "допущенным"? Роль адвоката в советском суде практически равна нулю. Простая формальность.

Сами адвокаты тоже никак не могли бороться с такой бедой. Оставалась только одна возможность пробить эту стенку – если заключенный наотрез откажется брать "допущенных" адвокатов, а потребует своего, "недопущенного". Что тогда делать властям? По закону суд не вправе отказать в таком требовании. Во всяком случае, возник бы прецедент – основание для протестов.

– Пусть первый из нас, кто попадет, и проделает этот трюк, – шутили мы.

У меня были все основания полагать, что первым окажусь я. Мой адвокат по делу о демонстрации в 1967 году, Дина Исаковна Каминская, уже давно была лишена "допуска". Лучшего кандидата мне не требовалось. Разыскать ее было нетрудно, и я поехал к ней договариваться: мне нужно было твердо знать, что она сама не откажется, не поддастся давлению и – что бы ни случилось – хоть на смертном одре, но заявит публично, что готова меня защищать. На всякий случай, однако, я имел в запасе и еще двух адвокатов, лишенных "допуска", – Каллистратову и Швейского.

И вот теперь мне представлялась великолепная возможность осуществить наш план на практике.

Следователь мой не чуял никакой беды, когда я подал ходатайство предоставить мне в качестве защитника адвоката Каминскую. Но уже на следующий день он прибежал несколько встревоженный. Принес ответ председателя президиума Московской городской коллегии адвокатов Апраксина:

"Адвокат Каминская не может быть выделена для защиты, так как не имеет допуска с секретному делопроизводству".

Это-то мне и требовалось – документ с упоминанием "допуска". Дальше все пошло как по нотам.

– Какой допуск? Какое секретное делопроизводство? – изумился я. – Ничего не знаю. Законом не предусмотрено.

И пошел писать жалобы во все концы: в ЦК, в Министерство юстиции, Совет Министров и проч.

Срок следствия истекал – нужно было знакомиться с делом, подписывать 201-ю статью, но я и слышать ничего не хотел: по закону я имел право знакомиться с делом в присутствии адвоката.

У следователя не было выхода: если дело не закрыто в срок, заключенный должен быть освобожден из-под стражи. Он выбрал иной путь: пошел на подлог и написал в протоколе, что я просто отказываюсь знакомиться с делом. Об адвокате – ни слова.

Тут я и объявил голодовку. В сущности меня устраивала сложившаяся ситуация: обвинение липовое, с делом не ознакомлен, адвокатом не обеспечен. Что же, несите меня голодающего на носилках в суд, если хотите. То-то спектакль будет! Заготовлю себе штук сто одинаковых ходатайств о вызове адвоката Каминской и буду их каждые пять минут молча подавать судье. Ручаюсь, такого суда еще не было.

Эх, что тут началось!.. Власти словно с цепи сорвались. Они всегда звереют, когда их к стенке прижмешь. Но именно в такие моменты и нужно ломать им хребет – иначе никогда мы из дерьма не выберемся.

Меня посадили в изолятор, отобрали все книги, бумагу, карандаш, курево. Газет не давали, ни на прогулку, ни в баню не водили. Даже таблетку от головной боли не дали. Пришел зам. начальника тюрьмы Степанов и объявил, что голодающим медицинская помощь не оказывается.

– Вы же в пОлОжении самОубийцы, – окал он, как обычно. – СамОубийцам медицинская пОмОщь не пОлОжена. Снимайте гОлОдОвку.

В тот же день начали искусственное кормление. Да как – через ноздрю! Человек десять надзирателей водили меня из камеры в санчасть. Там надевали смирительную рубашку, привязывали к топчану, а сами еще садились на ноги, чтоб не дрыгался. Другие держали плечи и голову. Нос у меня чуть-чуть смещен в сторону – в детстве боксом занимался, повредил. А шланг толстый, шире ноздри, – хоть убей, не лезет! Кровь из носа – пузырями, из глаз – слезы ручьем. Должен сказать, что нос – штуковина очень чувствительная. Еще, может, один только орган у человека такой же чуткий. А тут – аж хрящи трещат, лопается что-то, хоть волком вой. Да где тут выть, когда шланг в глотке

застрял – ни вздохнуть, ни выдохнуть. Хриплю, как удавленник, – того и гляди, легкие лопнут. Врачиха, глядя на меня, тоже вот-вот разревется, но шланг все-таки пихает и пихает дальше. Потом через воронку в шланг наливает какую-то бурду – захлебнешься, если вверх пойдет. С полчаса держат, чтобы всосалось в желудок и назад нельзя было выблевать, а потом начинают медленно вытаскивать шланг. Как серпом по ... .

За ночь только-только все подживет, кровь течь перестанет – опять идут, ироды. Все сначала. И с каждым днем – трудней и трудней. Распухло все, притронуться страшно. Только пахнет сырым мясом все время.

И так каждый день. Где-то на десятые сутки надзиратели не выдержали. Как раз было воскресенье – начальства нет. Окружили врачиху:

– Дай ты ему, пусть так, через край выпьет, из миски. Тебе же быстрее, дуреха.

Она чуть не в истерику.

– Да он так никогда не кончит эту чертову голодовку, если через край. Вы что, хотите, чтоб я из-за вас в тюрьму пошла? С завтрашнего дня начну дважды в день кормить.

Одно только и утешало меня – знал я, что примерно в это время должна мать принести передачу. Без моей подписи передачу не примут, и должна мать догадаться, что происходит. А там ребята что-нибудь придумают.

Двенадцать дней мне рвали ноздри, точно Салавату Юлаеву, и я уже тоже зверeть начал. Ни о чем больше думать не мог, только о своей носоглотке. Хожу по камере целый день, носом булькаю. Вот поди ж ты, жизнь прожил, а не думал, что существует какая-то связь между моим носом и Московской коллегией адвокатов.

К вечеру двенадцатого дня сдались власти – приехал помощник Генерального Прокурора Илюхин.

– Случайно, знаете, заехал и вдруг узнаю – голодающий! Какие допуски, кто вам сказал такую глупость? Никаких допусков нет, я вам ручаюсь.

– А как насчет Каминской? – говорю я с сильным французским прононсом – через нос-то звуки не идут, одни пузыри.

– Ну, что Каминская, что Каминская, – засуетился прокурор. – Хороший адвокат. Я сам ее знаю, в суде встречались. Мы

против нее ничего не имеем. Только знаете, сейчас это уже сложно. А почему, собственно, вы так уперлись в Каминскую? Свет клином не сошелся — у нас много хороших адвокатов.

— Я не уперся. Пожалуйста, на выбор: Каминская, Каллистратова, Швейский. Любой адвокат годится, которого вы допуска лишили.

— Ах, опять вы эти допуски!

Долго мы с ним препирались. Сошлись на Швейском.

— Черт с ним! — махнул рукой прокурор. — Пусть будет Швейский — он хотя бы член партии.

До меня Швейский защищал Амальрика, и уже было решение Министерства юстиции выгнать его вообще из адвокатуры.

Суд состоялся 5 января 1972 — вернее сказать, судебный спектакль. Даже приговор мне был известен заранее. В последнюю нашу встречу следователь капитан Коркач сказал удовлетворенно:

— Ну, все, на двенадцать лет мы от тебя избавились.

Партийное решение уже состоялось, оставались только формальности.

Для суда выбрали отдаленный район Москвы, чтобы удобнее было оцепить здание, не пропускать друзей и иностранных корреспондентов. В зал, как обычно, посадили работников КГБ и партийных чиновников — изображать "открытый процесс".

Спешка была ужасная — им почему-то нужно было все кончить в один день. Обвинение было составлено настолько расплывчато, что даже партийные чиновники в зале не могли понять, о чем речь. Говорилось только, что я "систематически передавал за рубеж клеветнические антисоветские измышления", и дальше следовало перечисление западных газет, где эти "измышления" публиковались. Судья доставала из дела газетные вырезки, приподнимала вверх по очереди и убирала обратно. То же самое и с фильмом Билла Коула: его показали здесь же, в зале суда, на задней стенке вместо экрана. Фильм шел по-английски, и никто из присутствующих, включая судью и прокурора, не мог понять содержания.

Я подал девять ходатайств: просил конкретизировать обвинение, указать, в чем же состоит клевета, просил зачитать текст моих интервью по-русски, вызвать десять свидетелей, которые

могли бы подтвердить истинность фактов, сообщенных мной в интервью, просил допустить моих знакомых и т.д., и т.п.

Все было отклонено. Суд хотел установить только один факт: были у меня интервью, контакты с корреспондентами и вообще иностранцами или нет? Что именно содержалось в интервью, их не интересовало. Когда я пытался сам рассказать это – меня прервали.

– Подсудимый Буковский, не нужно так подробно говорить обо всех этих примерах, зачем эти подробности? Вы признаете, что давали интервью корреспонденту Ассошиэйтед Пресс Холгеру Дженсену?

– Да, признаю.

– Это ваше изображение на пленке кинофильма? Вы знали, что это ваше сообщение будет опубликовано на Западе, а кинофильм будет демонстрироваться там на экранах телевизоров?

– Да, знал.

– И не возражали против этого?

– Нет, не возражал. Я даже просил их об этом.

Они настойчиво старались уйти в сторону от обсуждения сути вопроса, а я так же настойчиво возвращался к теме.

Они хотели быть чистенькими, не желали слушать про все эти издевательства, убийства, кровь и грязь. Какое это к ним имеет отношение? Они ведь не убивают сами, не душат в укрутках, не ломают хребтов, не топчут сапогами. Они только перебирают бумажки, ставят подписи и печати. А что из этого выходит – не их дело. Удобно устроились, спокойно спят по ночам. Ничего, вы у меня сейчас всё выслушаете! И в притихший, дышащий ненавистью зал я вывалил весь смрад спецбольниц, все тошнотворные подробности истязаний. Пусть вам хоть на минуту станет душно. Судьиху кривило.

– Вы имеете медицинское образование? – встряла прокурорша, как будто нужно быть академиком, чтобы возмущаться, когда на твоих глазах калечат человека.

Конечно, моих свидетелей вызвать отказались, объявили их всех гуртом невменяемыми, неспособными давать показания. Я предвидел такую возможность и поэтому специально включил в список несколько человек, никогда раньше не попадавших к психиатру, – жену П.Г. Григоренко и жену Файнберга. Но судьи так торопились отказать, что не обратили на это внимания. Еще

я включил в список Сергея Петровича Писарева, добившегося в свое время опровержения диагноза, но и его теперь объявили сумасшедшим.

Вместо них обвинение тащило своих "свидетелей" – офицера КГБ, которого пытались подослать ко мне на воле, какого-то на смерть перепуганного парня, которого я видел раза три в жизни, да двух ребят-военнослужащих, которым я в случайном разговоре в кафе, говоря о Щецинских событиях, не советовал стрелять в безоружный народ.

Что они могли сказать? Что я недоволен существующим строем? Жаловался на отсутствие демократии в СССР? Выглядели они бледно.

Вдруг прокурорша спросила:

– Вы говорили, что непременным условием выписки из спецбольницы был отказ больного от своих взглядов. Вы сами тоже отказались при выписке от своих взглядов?

Ей казалось, что она задала убийственный вопрос. Если не каялся – значит, клевещешь теперь: можно все-таки выйти из психушки без покаяния. Если каялся – и того лучше: как можно верить человеку, готовому в трудный момент отречься от своих взглядов?

Разве объяснишь им теперь, как мне безумно повезло, что не пришлось каяться? Разве объяснишь, сколько сотен людей никогда уже не придет сообщить миру о психиатрических преступлениях? Так вот они и работают: одни пытают, вымучивая из людей раскаяние, другие изображают из себя моралистов, задают подлые вопросы. И все тихо. Те, кто раскаялся, – уже не имеют права говорить, а те, кто не раскаялся, – будут молчать вечно. Не придет Самсонов, которого мучили восемь лет, – он умер от инфаркта. Не придут Файнберг, Борисов, Григоренко – вряд ли их выпустят живыми.

А почему должно быть стыдно тем, кто не выдержал? Пусть стыдятся те, кто пытает.

– Да, – сказал я твердо, – вынужден был отречься, чтобы меня выпустили. Иначе я не стоял бы сейчас перед вами.

Заерзал, задвигался зал, побежал по рядам злорадный ропот – ага, все-таки отрекался, каялся... Но я не ощутил стыда ни от этой лжи, ни от вымышленного раскаяния – я просто ощутил чужую боль.

Так вот и получилось, что я снова мотался по этапам да пересылкам, ругался с "гражданином начальничком" и слушал бесконечные тюремные споры. Определили мне 12 лет — двенадцать лет лагерных разводов, шмонов, ледяных карцеров и сосущего голода, который со временем перестаешь осознавать, как зубную боль. Только спать неудобно — кости мешают.

Нет, я не жалел о случившемся. Я сожалел лишь о том, что слишком мало успел сделать за год два месяца и три дня, которые пробыл на воле. Так я им и сказал на суде, в последнем слове.

Обычно, уходя т у д а, уносишь с собой последние отзвуки, голоса, впечатления оставленного мира. То всплывает вдруг лицо матери и много-много всяких картинок, с ним связанных, то заснеженная Москва, кривые арбатские переулки, а то просто обрывки какой-нибудь мелодии, и никак не можешь вспомнить, где ее слышал, что с ней связано...

Неизменно вспоминается суд, их вопросы и твои ответы. Сотни раз прокручиваешь в памяти эти картинки, и всякий раз находишь, что можно было сказать лучше.

Адвокат мой, Швейский, был напуган до беспамятства. Только что его выгоняли из адвокатуры, вопрос был уже решенный — и вдруг все изменилось. Не только не выгнали, но еще и вернули "допуск". Он пришел ко мне на следующий день после окончания голодовки и долго многозначительно поглядывал на стены кабинета, в котором нам дали свидание. Должно быть, у него был нервный тик, потому что время от времени он делал странное движение головой, словно галстук душил его или незримая петля затягивалась на горле.

— Я, как член партии, не могу одобрять ваших поступков, — говорил он, поглядывая на стенки.

Мне стоило большого труда заставить его придерживаться строго правовой позиции.

На суде, однако, он держался бодро. И хоть невидимая петля все время захлестывала ему горло, он все-таки потребовал оправдательного приговора. Только для того он мне и был нужен.

По идее, адвокат — как бы рупор своего подзащитного. Он должен высказать то, что не может сказать подсудимый. У нас на политических процессах все наоборот. Да, собственно говоря, мы защищаем адвокатов, а не они нас.

В этот раз я сделал свое последнее слово покороче, поэнергичнее. Перечислив бегло все нарушения закона, допущенные КГБ в моем деле, я сказал:

> Для чего же понадобились все эти провокации и грубые нарушения законности, этот поток клеветы и ложных бездоказательных обвинений? Для чего понадобился этот суд? Только ли для того, чтобы лишить свободы одного человека?
>
> Нет, тут "принцип", своего рода "философия". За предъявленным обвинением стоит другое, непредъявленное, и этим судом хотят сказать: нельзя "выносить сор из избы", стремятся скрыть собственные преступления – психиатрические расправы над инакомыслящими, собственные тюрьмы и лагеря. Пытаются заставить замолчать тех, кто рассказывает об этих преступлениях всему миру, чтобы выглядеть на мировой арене этакими безупречными защитниками угнетенных. Поздно!
>
> Наше общество еще больно. Оно больно страхом, пришедшим к нам со времен "сталинщины". Но процесс духовного раскрепощения уже начался, и остановить его невозможно никакими репрессиями. Общество уже понимает, что преступник – не тот, кто "выносит сор из избы", а тот, кто в избе сорит.

Конечно, можно было сказать и лучше – потом всегда приходят в голову лучшие варианты. Но это не главное. А вот стоило ли все это двенадцати лет – вернее, всей жизни? Все это – не суд, не выступление, а вот тот самый процесс, который уже не остановится? Мне кажется, стоило. Во всяком случае, я никогда потом не жалел о случившемся.

Днем и ночью, без перебою, идут этапы на восток. Пересылки забиты до отказа – по 60-80 человек в камере. Спят и на нарах, и под нарами, и просто на полу, рядами, и даже на столе. Дохнуть нечем. Вагоны набивают так, что дверь не закроешь – конвойные сапогами утрамбовывают. Матери с грудными детьми, беззубые старухи, подростки, инвалиды, угрюмые мужики, бесшабашные парни... И на каждого – "дело" в коричневом конверте. Сверху и фотография, и биография, а то как разобраться конвою?

– Фамилия?

– Имя-отчество?

– Статья?

– Срок? – Проходи!

– Фамилия?

– Имя-отчество?

– Статья?

– Срок?

Шалеешь после тюремного однообразия. Точно вся страна двинулась. Братцы! Да остался ли кто-нибудь на воле или уж всех переловили? Крик, ругань, топот, истошный детский плач, а где-то уже подрались.

– Быстрее, быстрее! – торопит конвой.

Кто с узелком, с мешком, с облезлым чемоданом, а у кого только казенная селедка торчит прямо из кармана да хлебушек в руках. И в путь!

– Кудааа, кудааа... – орет протяжно паровоз.

– На востоооок! – протяжно отвечает другой.

Ты селедочкой-то не пренебрегай, землячок. Хоть и ржавая, и вонючая, а другой тебе не дадут. Путь долгий – сжуешь. За двое суток все вокруг пропитается этой селедкой, все перемажется. Воды потом не добьешься – где же конвою успеть напоить такую ораву? До исступления дойдешь, до хрипоты. Ну, а напившись, не допросишься в туалет. И все-таки припрячь селедочку-то, хоть в карман засунь. Послушай старого зэка. К вечеру, когда все уляжется, уймется ребенок, затихнет перебранка, а в соседнем отсеке бабы затянут жалостную песню, ты ее сжуешь за милую душу, вместе с костями. Плевать, что весь перемазался, – все-таки попало кое-что в брюхо. Можно и подремать немного.

Старого зэка всегда отличишь. Пока вы там разбирались да в дверях мешкали, он себе занял лучшее место – полочку справа, на втором этаже, откуда можно даже на волю поглядеть, если удастся уговорить начальника приоткрыть окошко в коридоре. И узелок у него небольшой – словно в баню собрался, а все там есть, что в дороге нужно. Какая-нибудь рубашечка или свитерок – толкнуть конвою за пачку чаю, и пожевать немного, и покурить. Где-нибудь заначена "моечка", небольшой ножичек, мундштучок наборный, лагерной работы, – это тоже чтоб толкнуть какому-нибудь дикарю в погонах. Есть и чистая кружка –

туберкулезных хоть и везут отдельно, а кружка-то на всех одна. Деньжата тоже есть, только не найдешь, сколько ни шмонай.

И ничем ты его не выманишь теперь, не растревожишь – что толку в пустых разговорах? Разве вот только чаю добудешь. И пока ребята помоложе приспособятся варить этот чай на чистом, свернутом в трубочку полотенце, а другие станут к дверям – прикроют их от конвоя, – он не спеша начнет травить бывальщину, только слушай. Главные же истории – впереди, когда идет кружечка по кругу.

Иной раз и не поймешь, куда клонит. Целую новеллу или философский трактат сочинит, чтобы в самый напряженный момент сказать невзначай:

– Давай-ка закурим, землячок. К слову пришлось.

Есть целый набор признаков, по которым безошибочно определишь настоящего зэка. Во-первых, он всегда сидит ни за что. Так, за халатность: корову украл, а теленка оставил. Во-вторых, у него всегда есть какая-нибудь хроническая, неизлечимая болезнь. Грыжа, например. Хорошая болезнь – целое состояние, и умный зэк свою болезнь лелеет, бережет про запас. На тот случай, когда уж так прижмут, что хоть в побег иди. Кто поглупее – руки ломает или пальцы рубит, а запасливый зэк – в санчасть.

– Так и так, гражданин начальник. Грыжа у меня – не могу работать.

Иногда ведь неделя канту – год жизни.

Потом обязательно должна быть у порядочного зэка застарелая тяжба с начальством – какие-нибудь недоплаченные деньги, недовыданные сапоги или зажиленная посылка. Годами будет он писать нудные жалобы, перебираясь по инстанциям все выше и выше. Тяжба обрастает бумагами, решениями, указаниями, и под конец уже никто не помнит, в чем дело. Но только прижмет его начальник покруче – пошла писать губерния! Без конца и начала, без точек, запятых и прочих знаков препинания – в одну непрерывную фразу вся жалоба. И что сидит ни за что уже 17 лет, и что болезнь тяжелая, а начальство не лечит – на вредную работу гонит, и что сапоги зажилили... Но легче всего определить настоящего зэка, если вдруг задел его кто-нибудь, – такого виртуозного, фантастического мата, с переливами, завитушками и причудливыми коленцами, ни от кого

больше не услышишь. Все затихают и почтительно прислушиваются. Новички – с завистью, знатоки – с одобрением. По этой мелодии знающий человек сразу определит всю его тюремную биографию.

– Да ты, браток, колымский что ли?

А уж если повезло – удалось купить у конвойного водки или хоть тройного одеколона, так и спать не захочешь. Совсем иные пойдут истории – жаль только, записать нельзя. И срок начинает казаться не слишком длинным, и жизнь хороша, и посадили правильно...

Стучат колеса, швыряет вагон на стрелках, грустно поют бабы да ходит взад-вперед по коридору конвойный, поглядывает сквозь решетку на зэков.

– На востоооок! .. – вопит паровоз.

Куда же нас тащат? В Коми, в Тюмень, Киров или Пермь? А, какая разница!

Мой адрес – не дом и не улица,
Мой адрес – Советский Союз.

На запад же идут вагоны совсем пустые – незачем везти нас на запад.

Странно мне было оказаться вдруг среди людей, которых я давно знал заочно. Словно на тот свет попал. Ведь вся информация об арестах, судах и обстоятельствах дела проходила через мои руки. После приходили от них известия из лагерей – протесты, заявления и голодовки. Только увидеться не приходилось, и теперь я с любопытством их разглядывал.

Вот "самолетчики" – осужденные по ленинградскому самолетному делу. Бог мой, как давно это было!

В тот сумасшедший, лютый декабрь 70-го, когда власти полностью перекрыли все контакты с Ленинградом, отключили телефоны, снимали с поездов, только одному Вовке Тельникову удалось прорваться в Москву с текстом приговора и стенограммы суда. Потом – безумная гонка по Москве: проходные дворы, подъезды, метро, машины... Нам все-таки удалось тогда уйти от чекистов, и где-то у Пушкинской площади, в квартире одного моего приятеля, мы лихорадочно перепечатывали текст. Ночью мне еще предстояло прорваться к корреспондентам.

30 декабря был день моего рожденья – первый раз за много лет я встречал его на воле. И весь этот день проторчали мы у Верховного суда, ожидая результатов кассационного слушанья самолетного дела. Только поздно вечером вышел Сахаров– сообщил об отмене смертной казни.

– Вам-то что! – смеюсь я. – Погорели со своим самолетом и отсиживаетесь теперь. А сколько нам всем хлопот устроили!

Украинцы – Светличный, Антонюк, Калинец – сели позже меня, но я знал их по самиздату.

А это кто такой тощий, словно жертва Освенцима? Иосиф Мешенер? Как же, помню. Два школьных учителя из Молдавии – Сусленский и Мешенер. 7 и 6 лет за протест против вторжения в Чехословакию.

Павленков – это по Горьковскому делу, университетский самиздат. Гаврилов – дело офицеров-подводников Балтийского флота, тоже самиздат. Да тут живая "Хроника текущих событий"!

– Братцы! А чай у вас в зоне пьют?

– Еще как!

– Ну, так пошли, заварим.

До моего ареста все политические лагеря находились в Мордовии. Практически Мордовия вся была перегорожена колючей проволокой. Даже по официальной переписи населения вышло в Мордовии больше мужчин, чем женщин, хотя в большей части страны – наоборот. Политические лагеря существовали там чуть не с самого начала советской власти. Сперва – Темники, потом – Дубровлаг, теперь – Явас, Потьма, Барашево. Посчитать невозможно, сколько там погибло людей, и если копают землю – непременно натыкаются на человеческие кости. Рассказывали, что только один досидел с тех еще времен до наших дней – матрос, участник Кронштадтского мятежа. Глубокий старик, больной и неразговорчивый, он бродил по зоне враскачку, как по палубе крейсера в штормовую погоду.

Конечно, столь длительное соседство лагерей не прошло бесследно для местных жителей. Несколько поколений их работало надзирателями, передавая место от отца к сыну. На лагеря привыкли смотреть, как на кормушку. За пойманного беглеца – мешок муки.

— Папа, у вас сегодня был шмон? — спрашивал сынишка отца. — Ты мне принес что-нибудь?

Со временем коммерческие отношения между зэками и надзирателями зашли так далеко, что за деньги стало возможно сделать буквально все. Протесты, заявления, сообщения о голодовках и произволе свободно проходили на волю. В 70-м году до нас дошла даже магнитофонная пленка с записью выступления Гинзбурга.

Власти заволновались, и летом 1972 наиболее "опасных" политзаключенных отправили спецэтапом в Пермскую область, подальше от Москвы. Операция эта была окружена строжайшей тайной. Чтобы зэки не ухитрились как-нибудь передать на волю сведения о своем маршруте, окна вагонов задраили наглухо. Стояла невероятная жара лета 1972 года, когда леса горели, а торфяники загорались сами собой, — удушливый дым висел над страной. Цельнометаллические вагоны раскалились и превратились в душегубки. Люди задыхались, теряли сознание, один заключенный умер.

В Пермской области сделали два новых лагеря — 35-й и 36-й (позднее еще и третий, 37-й). Глухая изоляция, специально подобранные надзиратели, которым сразу давали чин прапорщика, чтоб служили вернее, и очень тяжелый северный климат.

Я попал сразу в Пермскую область, в 35-й лагерь, около станции Всесвятская. Первый год после суда я досиживал во Владимирской тюрьме — по приговору мне полагалось два года тюрьмы, пять лет лагерей и пять — ссылки. К весне 1973-го, когда мне предстояло ехать в лагерь, "пермский эксперимент" уже завершился, и в Мордовию я не попал.

Лагерь наш был небольшой — человек 300-350, и бóльшую часть населения, как и в других политлагерях, составляли "старики": украинцы, литовцы — участники национально-освободительной борьбы 40-х годов. Многие из них никогда и не жили на воле при советской власти, а как взяли в юности оружие при вторжении советских войск, так и просидели по лагерям до старости. Осуждены они были, однако, за измену родине. Какую родину имел в виду сталинский военный трибунал — понять трудно. И представления о жизни, и традиции, и привычки сохранились у них прежние, каких уже не осталось на их родине. Поразительно было видеть, как они работают — даже в лагере,

за пайку хлеба, – старательно, упорно, с любовью к делу. Так когда-то работали крестьяне на своей земле. Чувствовалась в них упрямая вера в человеческий труд – вопреки всему. На воле так больше никто не работает – отучила советская власть. У нас говорили в шутку, что любой из этих старичков заменит три станка, если свет перегорит.

Лагерь как-то консервирует человека. Седеют волосы, выпадают зубы, лица покрываются морщинами, а внутренне человек не становится старше, солиднее. Дико было видеть, как эти 55-летние мужики возились друг с другом, словно подростки, тузили друг друга под бока, и только сил уже не было, чтобы побегать взапуски. Ведь жизнь их приостановилась, когда им было лет по двадцать. Простые крестьянские парни, так и не успевшие стать отцами семейств.

По воскресеньям летом они выползали на солнышко с аккордеонами – играли мелодии, которых уже не помнят у них дома. Жуткое это было зрелище. Действительно, словно в загробное царство спустился.

Это были остатки целиком загубленного поколения – в одной Литве "освободители" репрессировали 350 тысяч населения, а уж на Украине счет велся на миллионы.

Им трудно было понять нас, увидеть смысл наших действий. Они всё еще жили психологией 40-х годов – партизанской психологией. Уж если такой массе народа не удалось добиться освобождения с оружием в руках – то какой смысл писать бумажки? А для многих из них и вообще обращаться с жалобами к властям было неприемлемо: они же не признавали эти власти законными.

Из литовцев мы как-то ближе всего сошлись с Ионасом Матузевичюсом. Он сам ушел к "лесным братьям" в начале 50-х годов, когда все уже было проиграно – борьба безнадежна. Может быть, оттого он лучше понимал нас. Когда его брали, он отстреливался до последнего, не желая попасть живым. Его приволокли искромсанного пулями и буквально собрали по частям: он был нужен живым, чтобы пытать потом. Поражало меня, как он, после всего этого плюс почти 25 лет лагерей, сохранил удивительную жизнерадостность, чувство юмора и какую-то внутреннюю чистоту. Не знаю, как назвать это, но, по-моему, такими должны быть монахи. Наверно, у него это было от крайнего, аб-

солютнейшего пессимизма. Сахар нам выдавали в пакетиках сразу за десять дней, и каждый тянул его потом как мог, чтобы дольше хватило. Ионас же сразу высыпал его в рот целиком и, сладко жмурясь, проглатывал.

– Ионас, – говорили ему укоризненно, – что же ты делаешь! Это же на десять дней!

– А, черт с ним, – говорил Ионас, – вдруг завтра помру? Пусть хоть врагу не достанется.

Однажды мы работали с Иосифом Мешенером, разгребали какой-то хлам у котельной и вдруг нашли старый стоптанный кирзовый сапог – мало ли их валялось вокруг. Но тут мне в голову пришла шальная идея. Я пошел к ребятам, мешавшим бетон, и залил внутрь сапога жидкий раствор. Потом, когда раствор застыл, мы осторожно срезали сапог ножом. Получилась точная цементная отливка. Затем нашли круглый большой камень, кусок колючей проволоки и стали мастерить памятник кирзовому сапогу. Все приняли живейшее участие в этой затее. На камне из раствора сделали что-то наподобие карты мира, проволоку засунули одним концом под сапог и оставшуюся часть обмотали вокруг голенища. Все это хозяйство застыло, и мы собирались торжественно открыть памятник, произносить по очереди шутливо патетические речи и т.п. Ведь кирзовый сапог – это не только сапог надзирателя, охранника, солдата, но и сапог заключенного. На открытие позвали украинцев, литовцев, вообще всех желающих.

Но ничего не вышло – не получилось веселья. Никто как-то не решился рта раскрыть. Грустно постояли мы вокруг этого сапога и разошлись. Потом его нашли надзиратели и долго ломали – он успел здорово затвердеть.

Никто из этих мужиков и в глаза не видел своего приговора. Им просто объявили тогда: двадцать пять – и делу конец.

Впрочем, редко кому выдают приговор на руки даже теперь. Обычно дают только прочитать, а затем отбирают. Считается, что приговор "секретный", хотя советскими законами такого опять-таки не предусмотрено. (Практически приговор на руки получали только те, чье дело достаточно широко освещалось в самиздате или в зарубежной прессе.) Поэтому одной из наших задач в лагере было добыть и отправить на волю копии таких приговоров.

До последнего ареста я сам был немного дезинформирован – считал, что в наше время практически уже нет "случайных" политических дел, то есть таких, когда осужденный до ареста и не подозревал, что может попасть за свои действия в тюрьму. Теперь, думал я, политические репрессии направлены только на участников движения за права человека, различных национальных и религиозных движений, т.е. на людей, которые хотя и не совершили никакого преступления, но сознают, что в условиях тоталитарного произвола они в любой момент могут быть арестованы. Однако я оказался неправ. Процент "случайных" дел достаточно высок.

Прежде всего, к ним нужно отнести жалобщиков и анонимщиков. Часто человек, возмущенный какой-нибудь несправедливостью, начинает писать жалобы в высокие инстанции и искренно считает, что таким путем можно исправить зло. Получая наглые ответы, человек постепенно начинает обобщать результаты, его жалобы принимают характер обвинений, тут его вызывает КГБ, и, если он не поддается запугиваниям, его сажают.

Например, в 1976 году сидел со мной во Владимирской тюрьме врач-стоматолог Айрапетов из Баку, армянин лет 47-ми. Обнаружив у себя на работе хищения и взяточничество, он стал писать в ЦК, но ничего не добился и постепенно пришел к выводу, что ЦК умышленно покрывает коррупцию. Он несколько раз писал Брежневу, разоблачая махинации крупных властей в Азербайджане, и в конце концов был арестован. В КГБ раскаиваться отказался и был осужден на 3 года тюрьмы и 4 – лагеря, за антисоветскую агитацию. Он никак не мог понять своей вины.

– Кого же я агитировал? – спрашивал он на суде. – Брежнева что ли?

– Знаете, – отвечали ему, – у Брежнева много секретарей, помощников, референтов, вот их-то вы и агитировали.

Другие люди понимают, что за жалобы могут быть неприятности по службе, трения с начальством, и пишут анонимно. Однако арест – и для них неожиданность.

Любопытную категорию составляют люди, осужденные за надписи на избирательных бюллетенях. Голосование у нас, по закону, тайное, и никто не вправе выяснять, кто как проголосовал и кто какой бюллетень опустил. Более того, существует специальная статья в Уголовном кодексе, предусматривающая

лишение свободы для должностных лиц, нарушивших тайну голосования. Это, однако, не мешает КГБ сажать в тюрьму людей, делающих надписи на бюллетенях.

Меня очень интересовали такие случаи – признаться, я не очень верил, что дело обстояло именно так, как рассказывали пострадавшие. Уж это заливают, казалось мне. Наконец, по одному такому делу мне удалось достать приговор, когда я был в Пермском лагере. Приговор считался секретным, и стоило большого труда добыть его на полчаса, чтобы скопировать. Попросту говоря, мы его украли из спецчасти, сделали копию и передали на волю. Вот он:

ПРИГОВОР

Дело № 6-74 Секретно

Именем Украинской Советской Социалистической Республики от 15 июня 1971 г. Ворошиловградский облсуд в составе: председательствующего ЯРЕСЬКО В.А., народных заседателей БАРАНОВОЙ К.А., ДРОЖЖИНОЙ М.Ф., при секретаре ГОЛУБИЧЕЙ Т.М., с участием прокурора ЗИМАРИНА В.И. и с участием адвоката СОКОЛИКОВОЙ Н.М., рассмотрев в закрытом судебном заседании в г. Ворошиловграде дело по обвинению ЧЕКАЛИНА Александра Николаевича, рождения 19.12.1938, уроженца Слюд-Рудник Удеренского района Красноярского края, русского, гражданина СССР, беспартийного, образование 10 кл., ранее не судимого, женатого, имеющего на иждивении сына, рожденного в 1962 г., проживающего в г. Лисичанске Ворошиловградской обл., ул. Карла Маркса 136/5, работавшего слесарем-монтажником на Лисичанском заводе "Строймашина", содержащегося под стражей с 27 мая 1971 года, преданного суду по ст. 62 ч. 1 УК УССР, установил:

14 июня 1970 г., во время выборов, подсудимый ЧЕКАЛИН А.Н. на избирательных бюллетенях по выборам в Совет Союза и Совет Национальностей по Лисичанскому округу № 440 учинил антисоветские надписи, призывающие к свержению Советской власти, а также возводящие заведомо ложные клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, совершив тем самым преступление, предусмотренное ст. 62 ч. 1 УК УССР. Подсудимый ЧЕКАЛИН свою

вину в совершении вышеуказанного преступления признал и пояснил, что в день выборов пошел на избирательный участок, после получения бюллетеней сделал надписи антисоветского содержания, возводящие клевету на советскую выборную систему; его вина в совершении указанного преступления подтверждается показаниями свидетеля ВЕРЕТЕННИКОВА Н.И., который во время выборов был зам. председателя участковой избирательной комиссии, и при подсчете голосов он увидел два бюллетеня с антисоветскими надписями. Он пояснил, что эти надписи он воспринял как призыв к свержению Советской власти и как клевету на нашу избирательную систему. Свидетель ЧЕКАЛИНА Е.Р., жена подсудимого, пояснила, что после дня выборов ей муж говорил об учинении им надписей антисоветского содержания; она также пояснила, что муж слушал передачи зарубежных радиостанций, в частности, он слушал "Голос Америки". Свидетель ЖИТНЫЙ В.Д., бригадир бригады, в которой работал подсудимый, пояснил суду, что ЧЕКАЛИН возмущался существующими в нашей стране порядками, высказывал желание уехать из нашей страны. Из показаний свидетеля ЧЕРНИКОВА С.П. видно, что ЧЕКАЛИН в его присутствии допустил оскорбительные выражения в адрес коммунистов. Подсудимый не отрицал, что он возмущался порядками, существующими в нашей стране, высказывал желание уехать в другую страну, периодически слушал передачи зарубежных радиостанций и в своих записях на бюллетенях воспроизвел частично слова из прослушанных передач радиостанций. Вина подсудимого доказывается анализом вещественных доказательств, на которых, как это усматривается из заключения криминалистической экспертизы, надписи исполнены одним лицом – ЧЕКАЛИНЫМ.

Учиняя такие надписи на бюллетенях, подсудимый понимал, что он распространяет антисоветские идеи, ибо надписи на бюллетенях были прочитаны при подсчете голосов, и он желал того, чтобы они были прочитаны. Он действовал с прямым умыслом при распространении клеветнических измышлений на нашу избирательную систему, этого он не отрицал и сам, следовательно, указанное преступление он совершил с прямым умыслом, преследуя антисоветские цели, о чем свидетельствуют вышеуказанные обстоятельства. Само содержание надписей на бюл-

летенях свидетельствует, что ЧЕКАЛИН имел антисоветскую цель в пропаганде своих идей. Его доводы о том, что он совершил это преступление из-за обиды на администрацию цеха в связи с непредоставлением ему отпуска в летнее время, являются необоснованными. За непосещение профсоюзных собраний от 12.3.70 он цеховым профсобранием был лишен права идти в отпуск летом. Преступление он совершил 14 июня 1970 г. К тому же, никаких мер к обжалованию решения собрания он не принимал, а в своих первоначальных объяснениях о причине совершения преступления ссылался на указанные обстоятельства. При наличии таких доказательств областной суд считает, что вина подсудимого ЧЕКАЛИНА в антисоветской агитации нашла полное подтверждение, его преступные действия по ст. 62 ч. 1 квалифицированы правильно.

Решая вопрос о мере наказания, областной суд учитывает, что ЧЕКАЛИН совершил особо опасное государственное преступление, занимался общественно полезным трудом, имеет на иждивении ребенка, свою вину признал, раскаялся. Наказание он должен отбывать в ИТК строгого режима, учитывая содеянное им и данные об его личности, областной суд считает, что дополнительное наказание в виде ссылки применять нецелесообразно. Руководствуясь требованием статей 323, 324 УПК УССР, областной суд приговорил:

Признать виновным ЧЕКАЛИНА А.Н. по ст. 62 ч. 1 УК УССР и подвергнуть его наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет без ссылки с отбытием наказания в ИТК строгого режима. Засчитать в счет отбытия наказания нахождение ЧЕКАЛИНА А.Н. под стражей с 27 мая 1971, меру пресечения оставить без изменения – содержание под стражей. Взыскать с ЧЕКАЛИНА в доход государства 11 руб. 88 коп. как судебные издержки. Вещественные доказательства – бюллетени – оставить при деле. Приговор может быть обжалован в Верховный Суд УССР в течение 7 суток после его провозглашения, осужденным – в такой же срок после получения им копии приговора.

Председательствующий (подпись)
Народные заседатели (подписи)

Чекалин сидел потом с нами и во Владимире, освободился в мае 1976 по концу срока. Он почти совсем оглох за время заключения, так как у него было тяжелое, прогрессирующее заболевание ушей, а никакого лечения он, разумеется, не получал.

Совершенно анекдотическое дело было у В. Богданова, с которым я встретился в пермском лагере. Он работал в подмосковном городе Электростали, рабочим на секретном предприятии по обогащению урановой руды. Несколько лет ютился в одной комнатушке с матерью и женой, обошел все инстанции, обил все пороги, но квартиру получить не мог. Тогда, обозлившись, он упер с работы секретную радиоактивную деталь – судя по описаниям, какой-то плутониевый стержень для уранового котла. Он ожидал, что охрана хватится пропажи, разразится скандал и тогда он вытребует себе квартиру в обмен на этот стержень. Но никто даже ухом не повел, словно ничего и не пропадало. Месяца три этот стержень лежал у него дома под кроватью. Потом, выпив как-то с приятелями, он решил свезти стержень прямо министру среднего машиностроения.

Ехали через всю Москву – стержень везли под пальто. Дорогой еще выпили, и в министерство приехали сильно навеселе. Внутрь их не впустила охрана. И сколько ни скандалили – никто из чиновников министерства их не принял. С расстройства зашли в магазин, добавили еще, потом еще. Несколько раз теряли они свой плутониевый стержень – то в сквере забыли на лавочке, то в магазине. Наконец решили продать его какому-нибудь иностранцу – деталь-то все-таки секретная. По представлениям советского человека, каждый иностранец – шпион, так и норовит разведать советские секреты. Долго искали в центре подходящего иностранца и, наконец, где-то у "Метрополя" наткнулись на американца. Как они объяснялись с этим американцем, Богданов уже не помнил, был сильно пьян. Помнил только, что американец страшно испугался, ударился в бега, и они долго преследовали его, пока не потеряли в толпе. Дальше, уже с отчаяния, пытались всучить секретный стержень какому-то поляку. И просили-то недорого – всего на бутылку, да тот не взял. После поляка пили пиво и совсем захмелели. Цена на стержень упала до одной кружки. Последующих событий Богданов абсолютно не помнил: как приехали в Электросталь, как добрались до дома, а главное, куда девался проклятый стержень – все стерлось из памяти.

Приятели, однако, не успели утром проснуться, побежали в КГБ. С большим трудом, уже в Лефортове, под следствием, вспомнил он, куда спрятал проклятый стержень, и признался следователю. В 1968 году дали Богданову 10 лет за измену родине. Так и сидит до сих пор.

Наверно, к "случайным" делам нужно отнести и дело Николая Александровича Будулак-Шарыгина. Пятнадцатилетним парнишкой вывезли его немцы с Украины в начале войны в Германию, там он учился, работал, а при оккупации Германии союзниками оказался в английской зоне. Затем уехал в Англию, прожил там двадцать лет, завершил образование, женился и последнее время работал представителем крупной лондонской фирмы электронного оборудования. По делам этой фирмы был послан в Москву, заключать торговые сделки. Вел переговоры с Комитетом по координации науки и техники при Совете Министров СССР, с Министерством электронной промышленности, но вдруг, в самый разгар переговоров, был арестован. В КГБ из него долго надеялись сделать своего шпиона, то запугивали, то обещали золотые горы, но Николай Александрович не сдался. Дело приняло скверный оборот – как его теперь выпускать? Сообщения об этом странном аресте уже появились в английской печати. Но и посадить не за что. Как рассказывал сам Будулак-Шарыгин, вопрос решил в его присутствии лично Андропов. Долго разглядывал паспорт, прочие документы.

– Что вы все твердите: англичанин, англичанин... Родился-то он у нас, в СССР, – сказал Андропов своим помощникам, тыча пальцем в паспорт Шарыгина. – Ничего, английская королева нам войны из-за него не объявит.

Приговорили Шарыгина в том же 68-м году к тем же десяти годам, и тоже за измену родине – за то, что не вернулся после войны домой. Приговора, конечно, на руки не дали – "секретный".

Но еще более фантастическое дело встретили мы в 1974 году во Владимирской тюрьме. Привезли к нам самого настоящего китайца, по имени Ма Хун. Запуганный, всех боится, по-русски почти не говорит, но паренек шустрый, запасливый. В незнакомой стране, на новом месте, в тюрьме, а уже успел как-то в первый же день лишнюю матрасовку спереть. Так и заявился к нам с двумя матрасовками. Пообвык он у нас немного, поottаял. Спрашивают его ребята:

– Ну как, Ма Хун, нравится тебе здесь?

– Каласо, – говорит, – оченно каласо.

– Да что же хорошего? Здесь тюрьма, голод.

– Какой голод? – удивился Ма Хун и показывает пальцем на мух, летающих по камере. Дескать, был бы настоящий голод – этой дичи давно бы уже не водилось. Ребят аж в дрожь бросило – что же они, бедные, там у себя в Китае голодом называют?

Со временем рассказал Ма Хун про китайский голод, когда всю листву с деревьев съели, всю траву. Хоть сто километров иди – жука навозного не встретишь.

Настоящее имя его было не Ма Хун, а Юй Ши-лин. Родился он в 1941 году в провинции Ань-Хуй, в семье чиновника. А через несколько лет, при наступлении коммунистической армии, отец бежал на Тайвань. Семья осталась без средств, более того – постоянно преследовалась за свое непролетарское происхождение. Чем больше он рассказывал про Китай, тем больше вспоминали мы 20-30-е годы, так называемый "сталинизм". Только, пожалуй, покруче было в Китае. Еще больше жестокости, цинизма, лицемерия. Не нужно было там Соловков – неугодных просто убивали. Например, всех китайских добровольцев, попавших в плен в Корее и возвращенных американцами, истребили поголовно. Да разве только их? И "классово чуждых", и "вредителей", и "оппортунистов". Конечно же, в первую очередь интеллигенцию. Остальных загнали в госхозы и коммуны – перевоспитываться трудом.

В армию его не взяли – не то происхождение. А не отслужив в армии, нельзя, оказывается, в Китае ни учебу продолжать, ни получить сносную работу. Даже чтобы стать трактористом, нужно сперва пройти армию. В военизированном госхозе, вблизи советской границы, куда его загнали работать, он был пастухом. Мать умерла – его даже на похороны не пустили: без специального разрешения нельзя ездить в Китае. Остался один младший братишка, и где он – неизвестно.

В разгар "культурной революции" был момент: многие такие, как он, поверили, что удастся свести счеты с властями. Да недолго это продолжалось. Подошла армия. Спасаясь от верной смерти, он в 1968 бежал через границу в СССР. Принес с собой единственное свое достояние – радиоприемник. В Китае это большая ценность.

Здесь, в Советском Союзе, его сначала арестовали, хотели судить за нелегальный переход границы. Но это формально. Фактически же грозили выдать обратно в Китай, если не согласится стать советским шпионом. Таких случаев было много, и китайские пограничники всегда расстреливали беглецов прямо на месте, как только их выдавали. Выбора не было. Согласишься – пошлют в Китай шпионить. Не согласишься – выдадут. Так и так смерть. Он отказался.

Когда шпиона из него не вышло, предложили последний шанс – вступить в тайную организацию китайских беженцев на советской территории. Видимо, КГБ мыслил это себе как зачаток будущей китайской "народно-освободительной армии". Вот тут-то он и стал Ма Хуном – его заставили сменить фамилию.

Он получил вид на жительство, устроился на завод, работал слесарем. Как лицо без гражданства, он не мог ездить по стране, но советская жизнь все равно казалась ему раем: за работу платили деньги, на которые можно было купить продукты, одежду, и все это без ограничений. Не то что в Китае – девять метров ткани в год на человека. А к лицемерию он привык. Советское лицемерие казалось ему детской игрой по сравнению с китайским.

Когда-то в детстве учили его играть на скрипке, и всю жизнь потом вспоминал он это время, словно сказку. Скрипка была для него символом благополучия. Не удивительно, что теперь он купил ее. Вечерами он иногда играл, но чаще слушал свой радиоприемник. Ловил Японию, Тайвань и даже Австралию.

Однажды он услышал в передаче из Австралии объявление. Сообщалось, что существует центр, помогающий китайцам найти своих потерянных родственников, и Ма Хун написал им с просьбой найти своего отца на Тайване. Тут его и арестовали.

Следствие продолжалось почти два года. Обвиняли Ма Хуна в шпионаже. Будто бы он с этой целью и пришел в СССР по заданию китайской разведки. Несколько раз проводили экспертизу его приемника – нет ли там внутри передатчика? Разобрали по винтику – не нашли. Взялись за скрипку. Зачем китайцу скрипка? Подозрительно. Разломали в щепки – и тоже ничего не нашли. Принялись за Ма Хуна.

– Признáешься – получишь пять лет. Не признáешься – десять.

Таких, которые "признались", в Алма-Атинском следственном изоляторе было много. Некоторые даже получили за шпионаж всего два-три года и работали в хозобслуге. Из них-то следствие и набрало свидетелей против Ма Хуна. Свидетели эти показывали, что видели Ма Хуна в своих разведшколах и был он там большим начальником.

30 ноября 1973 военный трибунал Среднеазиатского военного округа приговорил его к пятнадцати годам (по 5 лет тюрьмы, лагеря и ссылки) и к конфискации имущества – за "покушение на шпионаж". Виновным он себя так и не признал.

Все мы очень привязались к Ма Хуну, помогали учить русский, расспрашивали про Китай. Вся тюрьма знала его, и даже уголовники, проходя на прогулку мимо наших дверей, заглядывали в глазок:

– Ну, где там ваш китаец?

Учился Ма Хун упорно, от подъема до отбоя, и через полгода говорил по-русски вполне прилично. Только вот никак не мог привыкнуть к нашим согласным – не получались у него "б", "г", "д", и вместо "работа" говорил всегда "на рапота". Без предлога он это слово и представить себе не мог, так его жизнь приучила.

Вместе с нами держал он голодовки и сидел на пониженном питании. На Новый год мы с ним сделали елку из зеленых обложек ученических тетрадей – иголкой вырезали хвойные лапы. А он еще сделал китайский фонарик – сплел каркас из веника и оклеил бумагой. Только в Китае этот фонарик, оказывается, не называют "китайским".

Ма Хун рассказывал, что жители каждой китайской провинции отличаются какой-нибудь чертой характера. В одной провинции – все драчуны, забияки, хунхузы, в другой – коммерсанты, в третьей – уж такие подлецы, что никто с ними дела не имеет.

– А твоя провинция, чем она знаменита? – спрашивали его.

Долго он хитрил, уклонялся от ответа, стеснялся, потом все-таки признался:

– Упрямством.

Не знали, видно, в КГБ таких тонкостей, а то бы не стали связываться. Этим-то, наверное, и был он нам близок, ведь мы все – немножечко из провинции Ань-Хуй.

Самый наш лучший специалист по жалобам, Михаил Янович Макаренко, написал ему жалобу на приговор, и Ма Хун с утра до ночи переписывал ее. Вместо упражнений по русскому языку. Больше полугода рассылал во все концы, во все инстанции. Одновременно мы грозили кагебистам предать дело Ма Хуна гласности, если приговор не отменят.

Наконец, что-то лопнуло – Ма Хуна увезли на переследование. Китайцы-свидетели признались, что давали показания под давлением КГБ. Но освободили его только еще через год – 9 августа 1976. Посадить-то легко – освободить трудно.

Да мало ли "случайных" дел встречал я за эти годы! В сущности, любое дело "случайно" – игра случая. "Неслучайными" были только полицаи, военные преступники, сотрудничавшие с нацистами. Они были запланированными.

Отдел борьбы с военными преступниками когда-то после войны был чуть ли не основным в КГБ. Полстраны тогда числилось в военных преступниках: все, кто побывал в плену, в оккупации. Иногда целые народы.

Но прошло тридцать лет. Сгинули по лагерям почти все, кто видел вблизи живого немецкого солдата, и оказался отдел на грани гибели – в любой момент его могли закрыть за ненадобностью. Тут-то и оказались полицаи на вес золота. Сажать их не торопились, а просто брали на учет – пусть живут и пасутся до поры, до времени. Изредка вызовут одного-другого в КГБ, побеседуют и отпустят. Не подошла еще очередь.

Показательные процессы военных преступников устраивают регулярно, примерно раз в год. Много пишут в газетах, смакуют подробности, а потом приговаривают одного-двух к смертной казни, остальных – к пятнадцати годам. Каждый раз, конечно, делают вид, что только сейчас, ценой невероятных усилий, их поймали.

Такая метода устраивает и партийные власти – нужны ведь эти процессы для военно-патриотической пропаганды. Сами военные преступники безропотно ждут своей очереди, трудятся, перевыполняют планы, участвуют в социалистических соревнованиях. В сущности, это самые обыкновенные советские люди – привыкшие гнуться, куда гнут. Многие из них за время войны по нескольку раз побывали у Сталина, у Гитлера, у обоих заслужили ордена, чины и часто закончили войну взятием Берлина.

После войны сделались начальниками, председателями колхозов. Кое-кто даже в местные депутаты попал.

В лагере они все, как по волшебству, оказываются начальниками: бригадирами, активистами, "членами совета коллектива", повязочниками — словом, "ставшие на путь исправления", надежда и опора лагерного кума. Иной раз рта еще не успеешь открыть, а он уже бежит на вахту доносить. И старый, черт, еле дышит уже, а все ему неймется. Не всех еще в жизни продал.

Любопытно, однако, бывает послушать, когда летом к вечерку сползется несколько таких ветеранов второй мировой потолковать, вспомнить молодость.

— Мы, значит, на одной стороне реки, за мостом. А они как попрут оттуда — не ждали, значит, нас. Ну, мы им тут дали жару!

— А ты у кого тогда был, дед, — вставишь невзначай, — у красных или у немцев?

— У немцев... нет, у советских. Стой, все-таки вроде у немцев... А ну тебя, не мешай! Дай досказать.

В лагере я пробыл недолго, чуть меньше года. С первых же дней началась за мной охота — почему не встаешь, когда входит начальник? Почему не снимаешь шапку? Почему не там встал, не здесь сел, не туда пошел? Рядом с тобой будет стоять другой — ему ничего. Тебе же наказания — лишение ларька, свидания, изолятор и т.п.

Перед тем, как этапировать в лагерь из Владимира, весной 1973, меня опять увезли в Москву, в Лефортово. Формально — допрашивать как свидетеля по делу Якира, фактически — уговаривать раскаяться. Все-таки мой суд и вообще дело с разоблачением психиатрических злоупотреблений имели значительный резонанс в мире. Не настолько значительный, к сожалению, чтобы остановить психиатрические расправы и принудить власти освободить меня (всемирный психиатрический конгресс в Мексике трусливо уклонился от обсуждения нашей документации), но все-таки достаточный, чтобы заставить их искать выход. Как всегда, они рассчитывали выйти из положения за наш счет. Работники КГБ в разговорах со мной признавали теперь, что судили меня неправильно — не надо было судить. И готовы они сейчас исправить эту ошибку — выпустить меня. Но я, видите ли,

должен им помочь – письменно покаяться, попросить помилования. Получалось совсем смешно: мы виноваты, а ты извинись.

Убедившись, что такой выход для меня неприемлем, они еще больше снизили требования. По их словам, достаточно мне отказаться от какой-либо общественной деятельности в будущем, не говоря ни слова о прошлом или об убеждениях, – и в лагерь ехать не придется.

– Ну, если вам так не нравится слово "помиловать", напишите: "Прошу освободить".

И тут же намекали, что не станут препятствовать моему выезду за границу. А там – делай, что хочешь.

Я опять отказался. Этот вопрос я решил для себя раз и навсегда в 70-м году и больше не хотел к нему возвращаться.

Тут уже они потеряли терпение.

– Чего же вы хотите? Неужели так приятно сидеть в тюрьме?

Я объяснил, что создавшееся положение меня вполне устраивает. Сижу себе, книжечки почитываю, а в это время им на голову сыплются то протесты, то демонстрации, то резолюции. Честно говоря, я сильно сомневаюсь, смогу ли доставить им столько неприятностей на воле, как самим фактом пребывания в тюрьме.

– Заметьте, я к вам на переговоры не просился. Вы меня сами привезли. Стало быть, вы больше заинтересованы освободить меня, чем я – освободиться. Впрочем, я согласен принять ваше предложение: и от деятельности отказаться, и уехать. Но прежде вы полностью откажетесь от психиатрических преследований инакомыслящих, публично осудите этот метод, освободите людей из психушек и накажете виновных. В сущности, вся моя так называемая "деятельность" состояла, прежде всего, в борьбе с психиатрическими злоупотреблениями. Если вы теперь от них откажетесь, мне, действительно, ничего больше делать не надо. И помилования не надо. Опротестуете мой приговор, как положено по закону.

Это заявление их возмутило до крайности.

– Вы что, собираетесь нам диктовать? Говорить с нами "с позиции силы"? Не выйдет! Смотрите – еще сами попроситесь. Путь для помилования вам всегда открыт. Думайте, размышляйте. А мы вам поможем не забыть о нашем предложении.

С таким напутствием я и уехал в лагерь. Последняя фраза звучала довольно зловеще, обещала мало приятного.

В лагере же и помимо этого обстановка была напряженная. Фактическими хозяевами были офицеры КГБ – администрация только исполняла их волю. Изоляция полная, каналов на волю никаких, климат тяжелый, североуральский. Прибавьте сюда откровенный произвол и отсутствие настоящей медицинской помощи, и тогда станет понятно, что означал этот "пермский эксперимент".

Среди привезенных сюда из Мордовии стариков многие уже были тяжело больными, доживающими свой век людьми. Да и у тех, кто помоложе, здоровье было не блестящее. Словом, привезли нас сюда самых нераскаявшихся, чтобы без шума прикончить.

Вскоре после моего приезда специальная "врачебная" комиссия из Перми осмотрела почти всех заключенных и всех признала здоровыми, годными к работе. Группы инвалидности лишали даже тех, кто имел ее с рождения: даже горбатого Василя Пидгородецкого и двоих одноногих признали трудоспособными, а уж о язвенниках, сердечниках, туберкулезниках и говорить нечего.

Результаты не замедлили сказаться, и в августе умер заключенный Куркис, двадцатипятилетник, от прободения язвы. После лишения группы инвалидности его послали на тяжелую работу, и через пару недель он был готов. 24 часа он пролежал в больничке, рядом с лагерем, истекая кровью. Ни запасов крови, ни нужного оборудования, ни даже хирурга в этой больнице не было. По чистой случайности нам удалось передать на волю эту информацию весьма оперативно, так что через три дня наши друзья в Москве знали о случившемся. Одновременно мы начали кампанию протестов – нужно было спешить. От нашей оперативности зависело, сколько людей избежит подобной смерти. Но это было только начало.

1973 год был в известном смысле решающим для всего движения в целом. Добившись определенного успеха в деле Якира и Красина, власти стремились парализовать движение. Десятки людей открыто подвергались шантажу: им грозили арестом – притом не их самих, но друзей и близких, – если они не прекратят своей правозащитной деятельности. Приостановился вы-

пуск "Хроники текущих событий": на каждый новый выпуск КГБ обещал отвечать новыми арестами. Действовала система заложников. Одновременно была развернута бешеная кампания травли Солженицына и Сахарова, по уже знакомому рецепту – от академиков до оленеводов и доярок.

Так бывает всегда: стоит ослабнуть одному, как увеличивается давление на всех. И десять человек, поддавшихся шантажу, могут вызвать панику десятков тысяч. Лагерная жизнь – как барометр, и в лагерях в такие моменты свирепеет режим, теряется завоеванное годами голодовок, и все вдруг оказываются на краю гибели. Нужно нечеловеческое усилие, чтобы отстоять свою жизнь, свои права.

Мы отбились первые, и к концу года лагерная медицина была разгромлена. Что ни день – наезжали комиссии, ходили по зоне важные генералы со свитами, шустрые полковники в лампасах, какие-то штатские личности, перед которыми все начальство изгибалось вопросительным знаком. Специальным распоряжением Москвы был прислан хирург из Перми заведовать нашей больницей. Возвращали группы инвалидности, назначали лечение больным, и даже из ПКТ удалось перевести в больницу одного тяжелобольного, чего никогда не случалось раньше.

На воле перелом наступил позже – с высылкой Солженицына. Это событие всколыхнуло всех и, как бывает в минуты настоящей беды, придало всем решимости. Вновь стала выходить "Хроника", но власти уже не рискнули действовать по системе заложников – обещанных арестов не последовало. Кончился шантаж, как только перестали ему поддаваться. Нам же предстояла еще долгая и тяжелая борьба, чтобы вернуть все отнятое за это время.

Конечно, от властей не ускользнуло мое участие в прорыве "пермской блокады", да и время им пришло выполнить свое обещание – напомнить мне тот лефортовский разговор о помиловании.

Начальник лагеря майор Пименов не скрывал от меня, что решение пришло сверху, помимо его воли. Он не любил КГБ: они делали его власть фикцией – и при каждом удобном случае норовил отплатить им мелкой пакостью. Он хотел быть настоящим "хозяином", единственным властелином в своем мирке и, выполняя распоряжение КГБ, всегда старался сделать так, чтобы глупость распоряжения стала еще очевиднее.

Приказано дать пятнадцать суток? Пожалуйста. И он посадил меня за то, что я якобы отлучился с рабочего места 3 февраля, хотя это было воскресенье и никто вообще не работал.

— Затем три месяца ПКТ, ну, а потом — сам знаешь, — сказал он на прощанье. Имелась в виду Владимирская тюрьма.

От работы я отказался сразу. Не хватало еще работать в карцере за кусок хлеба. Да и нормы заведомо невыполнимы: нарезать резьбу вручную на 120-ти огромных болтах в день, когда и на один болт силы не хватит.

ПРИКАЗ МВД СССР № 0225 от 25 апреля 1972 г.

Согласовано с Прокуратурой СССР
и Советом Министров СССР

Осужденные, водворенные в ШИЗО без вывода на работу или с выводом на работу, но злостно отказывающиеся от работы или умышленно не выполняющие нормы выработки, довольствуются по норме 9б, с выдачей горячей пищи через день. В день лишения горячей пищи им выдается 450 г хлеба, соль и кипяток.

ДНЕВНАЯ НОРМА ПИТАНИЯ 9б

Хлеб ржаной	450 г	Картофель	250 г
Рыба	60 г	Овощи	200 г
Мука	10 г	Крупа (пшено, овес)	50 г
Жиры	6 г	Соль	20 г

Так что работай или не работай, а если норму сделать не сможешь — все равно будут кормить через день.

Три месяца и пятнадцать дней кормили меня таким вот образом. Да еще регулярно переводили в карцер — за отказ от работы. Тут и здоровый-то околеет, у меня же как раз открылась язва. Словом, у них все было рассчитано. И если я действительно не сдох тогда, то исключительно из упрямства. Не мог же я доставить им такое удовольствие!

— Так, сегодня день лишения горячей пищи, — радостно сообщает вертухай и кладет на кормушку паечку. — Кипяток брать будешь?

А как же! На кипяток-то одна надежда. Это вместо бульона.

— Соль давай! 20 граммов положено.

И на что она нужна, эта соль, – есть-то ее все равно нельзя. Но стребовать надо – для порядку. Положенное – отдай.

450 граммов хлеба – это много или мало? Хочешь – сразу съешь. Тогда много. Хочешь – раздели на три части: завтрак, обед, ужин. Но тогда мало. А хочешь – вообще не ешь, чтобы не дразнить себя понапрасну. Говорят, люди мучаются, не знают, как похудеть. Изобретают диету, бегают по десять километров в день. По крайней мере, этой проблемы у меня не было.

Через пару недель вставать уже надо осторожно – кружится голова. Через месяц – начинает слезать кожа на руках и ногах Через два месяца читать становится невозможно – ничего не понимаешь, хоть убейся.

Конечно, власти меня не забывали. Приезжали какие-то важные чиновники – посмотреть, пощупать.

– Почему не встаете, когда входит начальник?

– Силы экономлю.

За это – семь суток карцера.

– Почему не хотите работать?

– На 450 граммах хлеба много не наработаешь.

– Подумаешь! В войну, в блокаду ленинградцы по двести граммов получали, и то работали!

Они сами сравнивали себя с фашистами.

В апреле подтаяли сугробы, и вдруг открылось множество мышиных ходов – всю зиму они там под снегом вели светский образ жизни. Теперь им приходилось долго осматриваться, прежде чем проскочить из одной дырки в другую. Солнце пригревало уже так сильно, что можно было загорать у окошка. От вспаханной запретки поднимался пар. Травы в ту весну я уже не ждал.

– Сегодня день лишения горячей пищи, – говорил надзиратель по-весеннему бодро. – Возьмите хлеб.

В конце апреля приехал мой адвокат Швейский. Он мало изменился и по-прежнему дергал головой, будто невидимая петля захлестывала ему горло. Многозначительно косясь на стенки, он говорил:

– Поверьте, я говорю не по чьему-то поручению, никто меня об этом не просил, но ведь надо найти какой-то компромисс. Так дальше нельзя. Мне почему-то кажется, что если бы вы сейчас обратились с ходатайством о помиловании...

Меня тоже никто не просил, никто не давал мне поручений, но я знал, что, когда слабеет один, всем другим становится хуже во много раз. В конце концов ленинградцам в блокаду давали только по 200 граммов.

Конечно, ребята делали все, что могли, – и в Москве уже давно знали о моем положении. К этому времени связь с волей наладилась настолько четко, что уходили письма, заявления, копии приговоров, сборники стихов. Начали даже пересылать на волю свою "Хронику" – "Хронику Архипелага ГУЛаг". В мае провели трехдневную голодовку – предупредительную. Начальство видело, что назревают серьезные события. Разрасталась кампания в нашу поддержку и на воле – только впоследствии я узнал о ее масштабах. Держать меня в ПКТ власти больше не могли. 9 мая с утра пришел Пименов. Хитро прищурясь, оглядел мою камеру и сказал:

– М-да... ПКТ оборудовано неправильно, не по инструкции. Придется ломать, делать ремонт.

Для убедительности прислали зэков из стройбригады, и они сломали нары. Так я был "амнистирован" на 11 дней раньше – хоть и не полагается освобождать из ПКТ досрочно.

Но та сила, которая вышвырнула меня из ПКТ вопреки всем законам, уже неудержимо несла нас дальше – наступил наш черед бить. Гайка, которую старательно закручивали много месяцев, сорвалась, наконец, с резьбы, и все понимали: если сейчас мы не остановим произвол, не вернем потерянного, то уже никогда не сможем это сделать.

Через три дня сорок человек объявило голодовку, а те, кто не мог голодать, – забастовали. По гарнизону объявили тревогу. Усилили охрану на вышках. Начальство пыталось уговаривать, запугивать, шантажировать – ничего не помогало.

Вызывали украинцев:

– Чего вы связались с этими жидами и москалями?

Вызывали евреев:

– Чего вы связались с этими антисемитами? Вы же в Израиль собираетесь!

Голодовка продолжалась месяц. Кто не выдерживал – терял сознание после сердечного приступа или обострения других болезней, – тех уносили в больницу. Отдышавшись, они вновь

включались в голодовку. Даже старики-двадцатипятилетники приняли участие – забастовали, а некоторые объявили однодневную голодовку.

– Интересное время начинается, – говорил мне один из них, украинец, – даже освобождаться жаль.

Ему оставалось несколько месяцев до освобождения.

Чуть позже забастовал соседний лагерь, 36-й. Требование везде было одно – прекратить произвол. Власти не знали, что предпринять. Голодающих стали сажать в карцеры, и тогда мы отказались выйти на поверку. Прибежал посеревший, взбешенный Пименов.

– Вы понимаете, что это значит? Вы отдаете себе отчет? Немедленно выйти всем на поверку!

Никто не шевелится. Другая, не участвующая в голодовке часть лагеря молча дожидается на улице.

– Не распускать строй! – командует Пименов. – Пусть все остальные вас ждут!

Но начинает накрапывать дождь, и все, даже стукачи, разбредаются по баракам. Режим рухнул.

Всё новые и новые люди присоединяются к нам. Кто на один день, кто на неделю – в зависимости от здоровья. Другие просто отправляют протесты.

Начальство в полной растерянности. Замполит кричит, что он введет в зону войска. Кум грозится всех судить за дезорганизацию работы лагеря. В то же самое время вызывают всех по одиночке, обещают разрешить посылку из дому и даже внеочередное свидание – если прекратишь голодовку. Ничего не помогает. В карцерах нет больше мест, все забито, сажать некуда.

В спешном порядке созвали так называемый "совет коллектива", состоящий из полицаев. Но даже они отказываются осудить нас. Это было уже последней каплей. А по всем радиостанциям, вещающим на Советский Союз, передавали нашу "Хронику голодовки", "Хронику Архипелага ГУЛаг". И надзиратели, те самые, специально подобранные, что получали сразу погоны прапорщиков за секретность, рассказывали нам шепотом подробности радиопередач. Разводили руками:

– И откуда они там все знают?

Пермский эксперимент провалился.

Я не видел конца этой эпопеи – 27 мая, на 15-й день голодов-

ки, меня увезли во Владимир. Так и не удалось мне в ту весну наесться досыта – то ПКТ, то голодовка, потом месяц пониженного во Владимире. Черт с ним! Были бы кости – мясо нарастет.

И потянулись дни во Владимире, вечная режимная война, голодовки, карцера – эти бесконечные граммы, градусы и сантиметры, в которых посторонний человек никогда не разберется. Монотонное, однообразное погружение на дно, от которого можно спастись только ежедневными напряженными занятиями.

Невеселые доходили вести с воли. То, чего не удалось властям достигнуть арестами, шантажом, системой заложников и даже психиатрическими тюрьмами, – сделала эмиграция. Навсегда исчезали, как в могилу, люди, с которыми была связана вся моя жизнь. Одни уезжали сами, потеряв терпение, других выгоняли, но результат был тот же самый. Пусто становилось в Москве.

Они увозили на Запад по частям мою жизнь, мои воспоминания, и я сам уже затруднялся сказать, где нахожусь.

Приходил капитан Дойников, нес свою бесконечную околесицу. Но все чаще, все настойчивей заговаривал о загранице. Ему неловко было исполнять эту роль: ведь рядом со мной в камере сидели люди, которых он должен был "воспитывать" в совсем ином духе – доказывать, как хорошо жить на советской земле. Он смущенно топтался на месте, противоречил сам себе и порою договаривался до совершенно антисоветских утверждений. Сокамерники мои только диву давались.

Нет, я не хотел уезжать. Евреи едут в Израиль, немцы – в Германию. Это их право, как право каждого человека – ехать, куда ему нравится. Но куда же бежать нам, русским? Ведь другой России нет. И почему, наконец, должны уезжать мы? Пусть эмигрирует Брежнев с компанией.

Оттого-то, хоть сидеть мне оставалось уже совсем немного – чуть больше года, если не считать ссылки, получалось, что вся жизнь расписана у меня вперед. Два раза я еще мог успеть попасть на волю, а умирать приходилось опять на тюрьму.

И не заметил, как ночь прошла. Соседи мои спали, укрывшись пальто поверх одеяла. В камере было сизо от дыма: всю ночь я курил, не переставая. И чего разволновался, дурак? Подумаешь, привезли в Лефортово, костюм дали. Ну и что? Сейчас, наверно, допросы начнутся, а я ночь не спал, как идиот. Может, еще успею хоть часок прихватить? Но, будто подслушав меня, надзиратель открыл кормушку:

– Падъ-ем!

Зимой не отличишь – что утро, что ночь. За окном черно. Пока умывались да завтракали, чуть-чуть посветлело.

– На прогулочку соберитесь!

Чтой-то рано стали здесь на прогулку водить. Никогда так прежде не было. Соседи мои зевают – не выспались.

– Хочешь, иди, – говорят. – Мы не пойдем. Лучше поспать.

Я и сам бы не прочь покемарить – кто знает, что впереди. Но уже открылась дверь.

– Готовы? Выходите!

– Мне бы пальтишко какое-нибудь, – говорю. – Телогрейку-то забрали. Замерзну на прогулке в одном костюме.

– Сейчас, сейчас, – засуетился корпусной, – пойдемте со мной, будет вам пальтишко.

И повел меня куда-то через баню, опять к боксам.

– Вот и пальтишко.

На столе в боксике лежало новое пальто, шляпа, еще что-то – не разглядеть. А корпусной суетится, аж извивается весь, рожа у него такая приторная. И чего он так меня обхаживает?

Только надел я пальто, еще и застегнуться не успел – щелк! Мать честная, наручники! Да и защелкнул он мне их не спереди, а сзади. Бить что ли будут? Я инстинктивно дернулся, отскочил, чтоб он не мог ударить. Так всегда делали надзиратели, когда били, – надевали американские наручники, которые затягиваются еще крепче от малейшего движения рук, и с размаху били по ним ногой, чтобы затянулись до предела. Такая боль – на крик кричат! Сопротивляться человек не может – что хочешь, с ним делай.

– Тихо, тихо... Ничего, это ничего, это так нужно...

На редкость подлая морда! А он, заискивающе улыбаясь, напяливал на меня шляпу, галстук, застегивал пальто.

– Ничего, ничего... Это так нужно. Вот как хорошо, как славно.

Если б не наручники, ни за что не дал бы нацепить на себя всю эту гадость – отродясь не носил.

У крыльца стоял вчерашний микроавтобус. Окна зашторены. Чуть в стороне – милицейская машина. Те же чекисты, что и вчера, уселись вокруг. Ехали довольно долго, часа полтора. Опять впереди милицейская машина мелькала светом, расчищала путь. И уж совсем не мог я сообразить – куда? Особенно когда выехали за пределы Москвы.

– Наручники не давят? – спрашивал время от времени кто-нибудь из чекистов. – Если затянутся, скажите.

Жутко неудобно сидеть, когда руки сзади.

Наконец, вроде бы приехали. Снаружи совсем светло – наверно, часов девять. Чекисты то вылезали из машины, то снова приходили погреться. Кого-то ждали. Подъезжали и отъезжали машины. Слышались голоса, гул моторов. Аэродром что ли?

– Так. Сейчас мы вас посадим в самолет. Вместе с вами будут лететь ваша мать, сестра и племянник.

И странно: это известие совсем не тронуло меня. Словно я в глубине души давно знал, что будет именно так. Знал и скрывал от самого себя – обмануться не хотел. А собственно, чем еще могло кончиться – не того ли они и добивались все время? Только вот странно – никаких бумаг, указов не объявляют. Я же заключенный – впереди почти шесть лет.

Непривычно после тюрьмы, что можно поглядеть по сторонам. Оглянуться и увидеть что-то новое. Но и не запоминается ничего – глаза отвыкли. С трудом вскарабкался по лестнице в самолет – уж очень неудобно, когда руки сзади. Оглянулся – какие-то автомобили, лесок, заснеженное поле. Аэродром незнакомый – определенно не Шереметьево (только потом выяснилось, что это был военный аэродром).

Самолет пустой – кроме меня и чекистов никого. И опять получалось вроде тюрьмы – только с крылышками.

– Наручники-то, может, снимете теперь?

– Пока нельзя.

Самый главный их начальник чем-то напоминал борзую. Коричневые глаза чуть навыкате. Курит одну сигарету за другой.

– Ну, хоть отоприте на время. Мне покурить надо.

– Дайте ему закурить.

Один из чекистов всунул мне в зубы сигарету и потом вынимал иногда стряхнуть пепел.

– Сейчас мы вас выведем на трап – показать вашей матери, что вы уже внутри. А то она отказывается идти в самолет.

Опять на мгновение мелькнул лесок, группа автомобилей, какие-то люди – среди них мать. И назад. Мишку уже принесли на носилках внутрь. Я с трудом узнал его – все-таки шесть лет не видел. Вырос парень.

До чего же неловко сидеть, когда руки сзади. Наручники затянулись и жмут. Хоть бы спереди – и то легче. Охранник справа забавляет меня разговорами – рассказывает про самолеты. Сообщает, сколько происходит в год крушений, на каких линиях. Заботливо застегивает мне пояс. А я смотрю в окно, через плечо другого, молчаливого как сфинкс. Может, последний раз в жизни я вижу эту землю. Радоваться мне или печалиться?

Здесь, на этой земле, с самого детства норовили меня переделать, изменить, будто не было другой заботы у государства. Куда только не сажали меня, как только не издевались! Но, странное дело, избавляясь теперь от вечного преследования, я не чувствовал злобы или ненависти.

Куда бы я ни попал, где бы ни жил потом – мои воспоминания будут неизбежно связаны с этой землей, и так уж устроена память, что не держит она зла – остаются в ней только светлые картинки. Так что же – значит, печалиться? Но сколько я ни вглядывался в удаляющуюся, покрытую снегом землю, не мог заставить себя опечалиться.

Конечно, я буду скучать по друзьям, которые остались здесь, и, наверно, по арбатским переулкам, по привычной слуху русской речи. Но ведь точно так же тосковал я по друзьям, которые уехали. И разве не хотелось мне всю жизнь побывать в Лондоне? Нет, все это не увязывалось у меня с понятием ЗЕМЛЯ.

Но ведь должен же я чувствовать хоть радость? Радость победы. Как ни крути, мы воевали отчаянно с этой властью подонков. Мы были горсткой безоружных людей перед лицом мощного государства, располагающего самой чудовищной в мире машиной подавления. И мы выиграли. Она вынуждена была уступить. И даже в тюрьмах мы оказались для нее слишком опасными.

Наконец, должен же я чувствовать радость освобождения?

Стыдно признаться, но и радости я не чувствовал – только невероятную усталость. Так всегда у меня было перед освобо-

ждением. Ничего не хотелось, только покоя и одиночества. Но именно этого никогда не было. Не будет и теперь.

Мать устроила чекистам скандал – потребовала свидания со мной. Каким-то образом она узнала, что я в наручниках.

Опять пришел главный начальник с глазами борзой и весьма неохотно разрешил свидание.

Мать была в совершенном исступлении.

– Вы преступники, вы просто негодяи, – кричала она. – Даже здесь, в самолете, вы все еще издеваетесь. Мало вам было издеваться над ним столько лет!

– Нина Ивановна, ну, успокойтесь, – недовольно морщился начальник.

Все эти годы мать вела с властями отчаянную войну. Заваливала их протестами. Посылала открытые письма на Запад. Словом, не давала им дохнуть. Под конец она фактически делала все то, что когда-то делал я, и мне можно было спокойно сидеть в тюрьме.

Только тут, от нее, я и узнал о том, что меня обменяли. Странная, беспрецедентная сделка! Случалось в истории, что две враждующие страны обменивали пойманных шпионов или военнопленных. Но чтобы менять собственных граждан – такого я не припомню.

Что ж, двумя политзаключенными в мире стало меньше. Забавно, что советский режим оказывался приравненным в глазах мира к режиму Пиночета. В этом был символ времени.

Ну, а наручники – их криком не снимешь, как нельзя достигнуть свободы насилием. Сколько ни дергайся в наручниках, они только еще больше затянутся.

Да разве это они, эти трусливые чиновники, надевают нам наручники? Мы просто не научились еще без них жить. Не понимаем, что никаких наручников давно уже не существует.

Я пристально гляжу в собачьи глаза этого начальника, и он тут же их отводит. Собаки и чекисты не выносят прямого взгляда – это я проверял много раз. Чего он боится больше всего на свете? Своего начальника повыше рангом.

– А почему, собственно говоря, вы меня везете в наручниках?

– Ну, хорошо, я вам скажу, – ерзает он, глядя в сторону. – Вы все еще заключенный.

– Ах, вот в чем дело! Ну, а что вы будете делать, когда мы

пересечем советскую границу? Это должно быть минут через двадцать. Над Австрией, например, я тоже заключенный?

Он не знает, что ответить. И беспокоит его не истина, не международное право, а выговор от начальника. Поэтому он идет в кабину связываться с Москвой. Получать инструкции.

– Снимите с него наручники, – говорит он, вернувшись. И мне: – Только, пожалуйста, ведите себя правильно.

Что он хочет сказать? Чтоб я не пытался выпрыгнуть из самолета?

Наконец-то можно размять руки, закурить как следует. Так-то лучше. А чекист, снявший наручники, замечает назидательно:

– Наручники-то, между прочим, американские. – И показывает мне клеймо.

Будто я и без него не знал, что Запад чуть не с самого начала этой власти поставляет нам наручники – в прямом и переносном смысле. Он что думал – разочарует меня?

Я никогда не питал иллюзий относительно Запада. Сотни отчаянных петиций, адресованных, например, в ООН, никогда не имели ответа. Разве уже это одно не показательно? Даже из советских инстанций приходит ответ. Хоть бессмысленный, но приходит. А тут – как в колодец.

А так называемая "политика разрядки", Хельсинкские соглашения? Мы-то во Владимире сразу, на своей шкуре, почувствовали, кто от них выиграл.

Не первый день на наших костях строят "дружеские отношения" с Советским Союзом. Но омерзительнее всего, что Запад всегда пытался оправдать себя всякими заумными теориями и доктринами. Точно так же, как советский человек создал бесчисленное множество самооправданий, чтоб облегчить себе соучастие в тотальном насилии, так и Запад успокаивает свою совесть. И самооправдания-то эти иногда одни и те же. Но насилие безжалостно мстит тем, кто его поддерживает. И те, кто думает, что граница свободы и несвободы совпадает с государственной границей СССР, – жестоко ошибаются.

Опять пришел начальник:

– Мы пересекли советскую границу, и я должен объявить вам официально, что вы выдворены с территории СССР.

– У вас есть какой-нибудь указ, постановление?

– Нет, ничего нет.

– А как же мой приговор? Он отменен?

– Нет, он остается в силе.

– Что ж я – вроде как заключенный на каникулах, в отпуске?

– Вроде того. – Он криво усмехнулся. – Вы получите советский паспорт сроком на пять лет. Гражданства вы не лишаетесь.

Странное решение, наперекор всем советским законам. И после этого они требуют, чтобы их законы принимали всерьез. Ни посадить по закону не могут, ни освободить. Веселое государство, не соскучишься.

Самолет шел на снижение, и чекисты с любопытством поглядывали на Швейцарию.

– Лесов-то поменьше, чем у нас.

– А участков сколько, гляди! Это ведь всё частники.

– У них тут у каждого свой дом, участок.

Хорошо, когда в мире есть заграница и, воротясь из служебной командировки, можно привезти жене заграничную тряпку. Это ли не высшее благо?

И чем ближе мы были к этой загранице, тем заметнее они менялись. Таяла чекистская непроницаемость, загадочная молчаливость. Оставался советский человек. На меня они поглядывали уже с некоторой завистью – я на их глазах превращался в иностранца.

Подрулили к аэропорту. И тут вдруг на поле выкатились бронетранспортеры, высыпали солдаты. Самолет оцепили.

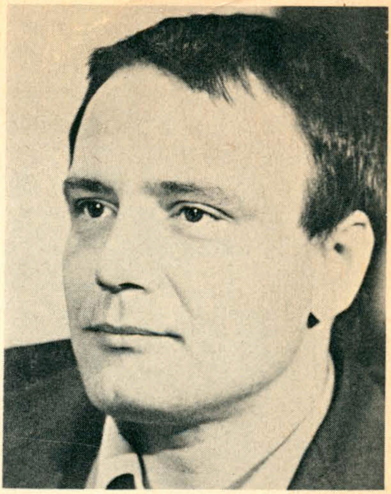
– М-да... – грустно сказал чекист. – Вот и все. Даже в аэропорт не выйдешь.

Теперь уже они были в тюрьме, под стражей.

Подъехала санитарная машина – забрали в госпиталь Мишку. Потом выпустили нас с матерью. Посадили в машину советского посольства. Затем подъехала машина американского посла Дэвиса, и мы пересели в нее. Вот и вся церемония обмена. Как поднялся в самолет Корвалан – мы не видели.

Ни шмона, ни проверки документов. Чудеса! Все мое барахло, все бесценные тюремные богатства лежали тут же, прямо в тюремной матрасовке, как я их собрал в камере. Книжки, тетрадки, запрятанные ножички и лезвия, шариковые ручки, стержни... Много недель жизни для кого-то. Все это не имело больше никакой цены – в один миг изменились привычные ценности.

И пока мы ехали к зданию аэропорта, я не мог избавиться от странного ощущения, будто по чекистской оплошности провез нечто очень дорогое, запретное, чего никак нельзя было выпускать из страны. Только никакой шмон не смог бы этого обнаружить.



Photograph courtesy of Rosemary Winckley

Владимир Буковский родился 30 декабря 1942 г. Один из первых и наиболее активных участников правозащитного движения в СССР. Был неоднократно репрессирован. В 1972 г. был осужден к 7 годам лишения свободы и 5 годам ссылки.

В декабре 1976 г. был обменен на первого секретаря чилийской компартии Луиса Корвалана. Живет в Англии.